

А. С. МАКАРЕНКО

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

А. С. МАКАРЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
А. Терновского.

ЧЕСТЬ

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ 1

1

Город стоял на большой реке. По реке проходило неустанное, деловое движение, и сам город был деловой, хлопотливый, запросто-кирпичный, без претензий. Через город давно прошла железная дорога от Москвы к югу, а от нее отделилась ветка куда-то далеко к западу. И на больших — в двадцать пять путей — товарных станциях, и на широких пристанях народ суетился, измазанный, потный, пахнущий смолой и маслом. И весь город был такой же: покрытый пылью и разными деловыми остатками. Даже воробьи порхали в городских скверах и над мостовыми с злободневным, практическим чириканьем, измазанные в масло, мазут и муку.

Построен город был давно, но не имел никакой истории. Ни сражений здесь не происходило, ни осад, и ни разу за триста лет жители не имели возможности проявить какое-либо геройство или гражданское мужество. И никто не родился в городе ни из генералов, ни из писателей, ни из ученых, даже и памятника поставить было некому: не только на площадях, но и на кладбищах ничего не было замечательного. Единственное место в городе, где ощущалось некоторое веяние истории, был городской парк, насаженный будто бы самим князем Потемкиным. Парк этот очень полюбили грачи.

Грачи целыми стаями всегда клубились над парком и при этом так кричали, что и за версту от этого исторического места разговаривать было трудно. Поэтому даже влюбленные избегали бывать в городском парке, а выясняли свои отношения под акациями второстепенных улиц и на скамейках у ворот. Городской голова Пря-

ников, прославившийся постройкой трамвая в городе, и тот ничего не мог сделать с грачами. С членом управы Магденко он нарочно отправился в парк, чтобы разобрать вопрос, но мог только пробормотать:

— Ну, что ты скажешь! Простая птица, а имеет свою линию! И какого черта им здесь нужно?

Магденко ответил:

— Эта птица не вредная. Она только кричит, а зла от нее никакого...

— Как это никакого! — воскликнул городской голова.— Смотрите, что на дорожках делается! И на ветках! Это же какие дубы? Это потемкинские дубы!

Магденко посмотрел на дубы:

— Птица не понимает, потемкинский или какой. Она не только на историческое место, она может и живому человеку на голову, если человек неосторожный. Ей все равно. А пищи для нее сколько хочешь: наш город богатый!

— А если пострелять? — спросил Пряников.

— Пострелять можно, только новые прилетят, а кроме того, «Южный голос» обязательно карикатуру нарисует.

— Пожалуй...

— А как же? Раз прогрессивная газета, она должна. Напишет: «Уничтожение пернатых» или еще хуже: «Победа городского головы Пряникова над невинными птичками».

— Да, — сказал Пряников.— А жаль, очень жаль. Природное место... Здесь ресторан можно, а там открытую сцену.

— Хорошо,— вздохнул Магденко.

— А ходить будут?

— Кто?

— Известно кто: жители.

— Кто будет, а кто и не будет.

— К Аристархову не ходили?

— Не ходили.

— Не будут ходить,— решительно сказал Магденко.

— Да почему?

— Если даром, так будут ходить, а если за деньги, ни за что не будут ходить.

— Вот черт,— сказал Пряников.— Какой народ дикий! Вот они и в трамвае не ездят. Кострома!

Народ в городе, действительно, одичал несколько за триста лет, а отчего это происходило, никто и не знал. В других городах, говорят, и просвещением интересуются, и в театр ходят, и в трамваях ездят, а в нашем городе только хлопочут и заботятся о пропитании. В других городах есть и промышленность, и там научились даже произносить слово «рабочий», а в нашем городе все норовили по-старому выговаривать: «мастеровой». Почтенные люди в городе даже гордились: наш город патриархальный, нравственность у нас не то, что в Питере. Несмотря на постоянную суету, больших дел в нашем городе не делали, а со стороны многие и удивлялись: чем живут горожане? Горожане и на этот вопрос отвечали с достоинством: мы-де искони торговлей славимся, у нас река, у нас сплавы лесные,— святое дело. А на самом деле, бедно жили в нашем городе, с лесных пристаней ни богатства, ни просвещения не получалось. А беднее всего жили на Костроме.

Кострома расположилась по другую сторону потемкинского парка — на песчаных дешевых просторах. Почему это место называлось Костромой, никто не знал. От настоящей Костромы наш город был расположен очень далеко. Кроме того, в этом слове «Кострома» было что-то ругательное и обидное, значит, название было дано не по волжской старине, а по какому-то другому поводу.

Культурные горожане относились к Костроме с недоверием, даже полицейская собака в случае чего направлялась прямо на Кострому, не обнюхивая следов. На Костроме не было ни мостовых, ни тротуаров, ни кирпичных домов, воду Кострома добывала из колодцев, освещалась керосином, а водку пила и закусывала больше на открытом воздухе. С другой стороны, и жители Костромы не любили города. Правда, на Костроме были свой базарик и кое-какие лавчонки. Даже река проходила к Костроме особым коленом, чтобы не смешивали ее с городом. Она не расстилалась здесь широкой гладью, а почти к самым берегам подбросила несколько зеленых и тенистых островов. Удовольствия на этих островах были бесплатные.

В центре Костромы стояло несколько заводиков. Был здесь и шпалопропиточный железнодорожный, и уксусный, братьев Власенко, потом табачная фабрика караима Карабакчи и завод молотилок и веялок Пономарева и Сыновья. Заводы эти приклеились друг к другу темными деревянными заборами, а во все стороны смотрели широкими воротами и проходными будками. Со стороны реки к заводам подходила просторная площадь, песок на ней давно утрамбовался, площадь была укрыта приземистой, цепкой травкой и пересечена в нескольких направлениях узкими пешеходными дорожками. Посреди площади стояло красное двухэтажное здание высшего начального училища, выстроенного после того, как по рабочей курии чудесным образом прошел в государственную думу рабочий завода Пономарева — Резников. Депутат, правда, потом отправился в ссылку, но в простом разговоре жители Костромы все же называли училище резниковским.

На той же площади, с краю, Пономарев, когда вступил в кадетскую партию, построил столовую для рабочих. Некоторое время в столовой отпускались даже обеды для тех, кому далеко домой ходить обедать, но потом это дело расстроилось либо потому, что Пономарев покинул кадетскую партию, либо вследствие «некультурной» привычки рабочих приносить обед в узелках: хлеб и соленые огурцы с картошкой. В столовой Пономарев разместил контору и очень обижался на жителей, которые настойчиво продолжали называть контору столовой.

На этой же площади стояла еще и церковь,— маленькая, беленькая, приятная. Вокруг церкви раскинулось зеленое кладбище. На нем и укладывали костромских жителей, когда приходила в этом надобность, но и до наступления такой надобности жители любили погулять между могилами, кто с девушкой, а кто с приятелем, с бутылкой в одном кармане и все с тем же соленым огурцом в другом.

2

До немецкой войны жизнь и в городе и на Костроме отличалась спокойствием, хотя у каждого человека были и свои хлопоты. Никто не сидел сложа руки, все мо-

тались с утра до вечера, каждый добивался своего, что ему положено в жизни. Исаак Маркович Мендельсон добился, например, что половина пристаней на реке называлась мендельсоновскими, а Ефим Иванович Чуркин выстроил дом кофейного цвета и на фасаде дома поставил Венеру с такими подробностями, что редкий человек мог пройти мимо, не скосив глаза на чуркинский дом. Добился своего и Богатырчук,— долго он был кладовщиком у Пономарева, а потом получил должность смотрителя зданий, квартиру в заводском флигеле и тридцать рублей жалованья. И старый Муха, плотник, тоже добился. Было ему пятьдесят девять лет, когда закончил он хату на Костроме, настоящий дом под черепичной крышей, а долгу на нем Пономареву за хату осталось только триста двадцать рублей. Старый Муха так полагал, что если он сам не выплатит, то сын — тоже плотник — обязательно выплатит, как и многие другие на Костроме, которые выстроили свои хаты. Теплов, Семен Максимович, например, десять лет благополучно выплачивал и жил в своей хате, а не таскался по квартирам.

До немецкой войны люди жили спокойно, и каждый считал себя хорошим человеком, а другие не сильно в этом сомневались. Хороший был человек Пономарев, а Карабакчи тоже хороший, а старый батюшка, отец Иосиф, говорил такие проповеди, что даже нищие плакали. И дети росли у людей хорошие, послушные, на рождестве ходили со звездой, на новый год «посевали» и пели при этом и поздравляли, чистыми детскими голосами Христа славили и радовали хозяев.

Правда, после 1905 г. чуточку испортилась жизнь. Новые слова появились у людей и новые повадки, старый Муха уже не казался таким хорошим, потому что его сын, плотник, во время забастовки как будто забыл, сколько отец должен Пономареву за хату, и будто бы даже выражался так:

— Не нужно платить ему, живодеру. Ничего ему никто не должен.

С того времени и в лице отца Иосифа появилось выражение скорби — и осталось на долгое время.

И выстроили потом высшее начальное училище на сто двадцать человек. Пономарев говорил по этому поводу:

— Раньше мальчишка, выучился он там или не выучился грамоте, собственно говоря, что ему нужно? Если у хорошего отца подрастает, ему четырнадцать лет, а он уже отцу помогает, смотришь, и заработал на побегушках какую пятерку. Теперь ему шестнадцать, а он в школу таскается, географию какую-то учит. И самые разумные мастера с ума посходили. И Богатырчук, и Афанасьев, и другие. А Теплов, тот даже в реальное поперся с своим сыном. Дома есть нечего, а он на реальное тратится! Ну пускай уже Теплов, всегда чудаком считался. А Пащенко, а Муха, а Котляров? Котляров! С чего живет? Плотник-упаковщик, и всегда был плотником-упаковщиком? Сына отдал в это самое высшее начальное, а дочку — в гимназию. Каким-то манером добился,— я, говорит, георгиевский кавалер! Заморочил людям головы. Как придет осень, все в училище. Принимают тридцать, а их триста прошения пишут. А потом ко мне: Прокофий Андреевич, возьми мальчишку на завод, пускай пока поработает. Пока!

3

Сын токаря Теплова Алексей окончил-таки реальное училище и поступил в Институт гражданских инженеров в Петербурге. Старый Теплов был человек гордый и суровый. Он и теперь не улыбался, а сказал сыну:

— Ученым будешь, а в паны нечего лезть.

Семен Максимович Теплов был одним из самых старых рабочих у Пономарева и самым лучшим токарем. Он вел строгую жизнь, не пьянствовал, жену не бил, улыбался очень редко и считался на Костроме человеком странным. В церковь ходил только когда говел, и то строго официально, два раза: один раз на исповедь, другой раз к причастию. В церкви стоял серьезный, отчужденный и гордый, расчесав редкую бороду и крепко сжав сухие, бледные губы; крестного знамения не творил и свечей не ставил. Отец Иосиф дома говорил матушке:

— Старый Теплов сегодня исповедовался. Вредный старик, злой, а однако за исповедь всегда рубль кладет. Чудные люди, ей-богу! Пономарев — рубль, и Теплов — рубль,— сравнялись! Гордость какая, бесовская!

Но отец Иосиф был добрый батюшка и не преследо-

вал Теплова за гордость. Он даже смущался немного, когда Семен Максимович, холодный и несуетливый, укладывал седую голову под потертую, но ароматную епитрахиль. И не расспрашивал старого Теплова ни о каких грехах, а старался проникновенной, но скороговорной молитвой быстрее снять их с грешника. Семен Максимович деловито прикладывался к евангелию, так же деловито и не спеша открывал кошелек и осторожно опускал на тарелку серебряный рубль. Потом подымал сухую жилистую руку, но вовсе не для крестного знамения, а для того, чтобы разгладить седые усы, приведенные в беспорядок во время церемонии. Отец Иосиф косо поглядывал на старого токаря и незаметно вздыхал. Он хорошо помнил, что к старому Теплову с молитвой лучше не заходить,— не пустит.

После причастия Семен Максимович негодующим жестом отмахивался от диаконовского красного плата для вытирания губ верующих и от серебряной чаши для запивания, не задерживался в храме до конца службы, а уходил домой, спокойно перемежая шагом суковатой палки шаги длинных ревматических ног. А дома отвечал жене на поздравление с причастием:

— Накорми, мать, как следует, а то на одном причастии не проживешь. Есть у тебя скоромное что-нибудь?

— Семен Максимович! Как же можно скоромное? Только что причастился и опять грешишь!

— Ничего, мать, лучше сразу, чего там откладывать!

— Семен Максимович, бог-то видит...

— Соображай, мать! Чего он там видит? Есть у него время за мной шпионить!

Странный и самостоятельный был человек Семен Максимович и сына отдал в реальное училище, наверное, назло Пономареву, у которого сына из реального училища уволили за неспособность. Говорил тогда Алешке:

— Реальное не для нас строили, а ты покажи им. Принесешь четверку... лучше не приноси! Пятерки. Понимаешь?

Очень ясно выражался Семен Максимович, а Алешка от роду был понятливый. Так и прошел Алексей реальное на пятерках, ни разу не огорчив отца. И Алешке, и Семену Максимовичу трудно было протащить семилетний «реальный» курс. Семен Максимович еще много

долгу не выплатил Пономареву за хату, и бывали такие дни, когда тихонько говорил Семен Максимович жене:

— Сократи, мать, разные сладости,—за правоучение платить нужно.

— Да какие же у нас сладости, Семен Максимович?

— Все равно сократи. Картошку давай.

И учебники покупал Семен Максимович самые старые, и форму доставал с чужого плеча, и за все семь лет ни разу не дал сыну на завтрак. Но такой уж был у него характер, ни разу не говорил с сыном о нужде, а сын ни разу не спросил. В старших классах стало легче, находились уроки, а кроме того, сочинения писал Алексей гимназисткам, больше всего о тургеневских героях, по рублю за сочинение.

Алешка был славный мальчик: высокий, круглолицый, румяный, с большими серыми глазами. И хотя учился он в реальном училище один на всю Кострому, а дружил исключительно со своими костромскими сверстниками, большею частью учениками высшего начального училища. В этом училище собралась хорошая и дружная компания. По образованию не было для этих ребят соперников на Костроме, старшее поколение не пошло дальше трехлетки, да и то — немногие. В одном выпуске много у Алексея было друзей детства, тех самых, с которыми он в свое время и с гор спускался, и рыбу ловил, и Христа славил. Лучшим другом Алексея в этом выпуске был Павел Варавва, сын пономаревского заводского сторожа. И старик Варавва и сын были люди невыносимо черной масти, у Павла даже и лицо было какое-то негритянское, только волосы не курчавились, а всегда торчком стояли на его голове. Конечно, в училище Павла дразнили цыганом. Когда Алеша поступил в институт, Павел уже работал у Пономарева помощником ремонтного слесаря.

Вместе с Вараввой окончили высшее начальное училище хорошие и веселые хлопцы: и Сергей Богатырчук, и Дмитрий Афанасьев, и Филька Пащенко, и Колька Котляров. Некоторые из них, как Филька и Колька, сразу пошли на завод, другие захотели чистой работы,— кто устроился табельщиком, кто конторщиком, а Сергей Богатырчук пристроился к бродячему цирку, кого-то положил там на обе лопатки, да так и пошел гулять с цирком, сначала борцом, а потом наездником.

4

Приехал на каникулы Алешка Теплов, и неожиданно появился на улице Сергей Богатырчук: у него вышли какие-то неприятности с директором цирка, и он решил навестить родителей. Многим девушкам на Костроме очень нравился Сергей Богатырчук и высоким ростом, и могучей шеей, и коричневой курткой со шнурами, но Сергей заглядывался на Таню Котлярову, на которую заглядывались и все остальные молодые люди. Таня только что окончила гимназию в городе. Давно уже не было на Костроме такой красавицы. Даже Семен Максимович Теплов, встретив однажды Таню, когда возвращался с работы, остановился и сказал:

— А ну, постой! Ты это откуда такая? Котлярова, что ли?

Таня тогда была в последнем классе. Она наклонила голову и прошептала:

— Котлярова. Здравствуйте, Семен Максимович!

— Ха! — сказал Семен Максимович.— Здорово! Только не забудь, что плотника дочка, а не какой-нибудь свиньи,— стукнул суковатой палкой о землю и зашагал дальше. А Таня долго еще смотрела ему вслед и думала над его словами.

У Тани были яркие голубые глаза, а брови и ресницы черные. Прозрачные коричневые тени были положены на веках, и все лицо у Тани было нежное и смуглое, даже чуть раздвоенный подбородок.

В это лето многие добивались Таниного благосклонного взгляда. Но Танин взгляд с одинаковым дружеским вниманием бродил по лицам молодых людей и очень часто останавливался на них с непонятной иронией.

Хата Котляровых недалеко стояла от хаты Семена Максимовича, и все детство Алешка провел в обществе детей плотника-упаковщика. Колька Котляров был нрава тихого и скучного, зато Таня никому из мальчишек не уступала ни в одной игре. В то время никто из друзей не думал, что наступает в жизни время любви, что люди бывают красивые и некрасивые, что это обстоятельство имеет некоторое значение. А когда Алешка влюбился в Таню, между ними уже не было первой детской близости, и приходилось ему начинать дружбу сна-

чала. И вот этой новой дружбе почему-то мешали и иронический блеск Таниных голубых глаз, и толпа влюбленных юношей, и неуверенность в себе.

Была середина июля. Алеша с Богатырчуком только что выплыли на лодке из-под зеленых навесов острова: увидел Алеша, сидевший на руле, проходившую по берегу группу девушек.

— Сергей, хочешь посмотреть на Таню?

— Разве? Где?

— Обернись.

Обернулся Сергей, а до берега сажен двадцать. Сергей сказал:

— Ну давай, давай же к берегу!

— Да ведь ты гребешь, а не я. Ну и давай!

В руках у Сергея два весла, и руки работают, да только весла над водой даром ходят. Алексей засмеялся и закричал:

— Таня, подожди, Сергей на тебя посмотреть хочет!

Таня отделилась от девушек, стала на влажном песке у самой воды, а розовая ситцевая юбка под теплым ветром прижалась к Таниному колену, только край юбки все вырывается и вырывается. Богатырчук бросил весла, прыгнул на берег, лодка завертелась на месте.

— Вот еще дурень,— сказал Алеша и гребнул своим веслом, выправляя лодку, но глаз не спускал с берега,— важно было посмотреть, как Таня встретит Богатырчука, самого красивого человека на Костроме.

Богатырчук стоял на берегу, его щегольские сапоги погружались в мокрый песок, а он смотрел на Таню и отдышаться не мог не то от сильного прыжка, не то от голубого сияния Таниных глаз.

— Здравствуй, Сергей,— сказала Таня. Ее тонкая талия, перехваченная узким пояском юбки, чуть-чуть шевельнулась в еле заметном поклоне, может быть, даже немножко шутливом.— А где твоя куртка?

— Какая куртка? — спросил Богатырчук и сразу поглупел в несколько раз.

— Да ведь у тебя одна куртка: со шнурками! Очень красивая.

Алексею понравился этот разговор. Но Таня и на него ни разу не взглянула. Поэтому Алексей спросил с иронией:

— Откуда ты знаешь, сколько у Сергея курток?

Но Таня и теперь не оглянулась на Алексея, а ждала, что скажет Богатырчук. Сергей, наверное, и не собирался отвечать, а все смотрел и смотрел на улыбающееся Танино лицо.

— Ну, довольно,— сказал Алеша, приткнувшись к берегу.— Посмотрел, и поедем дальше.

Богатырчук растерянно оглянулся на лодку, потом радостно мотнул головой:

— Черт его знает... как ты... того!

Таня бросила быстрый взгляд на Сергея и вдруг предложила, присматриваясь к Алеше с деловым вниманием:

— Вылезай, Алеша, пойдем с нами.

— Нет, Таня, расчета нет.

— Какой там расчет? Вылезай, проводите нас.

— Нема расчета,— повторил Алеша, завертел головой, не глядя на Таню.

— Ты сегодня какой-то... скуластый.

— Это я от злости. Сергей, марш в лодку!

Богатырчук вытащил одну ногу из песка, посмотрел на нее, потом посмотрел на Таню и взмолился:

— Таня, он надо мной власть имеет: дал ему слово до вечера плавать. А у тебя добрая душа, садись к нам в лодку. Мы тебя довезем, куда нужно...

— У Тани нет времени с нами болтать,— Алеша развел руками в лодке,— вон ее компания стоит.

— А отчего? — спросил Богатырчук и высоко поднял брови.

У Тани жалобно вздрогнули ресницы:

— Ты в самом деле сегодня злой. Отчего это? А?

— Это? Это... от солнца. Жаркое очень солнце.

Богатырчук вытащил и вторую ногу и решительно взмахнул кулаком:

— Ну, и похорошела же ты недопустимо! Что это такое?

Таня засмеялась легко и радостно, вдруг наклонилась к коленям, удерживая стремящуюся вверх юбку, и посмотрела на Богатырчука с любопытством.

— Взвыл! — сказал Алеша.— Хватит с тебя! Полезай на свое место!

Богатырчук повел плечами, выпрямился и прыгнул в лодку, но и в лодке немедленно повернулся к Тане:

он не мог оторваться от ее голубых глаз, от ее темно-русой косы, от ее розовой юбки.

— Бери весла! — резко приказал Алексей.

Сергей обалдел как будто.

— Бери весла,— повторила Таня с тихой ласковой убедительностью.

Алексей круто занес весло за корму, и лодка быстро наметила носом путь к острову. Таня крикнула весело:

— Знаешь, Сережа, а без шнурков тебе гораздо лучше!

Алексей сидел теперь спиной к Тане. Он не хотел больше ее видеть. И удивился, когда услышал свое имя:

— Алеша, мне нужно с тобой поговорить. Приходи вечером к столовой.

Алеша быстро оглянулся. Таня догоняла девушек и на бегу приветствовала его рукой.

Богатырчук тоже смотрел на Таню. А потом сказал Алексею:

— Видишь?

— Нет, не вижу,— ответил Алексей серьезно.

— Ну, и я не вижу,— вздохнул Богатырчук и взялся за весла.

5

В это лето в помещении бывшей столовой открылся «Иллюзион» — кинематограф. При входе в столовую повисли два ослепительных фонаря. Электрическую энергию предоставил Пономарев с своего завода. Содержатель «Иллюзиона», приезжий, веселый человек со странной фамилией Убийбатько, то сам сидел в кассе, то усаживал жену, толстую и сердитую даму. Он сам веселым голосом, а жена злым голосом отвечали покупателям в одной и той же форме:

— Не можем дешевле, господа, у нас не городская электрика, а господина Пономарева.

И многие господа отходили от кассы, не имея возможности получить иное удовлетворение, кроме такого ответа. Но электрика отражалась отрицательно и на самом Убийбатько: только по субботам в «Иллюзионе» набиралось порядочно публики, потому что в субботний

вечер многие старики приходили с женами смотреть погоню за вором или смешные приключения Макса Линдера. В другие же дни господ зрителей набиралось меньше половины зала, а остальные места заполнялись костромскими мальчишками, умевшими с энергией не менее титанической, чем энергия Макса Линдера, преодолевать и строгость контроля, и неудобство пономаревской электроэнергии.

И все-таки «Иллюзион» супругов Убийбатько имел на Костроме большое просветительное значение, главным образом, в смысле буквальном: указанные выше ослепительные фонари ярко освещали довольно приятную площадку: на ней еще кадетом Пономаревым были посажены деревья и поставлены деревянные диванчики. Когда-то все это предназначалось для уставших рабочих, ожидающих обеда. Теперь на диванчиках располагалась костромская молодежь, по разным соображениям предпочитавшая свежий воздух фракам и визиткам кинематографических героев. Преддверие «Иллюзиона» обратилось в маленький костромской клуб. Убийбатько с негодованием смотрел на это бесплатное использование электроэнергии и обращался к публике:

— Господа, надо купить билеты и смотреть картину, а здесь нечего сидеть даром.

Но такое обращение не имело успеха у сидящих на диванчиках, и в дальнейшем Убийбатько ограничивался тем, что тушил фонари, когда начинался сеанс.

На диванчике сидели Алеша, Таня и ее брат Николай Котляров, тоже голубоглазый, но совсем некрасивый юноша, с бледным веснушчатым лицом. Николай заглядывал в лицо Алеши и говорил жидким, нежным тенором:

— Идем, Алеша, не ломайся.

Таня смотрела на Алешу любопытным взглядом вкось, как будто исподтишка. Алексей склонился к коленям и задумчиво поглядывал на кусты желтой акации. Из-за кустов вышли Павел Варавва и Богатырчук. Павел сказал:

— Алеша ни за что не пойдет за чужой счет. Что ты его уговариваешь?

— А я пойду,— веселым басом произнес Богатырчук.— Пойду за счет Цыгана — и ничего. Спасибо ему

говорить не буду. Он помощник слесаря, у него денег много.

— Перед кем ты гордишься,— обратился Павел к Алеше.— Перед товарищами? Дурень ты, хоть и студент. Какая честь тебе в том: сидишь и надуваешься!

Алеша поднял голову, свет упал на его лицо. Оно было еще по-юношески румяным и круглым, но на скулах уже начинали играть тени мужества, а на лбу падала к переносью резкая и острая складка. Алеша с усилием, вкось, посмотрел на Павла:

— Тебе хочется в «Иллюзион»?

— А что же? Хочется. А почему? А тебе не хочется?

— Не хочется.

— А скажи, твой институт называется императорским?

— Мой институт не называется императорским.

— Так чего же ты?

— Я ничего...

— Идем,— решительно сказал Павел и тронул Алешу за плечо.

— Отстань!

— Идем, уже впускают.

За кустами акаций на главной дорожке проходили головы и картузы посетителей «Иллюзиона». Алексей поднялся со скамьи, неожиданно выпрямил высокое, ловкое тело и потянулся, положив руки на затылок.

— Идите, я вам не мешаю.

— Раз ты не идешь — значит, и я должен тут торчать,— пробурчал недовольно Павел.

— Да ну вас к черту! — сказал Богатырчук.— Пригласил, а теперь назад? Ты меня из дому вытащил? Какое ты имел право, уважаемый?

— На тебе сорок копеек и ступай один.

Богатырчук взял сорок копеек, подбросил их на ладони и грустно ухмыльнулся красивым ртом:

— Подлецы! Вы думаете, у меня действительно никакой чести нет? Подлецы вы после этого! На твои сорок копеек!

Он с размаху опрокинул ладонь на протянутую руку Павла.

— Убирайся! Богатырчук может принять приглашение товарища, а подачек не принимает. Если даже его

пригласит Колька Котляров, этот беднейший из пролетариата Костромы, Богатырчук примет приглашение.

Колька Котляров сказал без всякого выражения:

— Я тебя не приглашаю.

— Почему?

— Не хочу.

— Нет, почему?

— Сказать?

— Скажи.

— Принципиально.

Колька стоял перед Сергеем мелкий, нескладный, ничего не унаследовавший от плотника Ивана Котлярова: ни саженных плеч, ни коренастости, ни буйной шевелюры, но сквозь плохонькую оболочку ясно был виден его принципиальный дух. Павел пошевелил руками в карманах и сделал шаг к Николаю:

— Интересно.

Одна Таня осталась на диване и спокойно играла пушистым кончиком косы на коленях. Колька под горячим взглядом Павла поежился, но не улыбнулся, отвел глаза к фонарям и сказал негромко:

— Да чего говорить! Ты спроси у него, почему он не работает?

— Ха! — засмеялся Богатырчук и повалился на диван рядом с Таней.— Старая песня. Меня даже не раздражает. Дома папаша с мамашей талдычат, теперь Колька прибавился. Черт бы вас побрал, почему вы отца Иосифа на помощь не позовете?

— Нет, ты все-таки отвечай,— сурово произнес Павел.— Он тебе в глаза сказал,— и ты в глаза.

— Знаешь что? Дома я читал «Три мушкетера». Знаешь, до чего интересно! Пришел ты, Цыган. Идем да идем! Пожалуйста! А вы мораль тут развели, труженики! Настойчиво требую, веди меня в этот самый «Иллюзион». Требую выполнения обязательств.

— Хорошо, выполню обязательство, а только скажи, почему ты не работаешь?

Богатырчук протянул руку по спинке дивана сзади Тани, и Таня немедленно выпрямилась, все так же теребя кончик косы.

— Скажу. Алешка и так знает. Скажу. Но все-таки нет справедливости. Алексей тоже не работает, однако, ты его тащил в «Иллюзион»? Тащил, Колька?

— Тащил,— так разница: Алешка студент, он работает, только ничего не получает. А с какой стати я буду тебя водить, когда ты нарочно не работаешь?

— Ну, хорошо. Почему я не работаю? Не хочу. Не хочу работать на Пономарева. Не хочу жить в этой самой Костроме. Здесь живут рабы Пономарева и Карабакчи. Ты сколько получаешь, помощник слесаря?

— В этом месяце заработал семнадцать,— хмуро ответил Павел, не глядя на Сергея.

— Семнадцать. А ты сколько, Колька?

— Не в том дело, а ты дальше говори. На кого ты хочешь работать?

— Ни на кого.

— Как это у тебя выйдет?

— Как-нибудь выйдет. Опять в цирк пойду.

— Балда! — сказал Павел.— А в цирке ты на кого будешь работать? Все равно на хозяина.

— В цирке не так, детки. В цирке я работаю для людей. И вижу людей. Вы этого не знаете. Когда выскочишь на арену на Цезаре... свет какой! Глаза какие! Да что вы понимаете?

— Чьи глаза? — тихо спросила Таня.

— Всякие глаза: и у людей, и у Цезаря. Какие красавицы смотрят, улыбаются. Да и не только красавицы!

— И что? — так же тихо спросила Таня.

— Он себе шею свернет на Цезаре, а хозяин все равно в карман тысячи положит,— тоскливо протянул Николай.

Сергей вскочил. Он стал против Николая, взмахнул кулаком и этим движением как будто сбросил с себя богатырское свое добродушие:

— Наплевать мне на хозяина! Когда я на арене, хозяин —мой лакей, понимаешь. Он смотрит мне в глаза и дрожит. Я тогда артист. Ты знаешь, что такое артист? Знаешь?

— А за что тебя хозяин выгнал, Сережа?

Богатырчук не ожидал нападения с этой стороны. Он повернул к Алексею тяжелую голову:

— За что?

Алексей стоял у кустов акации и заканчивал перочинным ножиком пищик. Он поднял глаза на Сергея, вложил пищик в рот и вдруг запищал на нем оглушительно и комично-жалобно, а потом спросил, перекосив губы в ехидной гримасе:

— Да. За что?

Павел взмахнул руками и захохотал. И Николай с застенчивой улыбкой отвернулся к фонарю. Улыбнулась и Таня, присматриваясь к Алеше. Богатырчук оглянулся:

— Выгнал? Не выгнал, а...

— Уволил,— серьезно закончил Павел.

Сергей осторожно сел на диван. Таня смотрела на него с интересом.

— Все-таки за что, Сережа? — ласково спросила она.

— За грубость,— тихо ответил Сергей и улыбнулся ей печальными глазами.

Таня задержала на нем внимательный, почти материнский взгляд, поднялась с дивана, перебросила косу назад и сказала решительно:

— Хватит! Идем в театр, все! Слышишь, Алеша?

Алексей увидел ее нахмуренные брови и протянул руку к Павлу:

— Павлушка, одолжи сорок копеек до завтра.

6

По дороге домой Алеша и Таня отстали. Таня спросила:

— Неужели ты из гордости не пошел в «Иллюзион» за Колин счет?

— Не из гордости, Таня, а из бедности.

— Это все равно.

— Нет, не все равно. Если у меня были бы деньги, я мог бы пойти за их счет.

— А где ты возьмешь отдать Павлу сорок копеек?

— У отца.

— Ты у него много берешь денег?

— Нет, почти что не беру, вот разве на дорогу теперь придется взять.

— А как же ты живешь в Петербурге?

— Зарабатываю.

— Много зарабатываешь?

— Уроками много нельзя заработать. Очень дешево платят.

— А сколько платят?

— Если репетировать какого-нибудь отсталого,— пять рублей в месяц.

— А сколько тебе нужно в месяц?

— Мне нужно самое меньшее тридцать рублей.

— Для чего?

— Квартира, стол, учебники, ну, конечно, баня, бритье, кое-что починить, в театр нужно.

— А если без бритья — значит, дешевле?

— На бритье полтинник можно скинуть. Таня, почему ты сказала, чтобы я пришел сегодня к столовой?

— Я просто хотела побыть с тобой.

— Почему?

— Как почему? Мне с тобой хотелось побыть вместе. А как же ты зарабатываешь тридцать рублей? Неужели шесть уроков?

— Ну, три, четыре урока.

— Значит, не выходит тридцать рублей?

— Никогда не выходит. Все-таки, если человек хочет видеть другого, у него есть какие-нибудь причины.

— Причины? Конечно, есть...— Таня лукаво глянула на Алешу.— А как же так, без причины?

— А какие у тебя причины?

— И причины есть, и все есть,— произнесла Таня задумчиво.

Алексей наклонился к ней, заглядывая в лицо. Она подняла глаза:

— Все-таки, как же ты живешь, если ты не зарабатываешь?

— По-разному живу. Если не хватает — значит, за квартиру не плачу, живу, живу, пока выгонят, вот и экономия.

— Или не обедаешь?

— Это самое легкое,— не обедать. Обедать вообще редко приходится, больше чай и булка. Но бывает, урок достанешь за обед. Это самое лучшее с экономической стороны, но только обидно как-то. Я не люблю.

— А почему ты у отца не берешь?

— Да у отца нету. Он еще Пономареву должен. Но

он иногда присылает. Это... последнее дело — получать от него деньги.

— Ты чересчур гордый, Алеша.

— Нет. Какой же я гордый, если все спрашиваю и спрашиваю: почему ты захотела быть со мной.

— А почему тебе так интересно?

— А как ты думаешь?

— Ты воображаешь, что влюблен в меня, да?

Алеша и на темной улице покраснел и испугался:

— Нет... как ты сказала...

— Значит, ты не воображаешь?

— Я ничего не воображаю.

— Вот и хорошо. А я уже думала, что и ты влюбился.

— Ты что ж так плохо говоришь о любви?

— Чем же плохо?

— Ты никого не любишь? Никого?

— Нет, одного человека люблю, но держу в секрете.

— Почему?

— Я хочу учиться. Если полюбить и сказать, замуж выйти, значит... ну, обыкновенная костромская история.

— Если любишь — вместе хорошо!

— Я боюсь — вместе!

— Почему?

— Я, Алеша, боюсь женской доли. Я буду искать другое. Ты не думай, что я ничего не знаю. Я все знаю.

— И ты удержишься, не скажешь?

— Чего не скажу?

— А вот... тому человеку... про любовь?

— Конечно, не скажу.

— А долго?

— Пока не кончу медицинское отделение. Я потому тебя и спрашиваю все.

— Ага... так поэтому ты меня и просила прийти?

— И поэтому.

— А скажи, разве любимый человек не мог бы помочь тебе учиться?

Таня улыбнулась в темноте, но улыбка слышалась и в голосе:

— Как же он поможет? Он... тоже... очень бедный. А скажи, Алеша, я достану уроки в Петербурге?

— Ты в Петербурге будешь учиться?

— Да.

— Значит, вместе? — Алеша обрадовался, как ребенок.

— Ну, да. В одном городе.

— Я тебе помогу найти уроки.

— Спасибо.

— Тот учится или работает?

— Кто?

— Которого ты любишь?

— А потом ты спросишь, на какую букву начинается его имя? Да?

— Спрошу.

— А потом, какая вторая буква?

— Нет, я и по первой догадаюсь. Скажи.

— Да, для чего тебе, ты же не влюблен в меня?

— А может, и влюблен...

— Да ведь ты сказал...

— Я ничего не говорил...

— Ты сказал, что ты ничего не воображаешь...

— Можно просто любить, а не воображать.

— Алеша, сколько стоит билет до Петербурга?

— Дорого: восемнадцать рублей.

— Ой, как дорого!

— Таня... неужели ты не скажешь, — ты должна по дружбе, по старой дружбе...

— Что сказать?

— Кого ты любишь?

— Алеша, ты все об этом? Мне никого не хочется любить. Ты такой гордый человек, неужели ты не понимаешь: разве можно любить, если тебе на обед не хватает? Это оскорбительно.

Алеша опустил голову, очень многие подробности его студенческой жизни, подробности ежедневных мелких обид, голодной бессильной жизни вдруг пришли в голову. Снова подступил к сердцу невыносимый вопрос, мучивший его все лето: как взять у отца восемнадцать рублей на дорогу? И еще более трудный: как попросить у отца сорок копеек, чтобы отдать Павлуше?

7

Доктор Петр Павлович Остробородько давно заведовал земской больницей, расположившейся на краю города, но усадьбу купил поближе к центру, — широкий

многокомнатный дом, окруженный верандами, цветниками, садом. Не только в нашем городе, но и в других городах Петр Павлович считался врачом-чародеем. Петр Павлович добросовестно поддерживал свою медицинскую славу хитрыми рецептами, золотым пенсне и умными разговорами. Честно служила славе и небольшая бородка Петра Павловича, делавшая его похожим на самого Муромцева, председателя первой государственной думы. Может быть, и в самом деле Петр Павлович был талантливым врачом, но несомненно, что это был человек общественный и богатый. Богатств его, правда, никто не считал, но никто не жил в нашем городе так широко и красиво.

В доме Остробородько всегда собирался цвет городской молодежи, привлекаемый сюда не столько славой Петра Павловича, сколько гостеприимством и красотой его дочери Нины Петровны. Нина Петровна была уже помолвлена с сыном отца Иосифа — Виктором Троицким, но это обстоятельство почему-то никто всерьез не принимал. Нина была красива: высокая, нежная, медлительная, всегда ласково задумчивая и приветливо сдержанная.

Брат ее, Борис Петрович, студент Петербургского технологического института, считался человеком глупым, и этой славе не мешали ни его красота, ни веселый нрав, ни общая симпатия, его окружающая. Еще в реальном училище товарищи считали долгом чести вывозить Борю во время экзаменов, а в технологическом институте прямо с его зачетной книжкой ходили к профессорам и сдавали за Борю зачеты, не столько, впрочем, из чувства дружбы, сколько из мальчишеской любви к студенческим анекдотам.

На веранде Остробородько собралась большая компания. Говорили исключительно о надвигающейся войне. Городской врач, кругленький и остроглазый человек, Василий Васильевич Карнаухов, называемый в городе чаще просто Васюней, ораторствовал воодушевленно:

— Уверяю вас честным словом,— демонстрация! Что вы шутите? Франция и Россия! Немцы еще не сошли с ума. Вы думаете, они рискнут из-за какого-то там Эльзаса? Или, вы думаете, им очень жалко этого самого Франца-Фердинанда? Мы своей силы не знаем, а немцы

знают. Это не девятьсот четвертый год! Великая Россия! Великая Россия, господа!

Борис стоял против группы женщин, обрывал чайную розу и очень ловко бросал ее лепестки в прически дам. Дамы встряхивали головами, улыбались красивому Борису и старались внимательно слушать Васюню. Продолжая игру, Борис говорил:

— Австрийцы что? А вот пруссаки нам зададут, зададут, зададут...

После каждого слова Борис бросал новый лепесток.

У барьера веранды стоял и смотрел в сад широкоплечий, лобастый жених Нины — Виктор Осипович Троицкий. Он сомкнул тонкие губы, и было видно, что он одинаково презирает и тех, кто боится немцев, и тех, кто не боится. Белый китель следователя, золотые пуговицы с накладными «зерцалами», бархатные петлицы, белые красивые руки — все отдавало у Виктора Осиповича мужской серьезностью.

— Виктор, будет война? — крикнул Петр Павлович с другого конца веранды.— Будет или не будет? Мне твое слово нужно, я этим вертопрахам не верю.

Троицкий обратился к будущему тестю:

— Я не пророк, Петр Павлович, я пока только следователь.

— Говорите, следователь, не ломайтесь,— сказала одна из дам.

— В таком случае, будет,— ответил Троицкий, круто повернувшись к обществу.

— И побёдная?

— Надеюсь. Мужики не подведут. Вот... пролетарии...

— Подведут,— закричал Борис и бросил остаток чайной розы к дамским ножкам.

Все засмеялись. Петр Павлович, сидя в качалке, замахал руками на Троицкого:

— Брось, брось! Никто не подведет! Да вот же и представитель пролетариата. Алексей Семенович, успокойте, голубчик, старика.

Алексей редко бывал в этом доме, сегодня затащил его Борис на правах однокашника. Алешке всегда казалось, что здесь слишком высокомерно относятся к его

бедности. Но иногда и тянуло попасть в этот барский уют, в среду красивых женщин и хороших настроений. Приятно было ощущать близость Нины.

Сегодня Алеше не нравился разговор, и он хотел уйти, но Нина оставила всех остальных гостей, поставила перед ним чашку чая и печенье, села рядом с ним:

— Уйдете, всю жизнь буду обижаться!

И Алексей сидел и смотрел в стакан чая, стесняясь своей ситцевой косоворотки. Вопрос Петра Павловича застал его неподготовленным, он покраснел. Борис закричал:

— Пролетариат подумает!

Следователь один не смеялся и строго смотрел на Алешу:

— Интересно!

Алеша сказал:

— Почему вас интересует пролетариат? А командиры?

Троицкий ответил ему, почти не раздвигая сухих холодных губ:

— Командиры меня тоже интересуют. Но в вопросе о командирах вы, вероятно, менее компетентны.

— То есть в каком смысле командиры? В каком смысле? — Петр Павлович заерзал в качалке.— Офицерский корпус?

— О, нет! — Троицкий расправил плечи.— Офицерский корпус у нас великолепен. Вы согласны, господин Теплов?

Алексей пожал плечами.

— Не согласны?

Алексей смотрел на Троицкого серьезно, но его губы проделали ряд упражнений, которые в любой момент могли перейти в улыбку:

— Я думаю, что наши офицеры... умеют умирать.

— Благодарю вас,— насмешливо сказал следователь.

— Ну, и прекрасно! А чего тебе еще нужно? — радостно закричал Борис.

— Какой ты все-таки... повеса,— укоризненно проговорил Петр Павлович.— Что ты говоришь?

Борис с таким же выражением радостного оживления воззрился на отца, но отец забыл о нем и внимательно обратился к Алеше:

— О, вы не так просто ответили, Алексей Семенович! В ваших словах есть, знаете, такой привкус: вы говорите, умирать умеют, а дальше? Чего они не умеют?

— Я боюсь, что они не умеют побеждать.

— Вы прелесть! — прошептала Нина.

— Вот, вот! — Петр Павлович подскочил в качалке.— Ты слышишь, Виктор?

— Слышу. Только господин Теплов ошибается или... хочет ошибиться. Офицеры умеют и побеждать.

Петр Павлович решительно откачнулся назад и покачал головой:

— Д-да! Если вспомнить прошлую войну, прогноз насчет «побеждать» слабоватый выходит.

Троицкий застегнул верхнюю пуговицу кителя:

— В неудачах японской войны виноват не офицерский корпус, а... вы знаете, кто.

— Двор?

— Не двор, а правительство; впрочем, пускай и двор.

— А Куропаткин, Стессель, Рождественский? Паршивые стратеги.

— Найдутся и хорошие. Во всяком случае, я рад, что господин Теплов признал за офицерами способность умирать. Это очень хорошая способность. У многих ее не бывает.

— Я бы предпочел все-таки, чтобы у офицеров была и способность руководить армией,— сказал Алеша медленно и улыбнулся.

— Как это вы важно говорите: я бы предпочел. Кто вы такой?

Алеша поднялся за столом и одернул рубашку:

— Кто такой я? Если разрешите,— я гражданин той самой великой России, о которой говорил Василий Васильевич.

— Здорово ответил! — закричал Борис.— Честное слово, здорово!

Петр Павлович засмеялся в лицо следователю.

— Срезали следователя, а главное, не ответили насчет пролетариата...

Троицкий нахмурил брови.

— Я надеюсь, и на этот вопрос господин Теплов ответит с таким же достоинством, тем более, я повторяю, что в этом вопросе он более компетентен.

Алеша решил уходить. Он пожал руку Нине, но она задержала его руку и подняла к нему глаза:

— Отвечайте, отвечайте,— сказала она чуть слышно.

У Алеши вдруг стало светло на душе от этой маленькой ласки, и он сказал, подойдя к следователю:

— Виктор Осипович, вы помните забастовку тысяча девятьсот пятого года?

— К чему это? — гордо спросил следователь.

— Пролетариат — это очень большая сила, гораздо, гораздо больше, чем вам кажется.

— Ну?

— Я думаю, что пролетариат не удовлетворится командирами, которые умеют только красиво умирать. Этого будет мало.

Троицкий прищурился:

— И что он сделает с ними?

— Я не пророк, я только студент.

— И я студент,— закричал Борис,— но я предсказываю: будут большие неприятности.

Все засмеялись. Петр Павлович с осуждением посмотрел на сына, пожал руку Алеше и сказал:

— Будем надеяться на лучшее, Алексей Семенович.

Нина спустилась в сад рядом с Алешей. Он с удивлением и радостью посматривал на нее, она молчала, склонив красивую белокурую голову.

— Я незаслуженно пользовался сегодня вашим вниманием, Нина Петровна. Я страшно вам благодарен.

— Приходите чаще,— сказала негромко Нина.— Хорошо?

8

Возвращался Алеша на Кострому около десяти часов вечера. В конце прямой улицы горели огни вокзала, а за ними потухали последние пожары заката. От заката протянулись по небу неряшливые космы облачных следов,— ленивой метлой подметал кто-то сегодня небеса.

По узким кирпичным тротуарам пробегала обычная вечерняя толпа. Люди спешили к домам, уставшие, без толку суетливые, без нужды разговорчивые. Трамваи ковыляли с такой же излишней торопливостью и скрывались в неразборчивой перспективе улицы, а их грохот

тонул в еще более оглушительном перекате подвод, передвигавшихся где-то ближе к вокзалу. Из этого сложного, надоедливого шума как-то случайно и незаметно возник более настойчивый, высокий и упорядоченный звук. С резким треском, подскакивая колесами на булыжниках, проехал извозчик и уничтожил этот звук, но силуэт извозчика был еще хорошо виден, а из-за него уже вырвался строгий и сухой, уверенный барабанный бой. Через несколько секунд он покрыл шум улицы. Люди на тротуарах сбились к краям, заглядывая в даль улицы.

В последних, пыльных сумерках поперек улицы легла однообразно темная полоса, а над ней косой штриховкой расчертился потухающий закат. Кто-то спросил рядом:

— Чего это? Солдаты?

— А кому же больше? Да много, смотри!

— Караул, что ли?

— А кто их разберет — может, и караул.

Молодой парень вытянул голову и крикнул:

— Гляди: музыка, а не играет!

— Ну? Музыка? — спросил сзади голос.

— Да, музыка, смотри!

Всмотрелся и Алеша. Он уже видел бледные пятна барабанов и движения рук барабанщиков. Они быстро выплывали из сумерек и проявлялись на фоне темной массы. Один из них, идущий крайним, далеко отбрасывал правую палочку и красивым ловким жестом снова бросал ее на барабан, — казалось, что это он один выделывает правильную и дробную россыпь, а другие только поддакивают ему дружными и звонкими точками. За барабанщиком шел оркестр, спокойно покачивая раструбами бледно-серебряных труб.

Алексей выдвинулся вперед на мостовую. Крайний барабанщик прошел мимо него, чуть задев его рубаху кончиком палочки. Музыканты оркестра шли вразвалку и поглядывали по сторонам. Глаза Алеши вдруг увидели чуть-чуть искривленный ножик: он ходил взад и вперед над тусклым золотом прямого аккуратного погона. Алексей, наконец, разобрал, что это — офицер с обнаженной шашкой. Рядом с ним солдат, а потом снова офицер и снова с шашкой. Солдат до самой мостовой вытянул из-

под руки длинное древко, над головой солдата выпрямился в небо узкий сверток. Алеша догадался: это знамя в чехле, вверху оно поблескивало и курчавилось каким-то металлическим орнаментом. За знаменем снова рябенький пояс офицера и грациозные шаги узких сапог, послушные барабанному маршу. А потом бесконечные ряды однообразно-незнакомых лиц, серьезных, с напряженными скулами, шеренги скошенных бескозырок и прижатых к груди прикладов. Лица и груди быстро проплывали, крепко утвержденные на гулкой, усыпляющей череде ударов тяжелых сапог по мостовой. Потом еще офицер и снова ряды прижатых прикладов и чуть скошенных бескозырок над темными, неподвижными лицами.

На тротуаре за линией зрителей кто-то спешил куда-то, бросался к плечам смотрящих, снова спешил вперед. Кто-то вскрикнул громко:

— Да что такое? Да ведь это Прянский полк!

— Какой там Прянский? Чего врешь?

Загалдело несколько голосов:

— Конечно, прянцы!

— Чего ору! Чего ору! Ты понимаешь, в чем дело?

— Уже понял: Прянский полк!

Близкие рассмеялись.

— Дурак ты: из лагерей ведь...

— Рассказывай: чего это в июле из лагерей?

— Что?

— Из лагерей! Вот так дела! А ну, постой! Скажи, милый, из лагерей?

Проходящий мимо солдат бросил быстрый взгляд на тротуар:

— А откуда же? Из лагерей.

Бесцеремонный локоть оттолкнул Алешу в сторону и метнулся за солдатом:

— Походом, что ли?

Солдат ничего не ответил, но идущий за ним вдруг улыбнулся широкой, деревенской улыбкой:

— Некогда походом. Поездом.

— Некогда?

На тротуаре задвигались, зашумели сильнее. На Алексея надвинулся чей-то большой нос:

— Вы понимаете? Вы понимаете, к чему?

Алексей заглянул через барьер сдвинутых плеч. В тесном кругу стоял полный кондуктор с жгутами на плечах, смотрел то на одного, то на другого из слушателей и говорил одними губами, не изменяя набитого мясом лица:

— Тридцать поездов! Тридцать! Через двадцать минут поезд за поездом. И товарные стоят, и пассажирские! На нашей станции два курьерских застряло!

Алексей обошел толпу и направился к вокзалу. Полк еще проходил, но барабанов уже не было слышно, и раздавался только стук сапог, то мерный и согласный, то перебиваемый каким-то соседним ритмом. Кто-то высокий пошел рядом с Алексеем и сказал, ища сочувствия:

— Ну, если полк из лагерей пригнали — значит, все ясно.

— Что?

— Говорю, все ясно: завтра мобилизация!

Алексей не ответил, а высокий продолжал:

— Вам оно не светит и не греет,— вы молодой еще, а мне вот жарко стало.

— Вы запасный?

— В запасе. Слово такое, как будто спокойное: запасный, а на самом деле, в первую очередь.

Высокий отошел и, отходя, сказал как будто про себя:

— Ах ты, господи, господи!

Алексей свернул в поперечную улицу. Здесь было тише и меньше людей, но впереди грохотало тяжело и упорно, снова стояла толпа и над ней проходили какие-то тени. Алеша прибавил шагу. По Александровской улице двигалась артиллерия,— пушки чередовались с конскими парами. Далеко впереди что-то крикнули, и там застучало быстрее, волна учащенного грохота покатилась оттуда все ближе и ближе. И ближайшие лошади вдруг пошли рысью, а за ними загремела по мостовой, уткнув хобот в землю, молчаливая пушка. Этот быстрый бег орудий, сопровождаемый легким и веселым звоном подков, еще долго проносился мимо толпы. Обгоняя движение, сбоку быстрым аллюром, видно, на хороших лошадях, проскакали по улице два офицера. Один из них, молодой, что-то кричал товарищу и смеялся.

Алеша проводил их легкий, стремительный бег завистливым, взволнованным взглядом. Где-то далеко, за несчитанным рядом дней и ночей, зашевелились враги; здесь в городе еще мирно живут люди, а эти уже понеслись вперед, уж бьют барабаны, и уже готовы они идти на защиту... кого? Моей страны, великой России? Черт его знает, великой или не великой, но... моей России.

Алексей выбрался из толпы и побрел через пустынную площадь к городскому парку. Хотелось очень долго думать о России. Почему-то вдруг показалось ему, что до сих пор он непростительно мало думал о ней. Сейчас в словах «моя Россия» было что-то радостно-горячее, но в то же время и непривычное, родившееся как будто только сейчас.

Алеша полузакрыл глаза и представил себе: Россия! Неясные, бесформенные межи океанов, сибирских пустынь, среднеазиатских песков. Это там, черт его знает, где, но здесь все равно она — Россия! Какая она? Широкий Невский, памятники, каналы, торжественные повороты улиц,— столица, настоящая столица! Высокие аудитории института и родное радостное студенчество. Русское! И русские профессорские глаза, то старчески-мудрые, то научно-холодные, то придирчиво-вредные. Все равно. Все равно или нет? Все равно, русские.

Но, может быть, и не это? Вот это: поля, поля, серые группы изб и... бороды, и лапти, пыльные сапоги на скамьях третьего класса, вонь и теснота, матерная ругань...

Алеша остановился посреди темной площади, подумал и сказал вслух:

— Нет!

Он оглянулся назад и прислушался. Еще доносился грохот артиллерии, и он вспомнил ее сосредоточенно тяжелое движение, бег офицерских коней, палочку барабанщика и боевое знамя Прянского полка в чехле, охраняемое шпагами офицеров. Почему офицеров? Почему не солдаты охраняют знамя? Чушь, несет знамя все равно солдат. Да, это Прянский полк. Алексей вспомнил защиту Малахова кургана. И на Шипке замерзал Прянский полк, замерзал, но не отступил. Прянский полк,— что это такое? Чередование проходящих и уходящих русских людей, умирающих, замерзающих, защи-

щающихся штыками... это уже несомненная Россия, тут ничего не скажешь. Это прекрасная, моя Россия, тысячу лет защищающая свои...

— Лапти,— как будто подсказал кто-то.

И в этот момент подошли к воображению не исторические дали прошлого, не перспективы Петербурга, не просторы русских равнин, а близкие, бедные улицы Костромы, сухие утоптанные дорожки, жидкие акации и скромные люди. Он с явной душевной болью вспомнил вчерашний разговор с Таней, ее «русскую» тоску, и ему вдруг так жаль стало Россию, что он не вспомнил даже о своей любви к Тане. А рядом с Таней почему-то настойчиво рисовалась такая счастливая, нежная и такая далекая Нина Петровна, уже отданная этому сухому и тщеславному следователю. И отец — токарь Теплов. Отца эксплуатирует красномордый Пономарев, пошлейший, истасканный, обычный тип русского промышленника,— русского все-таки, вот в чем дело. Своего, значит! И он — русский! И его защищать? С какой стати! Почему? И в Петербурге нескладная фигура Николая II и блестящие плечи и лысины двора, блестящее великолепие ничтожеств, правящих «моей» Россией.

И все-таки... И все-таки миллионы русских людей и тысячи лет истории, и Пушкин, и Толстой, и великие пространства нищеты, и институт, и девушки,— все равно «моя» Россия! И пусть Алеше сейчас предложат сделаться гражданином богатой Франции или прекрасной Италии, пусть предложат ему дворцы и богатства,— Алеша не променяет России на это. Он почувствовал снова радостное и горячее волнение и снова позавидовал ушедшим в темноту военным людям, их мужественной тревоге. Это настоящие люди, и как прекрасно быть сейчас с ними.

9

На центральных улицах кучки охотников ходили с портретами, пели и кричали «ура». А на тех же улицах, почти на каждом квартале, строились и рассчитывались новые роты. По тротуарам глазели мальчишки и прохаживались прапорщики запаса, в новеньких погонах. А люди менее воинственные жались к домам и хмуро и

молчаливо о чем-то думали. А когда расходились, толковали о войне и с удивлением произносили непривычно-ненужные слова: немцы, французы, Вильгельм. Находились знатоки, которые вспоминали что-то о славянах, щеголяли словами «Сараево», «Франц-Фердинанд». Знатоков выслушивали с такой миной, с какой привыкли слушать охотничьи россказни, а потом снова думали про себя, стараясь разрешить непосильный вопрос: при чем здесь немцы, при чем здесь человеческие жизни?

На улице встретил Алеша Виктора Осиповича Троицкого под руку с невестой. Он был очень хорош в военном костюме, туго перетянут ремнями, а шашка висела на его боку с особенно строгой готовностью. Троицкий холодно козырнул, но Нина протянула руку Алеше:

— Алексей Семенович, приходите вечером к нам. Сегодня мы чествуем отъезжающих прянцев. Приходите.

Алеша поклонился и с большей симпатией посмотрел на Троицкого. Троицкий улыбнулся:

— Надо проводить. Даже если вы настаиваете на том, что мы умеем только умирать.

— Я... от всей души желаю вам победы,— сказал Алеша.

— Это благородно с вашей стороны,—с нарочитой холодностью сказал Троицкий.

— Почему благородно? Ведь я тоже русский?

— Конечно, конечно! Честь имею!

Троицкий приложил к новой фуражке руку и немедленно подставил ее Нине Петровне. Нина склонила голову и через погон жениха еще раз глянула на Алешу серьезным глубоким взглядом.

Кто-то произнес рядом:

— Японцев лихо победили! Видно, народу много лишнего стало!

Алеша оглянулся: парень в темной рубахе насмешливо глянул на Алешу, повел плечом и сказал соседу:

— Благородные господа!

Сергей Богатырчук пошел на войну добровольцем. Он пришел на Кострому в военном костюме, его погоны были обшиты пестреньким жгутом,— Таня сказала ему весело:

— Ты не можешь без шнурков?

На зеленом кладбище друзья расположились вокруг

полудюжины пива, и теперь даже Алеша не протестовал против того, что Павел и Николай так много истратили денег. Павел Варавва лежал на траве и говорил:

— А хитрый этот Сергей, он-таки устроился без хозяина. Только тебя обязательно офицером сделают, ты обязательно золотые погоны заработаешь, ты храбрый!

— А что же? Ты думаешь, я хуже этих... барчуков.

— Чего хуже? — сказал Павел.— Так и нужно. Ты должен быть офицером. Нам свои командиры потом... пригодятся.

— Когда пригодятся? — спросил Алеша.

— Да... вообще... могут пригодиться!

Богатырчук сгреб Павла в объятия:

— Люблю этого Павла! Он свою линию всегда гнет! Ты на меня рассчитывай, Павло,— я не подведу.

— Я и рассчитываю.

— А немцев все-таки бить будем?

— Я согласен бить всякую дрянь, от Вильгельма до...— ответил Алеша за Павла.

— Пономарева,— закончил Сергей.

Павел захохотал, лежа на траве и задрав ноги:

— Пономареву теперь повезло. С войной ему отсрочка...

— Ну, это как сказать...

— Довольно вам,— сказала Таня,— пустые разговоры!

— Почему пустые? — спросил Николай.

— Так, пустые, за пивом. Не люблю! Сережа, ты постарайся, чтобы тебя не сильно попортили на войне.

— Э, нет, я стараться в таком смысле не буду, что ты!

— Ну для меня.

— А что мне за это будет?

— Если вернешься целым, я тебя поцелую.

— Идет! Все слышали? Значит, вернусь в целости, такими поцелуями нельзя пренебрегать...

Потом полки ушли к вокзалу. С площади они тронулись под гром музыки, офицеры шли впереди своих частей, держали ногу и косились на солдатские ряды. А потом солдаты запели песню, горластую и вовсе не воинственную:

«Пойдем, Дуня, во лесок...»

Теперь офицеры шли уже по тротуарам, окруженные грустными женщинами, улыбались и шутили. Когда солдаты допели до рискованного места, капитан крикнул высоким радостным тенором:

— Отставить!

Солдаты поправили винтовки на плечах и ухмыльнулись на веселого капитана.

А потом полки запаковали в вагоны, сделали это аккуратно, по-хозяйски, так же аккуратно проиграли марш, свистнули, и вот уже на станции нет ничего особенного, стоят пустые составы, ползают старые маневровые паровозы, из окна аппаратной выглядывает усатый дежурный и присматривается к проходящим девицам. Провожающие побрели домой. Через немощеную площадь к селам и хуторам быстро побежали женщины и девушки в новых платках, ботинки повесили через плечи, ботинки еще пригодятся в жизни. По кирпичным тротуарам потекли домой говорливые потоки людей, среди них потерялись покрасневшие глаза жен и сестер и склоненные головы матерей. Матери спешили домой, спешили мелкими шажками слабых ног и смотрели на ямки и щербины тротуаров, чтобы не упасть.

10

— Проводили? — спросил Семен Максимович Теплов, когда сын возвратился с вокзала.

— Проводили,— ответил Алеша.

— Здорово бабы кричали?

— Нет, тихонько.

— Поехали воевать, значит... Напрасно на немцев поехали. Надо было на турок.

— А что нам турки сделали?

Семен Максимович редко улыбался, но сейчас провел рукой по усам, чтобы скрыть улыбку.

— На турок надо было: война с турками легче — смотришь, и победили бы.

— И немцев победят.

— На немцев кишка тонка, потому царь плохой. С таким царем нельзя на немцев. У них царь с какими усами, а наш на маляра Кустикова похож. Сидел бы уж тихо, нестуляка.

Нестулякой называл Семен Максимович всякого неловкого, неудачливого человека.

Алексей с удивлением посматривал на старика. Чего это он так сегодня разговорился? Обыкновенно он не тратил лишних слов, да еще с сыном. С матерью он иногда беседовал на разные темы, но и то, когда сына дома не было. А сейчас он обращался именно к Алексею: мать стояла у печи и, поджав губы, серьезно слушала беседу. Семен Максимович сидел у накрытого белой клеенкой стола, поставил локоть на подоконник и слегка подпер голову. Его прямые, привыкшие к металлу темные пальцы торчали среди редких прядей седых волос.

— Не годится наш царь для войны. Он за что ни возьмется, так и нагадит. С японцами воевал,— нагадил, конституцию хотел сделать, тоже нагадил. Вот и маляр Кустиков такой.

Семен Максимович снял руку с головы, захватил пальцами усы и бороду, потянул все книзу и крикнул:

— Да. Я к тому говорю, что и тебе воевать придется.

— А может, еще и не придется.

— Придется, слушай, что я говорю! Я лучше тебя понимаю в этих делах. Наши туда полезли, раздразнят немца, а куда бежать? Сюда побегут. Будь покоен, и тебя позовут в солдаты.

Мать неловко повернулась у печки, загремела упавшим половником, наклонилась поднять, а потом побрела в сени, легонько споткнувшись на пороге.

Семен Максимович проводил ее взглядом и еле заметно подмигнул:

— Пошла глаза сушить. Эк, какой народ сырой! Да, ты на всякий случай не очень располагайся в тылу сидеть. В думках своих нужно подготовляться.

— Сами же вы говорите: царь плохой.

— Что ты за балбес, а еще студент! Плохая баба, бывает, плохой каши наварит, а есть все равно приходится. Никто к соседу не ходит хорошую кашу есть.

Алексей улыбнулся:

— Плохую бабу можно и выгнать.

— Нечего зубы скалить, когда я говорю,— строго и холодно произнес Семен Максимович.— Выгнать! Вы мастера такие слова говорить. А почему до сих пор не

выгнали? Кишка тонка. А он сидит над нами, хоть бы царь, а то идиот какой-то. Одного выгонишь, другой такой же сядет,— все они одинаковы.

Алексей присел к столу и склонился к коленям отца, тронул их пальцем:

— Ты на меня не сердись, отец, я тоже кое-что понимаю. Можно царя выгнать, а на его место нового не нужно.

— Один черт! Не царь, так Пономарев сядет, нашего брата не выберут президентом. Ну... что ж... а на войну позовут — идти придется.

— А кого защищать?

— Тут не в защите дело. Погнали народ, и ты пойдешь, а там видно будет. В погребе не спрячешься. Да и кто его знает, как война повернется. Вон с японцами совсем паскудно вышло, а народ все-таки глаза открыл, виднее стало, что наверху делается.

Семен Максимович задумался, глядя в окно, потом сказал, не поворачивая головы:

— Ну, все. Через три дня поедешь? Может, тебя там, в Петербурге, и в солдаты возьмут. Все может быть. На дорогу я тебе двадцать рублей приготовил. А там проживешь без помощи?

— Проживу.

— Ну, и хорошо. А может, когда и вышлю пятерку.

11

Накануне отъезда, перед самым вечером, пришли к Алексею Таня и Павел. Алексей был во дворе, по поручению отца чинил сруб колодца. Он увидел гостей в калитке и пошел навстречу, как был в дырявых брюках и с пилой в руках.

— Таня! Ты ошиблась: здесь живет бедный токарь и его сын — бедный студент.

Таня серьезно пожала Алеше руку и ответила:

— Не балуй. Мы по серьезному делу.

Павел держался сзади, был в рабочей измазанной блузе, как всегда — без пояса и как всегда — руки в карманах.

— Идем в хату, раз по серьезному делу.

— Да чего в хату, вот у вас садик и столик.

Под вишнями у круглого столика сели они, напряженные, не привыкшие еще решать дела в своем обществе, но и забывшие уже привычки детских игр. Таня причесана была небрежно, на ее голову сейчас же упал и запутался в волосах узенький, желтый листик. Сегодня она была еще прекраснее, но в то же время и проще, и роднее. Старенькая ситцевая блузка, заштопанная во многих местах, была сбшита по краю высокого воротничка узеньким, сморщенным кружевцем, его наивные петельки трогательно белели на нежной и смуглой Таниной шее. Таня, пожимая пальцы собственной руки, для храбрости глянула на серьезного Павла и протянула руку на столе к Алексею.

— Мы к тебе посоветоваться. Хорошо?

Она снова быстро глянула на Павла. Алеше стало даже жарко от зависти.

— Слушай, вот какое дело. Только ты, пожалуйста, ничего не подумай такого. Павел... да ты же знаешь Павла... Ты же знаешь... он такой замечательный человек, ой я не могу...

Таня положила голову на руки и застыла в позе изнеможения. На что уж черное лицо было у Павла, но и оно теперь покраснело. Он встал, вытащил руки из карманов, оперся на край стола и заговорил хрипло и глухо, глядя на Танин затылок, на то самое место, где начиналась ее богатая коса:

— Понимаешь, Таня... ты же обещала... что без фокусов. Чёрт бы вас побрал... все-таки баба! Я тебе сколько раз говорил: это дело, притом взаимное, а теперь — замечательный, замечательный! Да ну вас совсем!

Он хотел уйти. Таня ухватила его руку, с силой усадила на скамью:

— Не нервничай! Ничего в тебе нет замечательного. И не воображай.

Павел, ища сочувствия, посмотрел на Алешу и повел плечами:

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Пока ничего не понимаю,— ответил Алексей, прислушиваясь к нараставшей внутри него тревоге.

— Ну, хорошо,— сказала Таня.— Дело! Именно дело! Алексей должен решить. Ты у нас будешь, как судья. Только беспристрастно. Слушай, Алеша!

Поглядывая то на одного, то на другого серьезным взглядом, в котором сквозили легкие остатки лукавства, Таня объяснила, в чем дело:

— Я еду в Петербург учиться. Не перебивай, Алеша. Прошение и документы отправила давно. Принимают меня без экзамена — медалистка. На медицинское. Да. Не перебивай. Но у меня нет денег. И на дорогу нет. И заплатить за лекции. И жить. Я тебе, Алеша, все рассказывала. Ты сказал: нужно тридцать рублей в месяц. Ну, допустим, если экономить, не тридцать, а двадцать. А я не знаю еще, сколько мне удастся заработать там... в Петербурге. Десять рублей в месяц будет мне давать Николай, а Павел говорит, что и он будет давать десять. Ему очень трудно, он сам зарабатывает десять.

— Не десять, а семнадцать.

— Ну, все равно... десять. А ты, Алеша, скажи, будь настоящим другом. Можно взять у Павла или нельзя? Как ты скажешь, так и будет. Ой, насилу все сказала!

Алеша не мог опомниться от сообщения Тани и не мог оторваться взглядом от недовольной, расстроенной физиономии Павла. Наконец, Павел свирепо мотнул на Алешу взъерошенной своей головой:

— Чего ты прицелился? Чего ты вытаращился? Что тут такого?

Тогда и Таня посмотрела на Павла с таким любопытством, как будто только сейчас выяснилось, что Павел действительно представляет собой нечто замечательное.

— С вами нельзя дело иметь... Вы... просто... черт его знает!

Павел оскалил белые зубы и по-настоящему злился.

— Он — дикий,— сказал Алеша.— У него добрая душа, но он дикий. Я бы на твоем месте не брал у него денег из-за его дикости.

— Алеша, говори серьезно.

— Да что же тут говорить? Я не знаю, на каких условиях он предлагает тебе помощь. Если без отдачи — брать нельзя.

— Почему? — спросил Павел.

— Я не взял бы.

— Почему?

— Это слишком... это должно... слишком большую благодарность. Слишком большую.

— Какая благодарность? Я ей даю деньги сейчас, а сам буду готовиться на аттестат зрелости. Пока она выучится, я подготовлюсь. Тогда она мне будет помогать.

— А если ты не подготовишься?

— Тогда она отдаст мне деньгами, когда будет доктором.

— Это не выйдет.

— Неужели не выйдет, Алеша? — Таня жалобно смотрела на Алексея.

— Давайте говорить серьезно. Снаружи здесь все кажется просто. Он тебе поможет, а потом ты ему. Правда? На самом деле, ничего такого простого нет. Эту услугу нельзя мерять рублями. На аттестат зрелости Павел не подготовится, и вообще ваши планы могут легко рухнуть. Началась война, а что потом будет, никто не скажет. Вообще деньги можно брать, но ответить такой же услугой, может быть, Тане и не придется.

— Все равно.

— Извини, пожалуйста. Не все равно.

— Значит, ты против? — сказала Таня.

— Алексей путает. Такого наговорил. А это обыкновенное денежное дело. Дело — и больше ничего.

— Если так, так вам и мой совет не нужен. А я считаю, что такие вещи — не коммерческая сделка. Такие вещи бывают, если — любовь.

— Вон ты куда загнул? — протянул Павел и покраснел.

— Чего загнул? Что ты любишь Таню, я не сомневаюсь...

— Какого ты черта! — закричал Павел.— Ты не имеешь права так говорить! Если нужно, так я сам скажу!

Павел смотрел на Алешу гневным взглядом, и у него дрожали губы.

— А почему же ты не сказал?

— Дальше! — сказала Таня серьезно и строго.

— Дальше? Деньги можно взять, если и ты любишь Павла.

— Вот сукин сын! — прошипел Павел. Но боялся смотреть на Таню и замолчал, отвернувшись.

Таня сидела тихо, рассматривала какие-то царапинки на столе. Потом подняла глаза на Алешу, встретила его суровый, тревожный взгляд и тихо спросила:

— Значит, любовь нельзя оставить в сторонке?

— Нельзя.

— Спасибо, Алеша. Ты — настоящий Соломон. Ты очень мудро сказал. Значит... Павлуша... я еще подумаю, хорошо?

Павел пожал плечами. Алексей спросил печально:

— А ты, Павел, почему меня не благодаришь?

Павел зло улыбнулся:

— Зачем тебя благодарить? Ведь ты тоже любишь Таню.

Таня бросила на Павла убийственный жестокий взгляд, который немедленно усадил его на скамью, и обратила к Алексею внимательное, холодное лицо. Алеша побледнел, и его губы что-то выделывали, какую-то гримасу презрения, а может быть, и страдания. Он, наконец, улыбнулся и даже склонился к Тане с веселой галантностью:

— Обрати внимание: «тоже»! Весьма знаменательное словечко. Это, во-первых. А, во-вторых, ты ошибаешься, Павел. Я никогда и не воображал, что могу полюбить Таню, она об этом знает, иначе не выбрала бы меня судьей в таком трудном вопросе. И вообще, пусть призрак влюбленного Теплова не смущает ваши сердца.

— Ну, хорошо, довольно шутить,— улыбнулась Таня.— До свиданья, Алеша.

12

Таня уехала в Петербург вместе с Алешей. Накануне она сказала Алеше:

— Я приняла помощь Павла, только это вовсе не подтверждает те глупости, которые ты тогда говорил в садике.

— Неужели ты и не сказала Павлу правду?

— Какую правду?

— Что ты его любишь.

— Такая правда не нужна. Я не согласна с тобой, что помощь нужно принять только, если любишь. Это все че-

пуха. Я ему тоже помогу... потом. У тебя слишком большая гордость. Я не такая гордая.

— Значит, ты не любишь Павла?

— Отстань. Значит, завтра на вокзале.

— Хорошо.

На вокзале Алексей на прощанье сказал Павлу:

— Ты помнишь того разбойника Варавву, которого распяли рядом с Иисусом Христом? Какие тогда были Вараввы и какие теперь Вараввы!

Павел грустно улыбнулся:

— И тогдашние Вараввы не могли учиться в институтах, и теперешние не могут.

— Дай руку,— приказала Таня.

— Что такое? На.

Таня взглянула на линии руки Павла Вараввы и сказала весело:

— Какая у тебя счастливая рука! Как тебя любят и какой ты будешь богатый и образованный.

— Я подожду,— ответил Павел.

Он остался на перроне одинокий и печальный. Пыльный поезд увез на север последние лирические дни того исторического лета.

13

Многие в то лето уехали из города, уехали многие и из Костромы. Доктор Васюня нацепил узенькие белые погоны военного врача и уехал на кавказский фронт. Брат Тани, Николай Котляров, и Дмитрий Афанасьев пошли в армию по досрочному призыву. Богатырчук сначала писал костромским девушкам о победах в Галиции, а потом прислал карточки, на которых был снят в форме юнкера. Только Павел Варавва не пошел на войну,— все металлисты завода Пономарева были оставлены для оборонной работы.

И прав оказался Семен Максимович Теплов. Уже в феврале прямо из института отправили Алешу в военное училище в Петрограде. В то же военное училище попал и Борис Остробородько.

Война прошла несколько стадий. Они быстро сменяли одна другую и забывались. Прошли дни непривычной

и волнующей тревоги, короткие, очень короткие дни галицийского наступления и Перемышля.

В десяти коротких строчках, без комментариев и повторений, без подробностей и чувств пришло известие о разгроме и гибели армии Самсонова. И после этого начался длинный, однообразный и безнадежный позор. Это было невыносимо безотрадное время, наполненное терпением и страданиями без смысла. Война тяжелой, неотвязной былью легла на дни и ночи людей, былью привычной, одинаковой вчера, сегодня и завтра. Дни проходили без страсти, и люди умирали без подвига, уже не думая о том, кто прав, немцы или французы, не хотелось уже думать о том, чего хотят немцы или французы, как будто не подлежало сомнению, что разумных желаний не осталось у человечества.

Иногда у людей просыпалось старое представление о России и немедленно потухало в неразборчивом месиве из названий брошенных врагу крепостей, из имен ненавистных и презираемых исторических деятелей, из картин глупого и отвратительного фарса, разыгрываемого в Петрограде. К старому представлению о России присоединялась новая, чрезвычайно странная и в то же время убедительная мысль: и хорошо, что бьют царских генералов, и хорошо, что нет удачи ненавистным, надоевшим правителям.

За эти годы много совершилось горестных событий в жизни людей.

А на Костроме было как будто тихо. По-прежнему дымили заводики Пономарева и Карабакчи. По-прежнему костромские жители утром проходили на работу, а вечером с работы, по-прежнему горели ослепительные фонари у столовой, и, как и раньше, некому было пополнить убытки у предприимчивого Убийбатько.

Тихо плакали на Костроме матери в своих одиноких уголках, ожидая прихода самого радостного и самого ужасного гостя того времени,— почтальона, ожидали, не зная, что он принесет, письмо от сына или письмо от ротного командира. Иногда переживания матерей становились определеннее — это тогда, когда приезжал сын, искалеченный или израненный, но живой, и матери не знали, радоваться ли тому, что хоть немного осталось от сына, или плакать при виде того, как мало осталось.

Матери в эти дни научились и радоваться, и скорбеть одновременно.

Летом приехал из военного училища в погонах прапорщика и в новом френче Алексей Теплов. Два дня он погостил у стариков. Мать смотрела на сына удивленно, с отчаянием и могла только спрашивать:

— Алеша, куда же ты едешь? Куда ты едешь? В бой?

Больше она ничего не могла говорить и потому, что ничего больше не выговаривалось, и потому, что боялась Семена Максимовича.

А Семен Максимович помалкивал и делал такой вид, как будто ничего особенного не случилось. Семен Максимович очень много работы нашел у себя во дворе и каждый вечер возился то у колодца, то у ворот, то сбивал что-нибудь, то разбивал, и в каждом деле ходил суровый, и молчаливый, и даже не хмурился и не крякал, забивая гвоздь или раскалывая полено.

А когда уезжал Алексей на фронт, отец вышел во двор, холодно миновал взглядом неудержимые, хоть и тихие слезы жены, позволил Алексею поцеловать себя и только в этот момент улыбнулся необыкновенной и прекрасной улыбкой, которую сын видел первый раз в жизни.

— Ну, поезжай! — сказал Семен Максимович.— Когда приедешь?

Алексей ответил весело, с такой же искренней, и простой, и благодарной улыбкой:

— Не знаю точно, отец. Может быть, через полгода.

— Ну, хорошо, приезжай через полгода. Только обязательно с «Георгием». Все-таки серебряная штука.

И Семен Максимович обратился к матери и сказал ей серьезно:

— Хорошего сына вырастили мы с тобой, мать. Умеет ответить как следует.

И мать улыбнулась отцу сквозь слезы, потому что действительно хорошего сына провожала она на войну.

На вокзале провожали Алексея Павел и Таня. Павел крепко пожал руку товарища и сказал:

— Только одно прошу: вернись оттуда человеком.

Таня улыбалась Алексею мужественно, но глаза у нее были печальные, и она все оглядывалась и сдвигала

брови. А потом, когда ударил третий звонок, она сказала с горячим смятением:

— Дай я тебя поцелую, Алеша!

Павел выбежал из вагона, а Таня не прощальным поцелуем поцеловала друга, а с жадным размахом закинула руки на его шею и прижалась к его губам дрожащими горячими губами, потом глянула ему в глаза и шепнула:

— Помни: я тебя люблю!

14

И снова побежали скучные и тревожные костромские дни — однообразные, как пустыня, и бедственные, как крушение. Уже перестали люди мечтать о мире и перестали говорить о поражениях.

Так проходили месяц за месяцем.

В начале зимы, когда уже крепко зацепились морозы за декабрьский короткий день, привезли в город Алешу. В здании женской гимназии разместился специальный госпиталь для контуженных. На его крылечко и выходил погуливать Алеша.

Ему недавно вынули осколок снаряда из-под колена, и он ловко дрыгал перевязанной ногой, высоко занося костыли из простой сосны. С ним рядом сидели на крылечке, ходили по тротуару, кричали и смеялись контуженные.

У Алеши сейчас счастливое детское лицо, но иногда его взгляд останавливается и с напряжением упирается в противоположные дома улицы, что-то старается вспомнить. К нему нарочно выходит и приглядывается молодая пухленькая женщина-врач, Надежда Леонидовна, бессильно оглядывается на других больных и говорит:

— Что мне с ним делать?

Алеша, опираясь на костыли, двигает плечами, топчется на одной ноге, смеется и с усилием говорит:

— Абббa!

Надежда Леонидовна со слезами смотрит на веселое лицо Алеши, на вздрагивающую мелко и быстро голову, на потертый, изодранный халат:

— Милый, что мне с вами делать?

Подходит небритый, рыжий больной в таком же халате и помогает врачу, как умеет:

— Поручик! Сообразите! Черт его знает! Смеется!

Алеша и на него смотрит с улыбкой, но соображает только о чем-то радостном и детском. Он не слышит человеческих слов, он не узнает своего города, он не помнит своей фамилии. Только в одной области он что-то знает и о чем-то помнит. Каждое утро он рассматривает свой старый коричневый френч и на нем защитные погоны, на которых одна настоящая звездочка и две намазанные чернильным карандашом. С такой же любовью он рассматривает и шашку, совершенно новую, с золотым эфесом, с георгиевским черно-желтым темляком. Он счастливо улыбается, глядя на шашку, и любовно говорит:

— Абба!

И потом с особенной силой и улыбкой:

— Табба!

У него есть память о чем-то и какая-то веселая забота. Он радовался и прыгал на костылях, когда Надежда Леонидовна принесла в палату зачиненный и отглаженный его френч с новыми золотыми погонами поручика, но ничего, кроме «табба», он и тут не сказал.

Только через две недели, в воскресенье, Павел Варавва, проходя мимо бывшей гимназии, узнал Алешу и бросился к нему:

— Алексей! Алеша, это ты?

Алеша быстро повернулся на костылях и серьезно, внимательно посмотрел на Павла, засмеялся детским своим смехом:

— Абба!

Его голова мелко дрожала, но он не замечал этого дрожания. Склонив голову к поднятым на костылях плечам, он с детским радостным любопытством смотрел на Павла. Павел нахмурил брови, его начинало обижать это безразличное любопытство:

— Алексей, что с тобой? Ты ранен? Чего ты смеешься?

У Алеши в глазах вдруг пробежала мгновенная больная тревога. Он весь сосредоточился в остром беспокойном внимании, его лицо сразу побледнело, голова задрожала сильнее. Он неловко повернулся на костылях, беспомощно оглянулся по улице и застонал что-то нераз-

борчивое и энергичное. Павел, наконец, догадался, что Алеша не может говорить, и обнял его за плечи:

— Алеша! Это я — Павел! Павел Варавва! Ты узнаешь меня?

Алеша успокоился и затих, но не мог оторвать взгляда от лица Павла, смотрел на него, о чем-то долго и туго думал. Потом он грустно улыбнулся и поник головой, прошептав:

— Табба!

Павел быстро смахнул набежавшую слезу и побежал в госпиталь. Алексей поднял голову, спотыкаясь, повернулся и с хлопотливой торопливостью заковылял за Павлом.

В большой пустой комнате Павел уговаривал Надежду Леонидовну:

— Да. Его отец здесь живет. И мать.

Алексей остановился и улыбнулся врачу. По Павлу скользнул прежним напряженным взглядом и отвернулся, видимо, отгоняя какие-то неясные и мучительные образы. Надежда Леонидовна глянула на Алешу с любопытным состраданием:

— Он вас не узнал?

Алеша выслушал ее вопрос, затоптался на костылях, снова мельком взглянул на Павла и зашагал к окну. У окна он остановился, и его неподвижный взгляд замер на какой-то точке на улице. Павел ответил:

— Не знаю. Кажется, он начал узнавать, а потом забыл. Это можно вылечить?

— Я надеюсь, что это пройдет. Вы его хороший товарищ? Друг? Это очень плохо, что он вас не узнал...

— Скажите, можно к нему отца или мать?..

— Я боюсь, что он и отца не узнает. Здесь, видите ли, больница. Знаете что? Далеко отсюда до его дома?

— Далеко. Через весь город.

— Все равно. Давайте мы его свезем домой.

— На извозчике?

— Конечно. Знаете что? Завтра наймите извозчика и приезжайте. Когда родные дома?

— Да все равно. Я скажу.

— Хорошо. Заезжайте в двенадцать. Я сейчас дам вам деньги.

15

Алеша ехал на извозчике оживленный и веселый, но Павла не узнавал и даже не обращался к нему. Кажется, больше всего он был доволен, что одет не в халат, а в свой потертый френч и шинель. Его шашку держал в руке Павел, и дорогой Алеша все трогал ее рукой и улыбался.

У ворот своего дома Алеша охотно и ловко спрыгнул с пролетки и очень обрадовался своей удаче, оглянулся на пролетку и сказал:

— Табба!

Потом показал пальцем на шашку в руках Павла и тоже сказал:

— Табба!

Он совершенно сознательно направился к калитке. Перед калиткой только на миг задержался, потом стукнул сапогом, и она открылась. Перепрыгнув через порог, он оглянулся на Павла и быстро начал взбираться по ступенькам крыльца. В дверях показался Семен Максимович. Алеша поднял лицо, улыбнулся ласковой, радостной улыбкой и сказал негромко, душевно, не отрываясь от отца взглядом:

— Та...татеццц!

Но после этого он упал в обморок. Костыли загремели по ступеням крыльца, а сам он медленно сложился, как будто осторожно сел на колени. Его голова перестала дрожать и спокойно склонилась к золотому погону поручика.

16

Поправлялся Алеша очень медленно. Ему разрешили бывать дома и даже ночевать. Надежда Леонидовна сказала матери, посетив Алешу на дому:

— Пусть больше видит и узнает. Побольше впечатлений.

Дома Алеша почти не сидел на месте, он быстро передвигался по комнате и по двору, заглядывал в каждую щель и все пытался о чем-то рассказывать, но понимал, что у него мало слов, и умолкал, грустно улыбнувшись. Слова восстанавливались у него по случайным поводам, но сначала приходили только в общем, что-то напоминающем комплексе звуков. Он говорил сначала «изи-

зистка» вместо «гимназистка», «тузыка» вместо «музыка», «бабед» вместо «обед». Только слово «мама» он говорил правильно с первого дня, как только пришел в себя после обморока и увидел склонившееся над ним лицо матери. Тогда же он узнал и Павла и страшно этому обрадовался, все смеялся, все показывал на друга и кричал:

— Тавел Раравва! Тавел!

В эти дни интересно было видеть его счастливое оживление и в то же время замечать, что для него не нужны стали и непонятны обычные знаки любви и нежности. Когда мать поцеловала его после того, как он пришел в себя, он с удивлением посмотрел на нее, потрогал пальцем щеку и улыбнулся:

— Мама!

Он гораздо быстрее учился понимать чужие слова, чем говорить, и все время приставал к отцу, совершенно забыв о суровой его недоступности и молчаливости, просил его говорить.

Семен Максимович серьезно ему отвечал:

— Что я буду тебе говорить? Ты половины все равно не поймешь. Вояка! Вот лучше ты расскажи, как ты заслужил эту штуку.

Отец брал в руки золотое оружие сына и рассматривал его — и как будто довольным и в то же время ироническим взглядом:

— За что тебя наградили? Понимаешь?

Алеша оживленно кивал дрожащей головой и кричал.

— Тулеметытыты... тулеметыты! Де...десятьть... тулеметототов!

Он смеялся отцу и взмахивал кулаком:

— Десятьтьть!

— Десять пулеметов? Это ты забрал? У немцев?

— Немцыцыцы!

— Молодец, Алеша! Молодец!

— Таладецццц! — повторял Алеша радостно.

— Вот именно: молодец!

Отец усаживал Алешу на стул, неумело рабочей сухой рукой гладил его по плечу. Старался серьезно растолковать ему, как малому ребенку:

— Ты понимаешь? Они, сволочи, все воображали, что это они хозяева, они и герои. Куда ни посмотришь,

все они,— начальники и герои. А наш брат вроде как для черной работы, вроде волов. Нагонят тысячи нашего брата — серая скотина!

Алеша слушал отца внимательно, кивал головой и повторял некоторые слова, давая возможность отцу заключить, что он все понимает из сказанного:

— Нанашшш браттт! Ткатинанана!

— Да, скотина! У них все! У них и деньги, и мундиры. У них и родина. А мы безродные как будто. Куда погонят, туда и идем. Ему, понимаешь, родина, потому что он по родине на колесах катается. А наш брат пешком ходит; да и куда ему ходить, на работу да с работы, так зачем нам родина. Мы ее и не видели. Я вот счетом в нашем городе двадцать раз был. А то все — Кострома.

Семен Максимович говорил негромко, строго, все время оглядывался на окно, как будто именно за окном помещались «они», и проводил пальцем под усами, по сухим тонким губам.

— Родина! Ничего, Алеша! Это хорошо, что ты не трус, а только... у нас такие разговоры... правильные разговоры: пускай расколотят этого нестуляку проклятого! Эту сволочь давно бить следует.

Алеша удивленно глянул на отца и ничего не сказал. Старый Теплов, худой, похожий на подвижника, трогал прямыми темными пальцами клинок почетной сабли и о чем-то крепко думал, решал какие-то трудные вопросы. Смотрел на этот клинок его сын, и впервые зашевелился у него в душе странный холодный расчет: для чего его батальон понес свои жизни в боях под Корытницей? Не для того ли, чтобы лишний раз убедиться: какие отвратительные руки распоряжались этими жизнями?

Они смотрели и думали над золотой шашкой, а рядом, мимо них, катилась все дальше и дальше история, катилась по оврагам и рытвинам, и на самом дне оврагов еще копошилась и дышала последние дни Российская империя.

17

Через месяц приехал денщик Алеши — Степан Колдунов и привез из полка его вещи. Он ввалился в хату пыльный и серый, с двумя чемоданами, и сказал громко:

— Во! Это ты и будешь Василиса Петровна?

Мать с удивлением смотрела на широкое, довольное, как попало заросшее бородой лицо Степана, узнала чемоданы сына, но никак не могла сообразить, в чем заключается сущность происходящего.

— Я — Василиса Петровна. А вы меня откуда знаете?

— Да как же не знать, коли ты мать его благородия нашего? А где сам будет?

— Кто? Алексей?

— Да он же — Алексей! Барин мой! Очухался? Я его тогда погрузил в санитарный, без всякого смысла был. Где он?

Но уже из второй комнаты вышел Алеша, швырнул на пол костыли и повалился на Степана с радостным криком:

— Степапан! Степапан!

Потом отстранился и, держась на одной ноге, воодушевленно рассматривал запыленную фигуру Степана в истасканной, промасленной шинельке:

— Мама! Друг! Такой, понимаешь, Степапан! Как-кой ты хороший!

Степан стоял посреди кухни и ухмылялся:

— А болтаешь ты как-то плоховато, ваше благородие. Хорошо, что очухался. А я уже думал, каюк тебе, Алексей Семенович!

— Степан! А как это... как? Я тогда... ччерт его знает. Ззабыл... шли, шли...

Степан расстегнул шинель, поставил чемодан к стене, повернулся к матери:

— Василиса Петровна! Ему все рассказать нужно. Да и ты послушаешь про сына. А только дай пожрать, два дня не ел.

— А как же это вы... без денег, что ли, в дороге-то?

— Какие там деньги. Я пристал к батальонному, вещи-то нужно отправить. А он...

— А кто, кто?

— А черт его знает, все новые. Тогда это... в той самой атаке слезы одни остались. Я так и уехал, убрать не успели, вонь какая, Алексей Семенович, ни проходу, ни продыху. Наш полк, можно сказать, лежит на поле, как будто навоз, лежит и смердит.

Алеша побледнел и спросил:

— А кто... уббитытытый?

— Да черт там разберет, все убитые. И полковой, и офицеры все, и наш брат. Один смердеж остался. Валяются там, в грязи. Черт те что. Лопатами убирать нужно героев. Да лучше не рассказывать, а то вон мамаша пужаются. От всего полка два офицера: ты остался да прапорщик Войтенко прилез на другой день. Что ты хочешь — ураганный огонь. Ну дай, мамаша, поесть.

Побледневшая, действительно испуганная, мать захлопотала вокруг стола:

— Вы, Степан, как вас по отчеству?

— Да брось, Василиса Петровна, какое там отчество. Спасибо, хоть Степан остался. Да и не выкай ты мне, я тебе не полковой командир, а денщик. Я и сам на вы не умею.

После завтрака, умытый и порозовевший, Степан уселся на диване в чистой комнате и рассказал Алеше и Василисе Петровне:

— Пошли вы тогда ночью. Помнишь, может, наши три дня громили. Ты понимаешь, мамаша, какое дело. Это наши генералы придумали, чтоб им... Особая армия генерала Гурко. Особая, ты пойми. Прорыв хотели сделать, да только и того, что кишки пообрывали и легли. Три дня сто двадцать батарей... наших. Мы думали, от немцев пыль одна останется. А ночью мы и пошли. Ах, старушка ты моя милая, до чего людей приспособили, ты не можешь сообразить. Ты понимаешь, ночная атака на фронте в десять верст, в шестнадцать цепей. А наш полк в первой цепи. Помнишь, ваше благородие, прожекторы? Прожекторы помнишь?

Алексей вспоминал и горящими глазами смотрел на Степана.

— Помнишь, значит? Как это они стали над нами, прожекторы,— страшный суд, справедливый страшный суд. Я, может, помнишь, все с деньгами к тебе приставал: дай деньги, дай деньги. А ты только головой махнул, да и прыгнул за окоп. Прыгнул ты за окоп и вдруг — тихо. Даже страшно стало — тихо, а то ведь три дня говорить было впустую. Вторая цепь перекатилась, третья. Побежали еще люди. Куда ни глянь, везде цепи, а потом уже и разобрать невозможно. А тут немец на-

чал. Мамочки! Прыгнул я в окоп, пропал, думаю, да все равно и наши все пропали. Я так и знал, что они вас с грязью смешают. Если наших сто двадцать батарей было, так ихних наверное триста. Спасибо, по мне они мало били. Смотрю, кроет он впереди по своим, по старым окопам. Ну, думаю, каюк его благородию, разве там разберешь, послали людей на верную смерть, чего там говорить... Вылез из окопа, а впереди земля горит и к небу летит. Наши последние цепи перевалились, да черт там разберет, кто куда спешит,— кто вперед, а кто и назад. Тут и на меня налетел какой-то прапор, кричит: «где твоя винтовка?» А у самого и глаза прыгают от страха. Махнул я на него рукой, думаю, все равно нечего делать, пойду поищу своего, где-нибудь недалеко валяется. Пошел. И нá тебе такую удачу: за первым ихним окопом, в ходе сообщения, немец лежит, а тут рядом и ты, сердечный, да еще и землей присыпан, одна голова торчит. Ну, думаю, кончили воевать, а валяться тут незачем. Взял тебя на плечи, а у тебя еще и наган в руке, я это заметил еще, когда нес, рука болтается, а наган все меня по боку. Насилу отнял у тебя, да тут и заметил, что рука у тебя теплая. Ну, я обрадовался, наган в карман. Нá вот тебе, привез на память.

Степан вытащил из кармана вороненый револьвер.

— Тут двух пулек нету. Это, видно, ты немца ухлопал, а тут тебя снарядом и оглушило.

Алексей все вспомнил. Он заволновался, заходил по комнате, заговорил, заикаясь:

— Помнишь, Степан, ты говорил, дай деньги, матери отправлю, если убьют... А я подумал, отдам — убьют, не отдам — не убьют... А как побежал, все про эти деньги думал. Там... там было... не расскажешь. Только видишь разрывы, бежишь прямо в смерть. Этот немец один был с пулеметом. Я стрелял два раза, только он не падал. А потом... потом ничего... потом в поезде.

Алеша подошел к матери, положил руку на ее плечо:

— Мама! На всю жизнь друг — Степан! Там меня похоронили бы вместе со всеми. С полком нашим.

Он задумался, подошел к окну, засмотрелся на улицу. Степан кивнул на него:

— Разве там один полк пропал!

— Как тебя отпустили? — спросил Алеша.

— Какой черт отпустили? Говорит этот, батальонный: вещи, говорит, отправлю, а ты ступай в роту. Думаю: чего я там в роте не видел? Война все равно кончена. Куда там воевать, когда уже все провоевали! Да и вижу, народ не хочет воевать. Злые ходят и все о мире думают. А пришел на станцию, смотрю, кругом оцепление, патрули. Раз так, коли эти занимаются таким делом, так и у меня тоже дело серьезное: хоть вещи отвезу, посмотрю, как там Василиса Петровна живет, да и скажу все-таки, как сын ее воевал, ей нужно знать. Ну, я на крышу, да так на крыше и доехал. Два раза высаживали, да ведь раз человеку нужно доехать, так он доедет.

Алексей повернулся на костылях и пошел к своему денщику, остановился против него и нахмурил брови:

— Значиттт... ты... ты... убежаллл. Это... это...

Он не вспомнил нужного слова и еще крепче обиделся, дернул кулаком, зашатался:

— Ббежаллл!

Степан поднялся с дивана, оправил гимнастерку, попробовал улыбнуться, не вышло:

— Да что ты, ваше благородие! Я тебе вещи привез. А ты думаешь: дезертир...

Алеша услышал нужное слово и закричал, наливаясь кровью:

— Дезертир! К чертутуту! Вещи к чертутутту!

Но у Степана нашлась защитница. Василиса Петровна стала между офицером и денщиком и сказала серьезно-тихо, потирая почему-то руки, покрытые тонкой, прозрачной кожей:

— Алеша! Не кричи на него. Он тебе жизнь спас!

— Не нужно! Не нужно! Не нужно... жизньньнь спасать!

Алеша быстро зашагал по комнате, размахивая костылями, оглядываясь на Степана страдающим глазом через плечо, и уже не находил слов. Мать испугалась, бросилась в кухню, принесла воду в большой медной кружке. Алеша пил воду жадно, но у него сильно заходила вправо и влево голова, и медная кружка ходила вместе с ней. У матери сбегали по щекам слезы. Она взяла сына за локоть:

— Успокойся, Алеша, какой он там дезертир! Ну, поживет у нас и поедет. Куда-нибудь поедет. Видишь, он говорит, что война кончена.

Алексей ничего не ответил матери. Он сидел на диване, вытянув больную ногу на костыле, и смотрел куда-то широко открытыми глазами. Это уже не были глаза его юности. Они были, как и раньше, велики, но по ним в разных направлениях прошли налитые кровью жилки, и они смотрели теперь с настойчивым мужским вниманием. Алеша поднял их к матери и приложил к губам ее руку, облитую не то водой, не то слезами.

— Ничего, мама, ничего,— сказал он.

Мать властно отняла у него костыли, склонила его плечи к подушке и протянула ему книгу, которую он читал раньше: «Дворянское гнездо». Он благодарно улыбнулся ей и нашел страницу.

В кухне ее поджидал Степан. Он присел на табуретке и продолжал ее работу,— чистил картофель.

— Как же теперь будет? — спросила мать.

— А? — широко улыбнулся Степан.— Как будет, никто не скажет. А только он обязан пофордыбачить. По службе обязан, потому что офицер и командир батальона. Это тебе не шутка. А только воевать кончено!

18

Василиса Петровна еще в первый день сказала Степану:

— Ты, Степан, не говори старику, что удрал с фронта, а то он у нас сердитый и порядок любит.

— Да я и не скажу, боже сохрани. Потом разве, когда привыкнем.

Василиса Петровна внимательно пригляделась к Степану, да так и не разобрала, кто к чему будет привыкать.

А только она напрасно беспокоилась о Семене Максимовиче. В первый же вечер, как только увидел он Степана и пожал его широкую руку, так и сказал:

— А, еще один воин? Удрал, такой-сякой?

— Нехорошо говоришь, хозяин, не по-военному. Не удрал, а отступил в беспорядке. А еще говорят: потерял соприкосновение с противником.

Семен Максимович иронически глянул на Степана, но было видно, что Степан ему пришелся по душе:

— Не понравился тебе противник?

— Не понравился, Семен Максимович, здорово не понравился. И связываться не хочу.

— Ты, видно, не дурак. Сколько тебе?

— Да вот скоро тридцать шесть будет.

— Не дурак.

— Да нет, Семен Максимович, не дурак.

На что уж суровый человек был Семен Максимович, а и тот улыбнулся:

— Где офицер наш?

— Его благородие в госпиталь поехал ночевать.

— Ну, давай ужинать. Садись, брат Степан... Как тебя по отчеству?

— Да это ни к чему.

— А говорил, не дурак. Как же это ни к чему? У русских людей так полагается: имя и отчество.

— А это смотря какие люди.

— Смотря какие! Люди все одинаковые. Чего я буду тебя без отчества звать. Ты ведь не мальчишка. А слуг у меня никогда не бывало, не привык я к лакеям. Да и ты человек, надо полагать, честный.

— Да в этом роде. Если так... Плохо лежит меньше тысячи, ни за что не возьму.

— А если больше?

— А если больше, не ручаюсь. Если больше,— может быть, какая-нибудь свинья положила.

Семен Максимович ставил на стол бутылку с самогоном и даже задержался:

— Ха! А ты и в самом деле не дурак, Степан...

— А Иванович.

— Степан Иванович. Садись. Самогонку пьешь?

— У хорошего хозяина пью.

— Только я больше двух рюмок не дам. Не жалко, а не люблю пьяных.

— Пьяных и я не люблю, Семен Максимович. Пьяный человек вроде как и на барина похож, потому что кричит, и вроде как на лакея, потому что все кланяется. И не разберешь, кто он будет.

— Ишь ты? Правильно. Так рассказывай, Степан Иванович, почему тебе неприятель не понравился.

— Да он все стреляет, а мне умирать не хочется.

— Смерти боишься?

— Смерти не боюсь, а умирать как-то расхотелось.

— А раньше хотелось?

— Да раньше как-то... ничего. Мне это говорят: умирай за веру, царя и отечество, ну, думаю... подходяще, за это можно.

— А потом?

— А потом разобрался, вижу, смерть моя, можно сказать, без надобности.

— Ну?

— Совсем без надобности. Первое...

— Первое, вот выпей.

— Ну, будь здоров, Семен Максимович и Василиса Петровна. Желаю вам, чтобы Алексей, поручик, поправился в добром здоровии — и чтобы на фронт больше не поехал.

— Поедет или не поедет, пока помалкивай, а за здоровье выпьем.

— Выпьем. Хороший он человек. Свой человек. И солдаты его любили, да... вот... пропали все.

— Так первое, говоришь?

— Первое — за веру. Теперь я так вижу: если люди верят, пускай себе верят. От немцев для веры никакого урону. Чего тут защищать. А если люди потеряют веру, так тоже ничего страшного. Пугают там разными адами, а я так думаю, что и там рабочему человеку место найдется. Да я тебе и так скажу: у нас в батальоне и евреи были, и магометы, и католики. Черт его разберет, какую тут веру защищать. Так я и решил, что без меня, пожалуй, будет спокойнее.

— Так. Дальше!

— Дальше: его императорское величество. Тут люди свои, рабочие. Видишь, защищать царя поставили нас сколько миллионов. Все мы царя защищаем, а он себе сидит в ставке и никакой ему опасности. И сколько всяких войн ни было, нашего брата целыми полками в землю втаптывали, а царям что? Цари всегда помирятся, у них обиды нет — один к другому. И выходит так: будто мы тонем, а царь сидит себе на берегу, чай пьет, а нам еще и кричат: «тони веселей, царя спасай!» Я так и решил, что мне в это дело лучше не вмешиваться.

— Лучше не вмешиваться?

— Лучше. Вильгельм и Николай и без меня помирятся как-нибудь.

— Так. А отечество как же?

— Отечество, Семен Максимович, это, конечно, так. Я его два с половиной года спасал, а потом уже и запутался,— не разберу, от кого его спасать нужно. Как положили наш полк целиком, да и не один наш, так я и подумал: где этот самый враг? Немец или кто другой?

— А если на твою деревню немцы полезут?

— У меня никакой и деревни нет, Семен Максимович. А если полезут, надо как-нибудь иначе. Народ у нас не любит, когда к нему лезут. А вот теперь народ обозлился, только видишь, не на немцев.

— А на кого?

— Да черт его знает? На всех. Сейчас, если бы только старший нашелся... ого!

— Война надоела?

— И война надоела, и жизнь надоела. До ручки дошло. Говорят, раньше были войны, и воевал народ, и генералы были, а сейчас все пошло прахом. Россия вроде как перемениться должна, а такая уже не годится в дело.

Долго еще Семен Максимович толковал со Степаном, а больше слушал.

На глаза Алексею Степан старался не попадаться, и Алеша делал такой вид, как будто он ничего не знает и не знает даже того, что Степан вот здесь живет в кухне, самое деятельное участие принимает в домашнем хозяйстве, ходит на базар. Не заметил как будто Алеша и того, что на Степане появились сначала его старая «реальная» блуза с золотыми пуговицами, потом и его старые штаны. У Степана была циклопическая шея,— воротник блузы не мог достать петлями до пуговиц, и поэтому даже зимой Степан имел такой вид, как будто ему страшно жарко. Степан всегда был в прекрасном настроении и даже пел. Голос у него был обыкновенный солдатский, и тихо петь было ему трудно. Пел все одну любовную песню, в которой с особенной нежностью выводил:

«На моих засни коленочках...»

Как ни старался Алеша игнорировать существование Степана на кухне, даже сапог свой сам чистил, чтобы не

пользоваться услугами, а пения Степана не мог не заметить и, наконец, возмутился открыто в другой комнате:

— Черт! Коленочки! На этих коленочках дрова рубить только!

Степан очень обрадовался Алешиному голосу и подошел к дверям:

— Может, отставить, ваше благородие?

Алеша поднял плечи на костылях и обратил к Степану большие свои, серьезные глаза:

— Чего это ты про любовь распелся?

— А про что петь, ваше благородие?

Алеша повел губами и тронул правый костыль, отворачиваясь от Степана:

— Не о чем сейчас петь.

Степан ступил шаг вперед и прислонился к наличнику.

— Ты это напрасно, Алексей Семенович, на себя тоску нагоняешь. Ты думаешь, как нас побили, так и беда? А может, иначе как обернется?

Алеша опустился на диван и задумался, не выпуская из рук костылей. Потом сказал тихо:

— Нет, не обернется. Мы уже не побьем. Уже кончено.

— У меня было... такой случай был. Работаю я на херсонщине, у хохла богатого. И он, собака, натравил меня на одного парня, из-за бабы все. Я на парня и полез с кулаками. А он меня и отдубасил, да еще как, два дня лежал. А только поправился, сам у этой бабы поймал на месте не своего соперника, значит, а хозяина. Ну, я тут такой прорыв сделал, даже другие люди жалели хозяина. Видишь?

— Ты это, собственно говоря, к чему? — спросил Алеша.

Выпятив локоть, Степан почесал бок и посмотрел на Алешу денщицким взглядом,— домашним, послушным и даже чуточку глуповатым:

— Да ни к чему, ваше благородие, а к примеру. Вот нас немцы побили, а нам обидно. А только это напрасно. Придет время,— и мы кого-нибудь побьем.

— Кого-нибудь? Кого это?

— Да подвернется кто-нибудь. Сначала другой какой немец или, скажем, турок, японец также, а может, еще кто?

— А может, и хозяин?

Степан раскурил цигарку и выдул дым в дверь, ничего не сказал, как будто не заметил вопроса.

— Ты слышал? Кто подвернется? Может, и хозяин?

Степан наморщил лоб и серьезно захлопал глазами, а потом скривился: куда-то попала ему махорка. И ответил с трудом, поперхнувшись дымом:

— Хозяин — это редко бывает, но бывает все-таки. Вот у меня, видишь, был случай и с хозяином.

— У тебя? А у меня кто хозяин? Кого бить?

— Мне тебя не учить, Алексей Семенович, ты сам ученый. А хозяев у тебя, голубчик, много. Если захочешь бить, искать не долго придется. А может, и за меня кого отдуешь.

— И за тебя даже?

— И за меня.

— И это ты говоришь мне, офицеру?

Степан улыбнулся грустно:

— Да чего, Алексей Семенович, какой ты офицер? Тебя вот изранили, душу тебе повредили, а война кончится, тебе никто и спасибо не скажет. А батько твой кто? Такой же батрак, как и я.

— Ну... хорошо... спасибо за правду. А только ты дезертир,— это плохо. Честь у тебя должна быть, а у тебя есть честь?

— Честь у меня, Алексей Семенович, всегда была. Была честь куска хлеба не есть. А теперь тоже не без чести: если поймаю кого, по чести и поблагодарю.

Алеша задумался и не скоро сказал Степану:

— Ну... добре... иди себе, отдыхай, дезертир.

19

В середине зимы приехал с фронта Николай Котляров и засел в своей хате безвыходно. Говорили на Костроме, будто он совсем рехнулся: сидит и молчит, не ест и не пьет. Алеша в воскресный морозный день направился к хате Котляровых.

Алеша уже научился говорить, только голова иногда шутила, да рваная рана на ноге заживала медленно. И костыли у Алеши не сосновые, а легкие бамбуковые, и лицо порозовело, и волосы стали волнистые. Только в выражении его лица легла постоянная озабоченность.

И даже костыли Алешины научились шагать с какой-то деловой торопливостью.

У Котляровых тоже была своя хата и тоже на две комнаты. В первой, в кухне, копошилась мать Николая и Тани, очень напоминающая Таню, но в то же время и очень ветхая, сморщенная, маленькая старушка. У печи сидел на корточках и раскалывал полено на щепки широкоплечий, коренастый мужчина,— старый Котляров. Увидев Алешу, он отшвырнул остатки полена и щепки к стене, переложил косарь в левую руку, а правую, растрескавшуюся и обсыпанную древесным прахом, протянул Алексею.

— Ты погляди, Маруся: красивый из него военный вышел, а ведь нашего корня веточка.

Старушка, которую он назвал Марусей, маленькая, нежная, слабенькая, смотрела на Алешу радостно:

— Бог тебя спас, Алешенька. Хоть и хромой будешь... Не поедешь больше, не надо!

— Где Николай? — спросил Алеша.

Котляров озабоченно тронул рукой прикрытую дверь и так и оставил на ней руку. Сказал приглушенно:

— Я сам за тобой идти хотел, Алексей. Не знаю, что с ним делается. Тут и Павло прибегал, говорил, говорил, говорил с ним, а потом выругался чего-то и убежал. Может, ты с ним поговоришь?

— А какой он вообще?

Старушка придвинула табуретку, покосилась на дверь, зашептала:

— И не разберем. И не ранен. Целое все. А билет увольнительный *насовсем*. Ничего не рассказывает. Молчит. Хоть бы плакал или сердился, а то ровный такой.

— Читает?

— Нет, не читает. Павел принес ему каких-то книг, не читает.

Старушка с пристальной надеждой смотрела в глаза Алеши. Алеша поднялся на костыли, глянул на старушку ласково и сказал:

— Ничего, все пройдет. Я сам такой приехал.

— Да слышали, слышали, как же!

Во второй комнате стоял Николай и смотрел на огонь в печи. Он медленно повернулся к Алеше, не сразу узнал и, по солдатской привычке, вытянул руки по швам,

но потом на его бледном веснушчатом лице пробежала вялая улыбка. Он протянул руку и подождал, пока Алексей выпутал свою из переплетов костыля.

— Здравствуй, друг,— сказал Алеша весело, хотя голова его и начала пошатываться справа налево.

Николай молча пожимал руку Алексея и с той же улыбкой смотрел на его погоны. Алеша направился к деревянному дивану, устроился на нем и хлопнул рукой рядом. Николай как-то особенно нежно и неслышно, как будто не касаясь земли, передвинулся к дивану и легко опустился на него, глядя на гостя с той же вялой улыбкой.

— Почему тебя отпустили, Коля?

Николай отвел в сторону задумчиво улыбающиеся глаза и прошептал с таким выражением, как будто он вспомнил далекую прекрасную сказку:

— Я не знаю.

— Чего ты не знаешь?

— Я ничего не знаю,— произнес Николай с тем же выражением.

— Почему ты не офицер? Ведь тебя должны были послать в школу прапорщиков?

Николай задумчиво кивнул головой.

— Тебя послали?

— Посылали.

— Ну и что?

Николай перестал улыбаться, но ответил с безразличной пустой холодностью, как будто язык его сам по себе привык отвечать на разные вопросы:

— Меня потом откомандировали в полк.

— Почему?

Алеша спрашивал громко, энергично, гипнотизировал Николая решительным поворотом больших, серьезных глаз.

— У меня все было не так: строй не такой. Командовать не умел. Там все такой народ был веселый. А я не подошел.

— А в полк подошел?

— Подошел.

— Так неужели ты не знаешь, почему тебя освободили? Почему ты не говоришь? Говори, Коля, не валяй дурака, говори!

Алеша взял Николая за плечи и крепко прижал к себе. Худенький, мелкий Николай в старенькой выцветшей гимнастерке совсем утонул в широких Алешиных плечах. Но Николай по-своему воспользовался этой близостью, он прижался к Алешиному плечу отросшей щетиной солдатской стрижки и ничего не ответил.

— Ты был в бою?

Николай вдруг оттолкнулся головой от Алешиного плеча, вскочил с дивана и устремил на Алешу пронзительно-воспаленный взгляд голубых глаз:

— Не нужно это... бой! Понимаешь, не нужно! Это царю нужно, генералам нужно, а народу не нужно...

Алеша мелкими неслышными толчками зашатал головой и прищурил глаза на Николая. Николай еще долго говорил, все громче и возбужденнее. Из кухни тихо приоткрылась дверь, выглянуло испуганно-внимательное лицо матери и быстро спряталось.

20

А еще через неделю Семен Максимович стоял посреди комнаты с палкой — забыл ее поставить в угол,— непривычно задорно смотрел на Алешу и непривычно собирал веселые складки у глаз:

— Убрали-таки этого нестуляку! А? Словчился народ! Что ты теперь скажешь!

В дверях стоял Степан и поддерживал Семена Максимовича широкой улыбкой:

— Переменяется Россия. Теперь по-другому пойдет!

Но известие о конце империи не произвело на Алешу никакого впечатления. Он задумчиво смотрел куда-то, и красные жилки в его глазах сделались еще заметнее и краснее.

Семен Максимович присмотрелся к сыну и спросил строго:

— Ты чего это надулся? Может, Николая жалко?

Алеша улыбнулся:

— Ты что это обрадовался, отец? Сам, помнишь, говорил: республика — все равно. Ну, вот тебе и республика: Родзянко, князь Львов. Доволен?

Семен Максимович сел на край стула, поставил палку

между ног, на палку положил длинные свои прямые пальцы:

— Языком пока говоришь,— все равно, а на деле как-то иначе выходит. Ты смотри: сегодня первый день, а уже на заводе все друг друга товарищами называют. И флаги какие? Красные. Это тебе не все равно. А завтра Совет выбираем.

— Какой Совет?

— Совет рабочих депутатов.

Алеша сразу поднялся на костыли, заходил по комнате, остановился против отца, обрадованный:

— Ты серьезно, отец?

— Не будь балбесом. Я тебе не серьезно что-нибудь говорил? Выбирают совет, и меня в совет уже приговорили.

Алеша задумался и... весело:

— Да! Дела большие!

Степан заржал, как будто жеребец со двора вырвался:

— За хозяев взялись, за хозяев! Ах ты черт, где ж моя амуниция военная?

Он полез на кухню, там о чем-то громко кричал с Василисой Петровной, хохотал и требовал свои военные доспехи: гимнастерку и штаны. Василиса Петровна улыбалась и спрашивала Степана:

— Куда ты собираешься, Степан Иванович?

— Это я приготовлю. Воевать буду.

— С кем воевать?

— А там будет видно. Найдем с кем.

— Смотри, как бы тебя не нашли,— сказал Алеша, выходя в кухню.— Царя скинули, а дезертиры остались.

— Да какой же я дезертир? Царю присягу давал, а царя — по шапке.

— А теперь народу будет присяга.

— Ну, народу другое дело. Народу мир нужен, а может, и еще что. Народ — это дело справедливое!

21

Алеша целый день бродил по улицам, провожал все демонстрации, заходил на все митинги, заговаривал с каждым прохожим, присматривался к каждому встреч-

ному. Надежда Леонидовна по вечерам ссорилась с ним и возмущалась:

— Что это такое?! Вы раненый или нет? У вас еще рана не зажила, а вы целый день по городу бегаете! Я вас привяжу к постели.

Но Алеша отвечал ей:

— Все равно и здесь по комнате буду ходить. Усидеть сейчас невозможно, Надежда Леонидовна. Сдвинулся народ с места, понимаете?

— Сколько вам лет?

— Мне лет? Двадцать три.

— Господи, как мало! Тогда вам действительно трудно усидеть на месте. А все-таки я вам не позволяю так много бродить.

— Ну, хорошо, я пойду в гости.

— В гости идите.

Алеше почему-то вдруг захотелось побывать у Остробородько,— там всегда самые свежие новости, можно увидеть и Нину Петровну. На нее тянуло посмотреть, как на хорошую картину на хорошей выставке.

У Остробородько действительно сидел и разглагольствовал доктор Васюня, только что прибывший из Петрограда, куда он ездил за хирургическими инструментами для Кавказского фронта.

— Ничего понять нельзя,— говорил Васюня.— Народ, ну его к черту, просто с ума сошел. Все ходят, кричат, галдят, как будто оглашенные. Теперь его скоро не остановишь. Большую узду нужно, чтобы взять в руки. А кто возьмет? Ах, какой глупый этот Михаил! Теперь сразу нужно было из рук в руки корону брать. Наш народ такой: еще и «ура» кричали бы, на руках носили бы. Такая красота:

«Божиею милостью, мы, Михаил Второй, император и самодержец всероссийский».

Васюня водил пальцем по воздуху и изображал этот торжественный текст. На него смотрели прищуренные глазки Петра Павловича Остробородько:

— Ничего вы не понимаете, Васюня. У нас не такой народ. У нас без бенефиса не обойдется.

— Какой же бенефис?

— А вот увидите: по старым программам, но первый раз в этом городе. Панам попадет. У нас ведь, если что, всегда панов били. Правда, Алексей Семенович?

— Да, панов будем бить,— улыбнулся Алеша.

— Вот видите? — Петр Павлович протянул возмущенную руку.— Это говорит офицер, георгиевский кавалер, герой. А что скажет мужик?

— В самом деле будете панов бить? — заинтересованно спросил Васюня и направил на Алешу свои маленькие глазки.

— А как же! — ответил Алеша с прежней улыбкой.

— Для чего? — спросил серьезно Петр Павлович.

— Сначала для удовольствия, потом для дела.

— Ну, и что?

— Хорошие дела готовятся. Подождите несколько месяцев.

— Удирать нужно?

— Вам зачем удирать?

— Меня тоже могут за пана посчитать.

— Ну, какой вы пан? Вы — доктор, человек трудящийся.

— Бить панов это всегда значило бить и культуру.

— Положим, далеко не всегда.

— Вы сейчас же закричите: буржуазная культура! Вы большевик? Ваш Ленин уже в Петрограде? Да?

— Я пока что инвалид, Петр Павлович.

Петр Павлович стоял посреди комнаты и сыпал возмущенными вопросами, острыми взглядами и плюющимися мокрыми словами. Нина Петровна сидела у самовара, заботливо опускала и подымала глаза над пустыми и полными чашками и ласково поглядывала на Алешу. Она сказала:

— Довольно вам кричать. Чего вы напали на больного человека! Идите сюда, Алеша, бедненький. Я вам сейчас дам ваши подпорки.

Она заботливо перевела Алешу поближе к себе и приблизила к нему милое, мягкое и нежное свое лицо. Васюня и Петр Павлович о чем-то снова оглушительно заспорили.

— Расскажите что-нибудь, Алешенька,— сказала Нина.

Алеша поднял на нее большие глаза:

— Что же рассказать, Нина Петровна?

— Расскажите что-нибудь счастливое.

— Не знаю, Нина Петровна, с чего начать.

— Тогда я вам расскажу. Только никому не говорите.

Она наклонилась к нему, и по Алешиной щеке загуляли кончики ее нежных золотых волос:

— Алеша, только никому не рассказывайте. Я не люблю этого поповича. И не пойду за него замуж. Я хотела идти в сестры милосердия, а он написал: не нужно. Он — попович, понимаете, у него и душа поповская, расчетливая.

— Где он сейчас? — тихо спросил Алеша.

— Он получил все, что полагается. Где-то при интендантстве. Получил капитанский чин. Но он не военный. Он только вид такой делает, что он военный. Он — попович. И его солдаты убьют, обязательно убьют. Он попович, а хочет быть барином. Его все равно солдаты убьют.

— Нина, почему вы мне об этом говорите?

— Мне больше некому сказать. А кроме того, еще есть одна важная причина. Я даже хотела идти к вам в госпиталь, а потом стало стыдно. А теперь уже не стыдно.

Нина Петровна все это говорила спокойно, ничего не изменилось в ее лице, даже улыбка осталась та же: нежная.

— А вы написали ему, что не любите его?

— Я еще не написала. Все папу как-то жалко. Это его мечта. Хотя теперь это уже не модно.

— Что не модно?

— А вот за поповича выходить.

— Пожалуй, что и не модно.

— А вы будете архитектором, Алеша?

— Вероятно.

— А за архитектора выходить модно?

Алеша, улыбаясь, присмотрелся к ее лукавому взгляду:

— В общем, это ничего.

— Я пошутила, Алеша.

— Я понимаю.

— Вы скажите: что мне делать? Я страшно хочу что-нибудь хорошее делать. Разве в учительницы пойти? Как вы думаете?

— Нет, в учительницы не нужно.

— Почему?

— У вас не выйдет.

— Это верно, что не выйдет. Все равно замуж кто-нибудь возьмет. Вот еще горе. Отчего я такая женственная, скажите.

— Разве это плохо?

— Да. Мне не нравится. От поповича откажусь, кто-нибудь другой явится. Интересно все-таки, кто меня возьмет замуж. А теперь такое интересное время начинается.

— Вы думаете, что интересное?

— Голубчик мой, так видно же! Вы не думайте, что я такая пустая или такая, как Борис. Я хочу что-нибудь делать. Наверное, пойду в учительницы. Скажите, Алеша, почему это так глупо: как женщина, так и в учительницы. А если я не хочу никого учить?

Алеша не ответил. Она еще немного подумала над своим тяжелым положением, потом встряхнула хорошенькой головкой и сказала капризно:

— Васюня, что же это такое! Почему никто чаю не просит?

22

И сейчас возвращался Алеша таким же поздним вечером, и сейчас было так же тревожно вокруг, как и в тот вечер. Теперь на Алеше тоже были оба сапога, но ему еще не разрешали становиться на больную ногу. Впрочем, он привык к костылям, привык поджимать больную ногу, ему даже не хотелось расставаться с ними. Он решил дойти до главной улицы и там взять извозчика.

Алеша не спеша переставлял костыли, чтобы не попасть в ямку на тротуаре. На темной улице, освещенной очень редкими фонарями, почти никого не было. Встречалась изредка парочка, привлеченная на улицу первыми днями весны, да изредка пробегал одинокий человек и испуганно бросался в сторону, обходя его костыли. Алеша вдруг почувствовал особый уют в своем неспешном одиноком движении.

Было очень много вопросов, над которыми нужно было подумать. Раньше было все-таки ясно. Нужно было

сидеть в окопах, писать рапорты, иногда сидеть под обстрелом и ждать смерти, иногда идти в атаку, нести вперед страх смерти и угрожать револьвером тем, у кого этот страх слишком вылезал наружу. Все это нужно было делать потому, что этого требовали долг и уважение к себе и глубокая уверенность, что за плечами лежит родина — Россия, что на огромных ее пространствах все уверены в его чести. Все было ясно, а что было неясно, то нужно было отложить на завтра, в том числе отложить и мысли о многих безобразиях на фронте, о лени, трусости, даже о разврате и пьянстве офицеров, о возмутительном чечевичном рационе, о бесталанном командовании, о проигранной войне. Часто все это было до боли отвратительно и мерзко, часто от этого притуплялся даже страх смерти, но все-таки все было ясно: главное и первое — дисциплина и война, его человеческая честь, его достоинство и уважение к себе. И поэтому нельзя было ни закричать в отчаянии, ни удрать с фронта, ни пойти в плен. И Алеша привык гордиться этой своей гордостью и привык взнуздывать себя, когда начинали гулять нервы.

Так было раньше. А сегодня как-то не так. Сегодня все не так. В Петрограде еще кричат: «до победного конца», но уже ясно, что победы не будет и что в победе нет радости. И вопрос о гордости требовал пересмотра.

В светлом пятне, освещенном окном домика, выросла высокая фигура солдата. Солдат быстро посторонился и с почтением к раненому приложил руку к козырьку. Правая рука Алеши по привычке хотела подняться ответным движением, но остановилась на полдороге, и Алеша крикнул:

— Сережа! Сергей!

В замешательстве Алеша ступил на больную ногу и вскрикнул от боли. В этот момент Богатырчук крепко обнял его вместе с костылями и горячим поцелуем впился в его губы:

— Алешка! Милый мой! Красавец мой!

Сергей целовал его губы, щеки, лоб, он обращался с ним, как с девушкой.

— Да ну тебя, сдурел,— засмеялся Алеша и нашел, наконец, свои подпорки.

— Идем,— сказал Богатырчук.— Идем куда-нибудь!

— Да куда?

— Идем, вот тут сквер.

— Да там народу много.

— Стой, вот тут я проходил, скамеечка такая славная. Ох ты, калека моя родная!

Скамеечка оказалась действительно славной. Была для нее сделана специальная ниша в заборе, и распускались перед ней сирень и еще какие-то кусты. Здесь у чужого двора и расположились друзья.

— Алеша, я тебя целый день искал. Дома был, в госпитале был. Чего ты шляешься? Что это? Ты и ранен? Мне говорили,— контужен. Это на владимирско-волынском направлении? Здорово тебя покалечили.

— Здорово. Буду хромать. И с нервами плохо. Заикаюсь вот, и голова ходит, особенно если разволнуюсь. И болит часто. И вообще это надолго; говорят, ни пить, ни курить, ни за барышнями не ухаживать, не расстраиваться.

— Так ты и не расстраивайся.

Алеша улыбнулся.

— Не такие времена.

— Ох, и времена, друг! До чего времена замечательные. Я хожу и смотрю, и слушаю, думаю, такая жалость: и это забуду, и это забуду.

— Сергей, расскажи подробно: что случилось в военном училище? Почему тебя солдатом выпустили?

— Шпионили, дряни. А я не очень умею язык за зубами держать. Понятное дело. Да я не жалею. Зато теперь хорошо. Я прямо уморился. И туда поспеть, и сюда поспеть! В Киев попал, как раз валил памятник Столыпину. А на нем, понимаешь, написано: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Сволочи, еще и на памятнике написали,— «великая Россия»! Но зато и потрясения, брат, будут, прямо голова кругом идет.

Алеша слушал, склонив голову, и молчал. Сергей на месте сидеть не мог, то быстро поворачивался на скамье, то вставал, то пробовал ходить.

— Мороки много будет. Офицерня, между прочим, гадко держится. Я понимаю, еще дворянчики или там кадровые, тем, конечно, иначе и не приходится, но какого

черта прапорщики эти лезут. Такое же пушечное мясо, как и мы. А туда же, воевать им хочется.

— А как же, по-твоему? Просто удирать с фронта?

— Удирать нельзя. Зачем удирать? Надо мир. Народ не хочет воевать. Баста, есть дела поважнее.

— А если немцы все заберут?

— Да брось, Алешка, чего они там заберут. Они рады будут, только отвяжись от них.

— Ты — большевик? — спросил Алеша.

— Большевик. И председатель дивизионного комитета.

— С немцами братаешься?

— Братаемся, и еще как. Да постой, а ты как же думаешь? Ты что — с офицерами? Какая у тебя компания?

Алеша поцарапал концом костыля землю:

— Ты, Сергей, брось этот тон,— резко сказал он.— Здесь не митинг, и никакой у меня компании нет. Я здесь один, видишь, раненый, разбитый, через месяц мне дадут чистую; офицером я не буду и на фронт больше не пойду. И не забывай: мой отец токарь, я отцу никогда не изменю, да он же еще и член Совета рабочих депутатов, наверно, тоже в большевики пойдет, хоть и старый. Да ведь ты отца знаешь.

— Еще бы не знать!

— Ну, вот, а ты мне растолкуй, раз ты комиссар. Как у вас дело с честью обстоит?

— С какой честью?

— С обыкновенной человеческой честью?

— Не понимаю.

— Ты что, тоже бросил фронт?

— Нет, я не бросил. Я в отпуск.

— А можешь бросить?

— Как это, просто удрать?

— Ну да, вот как мой денщик. Взял и удрал.

— Тайно?

— Да один черт, хоть и явно.

— Чудак, так ведь я большевик.

— Ну, так что?

— Если партия скажет: бросай — брошу. Скажет: дерись — буду драться. За революцию будем драться, Алеша!

— А честь?

— Вот здесь и честь. Своим не изменю.

— А России?

— Да какой России? Мы и есть Россия.

— Это какая же Россия? Маленькая? То была великая, а теперь маленькая?

Богатырчук засмеялся:

— Ты, действительно, больной. Потом разберешь. Если бы ты был сейчас на фронте, сразу бы разобрал. Ну, идем... на нашу великую... Кострому.

23

Весной приехала из Петрограда Таня.

В первый же вечер они с Павлом пришли к Алексею. Павел стоял в дверях, черный и сумрачный, и хмуро наблюдал сцену встречи. Таня быстро подошла к Алеше, положила руку на его рукав. У Алеши вдруг заходила голова, он попробовал улыбнуться, но улыбка вышла страдальческая, тревожная. Таня посмотрела ему в глаза, вдруг опустила голову на его грудь и заплакала горько и громко, никого не стесняясь. На ее рыдания из кухни вышла Василиса Петровна, оттолкнула в дверях хмурую фигуру Павла и бросилась к Тане. Она легко оторвала ее от Алешиной груди, обняла за плечи и повела к дивану.

— Танечка, успокойся, милая, что с тобой?

Таня натирала кулачками глаза и с облегченным вздохом, похожим на улыбку, опустилась на диван и прислонилась щекой к плечу Василисы Петровны. Алеша с трудом поворачивался на костылях и с серьезной, больной озабоченностью смотрел на женщин, не замечая Павла.

— Вы простите меня, это я, наверное, оттого, что две ночи в дороге не спала! Вы знаете, как трудно теперь ездить. А дома еще и Николай...

Таня виновато улыбалась и не могла оторвать взгляда от лица старушки. Таня, действительно, сильно похудела, почернела и побледнела в одно и то же время, но тем сильнее блестели ее глаза, и губы ее казались сейчас полнее и ярче.

— Как же твое здоровье? — спросила Таня, подняв на Алешу глаза.

Алеша только крепче сжал губы и ничего не ответил, за него ответила мать:

— Плохо его здоровье, Танечка. Смотрите, голова у него гуляет. И рана никак не может зажить. А он еще такой непослушный, все бегает и бегает. Непоседа такой. Испортили мне сына, Танечка.

Мать была рада пожаловаться женщине и поплакать. Алеша посмотрел на мать с выразительным негодованием, но потом махнул рукой и подошел к Павлуше.

— Видел Сергея? — спросил Павел.

— Видел,— ответил Алеша серьезно.— Он теперь большевик.

Павел сверкнул зубами и поднял вдруг повеселевшее лицо:

— Да, молодец! Я тоже вступаю. У нас уже четыре большевика на заводе. Да на железной дороге три. Семь. Уже семь!

— Да,— сказал Алеша как будто про себя.— Николай работает?

— Да, поступил.

— Здорово его попортили.

— Разве его одного? И тебя вот.

— И меня. И все даром.

— И все даром,— подтвердил Павлуша тихо.

— Ты спокойно об этом говоришь?

— Я говорю так, как и ты.

— Ну, знаешь, ты не можешь так говорить. Ты не пережил этого ужаса и не пережил... ты не пережил... этой...

— Ты хочешь сказать, что я просидел в тылу?

— А что же,— конечно, просидел.

— Хорошо. Я просидел. А Сергей?

— Я про Сергея не говорю. Я с тобой говорю. Я имею право тебе сказать.

— Я слушаю, Алеша.

— Ты не знаешь, что такое идти в атаку под ураганным огнем и за тобой — батальон. В этом есть человеческое достоинство. Мой полк лег в одну ночь. Четыре тысячи человек. Ты понимаешь?

Они уже не говорили тихо, они забыли, что на диване их слушают женщины. И были очень удивлены, услышав слабый голос матери:

— Алеша, зачем ты все вспоминаешь свой полк. Не нужно об этом думать. Погиб твой полк, на войне всегда так бывает.

— Да, да, вот оказывается, что это никому было не нужно.

— А что ж, не бывает так, Алеша? Страдают люди, страдают, а, глядишь, никому это и не нужно. И какая же польза от страдания? Разве только на войне? А сколько кругом людей страдает, а подумаешь: для чего страдали? И я вот жизнь прожила не сладко. Моего отца, твоего дедушку, бревном убило на пристани, всю жизнь бревна таскал, и жили впроголодь, страдали, детей не учили. И я вот неграмотная, темная,— только и видела, что кухня да нужда. А многие люди и хуже жили. А в деревне как живут: черный хлеб, только и всего, а больше ничего в жизни и не видят. Все люди страдают, а кто об этом помнит? Никто не помнит, забывают люди: у кого свое горе, а кому и так хорошо. Моего отца бревном убило, а Мендельсон богатым человеком сделался.

Мать говорила, сложив сухие сморщенные руки на коленях, покрытых изорванным бедным фартуком. Ее лицо чуть-чуть склонилось набок, выцветшие серые глаза смотрели печально. Она умолкла и осталась в той же позе: бедственные картины трудовой жизни проходили перед ее душой в этот момент, не вмещаясь в словах.

Алеша быстро подошел к ней, наклонился, поцеловал руку:

— Правильно, мамочка. Правильно. Это я — так... Все думаю: если Россия не нужна, зачем я нужен.

— Россия нужна,— сказал медленно и сурово Павел.

Алеша повернул к нему лицо, не подымая головы.

— Нужна?

— Нужна. Вот увидишь, какую мы сделаем Россию! Настоящую сделаем. Такая будет Россия! Тогда никому не придется умирать даром, и будет за что умирать. Это мы сделаем.

— Кто это вы?

— Мы — рабочий класс.

— Мы сделаем?

— Да.

— А кто нас поведет?

— Ты знаешь, что Ленин уже в Петрограде?

— Знаю.
— Мало тебе?
— Мало, Павлуша. Это один человек.
— А что тебе нужно?
— Я не знаю.
— А когда ты узнаешь?
— Я... наверное, скоро узнаю. Если бы мне... поехать, посмотреть. Здесь на Костроме как-то не видно.

Таня собралась уходить. Она подошла к Алеше, взяла его под руку, отвела в сторону:

— Ты скорее поправляйся. Милый мой! Скорее выздоравливай.

24

Иногда Алеша ночевал в госпитале, там у него была койка. Он каждый день ходил на перевязку, на разные процедуры. В госпитале почти не было больных, поступление контуженных с фронта прекратилось. Только на другой койке по целым дням сидел артиллерийский капитан, худой и высокий, с носом, далеко выдвинутым вперед. Под носом у него висели тяжелые, плотные усы. Даже летние дни не тянули капитана на улицу, он сидел, набивал папиросы и думал. Когда приходил Алеша, он говорил:

— Сказали, что через десять дней выпишут, и то, если будет лучше. Разве в этом городе будет лучше?
— А куда вам хотелось бы? Куда вы хотите ехать?
— Куда я хочу ехать? У меня нет ни имения, ни жены, ни родственников. Поеду в какую-нибудь команду выздоравливающих. Место спокойное, никому не нужное.
— А воевать?
— Э, хитрый какой поручик! Воевать довольно. Служить адвокату какому-то паршивому?
— Не адвокату, а народу.
— Народу? Поручик, бог с вами, на что я народу сдался. Народ теперь сам с фронта бежит, только пятки сверкают.
— А Россия?
— Была, да вся вышла ваша Россия.
— А что же есть, по-вашему?

— Ничего нет. Сплошная команда выздоравливающих. Вот, может, переболеют, выберут царя, станут опять жить. А без царя какая Россия?

Алеше капитан не нравился. Поэтому, бывая в госпитале, Алеша старался проводить время на улице.

В один из жарких июньских дней он долго сидел в палисаднике, потом вышел на тротуар и остановился у входа в госпиталь, рассматривая прохожих. Прохожих было немного, и они не мешали Алеше думать. Думы были все такие же взбудораженные.

Прошла парочка — молодой человек в соломенной шляпе и тонкая девушка с бледным лицом. Девушка посмотрела на Алешу и не заметила его, как не заметила ни ворот, ни убегающей дорожки палисадника. Потом прошла женщина с ребенком на руках, а за нею показался взлохмаченный, без шапки, угрюмый человек. Он шел быстро, его ноги, обернутые в какое-то тряпье, шлепали по кирпичам тротуара с каким-то неприятным, шершавым шумом, но человек не обращал на это внимания. Он шел, опустив голову, а руки заложил за спину. Совершенно ясно было, что он не пьян, хотя, может быть, и выпил немного. Алеша заинтересовался человеком и внимательно следил за ним. За несколько шагов до Алеши человек поднял голову и прямо пошел на него. У человека — небритое лицо кирпичного цвета и мохнатые светлые брови. Подойдя к Алеше, он вдруг с силой топнул ногой и прохрипел:

— А! Стоишь, паскуда, красуешься?

Не успел Алеша услышать эти слова, как человек быстро поднял руку и дернул за левый погон. Погон он оторвал только с одного конца, но Алеша не удержался на костылях и повалился вперед. Человек отступил, дал ему упасть, потом круто обогнул Алешу и зашагал дальше, по-прежнему заложив руки за спину.

25

Подбежавшие люди нашли Алешу в обмороке и унесли в госпиталь. У него была сильно ушиблена голова, и когда он пришел в себя, к нему возвратились прежнее заикание на последних слогах и частые головные боли.

Врачи постановили, что в течение месяца он должен лежать, меньше говорить и еще меньше волноваться.

Семен Максимович пришел к Алеше на другой день и долго молча сидел у постели, сухим холодным взглядом посматривая на капитана, сидящего на своей кровати и набивающего папиросы. Потом кашлянул и сказал спокойно:

— Тебе сказано не волноваться. А я тебя считаю мужчиной. Это хорошо, что с тебя погоны сорвали. К чертовой матери, так и нужно...

Алексей молча смотрел на отца с подушки, но капитан, не отрываясь от своей работы, сказал:

— Кто смеет говорить, что правильно?

— Я смею,— ответил Семен Максимович и, захватив рукой усы и бороду, разгладил их книзу.

— А кто вы такой будете?

— А я вот отец этого... молодого человека.

Капитан посмотрел на Семена Максимовича, надул губы и внимательно протолкнул палочку в гильзу. Семен Максимович продолжал:

— Воевать тебе все равно не придется. Так?

— Воевать, видимо, не придется.

— Хватит. А погоны тебе не нужны. Запомни, что я сказал.

— Запомню,— сказал Алеша тихо.

— Хорошо. Будь здоров.

— Будь здоров. Мать не пугай.

— Учи меня еще.

Семен Максимович зашагал к выходу. Капитан проводил его взглядом и кивнул.

— Кто он такой, ваш отец?

— Токарь.

— Токарь?

— Токарь.

— Ваш отец?

— Мой отец.

— А-а!

— А что?

— Пускай,— сказал капитан.— Я не возражаю. Команда выздоравливающих.

Алеша повернул к нему лицо и сказал серьезно:

— Капитан, вы поглупели, голубчик!

— Поглупел? Не возражаю. В порядке вещей. Говорят, и генералы теперь поглупели. А вы все-таки не говорите лишнего, потому что... потому что вам запрещено.

26

В тот же вечер пришла к Алеше Нина Петровна. Он так удивился ее приходу, что даже не сразу ее узнал, потом вскрикнул:

— Нина!

Нина быстро села на стул.

— Молчите. Господин офицер!

— Готов служить, сударыня,— капитан уже стоял на ногах и поправлял пояс.

— Пойдите, погуляйте полчаса.

— Слушаю и понимаю.

Нина прищурилась на носатого капитана:

— Как вы плохо воспитаны. Как можно так опуститься.

— Сударыня!

— Как вы смеете понимать? Что вы понимаете? Вы должны только слушать!

— Слушаю.

— И ничего не понимаете.

— Совершенно верно: ничего не понимаю.

— А теперь уходите.

— Слушаю.

Капитан вышел, осчастливленный разговором с красавицей. Алеша смотрел на Нину и поражался:

— Нина, вас узнать нельзя. Какая у вас энергия. Вы просто командир.

Но Нина смотрела на него прежним, мягким и нежным, счастливым взглядом:

— Милый, вы простите, что я пришла к вам незваная, но вы знаете, я, наверное, в вас влюблена. Молчите, молчите. Это ничего, что я влюблена, у меня есть к вам два очень важных дела. Очень важных. Собственно говоря, только одно важное. Ах, как я долго рассказываю, такая болтушка! Этот самый человек, который погон у вас оторвал, этот самый человек хочет вас видеть. Он наш сосед, я с ним говорила. Это Иван Васильевич Груздев,— он кочегар.

Нина смотрела на него, смущаясь, но в ее глазах все светилась какая-то радость.

— Пусть приходит,— сказал Алеша.

— Господи, какая вы прелесть, Алеша! Спасибо вам, а то он очень страдает, Иван Васильевич. Теперь у меня другое дело: приехал подполковник Троицкий, мой бывший жених, но он и теперь воображает. Он дрался 18 июня, получил какую-то серебряную ветку,— все врет. Он убежал, честное слово, он убежал. Я сегодня ему скажу, что от меня он никакой ветки не получит. Вы разрешите сказать ему, что я его не люблю, а...

— Послушайте, Нина, как я могу разрешать такие вещи?

— Слушайте до конца. Разрешите ему сказать, что я его не люблю, а люблю вас.

Алеша даже сел от неожиданности:

— Нина!

— Что?

— Вы ошибаетесь.

— Это мое дело. Если вы ошибаетесь, я вам не мешаю, и я тоже могу ошибаться, как мне хочется. Довольно женственности.

— Нина...

— Значит, можно? Имейте в виду, что этот попович будет на вас очень злиться.

— Пожалуйста,— улыбнулся Алеша.

— Ну, вот спасибо, милый. А то пришлось бы врать. А мне почему-то не хочется. До свидания, Алешенька. Поцелуйте мне хоть руку.

— Нина Петровна!

Она глянула в его глаза спокойным, радостным взглядом, кивнула головой и ушла. Алеша в полном смятении опустился на подушку и только сейчас вспомнил, что она не выразила никакого сочувствия к нему, а выразила сочувствие к Ивану Груздеву.

27

Иван Васильевич Груздев пришел на другой день, приоткрыл дверь и спросил несмело:

— Можно?

Капитан оглянулся:

— Входи, чего там «можно». Теперь все можно.

Груздев подошел к кровати Алеши и остановился, держа в руках какой-то предмет, напоминающий картуз. Темно-красное его лицо сегодня было выбрито. На Алешу смотрели серьезные, грустные глаза, а над ними висели белые мохнатые брови.

— Он не мешает? — спросил Алеша, ощущая к этому человеку какое-то неожиданное уважение.

— А он офицер?

— Офицер.

— Все равно. Не мешает.

— Садитесь, товарищ Груздев.

Груздев придвинул к себе стул, не желая садиться очень близко от кровати, и объяснил:

— Я, понимаете, кочегар, так... того...

Алеша так же неожиданно для себя улыбнулся кочегару и сказал:

— Кочегар — это очень хорошо. Знаете что, вы не думайте, что я на вас обижаюсь. Я на вас не обижаюсь. Хотя, конечно... это все и... но... знаете... без боли и пулю нельзя вырезать.

— Ты не обращай внимания,— кочегар поднял серьезные печальные глаза и улыбнулся. От этого его глаза не перестали быть печальными, но улыбка и в них отразилась какой-то теплой надеждой.— Боль, она, конечно... бывает и на пользу.

— Видите ли,— сказал Алеша,— вы, наверное, хороший кочегар, правда?

— Кочегар, как полагается,— подтвердил серьезно Груздев.

— Вот. А я хотел быть хорошим офицером... на войне нужно быть хорошим офицером. У меня погоны поручика... были... заслужены. Понимаете?

Капитан бросил набивать папиросы, встал во весь рост, склонил над Алешиной постелью свой длинный нос:

— Тьфу! Да ну вас к дьяволу! Я и сам уйду. Это он погон сдернул?

— Он.

— Ты сдернул?

— Уйди лучше,— сказал хмуро Груздев, не глядя на капитана.

— Ухожу! Черт с вами!

Капитан захватил с собой разные коробки и вышел.

Груздев проводил его взглядом.

— Видишь, товарищ Теплов. Может, ты и заслужил эти эполеты. Правильно. И может, тебе обидно,— это я понимаю. А и у меня на сердце накопилось зла много. И за свою жизнь, и за сына. Сын у меня, хороший был сын. Ну, не знаю точно, как оно вышло, а сказал офицеру, слово только сказал, ругательное, конечно, слово. И загнали на каторгу, он там и умер в прошлом году. Ну и у меня жизнь... паршивая жизнь. А тут задумался я, вижу, ты стоишь, в панском во всем наряде, вот и не стерпела душа. Я тебя по костюму посчитал... Да. А потом я узнал, что ты сын Семена Максимовича. И так мне стало нехорошо: своего человека обидел.

— А ты откуда знаешь моего отца? — спросил Алеша, сознательно переходя на «ты».

— Да кто же его не знает? В девятьсот пятом году и я работал у Пономарева. А он тогда бумажку бросил ротмистру прямо в морду.

— Какую бумажку?

— А ты разве не знаешь?

— Ничего не знаю.

— Неужели батька тебе не рассказывал?

— Не знаю ничего, не слышал.

— Вот он такой человек: другой бы на всех углах протрубил, а у него все с гордостью.

— Расскажи ты мне, Иван Васильевич: что такое?

— Да как же, обязательно расскажу. Дай-ка мне цигарку.

— Не курю.

— Да вон у этого носатого на кровати сколько хочешь.

Алеша передал ему папиросу.

— Расскажу, как же: тебе нужно знать. Твой отец был тогда самый геройский человек, в большую забастовку в комитете был. А когда вторая забастовка пошла, у него как все равно вожжа заела. Против, да и только. Видно, чуял, что тут наша не возьмет. Да кто его знает, почему, а только прямо говорил: не надо бастовать. А тут случай подошел: за один день до забастовки свалил его брюшной тиф или что другое, не помню, а только свезли его в больницу. Так без него и бастовали. А когда он выписался, уже и расправа пошла. Кое-кого и взя-

ли, а всех рабочих в один день уволили, так и объявили: все уволены, а кто хочет работать, пускай подаст прошение. Там на Костроме маленькая школа тогда стояла, потом ее поломали, в этой школе и заседала комиссия. Такой хвост растянулся, до самого базара. И Семен Максимович стоит и бумажку в руках держит. За первый день пропустили человек триста, и до него дошла очередь. А в комиссии ротмистр жандармский сидел, посмотрел в списки и говорит: «Вы, господин Теплов, напрасно беспокоитесь. Вы и не уволены и не бастовали. Пожалуйста, отправляйтесь на свое место и работайте на здоровье, как вы честный рабочий». Ну, тут Семен Максимович и загремел: «Это что такое? Какое ты имеешь право меня оскорблять?» Да к нему, а тот от него назад. «Ты,— говорит батька-то твой,— сдохнешь, а не будешь знать, какая бывает рабочая честь. Принимай сейчас же!» — да и швырнул ему бумажку в морду. Ну, тут, конечно, загалдели, вывели его и сразу постановили: уволить. На другой день, смотрим, и он стоит в очереди и опять бумажку в руках держит. Говорит: «Теперь я с полным правом к собакам на поклон пришел». Вот какой человек.

— Что же, приняли батьку?

— Нет, в тот день не приняли. Сказали: «Не нужно нам таких, чересчур честных». Только он недолго ходил без работы, всего месяц. Сам Пономарев ездил просить, другого такого токаря где он достанет! Да, большая гордость у старика, если бы у каждого такая...

28

И в следующие дни приходили к Алеше друзья, усаживались у его постели и почему-то краснели в первые моменты, хотя у Алеши и не могло быть сомнений в том, что они его любят, что им тяжело смотреть на его «гуляющую» голову и слушать спотыкающуюся речь. Алеша встречал друзей с особенным коварным любопытством и улыбался, а они еще сильнее краснели после этого и, начиная разговор о его болезни, старательно избегали вспоминать о несчастном случае на улице.

Алеша очень обрадовался тому, что Таня пришла не одна, а с братом Николаем, но свою радость заметил

только тогда, когда Таня уже сидела у его постели. И потом, до самого ее ухода, Алеша то и дело вспоминал об этой радости и успевал между словами и движениями мысли кое-что сообразить, наскоро, мельком, в самой черновой форме. Для него было очевидно, что здесь замешана Нина Петровна, хотя до прихода Тани он почти не думал о ней. А сейчас стало ясно, что, как только Таня уйдет, он будет думать о Нине, вспоминать ее нежную силу, так неожиданно обнаруженную. Приходило — конечно, тоже в черновом виде — соображение, что во всем вопросе что-то неладно, что здесь пахнет изменой Тане, что измена эта — дело нехорошее и некрасивое. Алеша быстро просматривал все эти мысли и в таком же походном порядке удивлялся своему веселому спокойствию. Он спрашивал себя, почему,— и не успевал ответить, а в то же время видел сияние Таниной красоты и радовался ему. Наконец, он понял, что заварилась какая-то сложная каша, но и «каше» он радовался с давно забытым мальчишеским оптимизмом, почему-то сейчас восстановленным в его жизни, несмотря на дрожащую голову и заикающуюся речь. Так же спокойно Алеша признал, что Таня без всяких сомнений красивее и блистательнее Нины, во-вторых, что она роднее и ближе и, в-третьих, что все это почему-то не важно.

По сравнению с прошлым годом, у Тани выровнялись и пополнели плечи, стройнее и заметнее сделалась грудь, в ее движениях, в повороте головы, в том, как свободно она положила ногу на ногу, ничего уже не оставалось от гимназистки. И лицо Тани сейчас ярче, и улыбка самостоятельнее. Взгляд у Тани внимательный и простой, умный и дружески-искренний. В ее лице как будто меньше стало игры и больше хорошей, открытой честности.

Таня спрашивала:

— Алеша, когда ты поправишься?

— Алеша, с твоей раной не стало хуже?

В этих словах было настоящее любовное беспокойство. Но больше всего оживилась Таня, когда вспомнила о своих курсах. Она быстро поправила завиток волос над ухом и заговорила, блестя глазами:

— Там теперь такой беспорядок. Я полукурсовку сдавала-сдавала, да и не знаю, чем кончилось. Ботаник мне

на честное слово поверил, а зоологию просто не успели принять, так засчитали...

— Ты поедешь на зиму? — спросил Алеша.

— А как же! — воскликнула Таня,— надо ехать. В этом году, наверное, все будет по-новому. Ах, как хорошо учиться, Алешенька! Я когда вхожу в аудиторию, до сих пор дрожу от радости. А ты поедешь в институт, Алеша?

— Честное слово, Таня, вот сейчас при тебе первый раз вспомнил об этом.

— А как же ты думаешь? А как же? Ведь тебя не пошлют на войну? Опять на войну?

— Да... я не знаю... Я просто не вспоминал об институте...

Таня вдруг хлопнула в ладоши:

— Ты представляешь себе: вот если вся власть Советам! Как было бы замечательно учиться. Говорят, всем стипендии будут. Всем, понимаешь, всем! Ты знаешь, уроки эти все-таки надоели. Очень это тяжело: уроки!

— Ты Павлу много должна?

— Сто пятнадцать рублей. А он не хочет считать.

— Оказался меценат?

— Да нет, он просто ничего не помнит.

— Вот какая ты странная, Таня,— вдруг сказал Николай.— Разве у Павла есть время считать твои деньги? У него есть дела поважнее...

— Зато он о Тане не забыл? Правда?

Таня покраснела, отвернулась к окну, но взяла себя в руки и прошептала:

— Я его очень люблю...

— Деньги — это чепуха,— улыбнулся Алеша.— О деньгах теперь не стоит и говорить. Мне сюда все какие-то глупые деньги приходят. Ты знаешь, это прямо здорово: война идет, революция, все на попа поставлено, а там люди сидят, считают, ведомости пишут, деньги присылают. Много еще чудаков на свете. Зачем тебе у Павла брать! Да у него и денег нету. Вот смотри, двести рублей. Ты их возьми, Таня, все равно это глупые деньги.

— Да что ты, Алеша...

— Возьми, не разговаривай. Они того не стоят, чтобы о них говорить. Да и будет так замечательно: и Павел тебе помог, и я.

Алеша смеялся в самую глубину ее глаз, а Таня даже и не смущалась:

— Ну, ладно,— улыбнулась она.— Как это... интересно, когда есть дружба.

— И любовь.

— И любовь,— подтвердила Таня.

Николай сидел на кровати, внимательно слушал их разговор и думал о чем-то своем. Он пополнел и порозовел, но душа у него брела по свету в каком-то тихом одиночестве.

Они ушли. Алеша долго еще улыбался в потолок. «И любовь»,— сказала Таня. Только любит она Павла и даже не скрывает этого. А тогда... в вагоне... Неужели у него был такой жалкий вид? Алеша задумался над тем, как легко в мире отравить человека: тот любви принял излишнюю дозу, тот жалости, того отравили газы, а другого... погоны.

29

Степан пришел вечером. Капитан лежал на кровати, курил и молчал. Степан закричал с порога:

— Есть тут живой человек?

— Живых нет,— ответил капитан,— есть выздоравливающие.

В сумерках Степан разобрал приветливую улыбку Алеши и загалдел еще громче:

— Если выздоравливающие — значит, живые. Мертвый никогда не поправится.

— А ты чего орешь? Ты кто такой? — спросил капитан хмуро.

— Когда-то был такой-сякой, а потом производство вышло: растакой-рассякой. По миновении же времени, как рассмотрели меня поближе, дали чин повыше: герой не герой, а денщик боевой.

Степан проговорил эту тираду одним духом и замер против капитана в дурашливой позе, склонившись вперед и свесив мешковатые болтающиеся руки. Капитан молча смотрел на его занятно глупую рожу. Алеша громко рассмеялся и хлопнул рукой по сиденью стула:

— Степан, дорогой! Садись... рассказывай...

Степан забыл о капитане и уселся на стул, расставив на всю комнату выцветшие и заплатанные, светлохаковые «коленочки».

— Что же это... ты, Алеша, опять лежишь?

В Алешиных глазах быстро проскочило удивление, но потом у него на душе вдруг стало просто и радостно. От удовольствия он даже потянулся в постели, обратился к Степану улыбающимся румяным лицом:

— Вот спасибо! Ты меня так всегда называй.

Капитан оглянулся через плечо, посмотрел на Алешин затылок, энергично ткнул палочкой в гильзу, разорвал ее, бросил и поднялся с постели:

— Мне, может быть, уйти, господин поручик?

— Сиди,— сказал Степан и махнул весело рукой.— Куда там тебе уходить?

Капитан тупо присмотрелся к Степану и с быстрой, вспыхивающей улыбкой спросил:

— Значит, ты денщик?

— Денщик. А ты кто?

— А я капитан артиллерии.

— Один черт,— сказал Степан.— Ты — капитан артиллерии, а я — Степан пехоты. А честь одна, и ты провоевался, и я провоевался.

— Ишь ты! — отозвался капитан и машинально пошевелил палочкой в руках. Потом так же машинально он опустился на свою кровать, не отрываясь взглядом от Степана, и вдруг серьезно заговорил:

— Ну, хорошо, провоевались, это верно. А что ты дальше будешь делать, товарищ Степан пехоты?

— У меня делов много,— важно ответил Степан и фертом поставил руку на колено.

Капитан покорно подчинился этому важному действию и даже подскочил на кровати, придвигаясь ближе к Степану.

— Много? Какие же такие дела?

— Первое дело: Керенского выгнать.

— Это ты будешь?

— Что?

— Керенского выгонять?

— В общем — я.

— А дальше?

— А дальше: вся власть Советам!

— Вот как? Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов? Так, что ли?

— Угадал! С одного раза угадал!

Степан пришел в восторг и захохотал громко. Засмеялся и капитан. Давно уже улыбаясь, следил за разговором Алеша.

— Значит, моих депутатов там нет? — спросил капитан.

Степан как будто впервые обратил внимание на это занимательное обстоятельство. Он сочувственно посмотрел на капитана и даже головой покачал:

— Смотри ты! А выходит, твоих, действительно, нет. Как же ты теперь будешь?

Капитан не то иронически, не то печально поник головой и пробурчал негромко:

— Вот и вопрос: как я буду?

Он поднял припухшие, воспаленные глаза и сказал:

— Может, ты скажешь, как я буду?

Алеша перестал улыбаться, в его глазах появилось выражение прищуренного детского сочувствия. Степан отнесся к вопросу серьезно, внимательно, как доктор. Он отбросил в сторону тон напыщенной шутки и спросил просто:

— Ты того... богатый?

В глазах капитана блеснула надежда. Он с удовлетворенной готовностью ответил:

— Я... вот... весь здесь.

— Это легче. Это, как же... значит, совсем ничего нет?

— Ничего.

— А... того... делать что-нибудь умеешь?

— Работать?

— Ну, делать, работать, тебе не все равно?

— Не умею,— ответил капитан грустно.

Степан возмутился:

— Как это так говоришь: не умею. Грамотный ведь?

Капитан передернул плечами. Степан продолжал:

— Грамотный, писать умеешь. Папиросы вот набивать умеешь, сапоги чистить, подмести, скажем, посуду помыть, сторожить, в лавочку сбегать...

Степан загибал пальцы и серьезно перечислял все ра-

боты, к которым привык в последнюю свою денщицкую эпоху. Капитан слушал, слушал и рассмеялся.

— Чего ты? — спросил строго Степан.— Чего ты смеешься? Надо надежду иметь и добиваться. Всегда успех будет.

— Да ну тебя к черту! — сказал капитан.— Я — военный, понимаешь? Моя специальность — артиллерист. А ты мне — сапоги чистить!

— Постой, постой! — Степан протянул руку.—Артиллерист— значит, тебе стрелять нужно. Без стрельбы, выходит, ты не можешь прожить. А в кого ты будешь стрелять? Мишень у тебя какая?

— Отстань,— сказал капитан и отвернулся к своим папиросам.

— Ну, как хочешь. А только ты не воображай, дорогой, как будто ты — капитан артиллерии. Ты и есть просто бесштанный человек — и все. Вот, как и я. И погоны эти срежь, легче станет.

— Все-таки отстань! Я — офицер. Меня могут убить, скажут: офицерская сволочь. Пускай. У меня тоже есть гордость.

— И у козла гордость была: ему в бок ножом, а он тебе одно — умру, а останусь козлом. А вышла не та натура: остался не козел, а козлиная шкура.

— Что это такое... мелешь? Выучил где, что ли?

— Выучить не выучил, а прожил сорок лет — вымучил. Гордость у тебя, скажи пожалуйста. Никакой гордости у тебя нету.

— Как нету?

— Нету. Вся Россия переменяется. Понимаешь: вся власть Советам! Вся власть! Понимаешь?

Капитан отвернулся вполоборота, задумался, потом спросил, как будто только сейчас родилась в его мозгу какая-то блестящая идея:

— Вся власть? Но... постой. Ведь им... артиллеристы нужны будут?

— Кому это?

— Да советам же этим? — ответил капитан с досадой.

Алеша громко расхохотался. Капитан удивленно обернулся к нему и вытаращил глаза. Алеша протянул к нему руки:

— Дорогой капитан! Очень нужно! Страшно нужно! Без артиллеристов — как без рук.

Степан вытирал лоб, растянул рот и отдувался:

— Насилу разъяснили человеку!

30

Надежда Леонидовна ласково смотрела на Алешу и удивлялась:

— Как вы хорошо поправились, товарищ Теплов! Прямо удивительно. И, видно, у вас на душе хорошо.

— Хорошо на душе, Надежда Леонидовна. Прекрасно на душе!

Алеша положил руку на грудь и вздохнул глубоко:

— Видите, дышать как легко стало. Все замечательно, Надежда Леонидовна. Мне только одного Богатырчука не хватает. Где он у черта запропастился?

— Кто это... Богатырчук?

— Это такой... человек, Богатырчук.

Алеша произнес это имя с особым выражением, как будто уже в его звуках заключался весь смысл этого человека. Надежда Леонидовна следила за шагающим по комнате Алешей, присматривалась к его возбужденно-подвижной мимике. Алеша сильно хромал, опираясь на новую желтую палку, но даже это обстоятельство приводило его в восторг, на поворотах он сильно размахивал больной ногой и выделывал всякие выкрутасы палкой.

— Вы все-таки поосторожнее с ногой,— сказала Надежда Леонидовна,— у вас там очень сложные дела были.

— Надежда Леонидовна, неужели я так и останусь Топал-пашой. Досадно будет. Здорово меня, знаете, дергает в правую сторону. На костылях было ровнее, а теперь качает.

Алеша с сожалением посмотрел на костыли, стоящие в углу.

— Нельзя на костылях, ноге нужно дать работу. Я вам так скажу: разно бывает. У вас организм молодой, расходитесь. Сначала сильно будете хромать, потом меньше.

— А потом и совсем не буду?

— Может быть. Чуть-чуть все-таки будете прихрамывать. Но это ничего, даже оригинально.

Капитан грустно копошился на своей кровати, что-то перекладывал в стареньком офицерском чемодане, расположил на кровати белье, какие-то свертки, коробки. Задумался над молчаливо-холодным наганом и швырнул его в чемодан. Потом расстелил на коленях темно-коричневый новый френч, положил на него локти, задумался и над ним, кашлянул. Достал из кармана перочинный ножик, хмуро присмотрелся к нему, дунул на него и осторожно открыл лезвие. Наклонившись низко над френчем, устремив глаза в одну точку, еле заметно подрагивая солдатской стриженой головой, он мелкими аккуратными движениями начал спарывать погон.

Алеша весело подморгнул на капитана, Надежда Леонидовна улыбнулась, но капитан ничего не заметил. Он так тихо, так неподвижно проделывал свою работу, что казалось, будто он просто замер в созерцании своего нового темно-коричневого френча.

Степан вторгся в комнату с сапожным грохотом и заорал:

— Извозчик в полной готовности!

Алеша поклонился:

— Спасибо, родненькая Надежда Леонидовна!

Степан гремел по комнате, заглядывал в шкафы, под кровати, изредка посматривал на замершую фигуру капитана:

— Костыли возьмем, Алексей?

— А для чего?

— А мало ли что бывает в жизни? Не тебе, так кому другому ногу поломают!

С легким, приятным стуком костыли поместились у него под мышкой.

— Во! Теперь шашка! Шашка, она всегда пригодится! Как же это можно: холодное оружие, да еще и геройское! Наган в кармане? Значит, все. Ну, капитан артиллерии! О! Да ты погончики срезываешь? До чего ты сознательный человек, милый мой!

Капитан поднял голову, наморщил лоб, глянул на Степана, невнимательным движением отодвинул в сторону френч. Погоны мягко сползли на пол, за ними весело прыгнул ножик. Капитан ничего этого не заметил,

сидел на кровати и смотрел в одну точку. Алеша подошел к нему. Степан, увешанный костылями и шашкой, тоже нацелился на капитана:

— Что такое?

Капитан поежился, заложил руки между колен и еще больше наморщил лоб:

— Знаете что? Я поеду с вами?

— Куда ты поедешь? — спросил Степан, наклонившись к нему.

— С вами поеду. К вашим родителям. А?

Капитан покраснел, крепче сжал руки коленями, с растерянной и трусливой надеждой смотрел на Алешу. Алеша смутился, хотел что-то сказать, но Степан предупредил его. Описывая костылями круг по всей комнате, он зашел спереди:

— Куда ты поедешь? Там живет трудящийся народ, и притом бедный. А ты смотри какой — с гордостью, тебя кормить нужно или не нужно? Семен Максимович скажет: чего это у меня, казарма, что ли. Не только тебя, а и меня выгонит.

Капитан воззрился на Степана, шевельнул усом, прохрипел:

— Все равно возьмите. Что ж... я еще пригожусь. А тут... как же... Мне много не нужно. Какой-нибудь угол. Кровать у меня вот, офицерская, походная. А подушка вообще лишнее. Шинелью укроюсь.

— Деньги у тебя есть, что ли? Чем тебя кормить?

— Да брось,— сказал Алеша.— Едем, капитан, едем! Собирайтесь!

Капитан быстро вскочил, схватил френч и бросил в чемодан. После этого полез под кровать, достал ножик и опустил в карман. Хмуро кивнул Степану:

— Иди сюда.

Он повел Степана в угол. Степан уткнулся костылями в стену, расставил ноги. Алеша улыбнулся Надежде Леонидовне. Капитан наклонил голову в угол и забурчал тихо:

— Ты чего это болтаешь, как остолоп? Деньги, деньги! Что же ты думаешь, я на хлеба пойду к Теплову?

— Да ты гордый! Куда тебе там... на хлеба!

— У меня вот смотри, сколько денег. Жалование и за ранение. Здесь никуда не тратил.

Степан с деловым видом посмотрел на деньги, кивнул костылями:

— Все в порядке. А насчет прочего не сомневайся. Народ трудящийся, душевный. И работу в случае чего найдем по письменной части. Я вот уже поступил в рабочую милицию. На заводе тоже. Понимаешь?

Капитан понял, кивнул носом над бумажником.

— Все в порядке, как полагается по уставу гарнизонной службы! — закричал Степан.— Едем!

Он направился к дверям, пока остальные прощались с Надеждой Леонидовной; у дверей втянул живот и, подражая лихому командиру, перекосил рот и заорал:

— Парад, смирно! Гаспада афицеры!!

Алеша весело размахнулся палкой и захромал к выходу. По дороге он ткнул в живот Степана, и Степан так же весело ойкнул. Капитан взял свой чемодан и прошел мимо Степана с таким выражением, с каким, бывает, ребенок покорно следует за старшими, не зная, куда его ведут, но до конца доверяя их испытанной мудрости.

31

Василиса Петровна с удивлением смотрела на носатого капитана. Капитан поставил чемодан на пол и подошел к Василисе Петровне. По непобедимой армейской привычке он щелкнул порыжевшими задниками сапог и подставил руку. Василиса Петровна торопливо вытерла свою руку о фартук, протянула ее капитану и сжала губы. Капитан переступил, еще раз щелкнул каблуками и приложился к сморщенной, худенькой ручке Василисы Петровны. Она нахмурилась, зашевелила пальцами, пытаясь освободить руку. Степан захохотал:

— Видишь, мамаша, какое обращение! Эх, темнота, ну, ничего, век живи, век учись!

Он через всю кухню протащил массивный неповоротливый сапог, подставил широкую длань. Василиса Петровна махнула на него рукой:

— Довольно тебе чудить! Кого это привезли? Как вас зовут!

— Во! — закричал Степан.— Какие мы с тобой, Алешка, олухи! Небось, и не спросили, как звать.

А мамаша первым делом. Заладили: капитан, капитан,— как будто у него человеческого имени нету.

Алеша оттолкнул Степана:

— Мама, это...— он пропел: — «Онегин, мммой сосед».

В кухню на шум вышел Семен Максимович:

— Ты чего дурачишься, Алексей? Если пришел с человеком, нечего дурачиться!

— Отец, это капитан артиллерии Бойко, Михаил Антонович, а это его чемодан, а к чемодану, невооруженным глазом видно,— привязана кровать.

Перед Семеном Максимовичем капитан тоже щелкнул каблуками, пожал ему руку, но на лице все время сохранял выражение строгой озабоченности. Вероятно, его смутил несколько удивленный взгляд Семена Максимовича, который тот невольно бросил на чемодан. Веселое настроение Алеши и Степана его радовало, но все же как-то так вышло, что сообщить хозяевам о цели своего прибытия должен был все-таки он сам. Семен Максимович пропустил капитана в дверь чистой комнаты. Капитан бросился было к своему чемодану, но остановился, махнул рукой и быстро проследовал за хозяином. Он уселся на кончик стула, но, заметив, что Семен Максимович стоит, поднялся:

— Товарищ Теплов, я понимаю, что вы удивлены, и вообще не совсем удобно с моей стороны, пользуясь случайными, так сказать, обстоятельствами...

Семен Максимович провел под усами пальцем и перебил капитана:

— Да вы короче. Чего там «вообще»? Вы совсем сюда? С чемоданом? Деваться некуда?

Капитан огорчился, повернулся немного вбок, его усы зашевелились растерянно. Так в сторону он и сказал глухо:

— Видите, как-то так вышло... Был офицер, дослужился только до капитана. И ранен был, и... долг свой выполнял честно, а вышло, действительно, деваться некуда. А тут ваш сын собрался домой, а я, прямо вам скажу, завидно стало, напросился. Если не стесню, разрешите, поживу пока...

— Воевать кончили? — спросил Семен Максимович, разглядывая капитана в упор.

— Кончили, товарищ Теплов. Я и погоны срезал сегодня.

— Ага!

— Срезал, товарищ Теплов.

— Так... вас, что же, отпустили или как?

— Я был сильно контужен, имею годичный отпуск. Но все равно, какая там война? Да и с вашими поговорил... вот... хочется... к народу ближе. Вы не думайте, я люблю солдат, любил, хорошие были отношения.

— Ну, что ж? — сказал Семен Максимович.— Поживите у нас пока, а там видно будет. Кровать можно и здесь поставить. Алеша на диване спит.

Через час капитан сидел уже на своей кровати, наводил порядок в чемодане и даже что-то мурлыкал под нос, поглядывая в окно. Из чистой комнаты узенькая дверь вела в каморку, где летом спали старики. Из-за этой двери теперь раздавался гулкий голос Степана. Что-то ему возражала Василиса Петровна, но, видимо, безнадежно, потому что Степан распахнул дверь и продолжал уже в комнате:

— Вы, мамаша,— вроде как командир роты. Должна быть дисциплина и законное расположение по диспозиции. Алексей! — закричал он в дверь,— Алексей! Подь сюда, голубок,— военный совет.

Алексей выглянул из кухни.

— А где Семен Максимович? — спросил Степан.

— На дворе с чем-то возится.

— Вот и хорошо. Без высшего начальства как-то удобнее. Вы, Василиса Петровна, не возражайте. Здесь все люди военные, вам не стоит выходить на линию огня, как вы слабая женщина.

Василиса Петровна стояла у дверей в каморку, потирала руки и улыбалась:

— Алеша, ты скажи ему что-нибудь, такую власть забрал, уже меня из кухни выгоняет. Ты послушай, что он говорит!

— Говорю дело, Василиса Петровна, дело. Вот пускай и господа офицеры разберут. А что касается кухни, будьте покойны, без аннексий и контрибуций. Территория кухни за вами, только раньше вы были вроде как за кухарку, при царской власти, а теперь за командира будете.

— Интересно,— сказал Алеша.— Ты умница, Степан.

— А как же, Алексей Семенович, даром, что ли, кровь проливали?

— Дальше!

— Дальше так. На базар ходить, картошку чистить, дрова рубить, носить, уборка, мойка, ремонт, растопка, трубу открыть, закрыть, подать, принять, вывернуть, перевернуть, зажарить, недожарить, пережарить, посолить, воды налить, туда, сюда, где горе, где беда, а где беды нету, там нету и ответу; на копейку соли, на копейку дрожжей, вот тебе сколько затей. Кто? Спрашивается, товарищи, кто? Отвечайте, как батальонному командиру!

Капитан слушал, все больше и больше увлекаясь, а когда Степан вопросил: «кто?» — он быстро глянул на Алешу и ответил вместе с ним солидно и громко, глядя на Степана и даже мотая головой, только не подражая Алеше в выражении веселой дурашливости:

— Мы, ваш сок бродь!

— Правильно отвечаете! — похвалил Степан.— А теперь нужно разъяснить, как будет по уставу.

Капитан поднял глаза, и Алеша впервые увидел в них заинтересованность жизнью. Капитан сказал:

— Видишь ли, товарищ Степан. Поручика нельзя поставить на кухню, потому что он еще больной и с палкой ходит.

Алеша жалобно обратился к матери:

— Ты замечаешь, как меня капитан Бойко обижает?

Тогда капитан широко открыл рот и захохотал. К общему удивлению, у него во рту оказалось так много зубов, и они с таким свежим блеском глянули сквозь бахрому усов, что даже Степан удивился и сказал:

— Ох ты, капитан артиллерии, да ты еще герой!

32

Кухней Василисы Петровны завладел капитан. Степан с утра вместе с Семеном Максимовичем уходил на завод, а когда они возвращались, капитан ошеломлял их таким сияющим порядком, что Степан долго и молча вытирал сапоги, а потом оглядывался на Семена Максимовича и говорил:

— Обратали, понимаешь, рабочий класс,— ни стать, ни сесть. А главное, хозяйка на его стороне.

В первый же день своей помощи капитан поразил Василису Петровну. Он ни разу не улыбнулся за этот день. Его нос и усы имели самый недовольный и угрюмый вид. Немного склонившись вперед, он шаркал по полу истоптанными сапогами и поблескивал отлакированной диагональю галифе, но в его руках непривычными для Василисы Петровны мужскими приемами быстро делалось всякое дело, и все становилось на место. Посмотрев на самовар, он пробурчал:

— Почистим.

Василиса Петровна ничего не ответила, потому что самовар действительно имел вид неказистый, а чистить его ей все было некогда. Капитан чистил самовар самым диким образом, он не сел на полу и не поставил самовар между колен, как это полагалось испокон веков, а на кухонном столе разостлал газету и на ней провел всю операцию.

Разговорились они с Василисой Петровной только на другой день, когда, закрыв печь заслонкой, хозяйка вымыла руки и уселась на табуретке отдохнуть, а капитан осторожными, размеренными движениями начал подметать пол.

— У вас что... никого нет? Родных нет?

Капитан ответил охотно, но хмуро, не отрываясь от работы:

— Никого, Василиса Петровна.

— И не было?

— Да раньше водились дяди всякие, племянники, а потом, черт его знает: они мне не нужны, и я им не нужен, растерялись.

— И жены не было?

— Не было.

— Как же это так? Почему?

— Да вышло так... Полюбил было... девушку, да... на имеритуру не собрался.

— Это что ж такое?

— Деньги нужно было... вот женюсь, а вот у меня деньги...

— Закон такой?

— Закон.

— Дурацкий какой закон.

— Кто его знает...

— Да что ж тут знать... Кому какое дело...

— Офицер не должен нуждаться... Богатым нужно быть...

— Да если не с чего?

— А не с чего, не лезь в офицеры.

— А-а!

— Да. Раз офицер, должен себя поддерживать, честь должен сохранять.

— Честь? Что же это за такая глупая честь?

Капитан ничего не ответил.

Ему что-то понравилось в семье Тепловых, но он ничем не старался выражать свою симпатию. Почти целый день он проводил в кухне у Василисы Петровны, ходил с нею на базар, стоял в очереди за хлебом, все делал молчаливо, аккуратно, в сосредоточенных движениях, и только когда все было сделано, они усаживались на табуретках один против другого, и Василиса Петровна с осуждающими поджатыми губами выслушивала рассказы капитана о его дурацкой жизни.

Только после обеда, когда были дома все, в хате становилось шумно, но и в этом шуме капитан принимал самое молчаливое участие, сидел на своей кровати и что-нибудь делал: набивал папиросы, пришивал пуговицу, поправлял заплату или перекладывал вещи в чемодане.

Как и всегда, Степан выдворил из кухни Василису Петровну и принялся за мойку посуды. Но сегодня он то и дело появлялся в дверях чистой комнаты, ибо сегодня он не мог пропустить без ответа ни одного слова. Протирая вымытую тарелку, он заявил, расставив ноги в дверях:

— Корнилов, как же! Боевой генерал! Победоносный! Кого он только победил, никак не разберу. Если бы сказать немцев,— так и не немцев. Нашего брата победить хочет, да куда ему! В Питере ему всыпят в эти самые места.

Семен Максимович разложил на высоких угловатых коленях газетный лист и сердито шевелил бледными губами:

— Всыпят? Кто всыпет? Ты вон тарелку в руках мусолишь, поразлазились все, кто куда. А он, смотри, войной пошел. На кого пошел?

— На Керенского,— сказал Алеша, стоя посреди комнаты.

— А потом? — Семен Максимович строго посмотрел на Алешу.

Алеша оглянулся на капитана. Капитан внимательно продевал нитку в иголку и даже не прищурился на узкую игольную дырочку. Алеша шагнул палкой в сторону и шумно вздохнул:

— Он вот пишет: за Россию!

— А за кого же ему и идти. И Керенский за Россию! — громко сказал Степан.— У этого Керенского даже слюней не хватает,— так за Россию старается. Россия ему нужна!

— А тебе не нужна? — спросил Алеша сурово-придирчиво.

Степан даже присел в дверях от веселого настроения:

— И мне нужна, а как же! Прибавь, пожалуйста, и меня туда. Будет, значит: Керенский, Корнилов и Степан Колдунов. Надо и мне на кого-то войной идти. А я, дурак, тут с тарелкой сижу.

Семен Максимович недовольно дернул газетой и напал на Степана:

— Зубоскалишь! Зубоскалишь, подлец! До чего глупый народ... Он нас голыми руками возьмет и на шею сядет. Понимаешь ты или не понимаешь, балда саратовская?

Развел Степан тарелкой и полотенцем и душевно обратился к Семену Максимовичу:

— Отец! Голыми руками нас не возьмешь. Он — дурак, Корнилов этот, хоть и генерал. Россия,— вот она, руку протяни, а взять не возьмешь. Это его счастье будет, если он до Питера не дойдет. А если дойдет, там ему и окох. Я в Питере бывал,— знаю, какой там народ. Царь не взял, а то какой-то Корнилов.

— Вы вот разбрелись, а у него дикая дивизия какая-то...

— Да я эту дивизию видел. Видел ты их, Алексей? Как же, в нашем корпусе были.

— В нашем,— подтвердил Алеша.

— Ну, вот, в нашем же корпусе. Точь-точь в нашем. Мы тут стояли, а они тут. Рядышком и стояли. В нашем корпусе!

Семен Максимович сердито поднялся со стула:

— Да брось ты: в нашем, в нашем! Ну, и что?

— Да ничего. Обыкновенные люди. Надо полагать, с мозолями. И на плечах головы... если так выразиться... Обыкновенные головы.

— Ну?

— Как и у всех людей. Им нет расчета за Корнилова головы эти класть. Нет, Семен Максимович, с дикой дивизией Россию не остановишь. Это ж все ж таки трудящийся народ, как говорится, вся Россия, а то тебе дикая дивизия.

— А вы как думаете, товарищ капитан?

Капитан протащил нитку сквозь дырочку пуговицы, поставил локти на колени, хмуро посмотрел в угол и сказал серьезно:

— Дикая дивизия — ерунда, смешно. Артиллерия нужна. Тяжелая при этом. И... порядочно. Принимая во внимание, все-таки... Петроград, народу много, обороняться будут — раз, балтийский флот — два.

Капитан смотрел холодным взглядом в угол и загибал пальцы. Степан опустил тарелку и даже рот открыл от внимания. Семен Максимович захватил бороду и усы и потянул все книзу. Алеша стукнул палкой и сказал напряженно:

— Ну! Дальше!

— Да чего ж дальше, вот и все,— ответил капитан и посмотрел на загнутые два пальца.

— Так и у него, наверно: есть артиллерия,— произнес Семен Максимович.

— Наверно, есть,— подтвердил Алеша.

Капитан мотнул головой, бросил несколько удивленный взгляд на Алешу:

— Чудак вы, а еще поручик. Артиллерия — это значит: пушка. Стрелять нужно. А кто же будет стрелять? Дикая дивизия, что ли? Какие они там артиллеристы!

— А другие?

— Кто это? Артиллеристы?

— Ну да.

— Стрелять?

Капитан задергал свою нитку и заговорил быстро и глухо:

— Семен Максимович, вы, конечно, можете думать, что угодно. И я к вам самым нахальным образом... Но только я могу сказать, хоть... скажем, и бывший офицер... а могу сказать: артиллеристы — по Петрограду? Крыть из гаубиц или, допустим, мортир? Даже и трехдюймовые? Все-таки... у них... у нас... совесть осталась какая-нибудь. Хоть немного, а осталось?

Он поднял глаза на Семена Максимовича, и в глазах его, покрасневших от обиды, был прямой строгий вопрос. С опущенной газетой, на высоких, прямых ногах стоял токарь Теплов против капитана артиллерии Бойко и хитровато двигал серьезным, седым усом. Степан загалдел в дверях:

— Совесть — она вроде денег. У кого была, у того и осталась. А у кого не было, у того и оставаться нечему. С голого, как с святого.

Семен Максимович косо глянул на Степана:

— Нет... Это капитан правильно сказал. Военное дело... все-таки специальность... Артиллерия, правильно... не будут стрелять... Ну... а из винтовок?

— Из винтовки, Семен Максимович, всякая сволочь стрелять может, а из пушки черта с два.

Алеша отвернулся к окну, посмотрел на отца через плечо, ничего не сказал, а когда отец и Степан вышли, он произнес негромко:

— И из пушек... некоторые могут стрелять.

— Кто?

— Офицеры.

— Артиллеристы?

— Да.

— Никогда! — ответил капитан решительно.— Никогда! По народу?

— А девятьсот пятый?

— Так кто? Кто? Помните? Гвардия! Видите?

33

Степан стоял у колодца, держал в руках ведро, полное воды, и говорил Семену Максимовичу:

— А я тебе что говорил? Он такой боевой генерал, только в плену сидеть. У немцев сидел, а теперь у своих сидит. Называется боевой генерал.

Алеша возразил:

— Ну, ты, Степан, неправильно говоришь. От немцев он геройски удрал.

— А от наших не удерет... герой такой.

Семен Максимович на земле сбивал деревянный ящик для угля и энергично крякал, размахиваясь тяжелым молотком.

— От таких, как теперь наши, тоже удрать может.

— А чем наши плохие? — спросил Степан.

— Разболтались очень, разговорились. Корнилов этот не такой, как ты думаешь. Да и другие есть, наверное.

— А мы, по-твоему, какие, Семен Максимович?

— А что же? Тут за жабры брать нужно, а мы болтаем.

Стукнула калитка. Алеша быстро пошел навстречу Павлу Варавве:

— Павлушка!

Павло сверкнул белками, белыми зубами. Его смуглое лицо сейчас горело здоровьем, оживлением и силой. Он пожал руку Алеше и обратился к Семену Максимовичу с серьезной, дружеской почтительностью:

— Товарищ Теплов, я за вами.

— Что у вас там загорелось?

— Да вот я вам расскажу.

Он взял старика под руку и потащил в садик. Семен Максимович шел за ним, деловито и озабоченно поглаживая бороду. Степан поднял ведро и потащил в хату. По дороге моргнул на садик:

— Секреты завелись у рабочего класса.

Он поставил ведро в сенях и выскочил снова во двор:

— Алеша, Алеша, а знаешь, чего они толкуют все, большевики-то наши?

— А ты знаешь?

— А как же? Я все знаю. Оружие готовят.

— Ну?

— Честное тебе слово. Красная гвардия будет. Война!

Проходя к калитке, Павел сказал Алеше:

— Алексей, слышал? Подполковник Троицкий здесь.

— Да он уехал давно.

— Опять приехал. У Корнилова был. И не скрывает, хвастает.

Степан растянул рот:

— Хвастал один, по базару, дескать, ходил, догнать не догнали, а бока ободрали.

По своему обыкновению, Павел высоко вскинул руки и захохотал на весь двор, а потом сказал Алеше:

— Говорят, он недаром сюда приехал. Мобилизация офицеров.

— Да брось,— отмахнулся Алеша.

— Увидишь. Он тебя найдет наверняка.

Степан открыл рот и глаза:

— Во! Это ж в каком будет смысле? Мобилизация!

34

Предсказание Павла подтвердилось скоро. Через несколько дней в кухню вошла чернобровая быстроглазая девушка и, держа в руках белый конверт, спросила:

— Не туда, что ли, попала?

— А тебе куда нужно? —спросил капитан.

— Тут нужно... Теплова. Поручник... порутчик они. Из офицерей.

Капитан поднял одну бровь:

— Из офицерей? А для чего тебе?

— А подполковник Троицкий, батюшки нашего сынок, прислали. Только сказали, в личные ихние руки.

— А ты при чем?

— Хи... А как же... я там, у батюшки роблю.

— Прислуга.

— Не прислуга, а горничная вовсе.

— Ну, давай.

— А это вы и будете... поручник... пору...тчик Теплов?

— Это я и буду.

— Не, это не может такое быть... пору...тчик молодые должны быть...

— Алексей Семенович,— крикнул капитан в другую комнату,— идите-ка сюда.

Алеша вышел. Чернобровая обрадовалась:

— Это они и будут молодые... Поручник...

Алеша вскрыл конверт:

— Ха! Павло правду говорил. Почитайте, капитан.

— Вот видите,— пропела девушка,— а вы капитан вовсе. А не тот...

— А ты шустрая! — сказал Алеша.

— А отчевой-то вы так бедно живете? И капитан, и поручник, а бедно живете? Я сколько уже отнесла бумажек этих, так богато живут, а вы бедно отчевой-то...

— Как тебя зовут? Маруся? — спросил Алеша.

— Ой, боже ж мой, господи, Маруся! А откуда вы познали?

— Так по глазам же видно.

Маруся дернулась к дверям, но оглянулась на Алешу сердито:

— У! По глазах! Ничего по глазах не видно!

Капитан серьезно вытянул губы:

— Ну, что ты, милая, как тебе не стыдно! Такая большая и такого пустяка не знаешь! Всегда видно.

— А почему по ваших глазах не видно, как вас звать?

— Так он же не Маруся.

— Ой! Какие вы! А... а угадали, смотри!

Очарованная этим обстоятельством, Маруся блаженно загляделась на Алешу. Он поставил ей стул:

— Марусыно, сердце! Садись, красавица.

— А для чего?

Но села, не спуская с Алеши пораженных событиями очей.

— Так богато, говоришь, живут?

— Это... кому письма носила? Ой, и богато! Как те, как буржуи!

— А к кому ты носила?

— И вчера носила и сегодня. Значит, так, поручник... тот... Бобровский, потом капитан Воронцов, потом еще капитан, только не настоящий капитан, а еще как-то...

— Штабс-капитан?

— Ага, штабс-капитан Волошенко, потом тоже поручник Остробородько.

— Остробородько? Да разве он приехал?

— Четыре дня! Я к ним теперь отнесла. Раньше там сам барин ходили, там барышня такая славненькая. Она

была невеста нашему барину, а теперь не захотела. Так наш туда больше не ходит, а письмо послали...

— А еще кому?

— И еще было... этот самый, купца сынок, тот называется под... под... пору... тчик. Штепа. Так и называется Штепа. А чего вы так бедно живете?

— Все деньги, Маруся, пропили.

— Ой, как же можно... так пить. Только все это неправду говорите. До свидания.

Маруся метнула взглядом, косой и подолом и выскочила. Капитан смотрел на письмо и ухмылялся:

— Важно подписано: подполковник Троицкий. Вы его знаете?

— Знаю.

— Он что, кадровый?

— Нет, из запаса. Не знаю, как там было раньше, на войну он пошел штабс-капитаном.

— Попович?

— Попович.

— А вы заметили, в письме есть что-то такое... священное.

— В самом деле?

Господину поручику Теплову

Тяжелое состояние, в котором находится наша родина, возлагает на нас, офицеров, святую обязанность все наши помышления и силы отдать на дело скорейшего возрождения и восстановления славного русского воинства и воинской чести у истинно преданных родине сынов ее. А посему, как старший в нашем городе офицер, прошу вас, господин поручик, пожаловать ко мне в шесть часов вечера, 29 сего сентября для предначертаний общих наших действий.

Подполковник Троицкий.

— Да, русское славное воинство. Пойдем, капитан?

— А зачем нам, собственно говоря, этот подполковник или подпротоиерей?

— Надо пойти. Посмотрим, чем там пахнет.

Двадцать девятого числа Алеша с капитаном отправились к Троицкому. Степан, чрезвычайно заинтересо-

ванный этим путешествием, пока они дошли до ворот, успел пропеть: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Он пел отчаянно громко, и уже на улице они слышали оглушительное «аллилуйя».

Дом священника, каменный, не старый, очень импозантно выделялся среди обыкновенных рабочих хат. Двери открыла чернобровая Маруся и немедленно выразила свое особое удовольствие, прикрыв губы тыльной стороной руки. Над рукой коварно блестели ее глаза и улыбались Алеше.

— Здравствуй, Маруся.

— Ой, а вы не забыли, что я Маруся!

— Да хотя бы и забыл, так... глаза ж...

— Оййй! Такое все говорят и говорят!

— Много господ собралось?

— Полная комната. И все офицеры и капитаны. А вы чего без аполетов! Все в аполетах!

— Пропили эполеты.

— Боже ж ты мой, все попропивали, и аполеты пропили!

Маруся унеслась по светлому, летнему коридору, где-то далеко хлопнули двери. В передней встретил стройный, подтянутый Троицкий. Из-под светлой довоенного сукна тужурки у него выглядывала элегантная золотая портупея, на груди краснел Владимир с мечами. Но лицо Троицкого за три года приобрело какие-то дополнительные складки, расположившиеся на щеках в таком же изящном порядке.

— Пожалуйте, господа. Поручик Теплов? Мы знакомы. С кем имею честь?

— Это капитан артиллерии Бойко,— показал Алеша на капитана.

Пожав руку капитану, Троицкий поднял свою на уровень плеч и сказал с особой, несколько театральной любезностью:

— Были бы погоны, сразу увидел бы, что господин Бойко — капитан, и притом капитан артиллерии...

В это время в дверях появился Борис Остробородько. Он выглядел настоящим душкой-военным, холеные усы у него отросли и вполне соответствовали общему его золотому сиянию.

— Алексей! Здравствуй!

Он занялся поцелуями. И только окончив их, отступил в недоумении:

— Но, слушай, почему ты в таком виде? Что это за вид? И у тебя ведь золотое оружие!

Алеша хитро потянулся к его уху:

— А что? Разве есть интересные дамы?

— Дамы? Боже сохрани! Совершенно секретно! Даже батюшка с матушкой куда-то удалены.

— Пожалуйте, пожалуйте,— сказал любезно хозяин.

В большой гостиной, устланной ковром и заставленной зеленой мебелью и фикусами, было уже человек десять. За роялем сидел прапорщик и наигрывал вальс. Алеша смутился, когда заметил подозревающе-любопытные взгляды, направленные на его опустевшие плечи. Глянул на капитана, но капитан с своим обычным хмурым видом, неся усы далеко впереди себя, направился в самый безлюдный угол и, только усевшись на узком полудиванчике, кашлянул более или менее сердито. Алеша поместился рядом с ним.

За круглым столом, покрытым зеленой бархатной скатертью, сидели главные гости: подполковник Еременко, капитан Воронцов и штабс-капитан Волошенко. Из них только один подполковник нагулял в жизни дородные плечи, жирную шею и румяные щеки. Воронцов и Волошенко были худощавы, бледны и узкогруды. У Волошенко погоны далеко нависали над краями плеч,— видно, еще прошлой зимой были придавлены пальто. Этих Алеша хоть немного знал, встречая их то в госпитале, то у воинского начальника, остальные все были незнакомы, и у них вид был какой-то потрепанный. В сравнении с ними подполковник Троицкий производил впечатление блестящей, напряженной и уверенной силы.

Пружинным, вздрагивающим, коротким шагом, явно щеголяя новыми, лаковыми сапогами, он направился к своему месту за круглым столом. На его новые погоны, на орден, на блестящие пуговицы, на строгие усики и жесткие складки щек падал и потухающий свет дня, и свет высокой лампы, горевшей на столе. Поэтому подполковник весь сиял то теплыми, золотыми, то лунными блестками и мог действительно вызывать к себе некоторое военное почтение.

Он стал за столом и оглядел комнату. Высокие белые двери вели, вероятно, в столовую. Они были прикрыты, но между их половинками стояла черная полоска и в ней поблескивали любопытные глаза Маруси.

Троицкий с некоторым трудом заложил большой палец за борт тужурки, на его руке сверкнул какой-то перстень. Алеша улыбнулся перстню и вспомнил мнение Нины о том, что Троицкий — человек не военный.

— Господа офицеры! — начал Троицкий очень тихо, с тем четким волевым напряжением, которое доносит самое тихое слово в самые далекие углы.— Господа офицеры! Я не буду произносить никаких речей, тем более, что ничто сейчас так не оскорбляет нашу жизнь, как речи. Мы с вами люди долга и люди военные. Все ясно и, прямо скажем, все трагично. Армии нет, правительства нет, России нет. Последняя попытка генерала Корнилова восстановить порядок потерпела неудачу. Сейчас нет ни одной части, на которую можно было бы положиться. В Петрограде в самые ближайшие дни должен наступить хаос. Из Петрограда спасения ждать нельзя. Там все отравлено большевиками. Спасение должно прийти из глубины страны. Единственная здоровая сила, единственные люди, которые еще не потеряли чести, которые могут еще попытаться спасти родину,— это офицеры. Если офицеры организуются, с ними бороться будет некому. На нашу сторону перейдут и другие люди, для которых дорога Россия. Спасение России должно прийти не из Петрограда, а из тех мест, которые наименее отравлены большевистской заразой. К таким местам относится и наш город. Совет в нашем городе до сих пор не играл большой роли, но, должен вам сказать, у нас здесь, на Костроме, влияние большевиков очень чувствуется, если не сказать больше. Я имею поручение приступить у нас к организации ударного полка добровольцев, главным ядром которого должны быть офицеры. Я пригласил тех, кого лично знаю. Надеюсь, что вместе с вами мы установим дальнейший список лиц, которые могли бы принести пользу начинающемуся великому делу. Прошу вас, господа, высказываться.

Троицкий все это проговорил в том же тоне сдержанной, взволнованной, но искренней силы, он ни разу не повысил голоса, а слова наиболее патетические: Рос-

сия, долг, честь, родина — произносил даже немного приглушенно, почти шепотом, отчего они звучали особенно убедительно. Капитан тихо спросил у Алеши:

— Он что, семинарист?

— Юрист.

— Ага!

Троицкий опустился на кресло, чуть-чуть расслабленно, вполне допустимо для мужчины, опустил тяжелые веки и... взял себя в руки: оглядел всех холодно и даже немного высокомерно.

— Кому угодно слово, господа? Вы разрешите мне председательствовать, хотя я и просил господина подполковника...

Еременко скорчил гримасу отвращения и поднял вверх ладони.

Неожиданно даже для Алеши раздался угрюмый и глухой голос капитана:

— Разрешите, господин подполковник... несколько... э... внести, так сказать, ясность...— капитан кивнул вперед и вниз носом и усами.

— Прошу вас, господин... кажется, капитан. Вы сегодня в цивильном виде... Да, капитан Бойко.

Держась рукой за Алешину палку, капитан сказал:

— Вот именно... ясность. Офицеры — это командиры. Непонятно немного, кем мы будем командовать? Солдаты... как же? Без солдат, что ли? А потом еще вопрос: я вот не политик, но все-таки мне интересно знать, как бы это выразиться... кого мы будем защищать?

— Россию,— крикнул резко подполковник Еременко.

Капитан задумался, склонившись над палкой:

— Угу... Россию. Так. А... э... так сказать, от кого?

— От России,— сказал Алеша громко.

Кто-то из молодых громко рассмеялся. Улыбнулся и штабс-капитан Волошенко за главным столом.

— Вы изволите острить, господин поручик. Я боюсь, что при помощи остроумия вам не удастся прикрыть недостаток чести!

Троицкий крикнул это вызывающим, скрипучим голосом, задрав голову и постукивая кулаком по мягкой скатерти стола. Головы всех повернулись к Алеше, но во взглядах было больше любопытства, чем негодования.

Черная щель двери в столовую неслышно расширилась, черные глаза Маруси глянули оттуда испуганно.

Голова Алеши вдруг заходила, он ухватился за плечо капитана, вскочил и неожиданно для себя раскатился дробной россыпью звуков:

— Господидидин пол... полковник! Честьтьть...

Но его речь была прервана общим смехом. Налитыми кровью глазами, вздрагивая головой, побледнев, Алеша оглядел собрание и шагнул вперед, выхватив палку из рук капитана. Смех мгновенно замолк, дверь столовой широко распахнулась, испуганное лицо Маруси выглянуло оттуда. Троицкий вытаращил глаза и закричал на Марусю:

— Вон отсюда!

Дверь захлопнулась, и в комнате стало тихо. Алеша с палкой пошел к круглому столу. Троицкий откинулся на спинку кресла, может быть, потому, что Алеша не столько опирался на палку, сколько сжимал ее в руке. Алеша остановился против подполковника, но говорить не решался, чувствуя, вместе с гневом, что не может остановить заикание, голова его ходила все мельче и быстрее. Еременко протянул к нему руку:

— Успокойтесь, поручик!

Алеша стукнул палкой об пол. В этом движении, в выражении лица, в позе, в его высокой прямой фигуре было что-то, очень напоминающее отца.

— Конченнононо! Конченноно!

Он покраснел, не в силах будучи остановить заикание, но немедленно гневно оглянулся на собрание. Офицеры уже не смеялись. Они смотрели на Алешу ошеломленными глазами и, очевидно, ожидали скандала. Алеша отвернулся от них, презрительно дернув плечом, и закричал на Троицкого с еще большим гневом:

— Россия! Родинана! Довольно! Ваша честь... господа офицеры, проданана!

Троицкий вскочил за столом:

— Позор, поручик Теплов!

Другие тоже что-то закричали, задвигали стульями. Из общего шума выхватился высокий взволнованный тенор:

— Кому продана? Как вы смеете!

Алеша быстрым движением оглянулся на голос и встретил лицо прапорщика, сидящего за роялем:

— Корнилову! Керенскому! Всякой сволочи! Попам, помещикам!

— Ложь! — заорал прапорщик.

Алеша размахнулся палкой и с треском опустил ее на спинку стула, стоящего порожняком у рояля. Стул пошатнулся и медленно упал. Это событие несколько притушило шум. Алеша крепко сжал холодные губы и, склонив набок дрожащую голову, негромко, как будто спокойно, сказал прапорщику:

— Какая ложжжь! Идем со мной... служить... народу... русскому народу! Не пойдете? Не пойдете? Вот видите? Идем, капитатан!

— Вон отсюда! — закричал подполковник с тем самым выражением, с каким он только что кричал это и Марусе.

Алеша резко обернулся к Троицкому. Где-то в кухне затрещал звонок, Маруся шмыгнула мимо Алеши в переднюю.

Он в суматохе чувств заметил все-таки ее развевающуюся косу и с неожиданной улыбкой сказал Троицкому:

— Я вас понимаю! Вы — попович! А вот этотот... чудадак будет... какакая там честь! Будет... продажная сабля!

Опять зашумели, но Алеша шагнул к выходу. Навстречу ему из передней вышли Пономарев и Карабакчи. Пономарев — тучный, рыжебородый, Карабакчи — мелкий, черный, носатый. Пономарев с удивлением остановился, поднял от галстуха рыжий веер бороды и сказал приятным, бархатным голосом:

— Простите, господа, задержались.

Троицкий приветливо поклонился. Алеша ловко повернулся на каблуке здоровой ноги, с галантным сарказмом торжественно протянул руку по направлению к гостям:

— Пожалуйстата! Покупателили!

Пономарев отшатнулся к роялю, выпучив глаза. Алеша быстро прошел мимо него в переднюю, за Алешей, по-прежнему неся впереди безмятежную угрюмость усов, проследовал капитан. Позади раскатился неудержимый,

звонкий хохот Бориса Остробородько. Уже в коридоре, рядом с испуганной Марусей, Борис догнал их и закричал на весь дом:

— Здорово! Честное слово, здорово! Может, ты и неправ... а только... я все равно... не хочу.

35

— К черту-ту! — сказал Алеша, выйдя на крыльцо поповского дома.— К черту! Ударный полк! Сволочи!

— Да не обращай внимания! Охота тебе! — сказал Борис.— А здорово ты это... Люблю такие вещи, понимаешь.

Капитан молча стоял на краю крыльца и неподвижно рассматривал даль бедной песчаной улицы. Потом он спросил:

— А кто... вот эти... черный и тот, с бородой?

— Да заводчики здешние! — ответил Борис.— Пономарев и Карабакчи. Папиросы Карабакчи курите?

— Папиросы? Угу...— он поднял на Бориса ленивые свои глаза.— А им... им какое дело... вот до офицеров? Папиросы, ну, и пусть папиросы...

Алеша положил руку на плечо капитана:

— Вы святой человек, капитан. Идите домой, а я к Павлу...

Капитан послушно двинулся по улице. Алеша быстро, припадая на один бок, зашагал в другую сторону. Борис еще подумал на крыльце и бросился за ним:

— Алеша! Алеша!

Он догнал его и пошел рядом. Алеша оглядывался, переполненный одной какой-то мыслью,— ему некогда было слушать Бориса.

— Я тебе забыл сказать, Нина обижается, почему так долго не приходишь. Ты знаешь, она получила место заведующей клубом.

— Нина? Нина! Мне очень нужно ее видеть. Я сегодня приду.

— Приходи, друг,— весело сказал Борис.— А я пойду посмотрю, что там еще делается у Троицкого.

Он сделал ручкой и побежал назад. Алеша захромал быстрее. Он широко шагал палкой и каждый шаг больной ноги встречал озлобленной миной и говорил про себя:

— К черту!

Его встревожило возвращавшееся заикание, доказывающее, что он еще не вполне здоров, но тревожило в особенном смысле: не столько как опасение за здоровье, сколько как ненужная, досадная помеха чему-то очень важному.

Павла он встретил у калитки вместе с Таней. Она приветливо прищурилась на Алешу, но он, бросив на нее привычный ласковый взгляд, напал на Павла:

— Слушай, Павло! Какого черта волынка!

— Ну, как там офицеры?

— Оружжжие! Давай оружжжие! Понимаешь ты?

— Кому оружие? Чего ты?

— Есть оружжие?

— Алешка, постой! Вот горячка! Ты что, уже выздоровел? А чего ты заикаешься?

— Бедный Алеша! — Таня подошла вплотную к нему и положила руку ему на плечо. Ее глаза выражали печальную ласку. Алеша улыбнулся.

— Не бедныный! Отставить бедный! Ты милая, Таня! Павлушка! Надо с оружием!

— Проклятый город,— сказал Павло со злостью и улыбнулся.— Проклятый, мелкий, сволочной город! Здесь нет оружия! Идем!

— Куда?

— Идем в комитет. Дело, понимаешь, спешное. Как раз ты и будешь начальником Красной гвардии. Хорошо?

— Павлушка! Это... здорово! А ваша милиция?

— Да, наша милиция. С нашей милицией одна беда. Несколько берданок, револьверы, всякая дрянь, бульдоги. Идем! Таня, так завтра увидимся. До свидания!

Таня кивнула Павлуше и сказала тихо:

— Алеша, на минутку.

Алеша с удивлением посмотрел на нее, потом на Павла. Павел подтвердил:

— Поговори, поговори. Я подожду.

— Таня, некогда, родная.

Таня вплотную подошла к нему и склонила в смущении голову почти на его грудь.

— Алеша, надо нам с тобой поговорить. Нехорошо так...

— Ты скоро уезжаешь?

— И уезжаю. И вообще надо. Как-то нехорошо получается. Почему это так?

— Да ведь ты Павла любишь! Таня, правда же?

Таня еще ниже опустила голову:

— Люблю.

— И всегда любила. Всегда. С первого дня.

— Ничего подобного, Алеша!

Алеша засмеялся и оглянулся на Павла. Павел открыто скалил зубы, как будто наверняка знал, о чем они говорили.

— Ну, хорошо, Алеша,— сказала Таня, сияя голубыми глазами,— а ты?

— Я? Я теперь солдат, то был офицер, а теперь солдат революции. Сейчас насчет оружия. Война будет, война!

— Алеша, милый, какой ты еще ребенок!

— Ребенок? Черта с два ребенок! До свидания. И ты, Таня, не то... не ври. Я с первого раза все видел, все видел.

Он дружески потрепал Таню по плечу. Павел громко рассмеялся.

— Идем, идем,— сказал Алеша.

Они быстро зашагали по улице.

— Мы давно хотели тебе поручить, да все думали, больной ты. У нас это дело плохо. Людей сколько хочешь, а оружия нет. Здесь же нет никакой части, сам знаешь. Сделали рабочую милицию, так тут — прямо препятствия и все. Если и работать, и милиция, трудно,— надо жалованье. Кинулись к Пономареву — какой черт, и говорить не хочет. Да теперь пойдет другое, вот идем.

Завод Пономарева занимал довольно обширную территорию, но на ней не стояло ни одного порядочного здания. Деревянные, холодные сараи, называемые цехами, окружены были невероятным хламом производственных отбросов и всякого мусора. Только в механическом цеху, где производились металлические детали, был кое-какой порядок, но и здесь кирпичные полы давно износились, в стенах были щели, под крышами летали целые тучи воробьев. Бесчисленные трансмиссии и шкивы со свистом и скрипом вертелись, хлопали и шуршали за-

платанными ремнями, вихляли и стонали от старости. Работала только половина цеха, обслуживающая заказы на оборону.

Переступив через несколько высоких грязных порогов, Павел остановился в дверях дощатой комнаты заводского комитета. Сквозь густые облака табачного дыма еле-еле можно было разобрать лица сидящих в комнате людей, но Алеша сразу увидел отца. Положив руку на стол, свесив узловатые, прямые, темные пальцы, Семен Максимович с суровой серьезностью слушал. Говорил Муха, старый заводской плотник, человек с острыми скулами и острой черной бородкой. Он стоял за столом, рубил воздух однообразным движением ладони:

— А я вам говорю: ждать нечего. Что вы мне толкуете: Ленин. У Ленина дело государственное. Ему нужно спихнуть какое там никакое, а все-таки правительство, а у нас здесь, так прямо и будем говорить, никакой власти нет. Мы должны Ленину отсюда помогать. Да и почем вы знаете? Пока мы здесь все наладим, Ленин у себя наладит, вот ему и легче будет. А по-вашему — сиди, ручки сложи, ожидай. Ленин дал вам лозунг: вся власть Советам. И забирай. Если можешь, забирай, а Ленину донеси: так и так, у нас готово, на месте, так сказать. А тут и забирать нечего. Вот оружия только не хватает. Достанем. Подумать надо.

— Я привел вот начальника Красной гвардии,— сказал Павлуша.

Муха прищурился уставшими глазами на Алешу и вдруг расцвел широкой улыбкой:

— Так это ж... Алешка! Семен Максимович, что же ты, понимаешь, прятал такое добро дома!

Все засмеялись, склонились к столу. Семен Максимович провел пальцем под усами, но остановил улыбку, холодно глянул на Алешу, захватил усы и бороду рукой:

— Всякому овощу свое время. Значит, поспел только сегодня.

36

Семен Максимович очень устал. Очевидно, и палка его устала, поэтому она не шагала рядом с ним, а тащилась сзади, совершенно обессиленная. Алеша слушал отца и все хотел перебить его, но отец не давал:

— Не болтай! Обрадовался. Не языком делай, а головой и руками.

— Батька!

— Слушай, что я говорю. Самое главное, чтобы все было сделано как следует, а не так, как привыкли... Это тебе не германский фронт какой-нибудь...

— Не германский фронт? Ого!

— Не понимаешь ты ничего. Германский фронт — это тебе раскусили и в рот положили: тут русский, тут немец,— деритесь, как хотите. Кто кого побьет, тот, значит, сверху. Так или не так?

— Отец! — Алеша захохотал на всю улицу.

— Ишь ты, вот и видно, что не понимаешь, а еще военный. Ты смотри, здесь тебе совсем другое дело. Там ты был что? Пушечное мясо. А здесь, если без головы, так с тебя один вред, потому что тут враг кругом тебя ходит, да еще и «здравствуй» тебе говорит. Это раз. Теперь другое. Там ты немца побил или он тебя побил,— разошлись, помирились, сиди и жди, пока новая война будет через сколько там лет. А тут война насмерть затевается. Понял?

— А ты, отец, знаешь что,— ты молодец!

— Вот я тебя стукну сейчас, будешь знать, какой я молодец. Ты понял?

— Понял.

— Ничего ты не понял. Тут нужно в гроб вогнать, навечно, потому что надоело.

— Кому надоело?

— Понял, называется. Мне надоело. И всем. До каких пор: то какие-то рабы, то крепостные, то Пономаревы разные, Иваны Грозные, Катерины. Всякие живоглоты человеку трудящемуся на горло наступают. Что, не надоело тебе?

— Отец, знаешь что, дай я тебя расцелую.— Алеша размахнулся рукой и полез с объятиями.

Семен Максимович остановился у забора и провел под усами пальцем:

— Ты сегодня доиграешься у меня. Иди вперед. Ишь ты, сдурел!

Несколько шагов он прошел молча — и снова заговорил:

— Тебе, молокососу, такую честь — Красная гвар-

дия. Чтоб разговоров не было у меня: то да это, как да почему. Через месяц — крайний срок, а то и раньше по возможности. Муха правильно говорил.

Как только пришли домой, Алеша сразу вызвал Степана во двор. Долго их не было. Мать тревожно поглядывала на дверь и, наконец, спросила мужа:

— Чего это они там шепчутся?

— Значит, дело есть. И пускай шепчутся. Люди они военные, им виднее.

Мать внимательно присмотрелась к Семену Максимовичу, ушла в кухню и там тихонько вздохнула. Капитан вылез из чистой комнаты, присел к столу, за которым ужинал Семен Максимович.

— Как там офицеры? — спросил Семен Максимович.

Капитан направил нос в сторону и негромко, без выражения, без улыбки рассказал о совещании у Троицкого.

— Какое ж ваше мнение?

— Алеша... это... молодец.

— Да что вы мне Алеша, Алеша! Мало ли что, мальчишка... там... Дело как будет?

— Дело? Дело, Семен Максимович... э... неважное дело.

— Неважное? Чего это... неважное? Народ, это важное дело?

Капитан кивнул над столом, подумал и еще раз кивнул:

— Народ... да... народ, конечно. Но... понимаете... если б... э...

— Да чего там экать? Говорите.

— Артиллерия!

Капитан глянул хозяину прямо в глаза.

— Артиллерия?

— Да. Если бы к народу да еще артиллерию, важное дело может получиться.

Семен Максимович редко смеялся громко, а сейчас рассмеялся на всю хату, даже звон по стеклам пошел:

— Знаете что, Михаил Антонович? — сказал старик, отдохнув.— Правильно сказано!

ЧАСТЬ 2

1

Выздоровел Алеша или проснулся, он и сам разобрать не мог, да и времени не было, чтобы задуматься. Целыми днями он носился по заводам, по Костроме, по городу, помогал себе палкой и на палку злился. Он вспоминал с удивлением, как раньше радовался оригинальному удобству костылей. А сейчас хотелось забыть о каких бы то ни было удобствах, хотелось просто, без удобств, летать по земле. В этом постоянном движении Алеша прислушивался к себе и не мог разобрать, что с ним происходит. С одной стороны, к нему возвратились былое мальчишеское оживление, шаловливый огневой задор и смеющаяся безоглядная проказливость, с другой стороны, как-то по-новому видели его глаза, видели далеко во все стороны, через крыши Костромы, через тишину и бедность знакомых улиц, через преграды горизонтов, через просторы великой России. И глаза у Алеши стали теперь ясными и светлыми, они как будто приобрели невиданную глубину отражения. И для него самого было удивительно, почему так ладно уживаются рядом его юношеское легкомыслие и серьезная точность больших исторических видений, откуда пришло это объединение мальчишки и философа. Очень хотелось знать, у всех ли такое происходит или только у него одного? Он внимательно присматривался к людям, к отцу, к Степану, к Бойко, к Павлу. Семен Максимович сильно помолодел за последние дни, чаще проводил пальцем под усами, скрывая улыбку, а то и просто открыто смеялся тем самым неожиданно прекрасным смехом, который Алеша

впервые увидел у него, когда уезжал на фронт. Даже капитан, хоть и редко показывал зубы, а смотришь, что-нибудь и скажет с хитроватой жизнерадостной завerткой. А на заводе, в комитете, на митингах, среди горячих речей и размашистых, сердитых кулаков широким, новым наводнением шло острое слово, сверкали шутки, разливалось зубоскальство и гремел гомерический хохот. И в то же время у всех людей сильными и зоркими сделались глаза, и все люди, как и Алеша, перемахивали взглядами через тысячеверстные пространства, живыми глазами видели и Петроград, и Ленина в Петрограде, и петроградские, уже закаленные в новой борьбе, рабочие ряды, и всю необозримую равнину России, и Кавказские горы, и Сибирь. Видели ясно, насквозь и всю хитро сплетенную сущность врагов: смешную и слабую силу Керенского, угрюмо-ошалевшую энергию Корнилова, болтливую гнусь — вожаков-политиканов.

2

Кипели новые дни в России. Ключом забила в них освободившаяся великая страсть.

Веками эта страсть то засыпала, то просыпалась, то бросалась в безнадежный, отчаянный бой, то тихо бурлила в подземном скрытом течении, то претворялась в могучие, разрушительные пожары, то подымала на плечи страшные исторические тяжести и с исполинским терпением несла их через века и дебри времен. Так пронесла Россия и татарское мрачное иго, и скопидомную вековую темень московских великих государей, и похабную помещичью власть, и великодержавный разврат Екатерины, и туповато-угрюмую чреду последних императоров.

С той же великой страстью, с тем же жестоким и горячим упорством подымался великий народ против наглых и удачливых царственных бандитов и завоевателей, и они убегали от него, спрятав в воротник шинели опозоренное лицо и трусливо прижимаясь к борту носилок или к подушкам экипажа. За ними, по пыльным или снежным дорогам, волочились жалкие остатки блестящих корпусов и дивизий, и в последней агонии выскаливали зубы сытые лошади их лихой кавалерии.

И во всех этих делах, во все исторические светлые и кромешные дни, в часы терпения и в часы гнева,— страсть нашего народа имела одно содержание. Это было великое стремление к справедливости, к лучшей жизни, к новому счастью людей. Только в этой вере могли родиться неповторимые люди и события России: и неукротимый дух Петра Первого, и юношеский подвиг декабристов, и живая сила толстовских героев, и мудрость босяков Максима Горького, и светлый разум Пушкина. Но как часто в истории эта страсть и вера била мощной, но безнадежной волной, без оглядки и без расчета, но зато и без победы!

И сейчас она забурлила, освобожденная и радостная, как и раньше, и, как раньше, разрушительная. Но сейчас впервые в истории над нею поднялся новый человеческий разум, новый закон, закон той самой новой счастливой жизни, о которой веками мечтали люди.

3

Некоторым показалось, что в нашем городе было как будто иначе. Газеты приходили тревожные и взволнованные, они на каждой странице отражали мучительную бредовую лихорадку в стране, в их строчках дышали и гнев, и призыв, и беспокойство, и злоба, и трусость, и растерянность. Горожане читали газеты, и многим горожанам казалось, что революция проходит мимо города. Проносились мимо шумные маршевые батальоны, пассажирские поезда трещали от безбилетников, то в той, то в другой стороне неба дрожали зарева пожаров. И многие были уверены, что это не революция, а простой беспорядок, беспорядка же в городе было и так не мало.

По вечерам прибавилось людей на улицах, никогда еще по тротуарам не переливалась такая тесная толпа. Веселые молодые люди, румяные, смеющиеся девушки, все куда-то проходили и проходили и возвращались обратно, встречались взглядами, улыбались и шутили, собирались рядами, венками, гирляндами. О чем они говорили, над чем шутили, чему смеялись? Ведь на тех же улицах по трещинам молодой радостной толпы пробирались пьяные, размахивали руками, кому-то грозили, на кого-то обижались. И по тем же улицам, и на тех же

тротуарах по утрам волновались худые, бледные женщины у дверей хлебных лавок и проклинали жизнь. И рядом стонали нищие, и ползали калеки, и бродили пыльные, скучные извозчики в поисках пассажиров. И все в городе как будто припорошилось пылью: и вывески, и витрины, и прилавки, и остатки товаров. Вокруг вокзалов и на других площадях ветер с утра до ночи гонял бесчисленные бумажки, а в парке кричали грачи оглушительными голосами.

На Костроме на глазах у всех умирали заводы. Несмотря на то, что весь тыл города занят был пристанями, на заводы перестал поступать лес, и кругом говорили, что леса нет. Перестали поступать уголь и нефть, а на заводских дворах люди скучно перетаскивали с места на место всякое старье и матерились. В дни получек подолгу стояли у дверей контор, оглядывались, хмурились, ругались. Кто-нибудь говорил:

— Ну, пускай хороших денег нет. Понимаем,— провоевались. А керенки? Чи тебе трудно? Отмерь мне пол-аршина керенок!

Заросший грустный бухгалтер растерянно разводил руками, улыбался.

Но кто-нибудь другой подымет к нему лицо и кричит:

— И мне пол-аршина! Только в полосочку,— штаны, видишь, никуда!

И только что проклинавшая толпа хохочет, подымаясь на цыпочки, и прибавляет новые, такие же нехитрые остроты.

4

Жена Пономарева, Анна Николаевна, дама сухая и нервная, говорила гостье, Зинаиде Владимировне Волошенко, жене штабс-капитана:

— Прокофий хотел закрыть завод,— боится. Просто махнул рукой. Потерпим,— наладится же когда-нибудь. Большевики! Откуда они взялись?

— Это все мужчины,— вытягивая губы, сильным шепотом произнесла Зинаида Владимировна,— такой беспокойный народ!

— Зинаида Владимировна, побойтесь бога! При чем здесь мужчины? Это простонародье, большевики!

Что-то слабо стукнуло в передней, и Анна Николаевна в страхе оглянулась на дверь. В дверях стоял Алеша и улыбался. У Анны Николаевны задрожала рука на ручке кресла, тонкие губы сделались вялыми и раскрылись:

— Что такое? Зачем?

— Извините,— сказал Алеша и поклонился.— Нам нужно поговорить с гражданином Пономаревым.

— Господи, как вы вошли? — в волнении Анна Николаевна вскочила с кресла, и тогда за плечами Алеши она увидела широкую, довольную физиономию Степана Колдунова. Она вскрикнула тревожно, как кричат только в минуту близкой страшной опасности:

— Как вы вошли?

Она стремительно бросилась в переднюю, Алеша, улыбаясь, уступил ей дорогу. Степан оглянулся смущенно:

— Да... вошли... что ж... Как обыкновенно полагается, через дверь вошли...

Анна Николаевна подбежала к дверям, открыла их, закрыла, в смятении оглянулась. Ее тонкая фигура, болтающееся на ней легкое серое платье, ее взволнованные складки у переносья, очевидно, произвели на Степана несерьезное впечатление. Он развел дурашливо руками:

— Сторожевое охранение, видишь, сбежало. Или, может, застава.

— Что вам угодно?

— Нам нужно видеть Пономарева.

— Может быть, господина Пономарева или хотя бы гражданина?

— Давай господина, нам все равно, мы и с господином можем.— Степан произнес это убедительным приятным говорком, так что и в самом деле слушатель мог убедиться, что Степан умеет поговорить с каким угодно Пономаревым. Анна Николаевна так и не разобрала, понимать ли слова Степана как извинение или как насмешку. Она тихо сказала: «Подождите»,— и скрылась за высокой белой дверью. Алеша сказал Степану:

— С господином Пономаревым я буду говорить, а ты помолчи.

— Думаешь, напутаю?

— Не напутаешь, а ты... с господами не умеешь разговаривать.

— Я не умею? Да это ж моя главная специальность! Всю жизнь только и делал, что с ними разговаривал. Да слушай, Алешенька, дозволь мне, а то говоришь,— не умею. Дозволь, вот сейчас покажу... как это замечательно умею. Я это сейчас по старой моде поговорю. Ты стань сюда, вот сюда, представление покажу по старой ихней моде...

Он напряженно шептал, задвинул Алешу в темный угол, к зеркалу. У Алеши заблестели глаза:

— Вот... черт... ну, хорошо, покажи.

Степан для чего-то взъерошил бороду и вдруг весь обмяк посреди передней, ноги расставил как-то по-особенному и живот распустил по поясу. Брови его поднялись и округлились, маленькие глазки остановились в туповатом, сладком покое.

Пономарев вошел суровый, с перепутанной бородой, готовый встретить любую неприятность, но и вооруженный неприветливой, терпеливой хмуростью, чтобы эту неприятность отразить. Неподвижная фигура просительного мужика поразила его. По привычке он даже приосанился было, но, вероятно, вспомнил, что теперь на свете все странно, все неожиданно и неверно. Нахмурил брови, спросил:

— Кто тут? По какому делу?

Степан быстрым движением ухватил с затылка свой выцветший пятнистый картуз и опустил его вниз великолепным, веками воспитанным движением: не впереди себя, не щеголяя веселым приветом, а как-то сторонсй, за ухом, выворачивая руку в неудобном сложном повороте. Потом быстро мотнул головой, и его отросшие лохмы взметнулись жалким, покорным веником:

— К вам, господин, покорная просьбишка.

Алеша даже голоса Степана не узнал,— сколько в нем было неги, глухих обертонов, срывающегося, нервного хрипа. Пономарев нечаянно расправил плечи, выпятил живот:

— Ну?

В дверях стояла Анна Николаевна и соображала с трудом о подлинности просительного мужика. Степан переступил на месте от волнения, задергал в руках кар-

туз, чуть-чуть склонил набок сдержанно умильную физиономию.

— Не обижайтесь, что побеспокоили, как, может, отдыхали пообедавши, а только без вашей помощи хоть пропадай. Только от вас все зависит, и больше никто этому делу пособить не в силах.

Пономарев не мог отвести глаз от убедительного лица Степана, на котором и глаза, и нос, и губы, и даже подвижные складки на лбу,— все подтверждало просьбу, все изображало сложный, невероятно путаный пейзаж. В нем были и надежда, и деловое увлечение, и почтение, и страх. Пономарев поневоле залюбовался этим приятным пейзажем, роскошной прелести которого он раньше так непростительно не замечал.

— Ну говори, говори, чем могу помочь. Тебе что, денег, что ли?

Степан воодушевленно размахнулся картузом:

— Какое денег, дорогой? Не денег. Зачем мне деньги, коли я человек бедный? Общественное дело, гражданское. И вас, конечно, касается, как вы теперь свободный гражданин, и заводик у вас тоже бывает в опасности от всякого народа...

— Ну-ну?

— Кого ни спроси,— все говорят: только один господин Пономарев в состоянии, больше никто.

Степан даже головой затрусил от убежденности. Пономарев застенчиво улыбнулся, глядя на свои ботинки.

— У вас, говорят, в большом количестве имеется, и вы бедному народу...

— Да чего? Чего тебе нужно?

— А... это... А винтовки!

Пономарев резко повернулся на месте, так резко, что проскочил взглядом почтительную фигуру Степана и увидел Алешу у зеркала. Его лицо налилось краской, он глянул на Степана с настороженным удивлением, но Степан смотрел ему в глаза и просительно скалил зубы.

— Вы вместе?

— А как же! — обрадовался Степан.— Бедному человеку, если в одиночку ходить, какая польза. Надо вместе: один выпросит, другой вымолит, третий так возьмет, хэ-хэ... Так и ходим кучей. А у вас, говорят, тут же в доме вашем лежат эти самые винтовки. Вам

они все равно ни к чему, потому что у вас две руки, да и все. А у бедного народа сколько рук, и в каждую по винтовке нужно.

Степан так хорошо играл роль просителя, что Пономарев даже и теперь не разобрал. Он взялся за ручку двери и сказал негромко, с деланным разочарованием:

— Чудаки, кто вам сказал, что у меня есть винтовки?

Степан быстро зашел с фланга и заспешил взволнованно:

— Да вы, может, забыли, господин хороший, за делами всякими да хлопотами. Так вы не беспокойтесь, не утруждайте себя, мы и сами посмотрим, вам никаких хлопот чтобы не было.

— У меня нет винтовок, слышите? — закричал Пономарев, начиная понимать, что дело серьезное.

Он гневно глянул на Алешу:

— Господин Теплов? Я понимаю, что вам нужно!

Алеша шагнул вперед, приложил руку к козырьку.

— Так точно, Теплов. Вы удовлетворите просьбу этого... бедного человека?

Но он не выдержал и залился улыбкой, уставившись в рыжую бороду Пономарева, поэтому говорить уже не мог, а только выразительно показал на Степана. Степан добродушно разгладил усы и приготовился выслушать решение господина.

— Оружие? — резко спросил Пономарев.

— Да бросьте,— засмеялся Алеша и заходил по комнате. Снисходительно глянул на растерянную фигуру хозяина.— Ну, что вы ломаетесь? У вас в подвале пятьдесят винтовок и патроны. Забыли, что ли? Прибыли к вам еще в мае, для чего уж — не знаю.

— Да для бедного ж народа,— сказал Степан, как будто уговаривая Алешу,— для бедного народа.— Он вдруг надел картуз и засмеялся: — Ах, и потеха ж, прости господи! Ну, довольно с тобой по старой моде разговаривать. Давай ключи да покажи это самое место.

Пономарев глянул на Алешу, глянул на Степана. Анна Николаевна притаилась в дверях и бледнела от злобы. Алеша выпрямился, сжал губы, чуточку сдвинул каблуки:

— Приступим, господин Пономарев?

Серые глаза Пономарева улыбнулись с презрением:

— Кому я должен отдать оружие? Кем вы уполномочены?

Алеша быстро поднял клапан грудного кармана и протянул хозяину бумажку:

— Совет? — произнес гнусаво Пономарев, держа бумажку на отлете и глядя в нее вполоборота.— Совет для меня не начальство. Надо разрешение военных властей. Оружие на учете,— что вы, не понимаете? И еще написано: «Предлагает». Как это «предлагает»?

Степан ответил:

— Предлагает, это значит: отдай по совести, пока тебя за воротник не взяли; а возьмем за воротник, тебе некогда будет думать, где твое начальство.

Пономарев отодвинулся от Степана поближе к дверям, чуть-чуть побледнел, хотел расправить бороду, но забыл, опустил руку, склонил голову:

— Что ж... Хорошо... Подчиняюсь насилию.

— Правильно делаешь, голубок,— закричал Степан.— Умный человек, и характер у тебя спокойный. Если люди насильничают, что ты с ними сделаешь,— известно — простой народ. Вот и я...

Но хозяин не дослушал его. Он еще раз с укором посмотрел на Алешу.

— Пойдемте.

Алеша вежливо пропустил мимо себя хозяйку. Она спешила к покинутой гостье.

5

Богатырчук не то приехал, не то с неба свалился. Вчера его еще не было, а сегодня он побывал на заводе, в совете, у Павла, у Алеши, у Тани, даже у подполковника Троицкого. Алеша целовал его, оглядывал со всех сторон, радовался и обижался. Еще не снявший вагонного «загара», Сергей казался сегодня особенно массивным и неповоротливым, стулья под ним жалобно скрипели, может быть, оттого, что Сергей не очень считался с собственной неповоротливостью, а все шумел, шутил, вертелся во все стороны.

— Алешка, ты же веселый человек, как тебе не стыдно хромать. Едем на фронт. Едем!

— Это на какой? На юго-западный?

— Брось. Кто теперь считает по солнцу? Теперь считать нужно по-другому. У вас тут какая-то тишина, а в других местах кипит, ой, кипит!

— Да ты что сейчас делаешь? Кто ты такой?

— Я? Да я теперь большевик — и все. А так считаюсь: уполномоченный комитета фронта по вопросам о дезертирах.

Степан, раскрывший было рот и глаза на гостя, услышав последние слова, незаметно увял и отступил в беспорядке на кухню. Там он тихо сказал Василисе Петровне:

— Мамаша, когда нашему брату, рабочему человеку, покой будет?

— А что случилось?

— Приехал вот! Уполномоченный, говорит! Алешка-то его целует-милует, да, смотри, на радостях и выдаст меня со всей моей военной амуницией.

Алеша, увидев отступление Степана, кивнул ему вслед:

— Испугался тебя.

— Да ну его,— Богатырчук махнул рукой.— Разве их теперь переловишь? Как тут у вас? Тихо?

— Да ничего. Красная гвардия у нас.

— Много?

— Полсотни. Народ боевой, да это на заводах. А в совете скучно.

— Эсеры?

— А черт их разберет? Жулики больше сейчас в эсеры записались, кричат, да они и сами себя не слушают. Вот я тебе расскажу: офицеры здесь собрались, поговорили...

Алеша рассказал другу о совещании у Троицкого.

— А офицеры эти откуда?

— Раненые есть, отпускные. А почему Троицкий в городе, не знаю. Он у Корнилова был. Здесь скучно, Сергей. По улицам шляются, на митингах орут, а к чему — не разберу. Все на Петроград смотрят.

— Подожди.

— Вот я и не пойму: чего ждать? Что дальше-то будет?

— Погоди, Красная гвардия есть. Прибавляй. Пригодится.

В дверной щели ясно был виден красный нос Степана, но Сергей делал вид, что не видит его.

— На Петроград все смотрят,— сказал Сергей с гордостью,— а только ты не думай, что Петроград за вас все сделает.

Алеша захромал по комнате, занес руку на затылок:

— Понимаешь, Серега, никто и не думает, чтобы за нас делали, а все-таки трудно так... Ты прямо скажи, буржуев бить будем? Или как?

Сергей с любопытством следил за Алешей, иронически поглаживая круглую стриженую голову:

— Если не покорятся, будем бить.

— Как это?

— Да твои офицеры затевают какой-то ударный полк? Затевают? А если и в самом деле выкинут штуку?

Степан просунул голову в щель двери и сказал негромко:

— А для чего ждать, пока они соберутся?

— Слышишь? — улыбнулся Алеша.

Богатырчук быстро повернулся к дверям:

— А что делать, по-твоему? — спросил он.

— Как — что делать? — Степан вылез в комнату и сразу начал загибать пальцы: — Во-первых, оружие отобрать,— как у нас говорят: Акулине — голос, Катерине — волос, а Фроська и так хороша, ни голоса, ни волоса — ни шиша. Это раз! Отобрать. Второе: посадить в кутузку — два! А потом... а потом... Да и не только их,— Степан смутился и захохотал, шагая по комнате и все держа счет на пальцах.— Да разные господа и помещики! В один день и благословить: иди к такой богородице в царство небесное и живи спокойно, а нам не морочь головы,— теперь наша очередь. А то они, гады, все равно верх возьмут...

— Это ты заврался,— сказал Сергей строго.— Богатство — это другое дело. Богатство отберем по закону.

— А кто закон даст?

— А мы сами.

— Да когда ж ты его придумаешь, закон?

— Подожди.

— Да ну вас,—рассердился Степан.—Ждали, ждали, да и жданки поели. Это уж так хохлы говорят, а они разумный народ. Ленина куда спрятали, говори!

— Ленин свое дело сделает, не бойся.

— Куда вы его спрятали?

— Кто это... вы?

— Да... разны... там... Господа вообще.

— Не господа, а мы спрятали. Надо прятать, когда за ним с ножами ходят. А он и так дело свое делает.

— Разбери вас. Да для чего ж остерегаться? Скажи народу, он тебе сейчас... под самый корень.

— Да ты, чудак, сообрази. Тебе вот пришло в голову, пойдешь сейчас буржуев громить, а другому еще что придет. Организация есть. Партия. Партия большевиков, слышал?

— Вот смотри ты,— слышал. Да у нас тут на Костроме все большевики.

— Это не большевики. Большевики дисциплину знают.

— Как ты сказал?

— Дисциплину, говорю.

— О!

— А что?

— Ого! Ну... будет у вас чести, как с лысого шерсти! Это... Да ну вас! — Степан засунул руки в карманы и побрел на кухню.

Богатырчук проводил его прищуренным взглядом.

— Батрак?

— Батрак,— ответил Алеша.— Да он замечательный человек.

— Чего лучше. Такого свободно можно считать за один станковый пулемет.

— И без водяного охлаждения.

— Это твой денщик?

— Это мой друг,— ответил Алеша.

6

Степан сидел на крыльце и курил махорку. Алеша вышел, присел на ступеньке.

— Правильно это он говорил или неправильно?

— Правильно.

— А почему правильно? Петрограда ждать, что ли? Со своими буржуями сами справимся.

— Буржуи у нас в одиночку. Организации у них нет, войска нет, юнкеров нет.

— Это выходит черт те што. Не по-моему выходит. Степан сердито отвернулся к воротам.

— А чего тебе нужно?

Степан наморщил лоб:

— Чего мне нужно... Вот придет старик, ему пожалуюсь. Черт те что выходит... и может... того... юрунда может выйти.

— Юрунда, юрунда,— передразнил его Алеша.— С такими, как ты, и может выйти юрунда. Тебе это хочется, как при Степане Разине...

— Это про которого в песне поется: «Только ночь с ней провозжался, а наутро бабой стал»? Так он нет... он эту бабу отставил...

— Да не в бабе дело.

— Да и не в бабе,— обозлился Степан.— Кому баба может помешать, если по-настоящему. Если баба хорошая, она ни за что в помехе не будет. Главное, корень вырвать. А твой этот Сергей заладил одно: организация, организация. Вот придет старик, вот ты увидишь...

— Ну, и увижу,— добродушно согласился Алеша.

7

До прихода Семена Максимовича Степан бродил по двору, заглядывал в кухню и принимался что-либо делать. И молчал. Только вечером, закладывая дрова в дверцы узенькой топки,— не глядя ни на кого, спросил:

— Капитан артиллерии, ты слыхал что-нибудь про Степана Разина?

Капитан мирно сидел на низенькой скамеечке в убранной кухне, высоко взгромоздив худые блестящие колени. Папироса почти целиком скрывалась в его усах. Василиса Петровна, сурово сжав губы, тонкими кружочками нарезывала лук и укладывала его вокруг приготовленной к ужину селедки.

— Слыхал,— ответил капитан.

— Он, чего это, разбойник был, что ли?

— Атаман. Только не разбойник, нет.

— А как же? Революционер, выходит?

— Революционер? Да нет, какой там он революционер. Тогда революционеров еще не было. Атаман просто.

— Он за бедных воевал,— тихо, серьезно сказала Василиса Петровна.— За бедных воевал... и был очень хороший человек.

— Так что ж ты? — Степан сердито обернулся, сидя на корточках.— А еще образованный человек. Значит, революционер.

— Он хороший был человек,— продолжала Василиса Петровна,— только...

— С девчонкой? Знаю...

— Да нет,— сказала Василиса Петровна,— у него... не знаю... выпивал он сильно. Если бы не выпивал, он всех победил бы... этих... тогда назывались бояре...

— Да знаю, бояре,— буржуи, теперь говорят. Выпивать — это другое дело; бывает, человек запоем или еще как...

Помолчали. Степан взял в руки новое полено, но задержался с работой:

— Алешка, наверно, знает. А ты, капитан...

— Да что тут знать. И я знаю. Могу тоже рассказать.

— Ну!

— Как хочешь,— капитан недовольно передернул плечами.

— Рассказывай, рассказывай, не обижайся.

Степан вытянул ноги на полу. Василиса Петровна смела со стола, неодобрительно глянула на капитана, крепче сжала губы.

— Я, может, что и забыл, но только забыть много не мог, потому что в свое время интерес имел и читал много по холостому положению. Стенька Разин...

— Это выходит, и я — Стенька...

— Да вроде тебя, только, надо полагать, поумнее и покрасивее тебя и морда не такая жирная.

— Я не жирный, а вода такая.

— Ну, а у Разина такой воды не было. Богатырь был, красивый. Казак донской.

— А почему в песне про Волгу поется?

— Родом с Дону, а гулял на Волге. Только это давно было. Лет... лет... двести, а может, и больше. Пошел с казаками гулять, купцов грабить. И своих, и чужих,

персидских. Гуляли хорошо, кафтаны надели бархатные, паруса и онучи завели шелковые.

— Во! — Степан округлил глаза и посмотрел на Василису Петровну с гордостью. Василиса Петровна чуть-чуть нахмурила брови.

— Конечно... и водки попили довольно,— продолжал капитан.

— Добра не жди от водки... А потом?

— А потом... разгулялся и на бояр пошел. И крестьяне к нему пошли, кто победнее...

— А куда ж им идти?

— Городов много, дворян, попов, воевод побил, потопил, повешал...

Степан подскочил с полу:

— Видишь, мамаша, водку пил, а дело понимал. А то много есть таких, разумных. Трезвый, трезвый, а как до дела — выходит — нестуляка.

— А ты дальше слушай, не забегай вперед,— строго остановила его Василиса Петровна.

— Да я и не забегаю, а к слову. Рассказывай дальше.

— Тут и конец. Военного образования у него не было. Организация хромала.

— Какие вы,— вам сейчас же организацию!

— Разбрелись у него по всей земле воевод вешать, а под Самарой... царское войско его и разбило.

— Сам царь такой, что ли, был сильный?

— Нет... царь был тогда так себе... Алексей Михайлович, а у него боярин был, князь Барятинский.

— Генерал, что ли?

— Ну, пускай — генерал.

— Вроде Корнилова?

— Да нет... боярин, с бородой! Давно это было.

— Да один черт — с бородой или без бороды. И разбили, говоришь?

— Разбили. И пушки потерял.

— Эк... смотри ты, какая беда. Поймали?

— Поймать не поймали, а свои выдали.

— Батраки?

— Да не батраки... Казаки выдали. Были... которые побогаче...

— Ах ты, сволочи, прости господи. Ну, скажи, Василиса Петровна, отчего это такое? Как побогаче чело-

век, так и паскуда. Вот смотри на него,— на капитана: пока бедный — на человека похож, а дай ты ему деньги — каюк!

Капитан выслушал это невозмутимо, но Василиса Петровна подозрительно повела глазом на Степана:

— А ты?

— Чего я?

— А тебе дать деньги?

— Я? Да что ты, Василиса Петровна! Да ну их совсем!

— Знаю вас, мужиков,— негромко, но серьезно произнесла Василиса Петровна.— Как завелась у него вторая пара сапог, уже от него добра не жди. Видела!

— Мамаша, не обижай зазря! — взмолился Степан.— Смотря какой мужик. Это если у него лошадей сколько, да коров сколько, да плуги, да сеялки, да риги. А мне хоть десять пар сапог, а как был батрак, так и остался. Видишь, вон, у Степана Разина бархатные кафтаны носили и онучи шелковые, а что с того. У нас так и говорят в Саратовской губернии: не того кулаком, у кого сапог с каблуком, а того дубиной, у кого двор со скотиной. Казнили, небось, Разина?

— Казнили.

— Повесили?

— Четвертовали.

— Это как же?

— Руки отрубили, ноги, а потом голову...

Степан швырнул полено, которое держал в руках.

— Видишь, мамаша, какие дела делаются? Четвертовали! Да одного разве? Там и мужикам попало. Попало? — свирепо обратился он к капитану.

— Сильно попало.

— Казнили?

— Много казнили.

— А тебе, видишь, все равно. Ты себе спокойно сидишь... Тебя не берет зло? Не берет? Сразу и видно, что ты — капитан.

Степан размахивал руками, говорил зло, показывал зубы, даже лицо его уже не казалось таким добродушно-круглым, как раньше. Он топтался перед капитаном на босых ногах, и завязки штанов извивались у его пя-

ток, как черненькие злые змейки. Капитан только задымил больше, прищурил глаза от едкого дыма.

— Молчишь?

— Давно это было... двести, а может, и больше...

— А тебе все равно наплевать, потому — твоих там не было.

Капитан оглянулся, бросая окурок в ведро. Стриженая его голова склонилась:

— Моя фамилия не дворянская. Мои деды, может, и у Разина были, а может, и в запорожцах,— не знаю. Наверное, и их на колы сажали.

— Во, мамаша,— Степан с торжеством повернулся.— Видишь, как с нашим братом обращались. А теперь погляди. Как они Разина поймали,— сейчас же четвертовать, а как Корнилов в руки попался,— ничего, сиди спокойно, а в нашем городе по улицам ходят, а мы смотрим. Справедливо это? Нет, капитан, ты помолчи, а вот пускай Василиса Петровна, понимающий человек, скажет: справедливо?

Капитан отмахнулся рукой. Василиса Петровна опустилась на табуретку, смотрела на Степана с серьезным напряжением, как будто действительно решала важную задачу:

— Ты, Степан, не кричи. Справедливость у бога, а толку все равно не было. Что народу с твоей справедливости. Надо так сделать, чтобы людям лучше жилось. Вот тебе и вся справедливость.

Степан разочарованно полез пятерней в затылок:

— Эх, Василиса Петровна, старушка моя милая, нехорошо говоришь. Добрая твоя душа, а тут добром не пособишь.

Он опять возмутился и ту же пятерню, темно-красную с припухшими, твердыми подушечками на пальцах, протянул к хозяйке.

— Какая лучшая жизнь, коли они, понимаешь, по свету лазят?

— Кто?

— Да... бояре, чтоб им! Бояре, генералы, помещики, мало тебе? Их нужно... вот, как Степан Разин, хороший был человек, царство ему небесное, а что водку пил, так как же не пить в таком положении?

Капитан мотнул головой. Поднял на Степана маленькие глазки:

— Сказано: пехота!

— Без понимания?

— Без понимания. Что ж Разин? Пускай там и хороший человек. Шуму много и крику всякого, а какой толк? Вот я тебя спрашиваю: какой толк?

Степан сначала затруднился ответом и даже начал растягивать рот в улыбке, прикрывающей смущение, но вдруг заострил глаза, вытянул губы:

— Так, чудак, артиллерия! А как же иначе? Скажем, ты из пушки стреляешь. Пристрелку делаешь или не делаешь? Раз не попал, два не попал, а третий раз — в точку. Или, допустим, с девкой: одну полюбил, другую полюбил, а на третьей женился. У Разина не вышло, а у нас выйдет, потому что видно: корней оставлять нельзя. А как же по-твоему?

— По-моему?

— Ну да, по-твоему, по-капитанскому?

— По-моему как?

— Ага.

Теперь капитану пришлось смутиться, но он и не собирался прятать смущение, а сидел и сумрачно думал, глядя в чистый пол между своими сапогами.

— Вот видишь,— у тебя и прицела никакого нет.

— Брось,— капитан недовольно мотнул головой.— У грамотного человека всегда прицел есть. Законы хорошие нужны, вот и все.

— А они есть, хорошие законы, где-нибудь?

— Есть, а как же! Вот в Англии хорошие законы.

— В Англии? А какие там законы?

— Справедливые, хорошие законы.

— Бедных нету, значит?

— Каких это бедных? — капитан неожиданно залился краской.

— Ха! Смотри ты: не знает. Да вот таких, как ты: сидит на чужой кухне, сапог у тебя старый, дома нет, пристанища нет, а тоже: «Кровь проливал». Или таких, как я. Нету?

Капитан заходил коленями, затоптался на месте сапогами, повел плечом. Василиса Петровна улыбнулась,

глядя на капитана, и это привело Степана в восторженное состояние. Он ухватил Василису Петровну за плечи:

— Хозяюшка! Наша берет! А то все, понимаешь, грамотные! Организация! Законы! Как в Англии! Не-ет! Вот постой! Мы им покажем законы!

8

Когда пришел Семен Максимович, Степан бросился к нему. Схватил его за рукав, увлек в чистую комнату. Там сидел за книгой Алеша. Степан пристал к старику:

— Семен Максимович, рассуди, отец. Вот и он сидит, а к нему тут большевик приходил. В Питере бывал. Такое говорит — никакого спасения!

— Кто это? — ставя палку в угол, спросил Семен Максимович.

— Богатырчук,— ответил Алеша.

— Сережка? Ну, так что? Он и у нас на заводе был. Дельный парень.

— Дельный-то, может, и дельный, а говорит черт те что.

— Ну?

— Такое, понимаешь, болтает. «Наша организация!» Я ему так и так: организованно, конечно, взять да и прибрать к чертовой матери разных тут буржуев и поповичей. Мало у них добра награбленного? А он меня еще и стыдить начал. А зачем у нас Красная гвардия, спрашивается. Готовься, готовься, подожди да подожди. Ленина арестовать собрались! Понимаешь, опасность какая? Так лучше переловить их, сволочей, да и все. А потом такое слово ляпнул, прямо нож в сердце: дисциплина. Видал, отец!

Семен Максимович, заложив руки за спину, высокий и прямой, сухим внимательным взглядом рассматривал пухлого взъерошенного Степана. Алеша на диване, подогнув под себя ногу, улыбаясь мальчишеской, вредной улыбкой, ожидал, что скажет отец Степану. Но Семен Максимович именно на Алешу посмотрел строго и сказал:

— А ты все зубы скалишь? Эта балда родного дядю скоро узнавать не будет, а ты радуешься.

— Да чего ж я — балда,— обиженно протянул Степан.— Это что ж, царское время, что ли! Приезжает, понимаешь, и галдит тебе в ухо: организация, дисциплина. Это, может, опять ему господа нашептали. Не успел народ разойтись, как следует,— на, сразу ему уздечку на шею. Старые дела, знаем!

Степан с каждым словом обижался все больше и все больше отворачивался. Закончил он свою речь, почти спиной повернувшись к Семену Максимовичу, руки держал в карманах.

Семен Максимович провел пальцем по усам, быстро, небрежно:

— Красная гвардия называется. Как был мужиком, так и издохнешь. Привыкли, опудалы чертовы. Все в беспорядке, не можете иначе!

— Семен Максимович! Семен Максимович! Не говори такие слова,— Степан быстро обернулся, покраснел, мотал головой, укорял старика: — Увидишь, моя правда будет. Если их, сволочей, не вырезать, для чего волынку развели? Расею всю подняли!

— Ты! Студент! — резко обратился Семен Максимович к сыну.— Растолкуй ему, в чем дело. Видишь, ему разойтись не дают? Обижается... как... баба! Никакого дела не способны сделать. Расея!

— Отец! Неправильно говоришь! Не разойтись, а терпения нету! — горько взмолился Степан.

Семен Максимович в дверях взялся за притолоку, обернулся, крепко сжал бледные губы, холодно, спокойно глянул на Степана:

— Нищим был — терпел? Теперь учись другому терпению.

— Какому? — простонал Степан, ошеломленный холодностью старика.

Семен Максимович неожиданно подарил Степана своею замечательной улыбкой.

— К примеру, окна бить — терпения не нужно. Да и ума не нужно. А хату новую строить — и голова нужна, и терпение. А вы привыкли: терпения у него нету! Окна побил, а потом сидит и дрожит от холода, как собака!

9

Вечером собрались все как будто нечаянно на берегу реки в том месте, откуда хорошо видны огни «Иллюзиона» и где стоит деревянная хибарка бакенщика, валяются опрокинутые лодки и деревянная конструкция, похожая на сани, а на деле представляющая собой поплавок для сигнальных фонарей. По реке еще ходили пароходы, их огни нарядным торжественным шествием иногда проплывали за поредевшей зеленью острова.

Осенний вечер был теплый, ясный, прозрачно-чистый, похожий на воспоминание. В избушке бакенщика светилось окно. Казалось, что близко живут люди — и живут счастливо. Даже силуэты костромских крыш, черневшие на слабом зареве города, казались кровлями хорошего радостного человечества.

Алеша пришел с Сергеем попозже. Шли не спеша и находились в том мирном состоянии, когда все горячее, дружеское, о чем можно рассказывать неделями, оказывалось коротким и немногословным и уместилось в полчаса, и поэтому можно не спеша ставить ногу на песок и молча раздумывать над рассказанным.

У избушки бакенщика сидела молодежь. Павел Варавва один стоял темной тенью, да у самой воды отдельно торчала высокая неподвижная фигура капитана. Стояла-стояла, а потом побрела по берегу, да так и исчезла незаметно в прозрачно-сумрачном торжестве осени.

Увидев Сергея, Таня вскрикнула, выбежала из круга, бросилась к нему:

— Слушай, Сергей, как это с твоей стороны...

— Подло?

— Конечно, подло. Ждем, ищем — говорят, пошли на реку, и здесь нету. Ты зазнался. Признавайся, зазнался?

Таня говорила быстро, весело, даже в темноте был виден голубой блеск ее глаз, и Алеша с грустной памятью пожалел о чем-то, что было так мило и так слабо сопротивлялось времени. Говоря свои укорительные речи Сергею, Таня дружески-небрежным жестом протянула Алеше руку, не глядя на него. Рука оказалась нежной и теплой, и Алеша отпустил ее с тем же грустным сожалением.

— Я знаю, для чего я вам нужен,— говорил Сергей.— Вам нетерпеж про Петроград послушать. Только

дудки. Целый день рассказывал, рассказывал, теперь хочу наслаждаться жизнью.

На опрокинутых лодках, на санях-поплавке сидели юноши и девушки, беседовали тихонько, иногда смеялись, слушали других, потом снова затихали и так же тихо исчезали группами, а на их место приходили другие. Только Николай Котляров сидел все время в одиночестве и смотрел на реку.

Сергей стоял против Тани, высокий и могучий, говорил басом.

— А помнишь, Таня, когда начиналась война, ты сказала, помнишь, на кладбище сказала: если я вернусь целый и невредимый, ты меня поцелуешь? Помнишь? И вот смотри: давно вернулся целым, все ожидаю и ожидаю, а ты молчишь.

Павел Варавва сказал:

— И я слышал.

Таня оглянулась на Павла с той грацией, которая приходит только в счастливые дни любви.

— Сережа, во-первых, война не кончена. Во-вторых, тогда мой поцелуй был бы для тебя наградой, а теперь я не уверена...

— Ну...

— Согласись, что вопрос далеко не ясен... Но я тебя поцелую, если расскажешь про Петроград.

— Да мало я вам рассказывал? Я тоже человек гордый...

Сергей присел на поплавок рядом со скучающим Степаном Колдуновым. Алеша поднял голову, присмотрелся к слабо мерцающим звездам, что-то тихонько засвистел и замолк.

— Хорошо здесь,— сказал Сергей,— мирно. Собственно говоря, в такой вечер нужно запретить разговаривать. Да еще на таком берегу, на такой реке. Таня, сядь рядом со мной, исключительно для поэзии. Ты посмотри, даже Павел поэтически настроен,— Павел, большевик, революционер, борец за правду. Поверить трудно — такой деятель, а теперь стоит и мечтает.

— Я не мечтаю, я думаю,— ответил Павел и кашлянул: с таким трудом слова выходили у него из уст.

— О чем же ты думаешь?

— Я не умею рассказывать.

— Давай, я за тебя расскажу.

— Сережа, расскажи, голубчик! — Таня взяла Сергея за руку. — А то он всегда молчит, и ничего про него не узнаешь.

— Могу. Он думает, во-первых, о том, что на Костроме ему тесно, и он не может развернуть своих талантов. О том, что на заводе мало работы, и за прошлый месяц он получил только сорок пять рублей. В-третьих, он думает о том, что ты должна уезжать в Петроград, и тогда на Костроме станет еще теснее, в-четвертых, он не уверен, что ты любишь именно его, Павла Варавву, а не меня или Алешу. В-пятых, у него протерлись праздничные штаны. Протерлись потому, что они слишком долго были праздничными штанами.

— Ой-ой-ой, сколько же у него мыслей! — протянул Алеша. — А я думал, что он больше практический деятель. Он угадал, Павло?

— В общем, угадал. Только я думаю не об этом.

— Странно. Как же это?

— Я думаю о России.

Степан быстро повернулся на поплавке, — проснулся будто.

Павел переступил с ноги на ногу и с этим движением оживился. Он присел перед Сергеем на корточки и заговорил горячим шепотом:

— Честное слово, о России. Ты, Сергей, все ездишь, много видишь. Ты — прямо счастливый человек. Тебе можно и не думать. А здесь... ты себе представь. Смотри — живут... Сколько людей! И раньше жили?

— Да яснее говори, ничего не разберу, — Сергей наклонился к нему.

— Россия! Вот возьми так и скажи — Россия! Что это такое? Народ такой? Народ такой, да? А почему... почему у нас тут все жили и никогда не думали про это. Ну, там война, конечно, воевали, а вообще не думали, жили — и все. Что, неправда?

Сергей, опершись на колени, завертел головой:

— Конечно, неправда.

— Нет, правда! Я тебе даже так скажу: вот здесь у нас на Костроме, да и в городе процентов шестьдесят... нет, не шестьдесят процентов... восемьдесят таких, которые даже слова этого не выговаривали: Россия.

— Врешь,— задумчиво протянул Сергей,— говорить-то, может, и не выговаривали, а знали все-таки. Чувства не было, чувства, а знали: это Россия, а там Петербург, а в Петербурге царь сидит.

— Да нет! — Павел поднялся сердитый.— Алешка, помогай! Этот медведь такие вещи сразу не поймет. Может, ты ему расскажешь?

— Вы оба ничего не понимаете,— ответил Алексей.— Россия была, и все это знали. И все чувствовали. А только от этого радости людям не было.

— Вот это правильно! — закричал Степан.

— А теперь? — Сергей, наверное, прищурился.

— А теперь я чувствую и Рязань, и Казань, и Саратов.

— И Саратов! — крикнул Степан и махнул в темноте кулаком.

— Видишь? Как он Саратову обрадовался! — Сергей начинал торжествовать победу.

Но Степан тоже торжествовал:

— А как же? Мой город — Саратов! Губерния!

Все расхохотались.

— Да чего вы! Плохая губерния, может?

— У тебя, Степан, саратовский патриотизм. Ты как думаешь насчет России? Только подальше от своего Саратова.

Видно было в темноте, как Степан наморщил лоб:

— Расея? А как же. С одного бока Расея, а с другого бока боярин. Толку мало! А ежели бояр передавить, да я за такую Расею кому угодно зубы поломаю.

— Кому?

— Да кому хочешь, хоть и тебе.

— А раньше не ломали зубы? При царях не ломали? Наполеону?

— Ломали,— с аппетитом произнес Степан.— А как же? Не лазь. Он, русский человек, не любит, когда лезут.

— Вот хорошо сказал, Степан,— обрадовался Алеша.— Таких гостей провожали с честью!

— А как же иначе,— подтвердил Степан,— гостя нужно провожать: хорошего, чтоб не упал, плохого, чтоб не украл.

— Да что у тебя было красть? Онучи? — Сергей хохотал.

— А что ж? Не смей до моих онуч без спросу.

— А у твоих господ дворцы, заводы, шелк, бархат.

— С моими господами я желаю сам счет вести. Может, мне нужно шелковые онучи сделать, вот как у Степана Разина было, а тут какой-то Наполеон лезет. Чего ему нужно?

— Держи хвост трубой, Степан! Не сдавайся!

— Да нет, Алеша, не бой-ся!

Степан размахнулся руками, присел и выдохнул из себя широкое слово:

— Эх, силушка, силушка! Да давай же я тебя, добрый молодец, положу на обе лопатки!

Он пошел на Павла, комично перегнувшись вперед, расставив руки. Павел захохотал и отскочил в сторону:

— Что ты меня положишь! Ты Сергея положи!

— Все равно кого. Пропадает сила понапрасну! Положу!

Сергей медленно поднялся на ноги, потряс плечами, попробовал собственные бицепсы. Таня прозвенела:

— Степан, удирай! Сережка в цирке борцом работал!

— Борись, Степа, не бойся,— Алеша сказал это,— из цирка его выгнали.

— По-французски? — спросил Богатырчук.

— Чего я там буду с тобой по-иностранному? — захрипел Степан, облапил Сергея, захватив и руки. Сергей засмеялся, выдернул одну руку, но другой выдернуть не мог. В следующий момент Степан перегнул его «через ножку» и повалил на землю.

Павел закричал:

— Неправильно! Что ты делаешь?

Но Сергей уже не мог сопротивляться от смеха, а застоявшаяся страсть Степана ничего не замечала. Он наступил коленом на Сергеев живот и полез на Сергея всей своей массой:

— Проси пощады!

— Да ну тебя к черту! Медведь!

— Нет, не медведь! Отвечай по порядку, как ротному командиру!

— Ну?

— Скоро у вас там в Петрограде толк будет?

— Скоро,— ответил Сергей со смехом.

— Когда?

— Военный секрет.

— А я тебе не военный? Кто я такой? Отвечай!

— Ты — темная, деревенская сила!

— Ах, так? — Степан затанцевал коленом на Сергеевом животе.

Но на этом и окончилось его торжество. Сергей незаметным сильным движением опрокинул Степана на землю и в следующий момент переметнулся в темном воздухе, по всем правилам придавив плечи противника к земле. Степан высоко задрал широкие, тяжелые и бесформенные сапоги, зрители смеялись. Тогда Сергей спросил у Степана:

— Отвечай по порядку, как уполномоченному по фронту.

— Отвечаю.

— Скоро ты поумнеешь?

— Скоро,— захрипел Степан.

— Когда?

— Военный секрет.

— Ах, так? — передразнил Сергей и тоже наступил коленом на живот. Степан ойкнул и замотал ногами, но вырваться не мог.

— Отвечай: завтра поумнеешь?

— Утром или вечером?

— Да хоть вечером.

— Вечером можно.

Когда борцы, отряхнувшись, уселись на свои прежние места, Таня спросила:

— Кто же из вас сильнее?

— Он сильнее, да сила у него неорганизованная. Нахрапом берет,— Богатырчук подмигнул Степану.

10

И снова, как когда-то давно, Алеша и Таня отстали по дороге домой. Они подымались от реки по широкой истоптанной песчаной дорожке. Впереди на блеске огней «Иллюзиона» колебались темные силуэты друзей, доносились оттуда отдельные слова Степана, наиболее энергичного из ораторов:

— Сделаем... еще как сделаем...

Алеша прислушивался к Степановым словам и улыбался и в то же время прислушивался к самому себе: почему-то так случилось,— он давно не бывал в обществе девушек, сейчас очень хорошо было идти рядом с Таней, но ее близость волновала его в совершенно «святом» разрезе. Таня шла рядом с ним, поглядывала на звезды, вздрагивала и зябко подбирала руки к груди. Она была и сегодня хороша, и поэтому Алеша радовался, что она любит Павла, Павел заслуживает счастья. Выходило так, как будто это он, Алеша, устроил для друга такое торжество. Но это не главное. Главное в том, что Таня старый друг, старый друг и нежный, которому хочется все рассказать до конца, то, что любимой, может быть, и не скажешь. А впрочем, кто знает, что можно рассказать любимой?

Алеша говорил:

— Вот ты можешь учиться, а я не могу. Я теперь все думаю о будущем. Если бы я знал, какое оно будет, я мог бы учиться, я поехал бы в Институт гражданских инженеров, читал бы книжки, писал бы письма, ходил бы в театр...

— У тебя такое... неприятное состояние? Неуверенность?

— Нет, почему неуверенность? И почему неприятное? Вот... Лет пять назад у всех было состояние... уверенности. Все знали, что будет завтра и что будет через месяц. Знали даже, на каких лошадях выедет Пономарев... Это было состояние уверенности. Но это состояние вовсе не было такое приятное, особенно для подавляющего большинства. А сейчас я не думаю о том, что будет дальше. Если бы я начал предсказывать, я, наверно, наврал бы. Но зато я знаю, что я буду бороться за что-то прекрасное, я знаю, чего я хочу и чего другие хотят... И я буду добиваться! Я много думаю о будущем.

— И я тоже... Только я знаю, какое будет будущее, а ты не знаешь.

— И ты не знаешь. И никто не знает. Какое там будущее... Тут и прошлого не знаешь, как следует.

— Прошлое мы знаем, не ври.

— Нет, не знаем. Скажи, пожалуйста, любила ты меня или не любила, когда поцеловала в вагоне?

Таня спокойно подняла на него глаза:

— А как же? Разве можно было тебя не любить. Ты уезжал на фронт, первый офицер с нашей Костромы,— тебя все любили. Я тебя и сейчас очень люблю.

— Ты — прелесть, Таня. Ты — хороший друг. Но ведь я могу... поцеловать тебя, когда ты будешь... первым врачом с нашей Костромы?

— Можешь. А ты так и сделай... Только это в будущем, которого ты не знаешь. А я, видишь, знаю.

— Ничего ты не знаешь.

— Знаю. Мы, большевики, знаем, за что боремся. Мы боремся за социализм. Со-ци-а-лизм!

— Социализм,— это будет прекрасное, справедливое, замечательное время. Без эксплуататоров. Я этого хочу и добиваться буду, и, даже если на десять человек я окажусь самым сильным, я и их поведу. А теперь есть много сильнее меня.

— Богатырчук?

— И Богатырчук.

— И Павел?

— И Павел.

— Алеша, неужели ты такая скромница?

— Нет... Какая же здесь скромность?

— Ты, значит, так и остался таким гордым? И из гордости ты обломал себе петушиный гребень?

Алеша громко рассмеялся:

— Зачем же так? Это... очень некрасиво. Но... Жаль все-таки, что ты меня разлюбила, ты — такая умница.

— Я тебя очень люблю.

— И я тебя «очень».

Счастливые, они остановились на средине широкой улицы и улыбались друг другу. Таня сказала:

— Спокойной ночи.

Впереди Богатырчук кричал:

— Довольно вам! Где вы там... Спать пора!

11

Нина Петровна Остробородько поднялась на крыльцо тепловской хаты и нерешительно постучала в дверь. Был воскресный день, в недалекой церкви звонили, на небе холодной серой пустыней расположилась осень, но

было еще сухо, и приятно шибал в нос незлобный запах древесного увядания. Нина Петровна разрумянилась,— может быть, от первой осенней свежести, может быть, от первого визита к Тепловым. На ней ладный, черный жакетик, у шеи он небрежно раскрыт, и видна сияющая белизна шелковой косынки, над которой нежность юного теплого подбородка кажется еще милей.

Послушав, Нина сильнее постучала в дверь, ее губы проделали гримасу возмущения, но сразу и успокоились в еле заметной строгой улыбке, которая всегда шла к ее спокойным, немного ленивым глазам, к точному повороту головы, к румянцу и белизне лица.

Дверь открылась неслышно, и выглянуло удивленное лицо Степана.

— Чего ты дверь ломаешь? — начал он с разгону, но тут же и ошалел, дернул головой и, ничего не сказав, ринулся обратно. В кухне он в панике ухватил руку Василисы Петровны, занесенную над кастрюлей, и зашептал:

— Мамаша! Что делается! Принцесса — не иначе. А может, барыня какая...

Василиса Петровна нахмурила брови:

— Да остепенись, Степан Иванович! Принцесса!

Капитан зашевелился в углу, надул усы, прислушался к разговору, наморщил лоб. Потом вытянулся, схватился за бок, но беду поправить было все равно невозможно: пояса близко не было. Так, с распущенной гимнастеркой, он и остался стоять в углу, краснея и отдуваясь; в дверях кухни появилась Нина Петровна, на капитана не поглядела, прошла прямо к Василисе Петровне.

— Я вас хорошо знаю: вы мать Алеши. Я много раз видела вас на улице. Здравствуйте.

Василиса Петровна смотрела на девушку внимательно, просто, серьезно, наклонила голову, протянула сухую, сморщенную руку.

— Здравствуйте. А кто вы будете?

— Я Нина Остробородько. Не слыхали?

— Вы — доктора дочка?

— Доктора. Вы у него лечились? Да?

Василиса Петровна улыбнулась:

— Я еще никогда не лечилась...

— У вас такое здоровье?

Степан отозвался:

— Здоровье — это у богатого, а у бедного — жилы.

Нина весело, искоса глянула на Степана:

— А я и вас знаю, мне Алеша рассказывал: Степан Иванович? Говорит, вы — человек мыслящий.

— Какой? Какой человек?

— Мыслящий. Думаете много.

— Во! Наврал тебе Алешка! Это когда в бой идти, тогда действительно все думаешь и думаешь. А если обыкновенно, так тут нечего думать. А ты к нам по какому делу?

— А это уж... есть и постарше тебя. Василиса Петровна, прогоните их: вот его и господина офицера. Мне с вами нужно по секрету.

Господин офицер, забыв, что он без пояса, стукнул каблуками и поклонился, но сразу после этого схватился за то место, где полагалось бы быть поясу, и неловко, боком прошел опасное место мимо Нины,— выскочил в сени. Степан было возразил:

— Да я — свой человек...

— Иди, иди! — Василиса Петровна подтолкнула его.

В сенях капитан оглянулся на Степана:

— Черт! В таком виде! Я думал, тут таких не бывает.

Степан при помощи пятерни разбирался в затылке:

— Вот тебе и задача! Это ж тебе барыня, а все-таки и поглядеть приятно: женщина, сразу видно,— я даже взопрел, говорит-то как: Степан Иванович — мыслящий человек! Чего это она пришла, послушать бы...

Капитан с досадой похлопал по карману,— папирос не было. Степан был в нетерпении:

— Да что ж мы? Здесь и будем стоять? Капитан!

— А может, они недолго.

— Две бабы собрались? Недолго?

— И курить нечего.

— И курить нечего! И моя махорка там. Вот, брат, так и на войне: когда наступаешь,— видно, куда тебе нужно. А когда отступаешь, ну... куда попало, туда и прешь. Нам с тобой надо бы в комнату бежать, а мы в сенцы. Как это называется? Это называется: паническое бегство.

Он приоткрыл дверь в кухню:

— Василиса Петровна! Разреши перевести войска на новые позиции.

Василиса Петровна что-то ответила, потом донесся молодой женский смех.

— Получили разрешение, идем, капитан.

Через кухню Степан прогремел, как мог, капитан прошел на носках, расставив руки, не глядя в стороны. За ними следили две пары серых женских глаз: одни — молодые, сильные, красивые, другие — бесцветные, изжитые, но и те и другие улыбались, и в тех и в других искрилась ласковая ирония.

— Помирились,— сказал Степан, закрыв за собою дверь.— Чего этой нужно, ну, что ты скажешь?

Капитан копошился в своем табачном богатстве. Из кухни глухо доносились голоса. Степан покружился по комнате и не утерпел. Дверь закрывалась неплотно, и он с доступной ему и его сапогам грацией придвинулся к щели и насторожил ухо. Капитан закурил папиросу, замахал спичкой и только тогда обратил внимание на притаившегося у дверей Степана. Потухшая спичка остановилась на самой середине дуги, он возмущенно шепнул:

— Степан!

— А?

— Что ты делаешь, черт сопатый? Разве можно подслушивать?

Степан отмахнулся от него и открыл рот, чтобы лучше слышать. Капитан с решительной хмуростью подошел к нему, тронул за локоть:

— Это же безобразие! Они не хотят, чтобы мы слышали — значит, секрет.

— Да отстань ты,— рассердился Степан.— Секреты! Вот я секреты и слушаю!

— Да как тебе не стыдно? Это подлость, понимаешь!

Капитан тихонько бубнил в усы. Степан злобно обернулся к нему и тоже зашептал, передразнивая капитана:

— Подлость! Что это тебе, буржуи какие или меньшевики, допустим? Свои люди говорят, чего там! Вот помешал мне. Иди себе! «Подлость!»

Он снова устроился у двери и через полминуты завертел головой от удовольствия. Капитан отошел к окну и изредка оглядывался на Степана с осуждением. Сте-

пан долго слушал, потом в последний раз крутнул головой, открыл дверь в кухню и ввалился туда с громкой речью:

— Да вы меня спросите, милые! Вы меня спросите. Что же вы без меня тут толкуете? Ай-ай-ай! Как же это можно — такие дела без мужика?

Вторжение Степана было встречено женщинами поразному. Василиса Петровна глянула на Степана строго, махнула рукой:

— Господи, какой ты нахальный стал, Степан Иванович!

Но Нина Петровна спокойно подняла на Степана любопытные глаза:

— Да... Василиса Петровна! Он все равно подслушивает. Куда мы от него скроемся? Пускай уж тут сидит.

Она повернула к хозяйке добродушное, понимающее лицо, лукаво повела бровью. Василиса Петровна улыбнулась, довольная. Очевидно, Степан меньше всего мог помешать ей.

— Хорошо, говори, Степан Иванович.

Нина чуть-чуть приподняла нижнюю губу. Это у нее выходило дружески-кокетливо,— движение милого, полнокровного, женского превосходства:

— Я тебя на «ты» называю, потому что и ты меня на «ты» называешь.

— А? На «ты»? Да называй, а как же. Тебе нужно... не знаю, как звать-то тебя: Нина, что ли?..

— Нина.

— Ну, пускай Нина. Тебе нужна, значит, хата, и чтоб кормили тебя. Здесь у нас на Костроме. А ты нам рабочий клуб устроишь. А папашу твоего, доктора, выходит, как будто по шапке.

— Не по шапке, Степан, просто — далеко ходить. Ходить далеко.

— Все равно по шапке, далеко там или близко. Ты вот не хочешь, чтобы он за тебя платил?

— Не хочу. Я взрослая и заработаю.

Степан движением головы поставил точку:

— И заработаешь. И раз на заработки пошло,— значит, тебе нужно подешевле, попроще. И мебели у тебя никакой нет.

— Мебель есть.

— А-а?

— Есть же у меня кровать, столик, ширмочка. Этого ты, значит, не подслушал.

— Это я пропустил, верно. Капитан этот помешал. Вцепился, понимаешь, говорит: подлость. Как будто тут меньшевики или другие какие соглашатели. А тут свои.

— А если бы — соглашатели, ты не подслушивал бы?

— Чего?

— «Чего!» Оглох сразу! Отвечай, а не чегокай. Хитрый какой!

— Если бы это они? Эта шатия? Чтобы они, допустим, разговаривали, а я бы прозевал, что ли? Как же это можно? Там — другое дело!

Женщины рассмеялись громко: Василиса Петровна — себе в фартук, Нина — откидывая голову. Хозяйка сказала с укором:

— Другое дело! У тебя все дела одинаковы: где тебя ни посей, везде уродишься.

— Это верно, мамаша. Вот и жито такое бывает. Это все от бедности, понимаешь. А только пускай она скажет, почему с этим делом к нам пришла?

— Я никого на Костроме не знаю. А Алексей — мой друг.

— Да ведь ты не к Алешке, а к нам.

— Не к вам, а к Василисе Петровне. Хотела познакомиться, а ты сам пристал, как смола.

— Смола не смола, а давай о деле говорить. Есть тут хорошая комната, с занавесками. И хозяева подходящие, трудящиеся, не обидят тебя: старик да старуха. Тут рядом. Пойдем поговорим. Что касается кормов... видишь, кто тебя знает, может, ты и не привыкла. Ты, небось, в жизни каши не ела, а все котлеты да пряники. На тебя, если посмотреть, корма у тебя хорошие! Смотри, какая ты гладкая.

Нина громко рассмеялась. Василиса Петровна слушала Степана серьезно, было видно, что она придает Степановым словам некоторое значение.

— Голубчик Степан... подожди. Хозяева-то меня не даром кормить будут? А я на котлеты заработаю.

— А без котлет ты не способна?

— Хочу гладкой остаться.

Степан с удивлением встретил такое заявление, даже улыбаться перестал, перевел взгляд на хозяйку:

— Во, мамаша, какой народ пошел упорный! Да сколько ты там заработаешь, в клубе в этом самом?

— Заработаю немного, но я все деньги буду тратить на котлеты.

— На котлеты?

Перед лицом этой новой решимости Степан снова обратился к Василисе Петровне:

— Василиса Петровна! А может, она и правильно говорит? Подожди, товарищ Нина, вот сделаем... это самое... Керенского выгоним, другая жизнь пойдет, а пока все-таки кашу тебе придется попробовать. На котлеты все равно не заработаешь. Да и какая там у тебя работенка? Книжки будешь выдавать?

— И книжки выдавать. И спектакли ставить. Сегодня будут сцену устраивать.

— В столовой?

— В столовой.

— А этот... Убийбатько?

— По шапке. Аппарат у него купили.

— Ты купила?

— Не я, а заводской комитет.

— Наш комитет?

— Завода... Пономарева. И железнодорожники помогли...

— Да когда же вы успели?

— Прозевал, Степан Иванович.

— Прозевал.

— А у нас уже и репетиции идут.

— Это что такое? Представление будет?

— «Ревизор» Гоголя.

— Ревизор? Видал такое представление. Там этот... приезжает. Я, говорит, ревизор, а потом, оказывается, обыкновенный соглашатель. Так где же ты этих наберешь... актеров?

— Да уже репетиции идут. И Алеша играет.

Степан закричал:

— Алеша?!

Даже и Василиса Петровна тихонько вскрикнула:

— Алеша?

Возгласы удивления были так выразительны, что и капитан просунул голову в дверь. Степан сорвался с табуретки, протянул к капитану руку:

— Мы тут с тобой сидим, а они представление делают!

Капитан взялся за пояс и смело вступил на кухню:

— Представление?

— Мы и на вас рассчитываем, у нас некому играть Тяпкина-Ляпкина.

Степан все кричал в одном тоне:

— Алешка в актеры записался! Вот жизнь пошла, не поспеешь никак!

Василиса Петровна, наконец, опомнилась:

— Да когда же он успел?

— А вы разве не знали?

— Какой же человек! — Степан никак не мог прийти в себя.— Ничего не сказал. Видишь, капитан, как они тайно делают?

В сенях стукнули дверью.

— Алешка идет! — закричал Степан.— Вот я у него спрошу: почему тайная дипломатия?

Алеша вошел из сеней, хотел было палкой пырнуть Степана в живот, но увидел Нину, покраснел, засмеялся смущенно:

— Нина! Что такое? Как это с вашей стороны... Ах, какая вы! Мама, вы познакомились?

Степан озлобленно махнул рукой:

— Да что ты: мама, мама? Ты говори, почему такое? Почему секреты? Представление играешь, а мы? Как остолопы, ничего не знаем!

— Представление? Нина, вы рассказали? — Алеша, расстроенный, опустился на табурет, как был, в шинели.

— А разве нельзя было, Алеша?

— Да... понимаете, я забыл вас предупредить... Я, мамочка, сюрприз хотел для тебя сделать. И для батьки. «Ревизор»... Сюрприз, но теперь еще лучше сюрприз: как это замечательно, что вы пришли! Знаете, что? Вы у нас будете обедать...

— Некогда нам обедать,— сказал Степан,— нам нужно идти квартиру нанимать.

— Вы решили, Нина? Вы решили? — Алеша схватил ее руки, заглянул в глаза.— Неужели решили?

Нина обратилась к нему, подняла спокойные, ласковые, улыбающиеся глаза, прошептала только для него одного:

— Решила, Алеша.

Василиса Петровна следила за ней внимательно, с осторожной, немного сомневающейся симпатией, потом пожала плечами:

— Какие времена настали. Раньше люди богатства добивались, а теперь бедности добиваются. И еще смеется.

Нина поймала ее руки, сложила вместе, подняла вверх, опустила на старый фартук.

— Василиса Петровна! Не бедности добиваются, а счастья.

Василиса Петровна смотрела ей в глаза, не отняла рук:

— Значит, счастье у нас, на Костроме? Здесь его никогда не было.

— А теперь будет.

Даже Степан притих перед этими вопросами, быстро завозил ладонями по усам. Не утерпел:

— Верно. Вот какая ты разумная женщина, товарищ Нина. Просто даже не верится. Счастье, оно... какая смотря компания. А теперь компания большая будет. А бедность —чепуха. Бедность, понимаешь, когда у человека духа не хватает. Идем, Нина, нанимать квартиру.

— Успеете нанять,— сказала Василиса Петровна.— Сейчас придет отец, будем обедать. Обед сегодня варил... товарищ Михаил Антонович.

Василиса Петровна сдвинула весело брови. Капитан подошел к Нине, стукнул каблуками, поклонился:

— Просим с нами...

— Как у вас тут... Алеша, отчего у вас так хорошо?

— У нас?

Алеша оглянулся. Он привык к своей хате и не знал, что́ в ней особенно хорошо. Табуретки? Или старая клеенка на столе? Он вспомнил богатый уют дома Остробородько, дорогую простоту, невиданные на Костроме вещи: пианино, ковры, картины, статуэтки, безделушки. А в этой кухне и Нина казалась случайно попавшей драгоценностью среди таких обычных, припорченных трудом и жизнью людей: матери, Степана, капитана. Нина поймала его взгляд, покраснела:

— Алеша, голубчик, вы не думайте ничего плохого. Вы не думайте, я больше туда не вернусь никогда. У вас люди... Василиса Петровна, прогоните их, я поплачу немножко...

Она и в самом деле с неожиданным изнеможением склонилась на плечо Василисы Петровны. Степан вытаращил глаза, потоптался на месте и в панике бросился из кухни, по дороге ухватил за рукав капитана. Цепляя сапогами за двери, оба буквально вывалились в другую комнату. Там Степан наморщил лоб, развел руками и сказал тихо:

— Ах ты, жизнь! Отчего плачут люди?

В кухне Алеша притаился в углу и не знал, уходить ему или оставаться. Василиса Петровна положила руку на голову Нины, прижала ее к плечу. Нина подняла голову, быстро смахнула слезу:

— Трудно быть сильной, Василиса Петровна! Ах, как трудно! А тут еще всякие чувства... Влюбилась...

— Влюбилась? В богатого?

— Вот еще чего не хватало! В богатого! Я серьезно говорю, я так... хорошо влюбилась, но только нельзя же все сразу: и новую жизнь начинать, и влюбляться. А кроме того, я не привыкла.

— К чему не привыкли?

— Я не привыкла к хорошей жизни. Мне хочется быть влюбленной так... долго... Сейчас я такая счастливая, вы себе представить не можете. Хожу и все ищу зеркало, хочется на себя посмотреть, какая я счастливая. А то я все была... женственная женщина! Женщина для женихов. Все женихи, женихи, меня нужно замуж выдавать, обязательно нужно, а если не выдать, так я буду несчастная. Все смотрят, папа беспокоится, тетя хлопочет, а женихи все ходят и выбирают, подхожу или не подхожу. А я должна сидеть, чай разливать, вот так пальчиком нужно.

Она подняла руку и показала, как нужно действовать пальчиком, разливая чай: отставила мизинчик, тонкий, розовый, нежный, сама посмотрела на него сбоку и рассмеялась. Открыто, просто рассмеялась и Василиса Петровна:

— Ну, ну...

— Не хочу, Василиса Петровна,— вы такая хорошая,

вы все понимаете, не хочу женихов, и не хочу замуж выходить, и пусть мне никто не объясняется в любви. Пусть и не заикается...

Она строго посмотрела на Алешу:

— Вы чего на меня смотрите? У вас много других дел: и Красная гвардия, и городничего должны играть. Он — шикарный городничий, вот увидите.

Василиса Петровна доверчиво положила руку на колено Нины:

— Значит, пусть они не воображают? Да?

— Алеша, видите, какая у вас мама. Вы ничего не понимаете, а она все поняла. А теперь я хочу познакомиться с вашим отцом. Если и он такой же замечательный, тогда я буду целый час реветь... целый час...

— Да зачем же так...

— От зависти, Василиса Петровна: вы подумайте, он — мужчина, он — боевой офицер, он в Красной гвардии, он был ранен, контужен, у него такая мать, да еще и такой отец.

Нина перечисляла все эти блага с нескрываемым негодованием. Василиса Петровна снова громко рассмеялась:

— А вы чай должны разливать.

— Как жаль, что вы не моя мать, все себе Алеша заграбастал. А у меня отец — доктор, богатый доктор, ужас! А матери я и не помню. Я буду к вам часто приходить, только, пожалуйста, не думайте, что для него,— я буду приходить, когда его не будет дома. Интересно: какой у вас отец, Алеша?

Василиса Петровна сидела на табуретке и улыбалась. Сейчас было хорошо у нее на душе. Рядом с ней сидит красавица, нежная, ласковая, теплая, немножко еще чужая и непривычная, но уже родная. Удивительно было слушать, как она просто и прямо, в лоб, говорит о своей жизни, но Василиса Петровна знала, что говорит она правду. И было приятно, что ее Алеша нравится этой женщине, было хорошо, что сын у Василисы Петровны такой счастливый, и было радостно, что этому сыну Нина завидовала. А кроме того, в печке за заслонкой ожидает обед, скоро придет Семен Максимович, а в другой комнате притаились новые друзья. Жизнь, так долго бежавшая по скучным и трудным плесам, вдруг

на старости раскатилась широкой, свободной и интересной рекой.

Семен Максимович вошел из сеней строгий, даже похудевший как будто. Он был в замасленном рабочем пиджачке и в очень старых штанах, заплатанных и заштопанных. Повесив пальто на гвоздик, он остановился против Нины с некоторым замешательством, потирая руки, измазанные до самого черного цвета.

Высокий, прямой, суровый, он, вероятно, производил на нее впечатление слишком чуждого, совершенно непонятного явления. По обеим сторонам носа у него расположились такие же черные, масляные пятна, и от него исходил запах концов, металла, давно заношенного рабочего платья. Его волосы, усы и борода растрепались и тоже были испачканы. Он ни в каком отношении не напоминал ни стройного, румяного Алешу, ни мудрую, улыбающуюся старость матери. А против Семена Максимовича стояла Нина Остробородько. Она сияла глубокой, до самых костей проникающей холеностью, свободой движений, простой обдуманностью наряда, радостью и покоем, пережитыми в жизни. Но именно она в сильном волнении сделала шаг к нему, что-то заблестело в ее глазах, она произнесла хрипло:

— Здравствуйте.

Она не решилась протянуть руку, не улыбнулась приветно, она склонилась перед ним в поклоне, а подняв голову, засмотрелась на старика, как бы неуверенная в ответе.

Семен Максимович продолжал потирать руки, кивая головой, отчего еще в больший беспорядок пришли его легкие, седые волосы:

— Здравствуйте. Кто же вы такая будете?

— Кто я такая? — Нина оперлась рукой на стол и задумалась. Ее золотая, полная дыхания прическа склонилась, старик глянул на нежный затылок и перевел взгляд на Алешу. Алеша сказал:

— Отец... Я хочу, чтобы она была твоим другом. Это Нина.

Нина, еще опираясь на стол, вкось посмотрела на старика, посмотрела с умным, чуть-чуть кокетливым интересом. Василиса Петровна стояла в сторонке и тоже присматривалась к мужу с любопытством. Семен Максимо-

вич хотел захватить бороду рукой, но вспомнил, что рука у него испачкана, сжал ее в кулак:

— Так. Моим другом чтоб была. Моим?

— Да, твоим, отец,— ответил Алеша серьезно, глядя в глаза.

— Угу! — Семен Максимович тронул губы в улыбке и только тогда нашел своим взглядом заинтересованный взгляд Нины.

— Раз сын говорит,— я ему верю. Буду другом. Снимайте вашу кофту, мать нас покормит.

Нина улыбнулась Семену Максимовичу в открытую:

— А я вас не объем, Семен Максимович?

— В том беды нет, если объедите. Своим можно. А где эти... чудаки?

Из комнаты выглянул Степан, бросил быстрый взгляд на Нину, загремел:

— Отец! Алеша-то наш в комедианты записался, сюрприз тебе готовит.

— Знаю,— Семен Максимович пошел к умывальнику.— Про это я раньше Алексея знаю. Сюрприз сегодня другой имеется: объявление вывешено: завод закрыт, и все рабочие увольняются.

Нина посмотрела на Василису Петровну и прошептала:

— Ай!

Семен Максимович оглянулся на нее от умывальника:

— Ничего! За обедом об этом поговорим... по дружбе.

12

Собственно говоря, работать на заводе было можно. Рабочие пришли в обычное время с завтраком под мышкой. Как всегда, у проходной будки собралась маленькая толпа наиболее аккуратных, шутили и посмеивались. И сегодня табельщик был на месте и своевременно открыл табельные доски. Можно было повесить марки и расходиться по цехам, а в цехах некому было помешать работе.

Но никто марок не вешал и не спешил проходить в цеха. Рядом с проходной будкой, на старых жидких

воротах, белел большой лист, на котором идеальным, крупным, старательным курсивом было написано, что завод закрывается из-за отсутствия материалов. Рабочим предлагалось получить расчет в течение ближайших трех дней. Под объявлением тем же курсивом было выведено: «владелец завода», а рядом стояла известная всем жирная подпись: «П. Пономарев».

К объявлению подходили по двое, по трое, и не столько читали его, сколько рассматривали,— содержание объявления было всем хорошо известно еще вчера вечером. Столяр Марусиченко, щупленький, с бородкой в виде двух сероватых клочков, щербатый и всегда оживленный, долго задирал голову на объявление и, наконец, сказал тонким, ехидным голосом:

— Да откуда он взялся такой: «владелец завода»? Товарищи, это не он.

Марусиченко повернулся к толпе и широко открыл глаза:

— Это не он придумал.

На Марусиченко оглянулся высокий, черномазый, спокойный:

— Тебе не все равно, кто придумал?

— Не все равно, товарищи. Разница. Его, сукиного кота, найти нужно и допросить: кто он такой? Пономарев на заводе уже два месяца не показывался, а тут на тебе: владелец завода!

Старый Котляров сидел на ступеньках проходной будки, вытянул одну ногу, рылся в кармане, серьезными глазами задумался, вглядывался в площадь:

— Ты, Петр Иванович, брось кулаками размахивать. Будешь ты допрашивать Пономарева! Не в Пономареве дело.

— И я говорю: не в Пономареве. А я что говорю?

— Да ты ерунду говоришь,— Котляров протянул руку к объявлению, а с руки болтается кисет с махоркой,— читал ты или не читал? Нет материалу. А мы и без Пономарева знаем, что нет. Ты когда держал в руках рубанок?

— Да еще на прошлом месяце.

— Так чего кричишь: Пономарев? Не в Пономареве дело, а в материале.

— А Пономарев что?

— А Пономарев ничего. Просто себе Пономарев.

Марусиченко завертел головой, прицепился:

— Что это ты, Никита Петрович, за хозяев стал говорить!

Котляров насыпал на бумажку махорки, свернул, зажал крепкими пальцами шуршащий газетный обрывок, склонил голову:

— Хозяева тут — мы с тобой. Надо достать лесу и работать. Дело нужно делать, а Пономаревых сюда пускать нечего,— отвязались и пускай себе.

По площади бежал Павел Варавва, озабоченно поглядывал на ворота. Бежал, бежал, потом круто свернул, погнался за кем-то, закричал:

— Куда? Куда расходитесь? Митинг будет! Муха сказал: здесь, на площади!

Котляров затянулся махоркой, кашлянул:

— Вот это дело. Поговорить надо.

Павел говорил и кричал и все вскидывал правую руку. Наконец, добрался к воротам. Ехидный Марусиченко пошел к нему навстречу:

— Ну, большевики? Чего теперь будем делать? Вон Котляров молодец! Все говорит хорошо: Пономарев — что? Мы — хозяева: купить лесу и работать!

Павел закинул голову, беззвучно захохотал:

— А что? Он правильно говорит! Никита Петрович,— правильно!

Несколько человек придвинулись к Павлу. Тот же высокий, черный отвернулся к реке:

— Эх, затеяли кашу! Лес они будут покупать! Кто это такой покупатель,— ты, Котляров?

— Да хоть и я, товарищ Борщ! —Котляров запихивал короткую папиросу в рот, обжигал пальцы, сердился на папиросу.

Борщ все глядел на реку:

— Пономарев не купил, а ты купишь.

— А я куплю.

Борщ вдруг перестал быть спокойным. Плюнул, взмахнул головой, сказал со злостью:

— Как ребята малые: «Я куплю!»

Он отошел в сторону, заложил руки в карманы. Грязный узелок с завтраком сиротливо торчал у него из-под мышки и, забытый хозяином, начинал уже выле-

зать наружу, готовый вот-вот упасть на землю. Борщ с досадой тормошнул его, задвинул снова под мышку и снова злобно уставился на влажную широкую площадь.

Толпа у ворот увеличивалась. Многие уже устали и уселись под длинным забором, с трудом удерживаясь на нижней продольной планке. Другие стояли кружками и кучками, кто помоложе, прохаживались, разбрелись по всей площади. Говорили спокойно, шутили незлобно, матерились больше к слову,— по всему было видно, работали головой, задумывались. От проходной будки завода Карабакчи прибежал вихрастый, остроносый парень, запыхался, доволен был ответственным поручением; кричал еще издали:

— Товарищи! Товарищи!

К нему обернулись не спеша. Он налетел на толпу, забегал глазами по лицам, вдруг засмеялся:

— Да кто у вас тут старший?

— Тебе Пономарева нужно?

Все взыграли смехом, переглянулись весело. Парень отмахнулся с приподнятым оживлением:

— Да пошли вы к черту! «Пономарева»! Большевики ваши где?

— Лес пошли покупать,— сказал тот же голос, и снова все захохотали.

— Настоящих нет, где-то завалились. Маленький есть. Эй, Павло!

— Павло-о! Иди сюда, за старшего будешь!

Павел из какой-то далекой кучки вырвался бегом.

Остроносый парень подставил ладонь и ритмически застучал по ней пальцем, как будто играл в сороку-ворону:

— Сказали! У нас: заводской комитет! Во-первых, когда у вас митинг, придем, значит, поддержим. Только, во-первых, с флагами придем. Так и сказали: придем, будьте покойны. С флагами, понял?

— Да он ни за что не поймет. Он не понимает, как это с флагами.

Павел оглянулся. На него глядел Марусиченко и смеялся, переднего зуба у него не было.

— Спасибо! Это здорово! Приходите! А наши флаги где? Черт!

Он на ходу потрепал посланца по плечу и побежал к проходной будке. Парень направился к воротам фабрики Карабакчи, но по дороге вспомнил, снова полетел назад и закричал уже всем:

— Через полчаса, значит! — успокоился и не спеша побрел к воротам.

По дорожке, размахивая палкой, хромал Алеша. Ему закричали издали:

— Эй, главнокомандующий, а где твое войско?

Алеша под углом повернул, подошел, перебросил палку в левую руку, отдал честь.

— Отца не видели, товарищи?

— Семена Максимовича? Говорят, в город поехал.

— В город?

— Поехал! Как помещик какой! Поймал извозчика и на извозчике. Как барин!

— А ты, Алексей, смотри,— генерал, прямо генерал.

Шинель на Алеше застегнута до самого воротника, туго перетянута поясом, через плечи перешли ремни, новые, еще блестящие, на боку сурово и ловко притаилась кобура, и из нее выглядывает колечко нагана. Поднявшись на носки, Алеша крикнул на всю площадь:

— Кто в Красной гвардии,— на завод! Быстро!

К нему подбежало несколько человек. Кто-то спросил:

— С винтовкой?

— Да вчера же я посылал: с винтовкой и с патронами.

— Ах ты, черт! Домой лететь!

— И лети!

Павел Варавва тоже ахнул:

— Кто сказал?

— Не твое дело: я тебе говорю,— исполняй приказание!

Окружающие засмеялись. Марусиченко вылез поближе, хватил Павла по плечу:

— А ты поговорить хотел. Военная муштра, брат: исполняй приказание!

Павел умильно склонил голову:

— Да нет, Алеша, скажи!

— Отец приказал: постановление заводской организации.

— Здорово!— Павел в восторге побежал к своей хате.

Степан летел через площадь, сотрясая землю, развевая полами шинели, шапка держалась у него где-то возле шеи, мокрые патлы лезли в глаза, он одной рукой отбрасывал их в сторону, а в другой держал винтовку со штыком, подымал ее и что-то орал встречным.

— Колдунов! Колдунов, гляди! — Хохот пошел по всей площади.— Смотри, Колдунов в наступление пошел!

Кто-то встречный дурашливо бросился удирать от Степана и заорал благим матом, другой поддержал и шарахнулся вбок, воздевая руки.

— Где наши? — закричал Степан, подбегая.

— Наши все здесь. А ты на кого пошел? Жарь с колена прямо по окнам! — Марусиченко показал на блестящие окна пономаревского дома.

Степан опустил винтовку, осклабился:

— Я тоже по окнам с удовольствием бы, да Семен Максимович запретил окна бить. Говорит, вы привыкли, сиволапые...

— Семен, тот не позволит. Ты в хорошие руки попал...

— Товарищи, не видели моего начальника?

— Алешку? Да вон же. Догоняй!

Степан кинулся вдогонку, и снова полы его шинели разошлись по ветру, и снова поднялась винтовка. Он орал на всю площадь:

— Алешка-а!

Алеша обернулся, удивился, нахмурился. Степан был встречен привычной с фронта военной мимикой:

— Колдунов! Это что за вид? Почему все враспашку? Штык почему привинтил? Патроны где?

Степан остановился, как вкопанный, по всем правилам приставил винтовку к ноге, другой рукой начал оправлять шинель.

— Патроны где, спрашиваю.

Степан поднял глаза на Алешу и увидел, что нет перед ним никакого простого, веселого друга, а стоит командир, вредный, требовательный и справедливый. Он переступил, заморгал. Возле них собрался уже кружок,

но никто не шутил, не улыбался, все захвачены были глубоким содержанием события.

— На какого ты дьявола нужен с пустой винтовкой? Ты же вчера сам объявлял по всей Костроме: патроны! Для чего штык, для чего привинтил, ирод? В штыковую атаку пойдешь? Прыгаешь по площади, как козел, кричишь! Красная гвардия!

Алеша был гневен, и Степан залепетал, вытянувшись:

— Так что, господин...

И умолк. Понял, что все кончено. Отвернул лицо в сторону и увидел вспыхнувшие молчаливые улыбки.

У Алеши вздернулась верхняя губа:

— «Господин»... Что ты мелешь?

Степан вдруг рассердился, плюнул, мотнул головой:

— А чтоб тебя...— улыбнулся открыто.— Запутался, Алеша! Я в один момент! Забыл про патроны!

Он ринулся назад, и опять его полы запарусили по площади. Алеша хлопнул руками по бокам:

— Ну, что ты с ним сделаешь?

Вокруг засмеялись любовно, провожая глазами рейс Степана Колдунова. Алеша двинулся к проходной будке.

13

Нашлись мастера устроить трибуну из ничего. Котляров только специальным глазом глянул на забор и кивнул соседу:

— Ворота снимем.

Через двадцать минут трибуна была готова. Муха, низенький, скуластый, небритый, стоял внизу и сердился:

— Какой дьявол такое придумал? Котляров? Так он же упаковщик. Другого не нашлось?

Отец Мухи,— а отцу было уже восемьдесят лет, и у него давно колени начали расходиться в стороны,— беззубый и сгорбленный, ответил сыну:

— Так он, Гриша, захватил тут всю власть. Не успели оглянуться, смотрим,— трибуна. Он туда залезет, а обратно сигает. Один раз сиганул — чуть ногу не выломил.

Котляров сидел наверху, трибуна под ним ходуном ходила, он смеялся:

— Укрепим,— хорошая трибуна. Ленин с грузовика говорил, слышали? Слышали — спрашиваю?

— Да слышали!

— Думаешь, ему легко было на грузовик?.. Туда подсадили, а обратно на руки приняли. Так то ж Ленин?! А здесь кто будет говорить? Ты, Григорий Степанович? Прямо на мои плечи, как на лестницу, становись.

— Богомол приедет.

— Богомол? Богомол сиганет. Богомолу плеча не подставлю,— Котляров каблуком хватил по гвоздю, торчащему на трибуне, гвоздь свернулся в сторону.

На площади появились женщины. У всех ворот и калиток запестрели платки и юбки. Мальчишки стайками переносились с одного конца площади на другой. Отец Иосиф вышел из церковного дома, посмотрел на противоположную сторону и обошел площадь под домами. Марусиченко долго следил за ним, поворачиваясь на месте, а потом присел от удовольствия:

— Правильно, батя, правильно. Теперь ходи, отряся лапку.

Из ворот фабрики Карабакчи показалось шествие. Впереди несли большой красный плакат, на нем написано:

Вся власть Советам.

На широкой площади, кое-где покрытой помолодевшей осенней травой, это шествие сразу выделилось, как нечто существенное. К нему медленно двинулись струи народа, мальчишки побежали стремглав. В тот же момент из ворот завода Пономарева выступило другое шествие: тоже по четыре в ряд шли красногвардейцы. Винтовки у них за плечами, пиджаки, пальто, шинели туго перетянуты ремнями, а на ремнях красуются новые патронные сумки. Алеша идет слева, молодой и подтянутый, и потихоньку напоминает:

— Держите ногу, народ смотрит!

Ногу держали. Даже на мягком песке шаг красногвардейцев отдавался четким ритмом. Впереди колонны Николай Котляров, напряженный и серьезный, нес знамя.

В колонне табачников несколько человек — тоже с винтовками. Озабоченный Муха быстрым шагом направился к месту встречи. Закричал издали:

— Алексей! Слушай, Алексей!

Алеша оглянулся, заторопился, подал команду:

— Отряд... стой!

Муха подбежал довольный, табачники тоже улыбались:

— У тебя, Муха, настоящее войско!

— А как же! Товарищи... Если с оружием — в одну компанию... Чего там... Одно слово: пролетариат.

Высокий товарищ, с приятным чистым лицом, обратился к своим:

— Я думаю, он разумно говорит. В одном месте вся сила будет. Как вы, товарищи, скажете? И командир у них боевой, все как следует...

Муха ладонью разрезал воздух:

— Сильнее будет! Пускай посмотрят... эти... эти... городские.

— Очень замечательно! — из колонны табачников первый с винтовкой вышел к Мухе.— А чего это железнодорожники... есть у них Красная гвардия?

— У них все не ладится,— Муха прищурился в направлении к вокзалу.— Народ такой,— служба движения! Выходи, выходи, ребята!

В колонне табачников закричало несколько голосов. Женщин здесь было большинство. Они вышли из строя и засмотрелись на Красную гвардию. Около десятка вооруженных озабоченно ткнулись в шеренги отряда. Описывая дугу своей палкой, Алеша крикнул:

— Товарищ Колдунов! Принять пополнение, рассчитать, проверить оружие.

Уже подпоясанный, деловой, расторопный Степан приложил руку к козырьку:

— Слушаю, товарищ начальник!

Он старым полковым жестом загреб левой рукой:

— Становись, которое пополнение!

Алешу дернули за рукав. Рядом стояла и в смущении переступала с ноги на ногу чернобровая, зардевшаяся девушка. Ее голова аккуратно была повязана большим серым платком, на груди обильной роскошью расходилась бахрома.

— Здравствуйте,—сказала она тихо и опустила улыбающееся лицо.— Вы меня не признали, видно?

— Маруся!

Она со смехом рванулась в сторону. Но он поймал ее за плечи и обнял левой рукой с палкой, а правую предложил для рукопожатия. Вокруг громко рассмеялись девушки:

— Маруся кавалера нашла!

— У! Кавалера,— оскорбилась Маруся, но немедленно же улыбнулась, крепко пожала руку и даже встряхнула ее:

— А я вас сразу признала! — Ее глаза с сердитой огневой силой пробежали вокруг.— От идите, я вам чтойто такое скажу.

— Куда идти?

— Идите от сюда. От сюда. А то они смеются...

— Ты на них не смотри, рассказывай.

— Я ничего не хочу рассказывать, я только одно. Как я тогда плакала, когда б вы знали! И хотела все до вас пойти. А потом приехали батюшка с матушкой и меня выгнали. Говорят: иди себе к своим пролетариям. А я сейчас поступила на карабакчевскую.

— А где ты живешь?

— А я тут живу на Костроме.

— У отца?

— Мой отец еще в ту войну убитый, а я живу здесь у тетки. Товарищ Теплов, а отчевой-то в Красную гвардию только мужчин принимают? А если женщина, так почему ей нельзя?

— Видишь, почему: еще никто не просился из женщин. Да сколько же тебе лет?

— Семнадцать.

— Маленькая ты...

— Маленькая! Ой, господи ж боже мой, маленькая! А как стирать у батюшки, обед варить и на базар ходить, так вы не говорили: маленькая!

— Знаешь что, Маруся? Одной тебе будет... скучно, понимаешь? Если бы вдвоем. Подруга у тебя есть хорошая?

— А как же ж! Такая есть подруга!

Степан гупнул сапогом рядом:

— Алеша, едут! Смотри, на машине какие-то.

— Маруся, ты приходи ко мне с подругой. Поговорим.

Он подошел к отряду. Павел Варавва, становясь в строй, подмигивал: Алеша увидел длинную машину и, к своему удивлению, рядом с шофером — отца: Семен Максимович был на голову выше шофера, ветер растрепал его легкую бороду, от этого старик казался еще строже. Светлая, летняя промасленная фуражка надулась ветром и была похожа на боевой шлем.

Шестьдесят человек Красной гвардии без команды выстроились. Линия свежих патронных сумок придавала ей вид действительно внушительный. К правому флангу подбегал с винтовкой старый Котляров:

— Опоздал малость, с трибуной с этой. Что это за паны в машине? Да там же твой батько, Алеша!

На заднем сиденье автомобиля Алеша узнал председателя городского Совета рабочих депутатов Богомола. По сторонам от него подпрыгивали на подушке, удивленно приковались взглядами к шеренгам Красной гвардии Пономарев и Петр Павлович Остробородько. Богомол — без шляпы, с великолепной гривой темных прямых волос, чисто выбритый, похожий на поэта, но с лицом серым и опухшим — поднялся в машине, тронул шофера за плечо. Автомобиль остановился со стоном. В старомодном макинтоше, застежки которого ярко сверкали медными львиными мордами, Богомол вышел из машины и направился к Алеше. Молча протянул руку, обернулся к Остробородько:

— Я что говорил? Это войско или не войско?

Петр Павлович поправил очки, кашлянул нежно, кивнул.

— Вы, так сказать, командующий? — спросил Богомол.

— Нет, я инструктор, командующего у нас нет.

Остробородько не поздоровался с Алешей, отвернулся.

— Я могу дать командующего,— Богомол глянул на город.— Хорошего, боевого.

Павел Варавва неожиданно из шеренги ответил:

— Сами найдем.

— Найдете? — звонким тенором спросил Богомол.— Это вы, молодой человек, найдете?

Богомол гордо вздернул нос на Павла. За ним вздернул очки и Петр Павлович.

— Не молодой человек, а товарищ,— крикнул Павел Варавва.— А вот вы скажите, почему это вы с Пономаревым в одной компании.

Семен Максимович через голову Остробородько сказал:

— Это я привез господина Пономарева.

— Это другое дело.

Пономарев стоял сзади и покорно терпел.

Богомол еще раз скользнул взглядом по двум шеренгам Красной гвардии, как будто подсчитал ее силы; задержался на бледном веснушчатом лице Николая Котлярова, хорошо рассмотрел широкую фигуру старого Котлярова на правом фланге и отвернулся.

Алеша сжал губы, глянул на отца.

— Где Муха? — спросил Семен Максимович.

Алеша кивнул на ворота,— табачники были уже там. Семен Максимович распорядился:

— Давай туда.

Алеша подал команду:

— На ремень!

Может быть, только теперь Богомол хорошо понял, что за плечами у красногвардейцев винтовки. Он зябко сдвинул полы своего макинтоша и, глядя в землю, пошел к трибуне. Навстречу ему спешил Муха. Он как будто что-то жевал, скулы у него ходили. Подал руку Богомолу, другую протянул к Семену Максимовичу:

— Семен...

Богомол перебил его:

— Товарищ Муха, собственно говоря, что вы думаете предпринять? Что вы предлагаете?

— Народ сам предложит...

— Народ само собой, а ваша фракция?

— У нас нет фракции.

У Богомола тонко дрогнули выразительные актерские губы:

— У большевиков нет фракции?

— Да у нас в заводском комитете все большевики.

— Как это так? Меньшевики у вас есть?

— Да нет...— Муха подергал свою остренькую бо-

родку.— У нас этого не водится. Беспартийные есть, так они, почитай, все равно большевики.

— О! Тогда я понимаю, в чем дело. Понимаю. Да, конечно... И Красная гвардия! Сигнала ждете?

— Ждем не сигнала, а... там будет видно. И кроме того... толку ждем.

— Толку? А если не дождетесь?

Муха неожиданно рассмеялся, весело, свободно, как юноша, легко перевернулся, чтобы ветер запахнул полы его пиджака.

— А если не дождемся,— добьемся.

Богомол отстал и заговорил с Остробородько, близко наклонившись к его лицу, показывая куда-то на небеса. Пономарев тащился сзади, скучный и как будто спокойный. На его физиономии ничего не выражалось, кроме хорошо налаженного терпения. И борода его терпеливо ходила по ветру, и глаза с терпеливой выносливостью пробегали по встречным лицам, перехватывали человеческие острые взгляды и с терпеливой аккуратностью откладывали их в сторону, как ненужные подробности набежавшего длительного ненастья. Так человек в пути, идущий через вьюгу, терпеливо месит ногами снег, отворачивается от ветра, регулярно настойчиво стряхивает снежный прах с платья, а верит и радуется только бледным огням впереди или хотя бы огням в воображении.

Митинг начался. И как только Муха открыл его и сказал первое слово, сразу стало понятно, что собрание сегодня серьезное, что все придают ему большое значение, что никто не собирается шутить и другому шутить не позволит. Даже мальчишки, рассевшиеся на заборе, серьезно смотрели на трибуну и слушали.

Гости взобрались на трибуну по шаткой, узкой доске. У Петра Павловича Остробородько в этот момент было такое выражение, как будто он всходил на эшафот.

Муха объявил:

— Первое слово пусть скажет владелец завода, гражданин Пономарев.

Пономарев сказал коротко, просто, терпеливо. Голос у него был громкий, отчетливый, круглый, но он не давал ему полной силы, впрочем, это и не было нужно: он никого ни в чем не хотел убедить, ему было все равно, что

о нем думают, он шел через вьюгу, и впереди для него еще не показались огни. Вопрос был ясен, и ясно было его, Пономарева, хозяйское благородство. В кассе осталось ровно столько денег, чтобы рассчитаться с рабочими,— продавать нечего. Стаканы для снарядов работаются теперь в убыток, да для стаканов и металла нет. Пиленого леса во всем городе нет. И угля нет. И ничего нет. На заводе тысячи деталей металлических, а дерева нет, веялки и молотилки собирать не из чего.

Сами видите: штурвалы, шестерни, штанги, все лежит, а собирать нельзя. Лесопильные заводы стоят: того нет, другого нет.

Голос издали крикнул:

— А чего им не хватает, лесопильным заводам?

Пономарев не ответил, даже не оглянулся на голос. Ответили с другого края площади:

— Совести у них не хватает! Лесопильные закрылись, и наш закрывается. Одна шайка!

Из шпалопропиточного завода на площадь в беспорядке высыпала толпа рабочих и двинулась к митингу. Через головы стоящих Пономарев следил за ними и мямлил:

— Все, что можно сделать, я сделал бы. Я не отказываюсь. А только я ничего не вижу...

Пономарев отодвинулся в тыл трибуны. Его последние слова просто остались несказанными.

На земле переглянулись, переступили, кое-кто с досадой переложил завтрак под другую руку.

Алеша стоял рядом со старым Котляровым. Котляров поддернул винтовку, улыбнулся Алеше, двинул одним плечом вперед.

— А вот я пойду им скажу. С винтовкой ничего?

— Еще лучше, только не убей никого.

Винтовка Котлярова поплыла над толпой. Колька Котляров проводил отца грустными голубыми глазами.

— Котляров будет говорить! — объявил Муха.

— Давай, давай!

— Говори, Котляров, ближе к делу!

Котляров вспорхнул на трибуну и занял, казалось, большую ее часть. Он расставил ноги в широких сапогах, заложил руки в карманы пухлого своего пиджака, локти развел по трибуне. Повернулся в одну сторону,—

ткнул локтем Муху, повернулся в другую,— ткнул Богомола. Муха дружески огрызнулся. Богомол глянул на локоть с негодованием. Кроме локтей во все стороны, тоже всем угрожая, ходил приклад его винтовки. А сверх того развернулись на трибуне и плечи старого Котлярова. Говорил он медленно, подбирая слова, веселым основательным басом.

— О наших делах говорить нужно коротко: завода мы закрывать не будем. Что касается нашего, как бы это сказать, хозяина Пономарева, про него разговор тоже короткий. Как это бабы говорят: с глаз долой, из сердца вон. Нам гражданин Пономарев без надобности: идите себе домой и отдыхайте после трудов,— полная вам свобода. А заводом пускай управляет заводский комитет. Там есть люди получше Пономарева. Нечего тут на лесопильные заводы сворачивать. Плоты стоят на реке, скоро замерзать будут, угля там не нужно, опилками топят. Вот теперь и интересно, как это Совет рабочих депутатов позволил такое дело: остановиться лесопилкам. А другое дело: нам туда послать нужно, посмотреть, и пускай Муха сделает. Меня пошлите, и Теплова пошлите, и Криворотченко, и кого хотите,— всякий сделает. А для нашего завода угля достать тоже можно, хоть и на железной дороге выпросить, нам много не нужно. Тут не в том дело, а в другом. Пускай вот Богомол, председатель совета, объяснит, почему он сюда приехал завод закрывать? Это его такое дело? Почему? Прямо скажу: потому, что ему до рабочего человека никакого дела нет. Наговорил ему Пономарев, а он и доволен: материалов нет. А почему? Ясно почему,— эсер! И вашим, и нашим. Председатель рабочих депутатов! Рабочих! А когда твоя партия Ленина преследует, так это какая партия? Привез сюда этого доктора. Какое ему тут дело? Говорят, от городской управы. Зачем ты его с собой возишь? Что, мы его не знаем? Земский доктор, а кто видел его в больнице? А на чем он богатство нажил, на каких больных? А может, он тоже эсер? Угадал?

Богомол ничего не ответил. Стоял, улыбался, глядя в сторону.

— Видите, угадал. Чего они сюда ездят? Провокацию наводить. Городская управа! Какое ей дело до Костромы. Что у нас,— электричество есть, или мостовые,

или эти... тротуары? А может, театр есть? Сейчас клуб открывают, кто — может, городская управа? Муха открывает да наши дети. А он сюда приехал, Остробородько, бесстыдник. А его дочка молодая,— видно, человек чести не потерял, бросила его, богатого отца, у нас живет на Костроме, у стариков Афанасьевых. А мы что ж? Он дочке родной не нужен, а нам нужен? Гнать их отсюда в шею, вот мое предложение.

Котляров в последний раз взмахнул кулаком и снял с плеча винтовку. Богомол быстро отскочил в сторону. Котляров перевесил винтовку на другое плечо и, перегнувшись, показал всем веселые, крепкие еще зубы. Все расхохотались и захлопали. Котляров присел на краю трибуны:

— Берегись, на голову прыгну!

Перед ним мгновенно расступились, и он большим пухлым мешком слетел на землю и начал пробираться к отряду.

— Хорошо я сказанул? — обратился он к Алеше.

— Говорил ты, как надо, а винтовку зачем снимал?

— А чтоб видели. Пускай знают, с кем говорят.

На трибуне парламентски беспристрастный Муха, подергивая бородку, объявил:

— Теперь скажет гласный городской думы, гражданин Остробородько.

— Не надо,— закричали,— черта нам время тратить!

— Перекинь его через забор!

Но закричали и другие:

— Да чего вы?! Пускай скажет!

— На что он тебе нужен?

— Да интересно.

— Пускай говорит!

— Вместо театра!

Муха поднял руку:

— Так что? Пусть говорит?

— Валяй!

Остробородько подошел к краю помоста, спокойно, умненько осмотрел толпу. Ему крикнули:

— Чего глазеешь? Говори!

— Ты кто будешь? Эсер?

— Да, я имею честь принадлежать к той партии, которая выставила дорогие для нас имена Каляева и Сазонова.

— Ты не хватайся за Каляева! Азеф у вас был?

Остробородько развязно, с досадой отмахнулся рукой:

— Наша партия говорит вам правду. Она не будет вас обманывать и назавтра обещать вам социализм. Без жертв нельзя спасти революцию. Наша партия не может сказать: давайте мир, хотя бы и позорный. Мы видим у вас замечательный отряд Красной гвардии. Это русские люди, вооруженные русские люди, которые не могут позволить Вильгельму растоптать нашу великую революцию. С такими людьми мы добьемся победы.

— Понравилось? — спросили громко.

— Что понравилось?

— А наши красногвардейцы?

— А как же, очень понравилось! — голос Остробородько зазвучал тем воодушевлением, которое всегда бывает у оратора, когда у него наладился контакт со слушателями.— С такими людьми...

— Да брось!..— снова крикнули.

— Тебе что, воевать хочется?

— Не мне...

— Ага, не тебе! Гони его в шею!

— Товарищи!

— Убирайся отсюда! Долой! Гони его!

Муха поднял руку. Утихли.

— Пускай кончает или не надо?

Ему был ответом многоголосый крик, в котором уже нельзя было разобрать слов.

Муха комически развел перед оратором руками. Остробородько посмотрел поверх голов, тронул ушко очков, отошел к Пономареву.

— Давай Богомола!

Богомолу, видно, стало жарко. Он распахнул свой макинтош, и глазам всех представился хорошо сшитый светло-серый френч и на нем — приятным мягким блеском серебряная медаль на георгиевской ленте.

— За что у тебя награда? За что медаль получил?

— Керенский дал, что ли?

Богомол откинул волосы, придал голове гордый вид,

на толпу смотрел из-под полуопущенных век, прикрывающих большие выпуклые глаза:

— Медаль я не украл,— достаточно вам этого?

Сразу почувствовалось, что будет говорить сильный оратор. В голосе Богомола звучали глубокие грудные ноты, теплые и приятные, владел он голосом уверенно и умел придавать ему сложные намекающие оттенки, забирающие за живое. Он не спеша, толково, основательно нарисовал картину военных бедствий, разрухи, остановки жизни. Он называл цифры, приводил факты, еще малоизвестные, делал это с несомненной честной убедительностью. Многие придвинулись ближе.

— Эсеры — не такие плохие люди. Есть и хуже. Мы — не бандиты, не воры, мы стараемся быть честными людьми. С нами можно говорить. Я знаю, для вас было бы приятнее, если бы я обещал вам прибавить заработок, дал бы лес и уголь. Но я не могу вас обманывать, в своей жизни я не мало сидел в тюрьмах за ваше право, за ваше счастье, и поэтому вам я обязан говорить правду, даже если она вам покажется горькой правдой. И я призываю вас: не думайте только о себе, подумайте и о России, освобожденной, великой России. Надо кончать войну. Это первое, священное...

— Правильно!

— Надо кончать войну победой!

— А для чего тебе победа?

На этот вопрос Богомол налетел с разгону, крепко ушибся, перевел дух, и это погубило его ораторский успех. Он неловко переспросил:

— Как?

Может быть, ему и ответил кто-нибудь, но за общим смехом не слышно было ответа. Если бы на этом смехе кончилась его речь, все прошло бы благополучно, но Богомол оскорбился и потерял власть над собой. Глубокие и грудные ноты, теплые и приятные, исчезли в его голосе. Он сделал шаг вперед и закричал на тон выше, в той истошной истерической манере, которая может только раздражать слушателя. Теперь слушали, поглядывая на него сбоку, рассматривая его медаль и макинтош, улыбаясь в усы. Он кричал:

— Да, мы не боимся говорить: война до победного конца! Да, мы не сложим оружия, мы не отдадим на-

ших знамен, облитых народной кровью, мы не опозорим свободную Россию, как это хотят сделать большевики!

Его слушали молча, сумрачно до тех пор, пока веселый бас Котлярова не произнес сочно, с добродушной улыбкой:

— А не арестовать ли нам этого господина?

Только на мгновение этому возгласу ответило молчание. А потом оно разразилось сложнейшим взрывом, в котором было все: и слова, и крики, и смех, и гнев, и требование, и просто насмешка:

— Правильное предложение!

— Бери его сразу!

— Тащи его вниз!

— Пускай за решеткой подумает!

— Держи его крепче, а то он на фронт убежит!

— Арестова-ать!

Богомол стоял на помосте, опустив глаза и зажав в кулаках полы своего макинтоша. Котляров поднялся на носках, посмотрел на трибуну, глянул на Алешу. Алеша понял. Улыбаясь, он одернул шинель, потрогал пояс:

— Пойдем! Остальные — на месте.

Пробираться сквозь толпу было не трудно. Алеша только один раз сказал:

— Сделайте здесь дорожку, товарищи!

Здесь первый раз в жизни Алеша ощутил прилив нового гражданского чувства. Кто-то крепко сжал его руку выше локтя, он посмотрел в глаза этому человеку, и человек — бледный, небритый, измазанный слесарь — поддержал его нравственно:

— Иди, иди, Алеша,— действуй!

У трибуны все расступились. Крики еще продолжались, а Богомол все стоял в своей окаменевшей позе. Алеша и Котляров взбежали на помост. Одно их появление вызвало бурю аплодисментов и крики. Муха боком придвинулся к Алеше и заговорил тихо:

— Ты чего прилез? Тебя кто послал?

Алеша удивленно открыл глаза:

— Все... требуют...

— Вот... черт... требуют! Я здесь стою, думаешь, не знаю, что мне делать. Покричат и перестанут.

— Не перестанут.

— Как это можно... взять и арестовать! А что мы с ним будем делать?.. Ты соображаешь?

Но в это время Котляров уже предложил Богомолу следовать вниз по узкой шаткой досочке. Внизу несколько рук приняли Богомола и не дали ему свалиться на землю. А с площади кричали Котлярову:

— И другого бери, чего смотришь!

— Доктора, доктора!

— Что ж ты городскую думу забываешь?

— Он тоже воевать хочет!

Алеша вопросительно посмотрел на Муху. Муха двигал черными взволнованными бровями:

— Наделали делов. Забирай, что ж?

Алеша шагнул к Остробородько. Тот сам двинулся к досочке, сохраняя на лице умеренно-мученическое благородное выражение. До краев площади снова разлилась волна аплодисментов. Алеша захромал к досочке. На него снизу глядел высокий, черномазый, спокойный Борщ и протягивал руки, как мать:

— Теплов! Тебе, хромому, трудно. Прыгай на меня!

Рядом все ласково посторонились. Проказливо, по-мальчишески улыбнулся Алеша и прыгнул. Несколько рук подхватили его на лету и осторожно поставили на землю. Чей-то голос произнес:

— Эх ты, хромой воин!

Алеша кому-то пожал руку и, счастливый, бросился догонять Котлярова, но вспомнил, что здесь близко торчит еще Остробородько.

— Вот он, вот, что ж ты его бросаешь без всякой защиты!

Остробородько даже обрадовался Алеше и сказал с некоторой иронией:

— Куда прикажете идти арестованному?

14

Митинг продолжался. После ареста Богомола и Остробородько настроение у всех стало веселее. Котляров и Степан повели арестованных в заводской комитет. Их проводили взглядами и обернулись к трибуне. Муха

в своем слове не коснулся вопроса об арестованных. Он говорил исключительно о дальнейшей работе завода, разбирал этот вопрос дельно, не спеша, отделяя в нем самые мелкие пункты. И по каждому пункту выходило, что завод работать может, что на лесопильных заводах тоже еще не сдались, что уголь можно выпросить на железной дороге. Он сомневался только в одном: помогут ли служащие завода. Вспомнил о правой руке Пономарева — Соколовском, о котором ходила слава как о коммерческом гении. Соколовский тут же закричал в толпе, потребовал слова, без приглашения полез на трибуну. Муха засмеялся и уступил ему слово. Соколовский был в поддевке, острижен по-старому, под горшок, и, кажется, его прическа была смазана маслом. У него широкое лицо и узенькие глазки, на верхней губе усики, свисающие тоненькими хвостиками. Он снял шапку и немедленно приложил ее к груди, заговорил ловким, быстрым, стрекочущим говорком, сбиваясь на отдельных словах, бросая их, чтобы скорее сказать другие слова, более нужные и удачные.

— Дорогие товарищи! Товарищ Муха высказывает такое заключение: дескать, ему моя фамилия упомя... с неприличием, можно сказать, произнес. Если мы служили, как вы сами зна... по нужде и по общему обыкновению, при царском само... при старом режиме и това... вот, госпо... гражданину Прокофию Андре... одним словом, Пономареву, то неужели вы ду... народу не послужим? И Мендельсона, и Ковригина, и Назаренко лесопилки, если приложить голову при тяжелом нашем поло... в государственном деле и с мастеровы... с ихними товарищами. Народу послужим... и не сомневайтесь ни капельки. Пускай товарищ Муха прямо не боится. Свои люди, тоже пролетарии, страдали при царском режиме. Будьте уве... надейтесь на меня...

— Ну, довольно, довольно, понимаем!

— Какой ты хороший!

— Ох, и шельма же!..

Соколовский спрыгнул с трибуны и еще долго в толпе подмигивал всем, давая понять, что с ним никто не пропадет.

Потом говорил Кривоотченко, большевик и член завкома, один из самых молчаливых людей на заводе, уг-

реватый и суровый. Он говорил с таким видом, как будто и говорить ему не хочется, но что-то нужно повторить, что всем давно известно, но еще как следует не сказано. Он нехотя бросал веские, нахмуренные слова, и они становились железными и несомненными истинами, когда доходили до слушателей:

— Некого спрашивать. Слышали, здесь болтали, как заводная шарманка. Война! Воевать нам теперь не с кем иначе, как с господами. И с господами воевать будем, если добром не уйдут. Наступают времена, это главное. Ничего, что Ленина преследуют. У Ленина тоже есть помощники. Наступают времена. Народ наш ярма больше на шею не наденет. Не наденет, гражданин Пономарев! Это все знают: и народ, и крестьяне, и солдаты — все в одну сторону пошли. И нечего вам с этим ярмом носиться. Завод у нас не такой знаменитый, и Карабакчи, и шпалопропиточный, а вот видите, и наша Красная гвардия готова. Будем стоять крепко и своего не отдадим! Кто нас победит? Советы трудящих по-своему дело повернут, а если в советах эсеры, выкурим. Ты, Муха, тут шептал Алешке, зачем председателя берет. Ничего, пусть знает, у кого власть должна быть. Большевики, они все сделают с народом вместе.

— Верно говорит Криворотченко! — закричал в толпе высокий тенор.

Щербатый Марусиченко подскочил возле трибуны, поднял высоко руку:

— Большевики, не зевайте только, не зевайте!

Закричали кругом, проводили Криворотченко бодрыми хлопками аплодисментов. Марусиченко еще подпрыгивал и кричал, когда на трибуну поднялся невысокий человек, взлохмаченный и нескладный. Белеющие мохнатые брови что-то знакомое напомнили Алеше. Он сделал несколько шагов вперед и узнал Груздева. Быстро пронеслись в памяти два Груздева: один — дикий, гневный, насильник и оскорбитель, другой — вежливый, нежный, задумавшийся и грустный. Как будто эти Груздевы не имели к Алеше никакого отношения. Они вспоминались как очень далекий сон, испугавший и взволновавший душу и поэтому незабываемый. Алеша смотрел на Груздева и старался представить себе все-таки, что такое Груздев? Его слов не было слышно. Устремив неподвиж-

ное лицо все в одну сторону, куда-то поверх голов, неподвижно поддерживая на напряженной высоте светлые брови, он говорил что-то, идущее от души, но не сопровождал своей речи ни мимикой, ни жестами. На площади становилось все тише и тише. Что он такое говорит,— может быть, это третий Груздев появился сегодня в народе?

Алеша начал осторожно продвигаться вперед и чувствовал, как тихонько продвигаются вперед, подталкивая его, красногвардейцы.

Груздев говорил:

— Разве у нас была жизнь? Разве у нас был какой свет? В темноте жили, в голоде, тугой жили жизнью, а умирали старики — и вспомнить было нечего. Легко это сказать: народ! И я — народ, и вы — народ, и все нами сделано. Кто города строил? Мы. Кто государство наше защищал? Кто кровь проливал, умирал? Мы все! А они нас презирали и считали нас дикими, некультурными, и темными, и глупыми. А они от нас сторонкой жили, своя у них жизнь. И платье у них чистое, и пахнет от них хорошо, и книги они читают, и гордятся перед нами, всем гордятся: и наукой своей, и вежливостью, и образованностью, и лицом красивым, и честью, а про нас говорят: простой народ! А чем я простой? Только тем простой, что загнали меня в угол! И вот мы теперь видим: пришли справедливые люди, большевики. Первый раз такие люди, которые не хотят нас обманывать, душевные люди, за народ стали. Они смело действуют, смело правду говорят, надо, чтобы и народ сам им помог полной своей силой. Какой я есть, темный или бесчестный, какая у меня есть сила и голова,— вам говорю: отдаю себя большевикам. Куда пошлют — сделаю, скажут умереть — умру, скажут жить нужно — жить буду. Если останется один народ, какая жизнь будет... светлая жизнь!

Груздев произнес эти слова, задумался, медленно повернулся и побрел к доске. Его проводили взглядами, никто не хлопнул в ладоши, как будто боялись потревожить переполненные сердца. Алеша тихонько начал продвигаться к своему месту, и ему захотелось где-нибудь в одиночестве подумать над тем, о чем говорил Груздев.

В маленькой комнатке заводского комитета он застал арестованных и Степана с Котляровым. Вероятно, Степан о чем-то разглагольствовал, потому что Богомол сидел в углу на табуретке и негодующим взглядом следил за ним, да и Котляров как-то смущенно рассматривал приклад винтовки между ногами.

Увидев Алешу, Богомол поднялся, подошел к столу, сказал резко, постукивая сложенными пальцами по доске стола:

— Я хочу знать: кто меня арестовал. Вы, товарищ офицер?

Он нажал на слово «офицер» и пристальным, немигающим взглядом вонзился в Алешу. Степан мотнул на Богомола головой:

— Вот я ему толкую, а он бессознательный какой-то... Народ тебя арестовал.

— Я прошу ответить,— приставал Богомол, не обращая внимания на Степана.

— Я не офицер, но арестовал вас я: на основании общего народного требования.

— Какого народного, я хотел бы знать? Где постановление? Где постановление? Наконец, чье постановление? Толпы? Самосуд? Требую немедленного освобождения. Сейчас! Сию минуту! Наконец, где наша машина?

Степан хмыкнул и отвернулся. Алеша ответил:

— Машина? Я, право, не знаю.

— Вы не знаете? Вы, мальчишка, держите под стражей председателя Совета рабочих депутатов?

Степан возмутился:

— Да я ж тебе объяснял: не за то, что ты председатель, а зачем ты в эсеры записался? Вот теперь и расхлебывай! Я тебя не тянул в эсеры? Не тянул. А ты еще и про войну начал молоть, ребенок и тот не скажет...

Степан все это выговаривал нежно, убедительно, но Богомол его не слушал. Он подошел к стене, остановился перед каким-то плакатом, задумался гордо.

Вошли Муха и Семен Максимович.

Муха полез к ящику. Семен Максимович провел по усам пальцем, взял за рукав Степана, прогнал его со

стула, положил руку на стол, свесил пальцы, кашлянул и замер в неподвижном строгом ожидании. Муха порылся в ящике стола, поднял глаза:

— Ваша машина здесь, товарищ Богомол. Можете уезжать. И вы, товарищ Остробородько.

— Машина меня не интересует. Вы скажите, какое вы имели право меня арестовывать?

Муха еще раз заглянул в ящик, пошарил в нем рукой, улыбнулся:

— Да какое там право? Арестовали — да и все!

— Нет, скажите, какое право? Вы думаете, это так пройдет?

Муха еще улыбнулся:

— Я думаю, что,— он уверенно кивнул головой,— пройдет!

— Значит, вы надеетесь на безнаказанность?

— Надеюсь,— сказал Муха и закрыл ящик.

— Пользуетесь всеобщим безвластием?

— Пользуемся...

Богомол засверкал взглядом, у Остробородько за очками заиграла тонкая, просвещенная ирония. Муха поднял ясные глаза на Богомола. Тот начал застегивать свой макинтош.

— Не доросли вы до демократии, товарищи. Вам нужна палка, Корнилов нужен!

Слово «Корнилов» Богомол провизжал громко, подбросив маленькую, белую руку к потолку.

Муха поднялся за столом, оперся руками:

— А вы себе заведите Корнилова.

— Кого?

— Да Корнилова. Сильная власть, палка, никто вас не арестует, вы будете проповедовать войну до победного конца, никто вам слова не скажет! Хорошо!

Богомол бросил на Муху гневный взгляд и толкнул дверь. Дверь открылась, но Богомол еще не все сказал:

— Из ваших этих... ленинских химер... все равно, ничего не выйдет! Химеры!

Остробородько поднялся, тонко улыбнулся и протянул вперед поучительный палец:

— Химеры и преступление! И преступление!

— Напрасно их выпускаешь, товарищ Муха,— начал Степан,— в каталажку нужно таких или прикладом по

голове! — Степан грозно двинулся вперед, но Богомол уже вышел, за ним направился и доктор.

Степан тоже шагнул за ними, но Алеша сказал строго:

— Степан!

— Да я, Алеша... понимаешь... два слова ему скажу...

— Обойдешься.

Степан страдал у двери,— мучили его, видимо, невысказанные слова. Муха двумя ладонями начал растирать лицо, растирал, растирал, даже кряхтел при этом:

— Так. Поехали, значит. Хай большой подымут. Не нужно было, Алеша, ни к чему. И на какой конец ты их арестовал? Где их держать? У нас государственной власти еще нет.

Семен Максимович острым взглядом пробежал по лицам:

— Ничего, Григорий! Хорошо вышло. Очень хорошо. Народ — никакого тебе погрома, никакого тебе беспорядка, вежливо, как полагается, посиди часика два. Вроде как в карцере. Хорошее наказание, и справедливое.

16

Рабочий клуб, еще только организуемый в бывшей «столовой», сделался местом, куда Алешу тянуло посидеть в свободный вечер. В клубе все еще находилось в стадии становления: по всем комнатам шла работа, на полу шуршали стружки, и хозяином расхаживал по ним и распоряжался веселый Марусиченко, возглавляющий тройку столяров, выделенную заводским комитетом. Марусиченко с первого слова сдружился с Ниной и на правах дружбы вмешивался во все клубные дела, всюду совал нос и подавал советы. Он придумал особую систему быстро разбираемых кулис и в одну бессонную ночь смастерил хитрую и красивую модельку. А когда рамки для кулис были готовы, он сам натянул на них холст — и заявил даже, что и декорации будет писать собственноручно. В доказательство своих прав на эту работу он представил несколько подержанных открыток, на которых были изображены зеленые глади прудов и

кровавые закаты. Но нашелся художник, перед которым должна была спасовать его буйная энергия. Он не обиделся и с таким же энергичным оживлением занялся грунтовкой и небесным фоном. Главным же художником выступал Николай Котляров, который еще в высшем начальном училище прославился копиями с Шишкина и Киселева.

В течение целого дня в клубе шла работа: делали сцену, переделывали кухню под библиотеку и читальню, строили диваны для зрительного зала и читальни, писали декорации и прилаживали занавес. Нина — в синем бязевом халатике — успевала за день побывать везде: слетать в город, распорядиться, дать многочисленные консультации, поговорить с Марусиченко, полюбоваться работой Николая, и у нее еще оставалось время для работы самой любимой — приводить в порядок сотни книг, которые она каким-то чудом находила в городе. Книги нужно было записать, пронумеровать, расставить на полках, но прежде всего их нужно было доставить из города. Транспортное средство было единственное: костромские мальчишки. Каждое воскресенье веселой гурьбой вместе с Ниной они отправлялись в город. Из города они возвращались всегда почему-то гуськом, и каждый из них на плечах и на груди нес одну или две связки книг. Таня Котлярова называла это шествие «караваном в пустыне». Мальчишки ходили в караване не совсем бескорыстно: в их полное и бесплатное распоряжение обещана была отдельная скамья во время спектаклей и киносеансов.

Работа с книгами оказалась сложной еще и потому, что их нужно было выдавать читателям, не ожидая конца работы. Как только «караван в пустыне» первый раз проследовал по Костроме, читатели явились немедленно, а Нина не считала возможным отложить хотя бы на один день удовлетворение этой важной потребности. Даже у Василисы Петровны на ее кровати под подушкой лежала переплетенная «Нива» за 1899 год. Василиса Петровна по вечерам усаживалась в убранной кухне и осторожно перелистывала страницы книги, внимательно рассматривала иллюстрации к «Демону», «Пожар на море» и картинки, изображающие стариков в шляпах и голландских женщин в высоких чепцах. Капитан деликатно, как буд-

то к слову, читал ей надписи под картинками. Однажды между делом он сказал:

— Василиса Петровна! Пустое дело! Давайте покажу вам, как это... как читать.

Василиса Петровна сделала вид, будто она очень заинтересована очередной иллюстрацией, отвернулась, ничего не ответила, но через несколько дней она уже с большим интересом рассматривала журнальный заголовок и шептала:

— Ни... в... а... ва... Нива.

Это проходило в секрете и от отца, и от Алеши, даже и Нина узнала о нем не скоро: когда обстоятельства потребовали отъезда капитана из Костромы.

По вечерам в клубе было особенно хорошо, в нем оставались только люди, преданные идее, и никому не позволялось болтаться без работы. Нина к этому времени крепко привязалась к Тане, в одиночку теперь трудно было встретить и ту и другую. Они предавались новому делу почти без отдыха, тем более, что количество книг все увеличивалось и увеличивалось: «караван в пустыне» работал регулярно. У Николая Котлярова тоже задача была длинная, и он разрешал ее с привычной для него миной молчаливого одиночества. Павла Варавву допустили к составлению каталога, и это устраивало его во многих отношениях: во-первых, Павел был выдающийся читатель на Костроме и к книгам относился с нежностью, а во-вторых, рядом была Таня. Пробовали к книжному делу допустить и Алешу, но из такой затеи ничего не вышло. Алеша добросовестно работал до тех пор, пока в руки не попадалась интересная книга,— в этот момент его добросовестность рушилась. Кругом идет работа, а Алеша уже замер над книжкой, развернутой на руке. Еще через три минуты он уже куда-то побрел, не отрываясь глазами от страницы: оказывается, что целью его движения является диван, только вчера вышедший из рук Марусиченко. На диване Алеша располагается настолько уютно, что скоро и записная книжка, и карандаш появляются в его руках. Такое поведение Нина называла распущенностью. Алеша получил новое назначение: для него отвели большой участок стола, и скоро он с головой окунулся в полезное занятие. На кусках ватмана Алеша самым идеальным и самым художе-

ственным шрифтом разделывал надписи, необходимые в каждом порядочном клубе: «вход», «выход», «просят не курить», «касса»... А когда принесли только что сделанную доску для вывески, ему пришлось для художника Николая Котлярова сделать рисунок букв:

Рабочий клуб имени Карла Маркса

Теперь частенько в город заезжал Богатырчук. Он работал в губернском комитете партии большевиков, очень много путешествовал по губернии и по дороге всегда навещал старых друзей. Его приезд очень часто нарушал спокойное течение строительства клуба.

В вечер того дня, когда происходил митинг, все и без того были взбудоражены, а тут еще и Сергей приехал. В этот раз он даже не пытался кому-либо помочь, а с первого момента засел с Алешей в углу дивана, заваленного кучей неразобранных книг, и они долго говорили, склонившись к коленям. Сначала им никто не мешал, потому что вид у них был серьезный, прически в беспорядке. Потом Павел Варавва присел против них на стопке книг.

Девушки присматривались к ним снисходительно, но потом Таня сказала:

— Хорошо! Наговорились, товарищи мужчины! Можно и нам узнать о ваших тайнах?

Богатырчук охотно ответил ей:

— Наша тайна — жизнь. Выходит, это и твоя тайна, Танечка.

— Значит, это такая тайна, которая всем известна?

— Известна-то известна, а кто знает решение?

Богатырчук произнес это загадочно, откинув голову на спинку дивана, мечтательно направил взор в потолок. Таня без достаточного уважения отнеслась к этой позе:

— Посмотри, Нина, какое дикое соединение большевика с восточным мудрецом.

Нина посмотрела на Богатырчука, но ничего не сказала, отложила перо и приготовилась слушать.

Не меняя позы, Богатырчук продолжал:

— Был один такой вечер в четырнадцатом году, у преддверия этого самого дворца просвещения. Нас было пятеро, и каждый из нас тогда... какие мы все были чу-

даки! Честное слово, даже удивительно! Николай Котляров возгордился передо мной: он работает, а я не работаю. Алеша возгордился перед Павлом: у Алеши не было денег, а у Павла было два рубля. Я возгордился против всех: все рабы, а я — свободный человек. Таня гордилась своей девичьей властью и своей мудростью.

Павел спросил:

— А чем я гордился?

— А ты возгордился тем, что у тебя есть два рубля, честно заработанные два рубля.

— И ничего подобного... Ну, что ты врешь?

Богатырчук оттолкнулся от спинки дивана и приблизил к Павлу иронический взгляд:

— Вспомни: Алешу ты уговаривал воспользоваться твоими деньгами, а меня то приглашал, то нет, то сыпал мне на руку сорок копеек. Возгордился, как же! Какие мы тогда были чудаки!

— Почему ты вспомнил? — вполголоса спросил Николай, уже стоящий в дверях с кистью в руках. Рядом с ним, вооруженный рубанком, стоял Марусиченко; он приготовился принять участие в разговоре, но в то же время старался понять, интересная разрабатывается тема или не очень интересная.

Богатырчук снова откинул голову:

— Тайна жизни! Какая разница! Какие мы тогда были бедные, одинокие, обиженные, помнишь, Алексей?

Алеша засмеялся, вспоминая:

— И гордые, Сергей! Страшно гордые!

Таня смотрела с высоты лестнички недоверчиво:

— А может... просто молодые... желторотые!

Павел повернулся на своей книжной стопке:

— Ничего подобного, Таня! Ты понимаешь, мы тогда... мы теперь моложе! О! Богатырчук зацепил очень важный вопрос. Я хорошо помню, какая тогда была жизнь! Сил не было, даже злиться сил не было. Жили, жили себе, а в восемнадцать лет уже и... стареть начинали. А что нам было делать? А что у нас было впереди? Одно... костромское. И все!

Теперь Марусиченко понял, что тема идет важная и что она ему по силам, а в таком случае он всегда высказывался:

— Павел, неправильно говоришь! Чего это: костромское! Кострома, брат, вот она Кострома! Заводы здесь были? Были. Работали? Работали. Молотилки делали? Делали. И в девятьсот пятом году бастовали? А еще и как! А только люди про все забывали. Человек сам себе цены не знал, каждый думал: нету мне никакой цены. Что я такое? Столяришка там паршивый, а тот — слесаришка. А на самом деле, была цена. Была, понимаешь, большая цена! Я вот, например, столяр! Рабочий! Последний человек! А что большевики сказали: первый человек!

Николай Котляров слабо улыбнулся:

— Цена! Ты на фронте посмотрел бы, какая нам была цена. Мало того, что уничтожали тысячами, а даже вежливости не было, никто толком не объяснил, почему нужно мне умирать? Команда — и все! Ты помнишь, Алеша: «Вперед!» А это только называлось так «вперед», а на самом деле: «Умирай!» А почему так, никому не интересно. А только большевики растолковали, куда нужно *вперед* идти.

Марусиченко взмахнул рубанком:

— И все через них! Легко это подумать: в нашем уезде у князя Волконского тринадцать тысяч десятин, у Четверикова — одиннадцать, у этого... фальшивомонетчика, Чуркина — десять тысяч. Сколько это стоит? Ого! А тут тебе Павел Варавва,— а сколько ж он стоит? Выходит,— пустяк.

Нина тронула пальцем уголок переплета:

— Какая же тут тайна? Господа и теперь есть.

Богатырчук ей ответил радостно:

— Ха! Есть! Принципиально их уже нет! Уже нет! Вы, конечно, знакомы с учением Маркса?

Нина чуть-чуть порозовела:

— «Капитала» я не читала,— очень трудно, а я хотела... Но я знаю, я все хорошо знаю.

— Маркс давно доказал, что они приговорены. И все это знали. А они думали: чепуха, исторические законы как-нибудь приспособятся. И воображали, что они все-таки делают историю, что они — организаторы, необходимая сила жизни. Они перемалывали нас с полной уверенностью, что это надолго, что это хорошо. А сейчас

им, как снег на голову: нет! Вы понимаете, как это сказано, нет?! Пока говорили книги, они могли отговариваться, а сейчас сказал народ...

— Большевики,— поправил Павел.

— А большевики — это и есть народ. И сказано не как-нибудь так, теоретически, а на практике. А если на практике говорят «нет», так это значит «пошли вон!» И кончено! Принципиально они уже готовы.

Николай сказал осторожно:

— Они будут защищаться.

Богатырчук вскочил с дивана и, как всегда, оказался массивнее, чем ожидали:

— Нельзя! Мы их сейчас будем уничтожать, гнать! Я вижу! Я теперь знаю эту «тайну». Я, помните, в цирк поступил, думал, здесь я от них укроюсь. Чепуха, ничуть не укрылся! На войну пошел добровольцем, думал, я герой, наплевать мне на буржуев. Чепуха, от них нельзя было укрыться, на их стороне было все: организация, уверенность, строй, народное терпение. А сейчас все на нашей стороне. Большевики нанесли страшный удар, они принципиально их уничтожили. Потому что раньше против них была теория, а теперь не только теория, а еще и воля. Воля! Страшная вещь: «Пошли вон!» Чем на это можно ответить?

На это никто ничего не ответил. Богатырчук оглядел всех, Марусиченко кивнул ему весело.

Нина, улыбаясь, спросила:

— Значит, тайна жизни... разрешается в чем?

— В борьбе,— крикнул Павел, чтобы перехватить ответ Сергея.

Сергей захохотал, взмахнул кулаком:

— Нет!

— Как нет? — удивился Павло.

— Тайна жизни в победе! Борьба без победы — чушь, жертвоприношение.

— Как? Что ты говоришь?

Павел даже испугался.

— Иначе быть не может. А у тебя как, Павел? Неужели ты идешь на борьбу и сомневаешься? Думаешь: победим или не победим? Любит, не любит? Пан или пропал? Это значит — ты играешь на поражение. Побеж-

дает только тот, кто уверен в победе. А я уверен. Я и хотел бы сомневаться для порядка, что ли, но я не могу. Я не сомневаюсь.

— А если вас все-таки победят? Представьте себе!— Нина хитро присматривалась к Сергею.

Он обернулся к ней, посмотрел удивленно:

— Как же это может быть? Нина! Меня могут повалить, но я буду подыматься. Убьют, а я буду думать, что это ничего не значит, не один же я? Верно, Алеша?

Алеша размахнулся, сжал кулаки:

— Вот люблю, когда горячая натура! И мы победим, я знаю. У жизни есть цена, вот сегодня правильно говорили. А эту цену я сегодня первый раз по-настоящему почувствовал.

— Где?

— На митинге.

— Это как же? Расскажи.

— Еще не умею. Я потом скажу, хорошо?

Все внимательно присмотрелись к Алеше. Нина склонила голову на руку и задумалась. Марусиченко сказал:

— На митинге сегодня весело было! Это верно.

17

Репетиция «Ревизора» происходила в школе. Алеша пришел первым. Полы были только что вымыты и кое-где еще блестели влажными полосами. В широком зале-коридоре через большие окна пробивались яркие лучи фонарей бывшего «Иллюзиона» и отражались в портретах большими белыми пятнами. Щели в полуоткрытых классных дверях чернели заманчиво и тихонько. В одном классе на окне горела большая керосиновая лампа, которую в школе называли молнией. В этот класс, назначенный для репетиции, карлик-сторож проводил Алешу. Он, видимо, испытывал сильное желание поговорить и начал:

— Ето, как поприходят, понасоривают, понасоривают. Говорил, ето, говорил, никого теперь не пужаются...

Но прибежал мальчишка, шепнул: «дедушка», и сторож, потряхивая задом пиджака, ушел на кривых ногах, обутых в тяжелые, складчатые сапоги. Лампа на окне горела большим косым языком, раздражала. Алеша поднялся с парты, пошел бродить по школе.

В этой школе он был третий или четвертый раз, но в ней учились все его друзья, и поэтому от ее стен пахло чем-то родным и близким. Алеша вспомнил реальное училище, широкую мраморную лестницу, затейливые люстры и бра, строгий зал с императорами во весь рост и с аккуратными важными дорожками по блестящему паркету. Здесь залом был просто коридор, на стене темнела простая масляная панель, пол был неровный, местами потерял краску. В одном месте Алеша даже ступил в какой-то гнилой провал между досками.

А это класс. Но классы, кажется, во всей России одинаковы. Изрезанные парты, выступающая колонна печи, широкий белый подоконник. За окном редкие, тусклые огоньки Костромы, а дальше электрическое зарево города. И еще за окном осень: мокрый песок, облысевшие акации.

Алеша сел за передней партой, поставил локти на ее пюпитр, на ладошках примостил подбородок. Кажется, в такой позе хорошо было сидеть в третьем классе реального училища, поворачивать голову направо и налево, ухом регистрировать течение урока, а душой уноситься в просторы мальчишеского нехитрого, но завлекательного воображения.

Очень важно, что тогда было счастливое время. Говорят, что дети всегда счастливы. Это, может быть, потому, что дети умеют жить сегодняшним днем. В сущности, это великое философское умение. Или лишняя жертва отцов. Вот он в третьем классе, может быть, жил счастливой жизнью, а в это время его отец по одиннадцати часов в сутки вертел свой токарный станок. Для чего? Чтобы поздно вечером завалиться спать, а утром снова в шесть часов брести к своему токарному станку. И еще для того, чтобы Алеша в детстве мог жить сегодняшним днем.

А как будет, когда наступит социализм? Вчерашний митинг — это путь к социализму или нет? Алеша улыбнулся в темноте. Что общее можно вообразить между

вчерашним митингом и социализмом? Улыбаясь в темноте, Алеша вспомнил трибуну из разрушенных ворот, Красную гвардию в разнообразном одеянии, в заплатанных штанах. И шапки у них разные, и нет ни одной новой. И бороды некультурные, растрепанные, косые. Знаменщик Колька Котляров идет строить социализм, еще не опомнившись от ужасов войны. А этот Соколовский, коммерсант, пройдоха и подлиза, бьющий себя шапкой в грудь! И Груздев в лохматых сапогах, рассказывающий небу о своей черной жизни и светлой мечте! И, наконец, шаловливый, занозистый крик, арест двух господ,— один из них наряжен в смешной макинтош и топорщится, как дешевая игрушка.

Когда раньше Алеша думал о социализме, он представлял себе высокие светящиеся колонны, а между ними легко ходят люди, тонкие, светлые, с ясными, мудрыми глазами.

В свое время многие думали о таком социализме, и все хорошо знали, что он помещается так далеко, в таких далях воображения, что, вероятно, там, рядом с ним, помещаются и ковры-самолеты, и шапки-невидимки, и коньки-горбунки, собственно говоря, все это располагается не впереди, а где-то в прошлом, скорее всего просто в детстве.

И оказывается, есть и другой социализм — где-то здесь, очень близко. Это тот самый социализм, который хотят завоевать полуграмотные люди в бедной одежде и в поношенных шапках. Хотят, решили завоевать! Его милый, родной отец, токарь Теплов, высокий, худой и суровый человек, в своей жизни не видевший ничего, кроме труда и Костромы, никогда не мечтавший о светящихся колоннах и мудрых людях, разве он оглядывается на заплатанные штаны и измазанный свой пиджачок? Отец не оглядывается, не сомневается, даже слов лишних не тратит. Все гораздо проще: он просто решил, что должен быть социализм.

Алеша направил глаза в щель полуоткрытой двери. За дверью был полумрак зала, но перед Алешей проносилось будущее. Значит так, Пономарева нет, нет князей Волконских, нет фальшивомонетчика Чуркина, нет Карабакчи, Троицкого. Нет никакого высокого «мира», нет их дворцов, роскоши, чванства, пахнущего духами, и

рысаков, удивляющих народ. Это... это очень хорошо! Но нет и светящихся высоких колонн и ползающих между ними полубогов. Собственно говоря, это... тоже хорошо!

Между вчерашним митингом и этим будущим социализмом прорезался вдруг знак равенства: и здесь, и там живая человеческая простота, живой смех и обыкновенный, справедливый разум. Все гораздо проще и привлекательнее: какая-нибудь электрическая лампочка в комнате будущего Степана Колдунова, какие-нибудь лишних три-четыре часа отдыха у токаря Теплова, книжная полка у Марусиченко, сытный обед у старого Котлярова, университет у тех мальчишек, которые теперь ходят «караваном в пустыне», и у матери его, Василисы Петровны, новое платье, и, самое главное... это все на полном просторе, свободном от паразитов.

В общем, так немного хотят простые, трудящиеся люди, настоящие люди, связанные честностью и трудом. Так немного хотят.

И все-таки вчерашний митинг напоминает что-то такое, что уже было. Так же немного хотели люди и раньше и так же просто и горячо мечтали о справедливости. И как обидно горько представить: при Пугачеве... Император Петр III! Как это грустно и как это глупо! Какой это заброшенный был народ! Петр III! Имя! Тушинский вор разве лучше? Все это перемешано с обманом, вином и со страшной, желудочной темнотой! Фантастический, доверчивый бунт, слепое тыканье темного народа в непоколебимые твердыни истории. И так на протяжении многих веков, и так фатально обреченно, и быть иначе не могло.

И вот сейчас народ поднял честное свое трудовое лицо и требует справедливости. И Богатырчук нашел тайну жизни, и эта тайна в победе, даже если Богатырчук будет побежден. Богатырчук игнорирует многочисленные поражения народа в истории, он уверен, что сегодняшние дни — дни совершенно небывалые, дни единственного в человечестве переворота.

И так он знает потому, что есть Ленин.

Ленин!

Алеша не мог себе представить даже лица Ленина. Гений, который с такой уверенностью, с такой настойчивостью, с таким успехом несет свою мысль человечеству,

который так свободно объединил вокруг себя лучших людей России, до Мухи включительно, который говорит людям о новом счастье, так обидно был недоступен для Алешиного воображения!

Алеша загляделся в туманный просвет классной двери, ничего в нем не увидел, но в душе у него распространялся невиданный еще порядок. Ленин стоял в душе без образа и очертаний, без лица и голоса,— чистое имя, мысль, чистая идея нового человечества, невиданного, не совсем понятного. И стало ясно, что Ленин — это не просто человек, это — еще недоступная воображению историческая эпоха, которая начинается завтра. В том, что она будет, Алеша не сомневался, он только хотел ее увидеть.

Алеша даже подался вперед, сидя за партой. Не поможет ли воображению метод сравнения? Он ясно, страшно отчетливо и красочно представлял себе Россию 1773 года: «двор», дворянские усадьбы, крепостной народ, послушное безликое войско,— дворянский расцвет. И где-то на краю страны разлившееся крестьянско-башкирское восстание темных и бедных людей, с таким же темным казаком впереди — с Пугачевым. Кто он такой? Подвижник, авантюрист? Кто он такой? Может быть, он был человек с улыбкой, с юмором, с острым словом, может быть, он очень хороший и интересный человек, может быть, он похож на Степана Колдунова? И эта волна, очень вероятно, волна прекрасных живых людей, шла против дворянской культуры, вооруженной книгами, пушками, знаниями, шелковым платьем, французским разговором. Было страшное противоречие между этими лагерями, противоречие в силе. А вот сегодня другие силы и другое противоречие. Какая культура на стороне Пономарева? И какое войско? И культуру, и силу Алеша чувствовал в самом себе, отражение великой культуры народной, сознательной воли, организуемой Лениным.

Где-то зашумели двери и пронеслись голоса. Алеше жаль было расставаться со своими историческими видениями, и он скорее, скорее еще раз присмотрелся к ним и улыбнулся самому себе. В том, как звонко и уверенно звенели голоса людей, заключалось подтверждение его улыбки.

Голоса и неясные силуэты прошли дальше по коридору. Вот голоса глухо повторились в том классе, где горела лампа. Потом они затихли, и вдруг оттуда снова вырвался сноп звуков,— очевидно, открыли двери. Легкие, милые каблучки быстро застучали по коридору. Туманно-светлая щель двери расширилась, и в полосе окна за дверью встало счастье. Алеша притих и склонил голову. Нина несмело вошла в класс, ее голос с трудом повиновался ей:

— Алеша, это вы?

Алеша так порывисто бросился к ней, что парта загремела, сдвинулась с места. Алеша взял руку девушки, приложил к губам. Это была первая, настоящая, секретная ласка между ними. Он поцеловал нежную, теплую руку в том месте, где начинаются пальцы. Он близко глянул в глаза девушки. Тыльной стороной другой руки она откинула прядь волос и прошептала:

— Алеша... здравствуйте!

Он потянулся к ней, к ее плечам, к шее, к лицу, но той же рукой, мягкой и горячей ладонью, она прикоснулась к его лбу, и он замер.

— Ничего больше не нужно, Алешенька.

Нина прошептала и оглянулась на дверь, ее рука упала к нему на плечо и там осталась, когда он сильным движением привлек ее к себе. Нина как будто все смотрела на дверь, и он не нашел ее губ, поцеловал в верхнюю часть глаза, почувствовал крепко сложенные волоски ее брови.

Это было счастье, но не такое счастье, какое дается всем людям, а какое-то особенное, неожиданное и незнакомое. В нем много было удивления. Его рука удивилась ускользающему легкому шелку, удивилась собственной смелости. Его душа ощутила существо, у которого и тело, и глаза, и брови, и платье, и неожиданно возникший запах духов, и гордая сдержанность покорности были созданы жизнью для счастья и награды — неужели Алеше?

Его счастье было так великолепно, что в нем не успела проснуться страсть. Он опустился к ее ногам, обнял ее ноги — и сказал ей, склонившей к нему таинственно прекрасную голову:

— Нина!

Она положила руки на его плечи.

— Милый... зачем такие рыцарские поклоны?

Алеша радостно прижался к ее колену. Почувствовал, как в смущении дрогнула ее нога, и вскочил. Она быстро отошла к двери и, взявшись за ручку, остановилась.

— Нас ожидают. А знаете что, Алеша? Мы подождем... целоваться, хорошо? Если бы вы знали, как сильно я вас люблю...

19

Лампа горела по-прежнему на окне. За партами сидели свободные лицедеи, а впереди, на том месте, где обыкновенно расхаживают учителя, шло действие. С книжкой в руках подавал текст и исполнял обязанности режиссера инспектор высшего начального училища Константин Николаевич. На его тужурке еще поблескивали старомодные петлицы, только орлы на них были без коронок. У Константина Николаевича лысина до половины головы. Другой учитель, маленький, подвижный, казавшийся очень умным, исполнял роль Хлестакова, а конторщик с завода — Лысенко — Осипа.

Алеша сидел рядом с Ниной, и каждое слово пьесы казалось ему по-новому могущественным и остроумным. Он громко смеялся. И Константин Николаевич оглядывался на него с такой торжествующей улыбкой, как будто это не Гоголь, а он, Константин Николаевич, написал «Ревизора». У окна за длинной партой между двумя учительницами сидела Таня и посматривала на Алешу лукавым взглядом. Капитан спрятался сзади и добросовестно зубрил роль Тяпкина-Ляпкина.

Хлестаков произнес свой монолог. У учителя был тоненький, смешной голосок. Хлестаков выходил у него удачно. Он с хорошей, глуповатой тоской произнес: «Никто не хочет идти». Оглянулся. Один из учителей крикнул:

— А действительно, никто не хочет идти? Где Варавва?

Вараввы не было. Это и раньше все заметили.

— Что же это такое? Так же нельзя репетировать,— сказал обиженно Константин Николаевич.— На прош-

лой репетиции не было и сейчас нет. Почему нет Варавы, кто знает?

Все оглянулись на Таню.

— Чего вы на меня, товарищи? Варавву позвал Муха по какому-то важному делу.

— Но нельзя же так,— еще более обиженным голосом произнес режиссер.— Мало ли какие важные дела! Мы ставим «Ревизора» первый раз на Костроме, это самое важное дело. А он срывает. Срывает!

Константин Николаевич обеими руками показал на свободную площадку «сцены», на которой в таком же обиженном безделье торчал Хлестаков; всем сразу стало видно, что Варавва виноват.

Алеша сказал:

— Если Павел не пришел — значит, у него действительно важное дело.

— Какое такое у него важное дело? Заседание какое-нибудь?

Константин Николаевич слово «заседание» произнес с презрением. Алеша возмутился.

— Да что вы, Константин Николаевич? Павел — большевик, не забывайте.

— Да господи, большевик!

Константин Николаевич отвернулся и сказал горячо, обращаясь к классной доске:

— Большевик должен быть здесь, если такое культурное дело: «Ревизор»! Вы подумайте: на Костроме «Ревизор»!

Все притихли перед его справедливым гневом.

Но выступил из темного угла Степан Колдунов, руки у него в карманах, на ногах добытые недавно валенки:

— Ты, товарищ, напрасно так говоришь! У тебя тут представление, а у него большевицкий совет, может. А ты кричишь! Одной девке хоровод водить, а другой девке за водой ходить!

— Как у нас говорят, в Саратовской,— серьезно, негромко закончил капитан.

Все засмеялись и оглянулись на капитана, но он продолжал добросовестно зубрить роль Тяпкина-Ляпкина. Степан все-таки ответил ему:

— В Саратовской, бывает, дело говорят.

— Да какое дело! Какое дело,— режиссер все больше и больше гневался.— Ставить «Ревизора» это именно за водой ходить, за духовной пищей для народа, понимаете? Вы понимаете, товарищ Колдунов?

В голосе инспектора звучали дрожащие нотки проповедника, но Степан обнаружил полную к ним нечуткость:

— Что ты мне: духовная пища, духовная пища, как будто я не понимаю. Если твою душу накормить нужно, так это и я могу сделать, а Павел — большевик, у него, может, революция.

Режиссер спросил зло:

— А кто будет играть?

— А кого он играет такого, сказать бы?

— Как кого играет? Слугу играет.

Степан даже губу вытянул, настолько ответ заинтересовал его:

— Слугу? Денщика, что ли?

Все обернулись к Степану со смехом, Таня вскрикнула:

— А и в самом деле!

Инспектор высокомерно отвернулся:

— Да не денщика! Какого денщика! Слугу в гостинице!

— В гостинице? Ах ты, черт! Этих я порядков не знаю. Да постой ты, чудак божий! А откуда тебе Павел знает?

— Что знает?

— Да какие там порядки, в гостинице?

— Да написано ж... Вот в книжке... все написано.

— Стой! Дай я гляну.

Режиссер, снисходительно улыбаясь, протянул ему книгу. Степан ткнул пальцем и полез дальше по строчке:

— Слуга. Это зачем такое?

— Ты дальше. Это обозначено: слуга будет говорить.

— Ага! Обозначено. Ну-ну! Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Правильно. Точь-в-точь, как на самом деле. Хозяин такое может: спросит дескать, что ему угодно. Угодно, это по-старому, что ли? Вежливо. А ну, дай еще! Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Тоже: приказал! Это они мастера!

— Да ты не галди, а становись на место.

— Стал.

Сопровождаемый общим вниманием, Степан был поставлен на соответствующее место, и режиссер сказал ему:

— Теперь спрашивай.

— У него?

— У него.

— А хозяин где?

— Да на что тебе хозяин?

Степан хитро осклабился:

— А как же? Посмотреть интересно.

— Не валяй дурака! — крикнул Алеша.— Играй!

Степан весело осмотрелся, топнул валенком, хлопнул в ладоши:

— Играю. Ну, держись!

Хлестаков рассматривал Степана с высокомерной улыбкой опытного актера.

— Чего смотришь? Хозяин спрашивает, чего тебе нужно.

Эту игру встретили смехом, смеялся и Степан, зачарованный первым своим артистическим шагом.

Режиссер воздел руки:

— Да не так. Ты так, как в книжке: хозяин приказал спросить, что вам угодно!

Степан отмахнулся:

— А тебе хочется обязательно «угодно». Такие слова кончены. «Угодно, угодно!»

— Да ведь пьеса про старое время?

— Ох, ты! И забыл! Про старое! А я... все думаю, по-новому...

Степан добросовестно еще раз прочитал текст, дело у него пошло замечательно, но он никак не мог поверить своему таланту актера и все выражал восторг, приводя режиссера в раздражение. Степаном занялись все, собрались на «сцене», приводили его в деловой порядок.

В дверь класса заглянул Муха. Из-за его плеча смотрел Павел.

Степан закричал:

— Вот он, дезертир! А я тут заместо тебя холуя изображаю!

— Выходит?

— Трудно, понимаешь!

— Алешка, подь-ка на минутку.

Муха был серьезен и одет по-дорожному: теплый пиджак подпоясан ремнем, под рукой сверток.

— Алеша! Срочно выезжаю с ним... с Павлом.

— Куда?

— В губернию. Партийная губернская конференция. Телеграмма пришла.

В дверях стоял Степан и спрашивал:

— Большевики собираются?

— Ты уже здесь. Ну... какое тебе дело?

— До всего у меня дело. Это я холуя только представлять буду, а на самом деле рабочий класс. Если большевики собираются, так и говори.

Муха махнул на него рукой:

— Собираются. Алеша! Твоего батька не нашел, где-то запропастился. Так ты скажи ему: поехал в губернию. Там все узнаю, и все будет ясно. А вы тут с Красной гвардией сильнее...

Степан и совсем вылез в коридор и дверь прикрыл:

— Сильнее, сильнее, а патронов мало. Ты патронов привези.

— Беда мне с этими патронами.

— И пулемет привези!

— Пулемет бы хорошо,— подтвердил Алеша.

— Это посмотрим. На это мало надежды: кто там будет теперь пулеметы раздавать? Тоже эсеры сидят.

— Да гоните вы этих эсеров,— возмутился Степан.— Или играй, или деньги отдай! Честно с ними нужно.

Павел осторожно передвинул Степана на более спокойное место:

— Пулеметов не дадут. Это и говорить нечего. Скажут: сами доставайте. Чего тебе еще привезти, Алеша?

Алеша взял его за локоть, смутился, почему-то потащил в сторону:

— Павлуша! Друг! Найди, привези... портрет Ленина.

20

Репетиция закончилась в десять часов. В темных сенях Таня взяла Алешу под руку. Только на дворе Алеша увидел лукавый блеск ее голубых глаз.

— Алеша, у тебя такой счастливый вид.

— Счастливый? А что ж?

— Она... в нее я тоже влюблена. Она просто прелесть! И у нее хорошая душа. Только знаешь что? Ей нужно помочь. Ты ей помогай. И я помогу.

— А почему?

— А то она не выдержит. Думаешь, ей легко? Она ведь начинает жить... поздно начинает. И все догонять нужно. Вот ты послушай.

Таня приблизилась к его плечу и зашептала, подскакивая на носках:

— Ты послушай. Сегодня утром я пришла к ней. Мы вместе читали эту сцену, где Анна Андреевна и Марья Антоновна. А она стирает. Понимаешь, стирает. Она стирает и смеется. А я вижу, какие у нее руки красные. У нее нежные руки и сразу сделались красные. Ты возьми мои руки. Ты видишь, какие, хоть и немножко, а все-таки шершавые. А у нее какие! Ей больно, она не умеет стирать. Я знаю: ей хочется плакать, а она смеется. Долго ли вот она будет так... смеяться?

Они проходили по двору школы, обходя ее здание. В темноте еле-еле удерживались на двух досках, положенных рядом. Таня цеплялась за его руку, не хотела оступиться в песок. Алеше стало грустно и тяжело, но он не мог еще разобрать, почему. Впереди капитан подчеркнуто галантно вел по доскам Нину, а еще дальше Степан что-то громко объяснял путникам.

Вышли на площадь. От реки приходили влажные волны холода и бежали к мохнатым и тусклым костромским огонькам. Доски кончились, ноги ступили в мягкий холодный песок. Алеша со злобой и страданием посмотрел на Кострому и вспомнил прямые пальцы отца, всегда израненные черной металлической сыпью. Вспомнил руки матери, покрытые сухой, пергаментной, тонкой кожицей. И Танина рука была, действительно, чуть-чуть жестковатой. Он вспомнил нежную руку Нины и вздохнул:

— Как же помочь? — спросил он тихо.

Таня подняла глаза:

— Ничего, ничего, Алеша, она привыкнет. Надо только, чтобы она не мучилась, потому что ей трудно.

— Ах... Так помочь? — Алеша разочарованно замол-

чал. Подумал немного и спросил: — Да... конечно... Так можно помочь. А я подумал про другое. Зло берет, что у тебя такие руки, ты говоришь, шершавые. Наши девушки должны быть красивые, и руки у них должны быть нежные. Ты говоришь, нужно помочь, чтобы она не мучилась. А этого мало. Надо помочь, чтобы они не портили себя, свою красоту.

— Значит, чтобы они не работали? Чтобы, значит, белые были, как принцессы? Только девушки? Да?

Таня спрашивала весело, задорно, очевидно, в этом вопросе для Тани не было никакой трагедии. Она переспросила:

— Только девушки? А матери, а бабушки? У них какие должны быть руки? Ты хочешь, чтобы мы, женщины, не работали? Как это великодушно с твоей стороны, правда?

Алеша смутился и загрустил. Таня прислушалась к его настроению, потом рассмеялась:

— Какой ты еще мальчик. И ничего ты не понимаешь. Разве руки у нас такие от работы? От работы, говори?

— А как же?

— От бедности, дорогой, от бедности... Можно как угодно работать, а если пища хорошая, и отдых, и глицерин всегда под рукой — они будут мягкие. Ты не бойся за нашу красоту. Успокойся, зачем так грустить? Какой ты еще мальчик, ты жизни совсем не знаешь.

Там, где у длинного прозрачного заборчика широкая улица поворачивала в город, Нина и капитан остановились.

Нина сказала:

— Мы идем в город.

— Так поздно в город?

— Мне нужно зайти домой, кое-что взять. Чемоданчик. А завтра будет некогда. Капитан, такой любезный, согласился меня проводить.

— Нина, почему капитан? Почему меня вы отстраняете?

— Не ревнуйте. Капитан меня проводит и поможет мне донести чемодан. А вам трудно, Алеша, так далеко: три версты. И вы не можете нести чемодан, потому что у вас нога... еще бедненькая.

Алеша церемонно поклонился:

— Я не смею нарушать ваш выбор, Нина Петровна. И я никогда не позволю себе стать на дороге товарища. Но я надеюсь, вы не будете в претензии, если я приглашу Таню проделать со мной этот марш в город и обратно.

— Какие вы люди! Только... может быть, Таня, не хочешь? Как жаль... Я могла бы угостить вас чаем, но после вчерашних событий это невозможно.

Таня закричала:

— Пойдем, пойдем! Мы не будем заходить в дом, а только подождем.

Алеша обратился к капитану:

— Михаил Антонович, скажите Степану, пусть дверей не запирает, мы вернемся попозже.

— Идем, идем, Алеша,— Таня ухватила Алешину палку и потащила его вперед.

Нина спросила вдогонку:

— Кто же должен ревновать, он или я?

— Оба! Оба должны! Идем, Алеша, идем!

Алеша забыл о своей ноге и побежал за девушкой.

В конце улицы чернели дебри потемкинского парка. Парк стоял теперь мрачный и молчаливый. Падали последние листья на мягкие шуршащие дорожки. Что-то умирало вокруг и гордо молчало о своей смерти, а люди, как будто уважая это умирание, обходили парк по широкой проезжей дороге. С дороги донеслись скрип колес и будничные голоса людей, которым судьба послала сегодня дорогу. Они шли с Костромы, а может быть, и откуда-нибудь подальше, из города никто не имел нужды тащиться куда-то темной осенней ночью. За парком далеко светились огни города, казалось, будто в городе сейчас весело и нарядно. Кострома отходила назад мокрым и тревожным провалом. И оттого, что они идут навстречу огням, Тане представлялось, что они идут на какой-то праздник.

— Мы не пойдем по дороге. Мы пойдем через парк. Здесь природа.

Наконец, она утомилась, а может быть, и страшно стало среди молчаливых, мрачных стволов, под сеткой оголенных ветвей, над сыростью дорожки. Таня поймала

Алешину руку и пошла рядом с ним, пугливо посматривая в стороны.

— Таня, я все тебя забываю спросить. Уже октябрь. Почему ты не уехала в Петроград?

— Алеша, скажи мне ты: почему? Все откладываю и откладываю. Стыдно сейчас бросать нашу Кострому. Я и сама не знаю, почему стыдно. Учиться хочется, ты себе представить не можешь, как хочется. А уехать не могу. Дома сейчас трудно, да и у вас так же, а жить сейчас до чего интересно! Отец в Красной гвардии, и Коля в Красной гвардии. Клуб у нас, Нина, вчера митинг. Даже на Костроме все сдвинулось с места. Я хожу и смотрю, и все смеюсь. Теперь я стала такая легкомысленная, я такая никогда не была. А уехать не могу.

— Ты перечислила разные прелести, а Павла забыла.

— Нет, Павла нельзя забывать. Скажи, что ты думаешь о Павле?

— Как, что я думаю? Павло — мой старый друг.

— Ну, не надо. Лучше я тебе скажу. У нас с тобой как-то так получается, как будто мы брат и сестра, и, знаешь, такие, любимые, любимые! Я с Николаем так не могу говорить. Вот и про Павла. Алеша, когда-то еще гимназисткой была, я так мечтала о любви. И вовсе я не рисовала себе царевича или какого-нибудь барчука. Я не знала, какой он будет, но я думала, что он будет такой... огненный, такой... воодушевленный! А сейчас я люблю Павла, вот просто влюблена, и так... сильно влюблена... А не нужно, чтобы он был огненный. Он и кричит, и руками размахивает, а на самом деле, он спокойный человек, и мне нравится, что он такой спокойный. Я понимаю это: он может и в бой пойти, и умереть, а все равно он такой и останется спокойный. И у нас с ним любовь, как будто мы давно с ним поженились, а на самом деле, нам и поцеловаться некогда, да я и не люблю этого. Ты сейчас же скажешь, что мы просто рыбы. Правда?

— Я этого никогда не могу сказать. Павлушка — глубина.

— Это правильно: глубина. А у меня нет. Я какая-то такая — обыкновенная. Я и красивая, это я знаю, а все-таки обыкновенная. И до чего это мне нравится, ты себе представить не можешь.

— Что тебе нравится?

— Да вот же это, что я обыкновенная. Я тебе расскажу. Теперь все люди какие-то необыкновенные. Все — умные, все идут вперед. Идет революция, я это хорошо чувствую, вся наша семья там, даже мама, большая революция, таких еще никогда не было, потому что... большевики, понимаешь? А я хожу и радуюсь: это революция для меня. Для таких обыкновенных людей, как я. И мне не стыдно. Просто не стыдно. А потом может быть такой случай: все бегают, и кричат, и волнуются. Чего волнуются? А вот чего: нужен доктор, обыкновенный доктор, который может лечить. А я тут и выйду: пожалуйста, вот, я — обыкновенный доктор. Ты сейчас же скажешь, что это пустяк — обыкновенный доктор, конечно, это пустяк, если один, один доктор. А если много? Много обыкновенных докторов. Ну что ты скажешь, Алеша?

— Я слушаю и поражаюсь, когда ты успела сделаться такой... остроумной?

— Сейчас скажу, когда. Вы все думаете, что я, так себе, курсистка. А я посчитала, сколько у нас на Костроме народу пропало оттого, что не было обыкновенных докторов. В нашей земской больнице есть Остробородько, так он никогда не принимает, а принимает его помощник, он тоже доктор, только он необыкновенный, он дикарь, он просто не может лечить людей. И он неряха, и лентяй, и еще пьяница. Я знаю, сколько у нас на Костроме умерло от туберкулеза, от воспаления легких, от инфлюэнцы, от рака, от болезней печени, от заражения крови, от скарлатины, дифтерита, оспы... А сколько детей? Господи, сколько детей! Скажи, пожалуйста, разве это плохо: обыкновенный доктор?

— Таня, значит... революция — это для тебя, чтобы ты могла лечить людей?

— Нет, не только для этого. Лечить, это само собой. Но я буду читать книги, путешествовать, ходить в театр, покупать сколько угодно глицерина, я буду жить. Мне не стыдно: я хочу почувствовать, как может обыкновенный человек жить с честью. Я хочу это почувствовать на себе. И увидеть, как другие живут. Ты сейчас же скажешь, что я не герой, что я все скучно думаю. Пожалуйста.

— Я так не думаю. Не может же человек ходить и искать: где бы мне проявить свой героизм. А я недавно читал, как работали «обыкновенные врачи» на холере.

— Ладно. Мы с тобой все понимаем. Ты тоже — обыкновенный человек, и за это я тебя люблю, как вот брата. И Павел — обыкновенный, и Муха, и Богатырчук. Только ты не подумай что-нибудь плохое. Обыкновенный, это, знаешь, почему? Потому, что людей миллионы, эти миллионы нужно все-таки уважать, а не думать, что я вот — не такой, я лучше всех. Ой, какую мы с тобой философию развели. Это потому, что я очень обрадовалась, давно так весело не ходили в город. Все по делам, все по делам. Ай, Алеша, посмотри, как назади страшно. И в этом мраке Нина и капитан. Надо им помочь, они же испугаются. А у нас — культура... Смотри.

За последними силуэтами широких стволов деловито горели редкие фонари. Начинался город. Таня посмотрела, посмотрела, прищурилась:

— А все-таки Кострома наша лучше. Кострома както выше. У нас проще: чистенький песок и никаких фасонов. И окошки светятся, правда? А это, смотри, культура! Грязь какая! А фонари освещают.

Поджидая отставших, они остановились в жиденьких воротах парка. Пустынная улица уходила далеко белесым блеском размазанной на булыжнике грязи. У самых домов, в тени, под акациями, стучали по дощатым тротуарам шаги редких прохожих. Представлялось, что там в темноте люди по самый пояс бредут в грязи, а стучат потому, что еще не потеряли надежды выкарабкаться.

Таня подняла к Алеше голубые глаза и сморщила носик. Алеша громко рассмеялся. В глубине парка послышался голос Нины.

— Нет, капитан, умом я сейчас ничего разбирать не буду. У меня ум бабский, что он там разберет?

— Интересно,— сказал Алеша громко.

— Не мешайте, не мешайте,— остановил его капитан,— дело важное.

Таня вскрикнула:

— Нина! Как разговорился капитан!

Капитан взмолился непривычным к мольбе хриплым басом:

— Не мешайте, да не мешайте же! Пусть она скажет. Я знаю эту старую, как бы сказать, отговорку: умом не пойму, а вот чувством.

Нина ответила весело, звонко, властно:

— И не выдумывайте! Никаким там чувством! Я о чувствах тоже знаю. Только я чувству не верю. Чувство,— оно одноглазое! Я больше верю вкусу.

— Как? Как вы сказали? Вкусу?

— Ну, да! Обыкновенному человеческому вкусу.

— Ба! Барышня! Что такое вкус? Эстетика? Эпикурейство?

— Эпикурейство — это гадость! Не смейте так говорить! Алеша, поддержите меня, я не умна спорить!

Опираясь на палку, Алеша стукнул по фуражке, отодвинул ее на затылок, начал пальцами растирать лоб.

— Постойте, Нина. Это что-то такое важное, а только... хвостик есть непонятный.

Нина устало положила руку на его плечо:

— Я все понимаю... а сказать...

Капитан пристал:

— Вы это... сердцем понимаете?

— Нет.

— Умом?

— Нет. И не сердцем, и не умом. А знаете чем?

Капитан повернул к ней лицо, освещенные высоким фонарем, блеснули его маленькие глазки. Нина прошептала:

— Не умею сказать... Не то слово!

Капитан показал на мостовую:

— Перейдите здесь со вкусом. Если у вас есть галоши — пожалуй, перебраться через эту улицу можно и эстетично. А если без галош, вымажетесь. Вот и все.

Нина оттолкнулась от Алеши и с веселой угрозой подошла к капитану:

— Товарищ Бойко!

Он вздрогнул от такого обращения. Никто никогда не называл его товарищем Бойко.

— Товарищ Бойко! Как же вы не понимаете? Никакой нет грязи!

— Фу! Да вот же она перед вами! Смотрите, какая симпатичная!

— Нет, вы знаете, до чего я люблю, если сапоги вымазаны до самых колен. До самых этих... ушек. Это у мужчины.

— В грязь?

— Какая же это грязь? Грязь, если клопы, потом... другое. Если неряшливость... вообще нравственный беспорядок. Понимаете?

Капитан улыбнулся, махнул рукой, двинулся через улицу.

Таня крикнула на всю улицу:

— Сапоги у вас нечищеные, это действительно грязь. Денщика нет, правда?

Капитан не оглянулся. Нина подняла юбку, игриво попробовала красивой, маленькой ножкой первый булыжник, засмеялась счастливо.

— Вот смотрите, перейду и не замажусь.

Алеша смотрел очарованный. Каждое движение этой девушки было движением точным, ловким и красивым. Даже юбку она держала в двух руках так, что она не могла образовать ни одной безобразной складки. Она переступала с булыжника на булыжник и иногда смеялась. Ее ножки умно и зорко выбирали лучшие места и становились на них с хитрым выражением. Она перешла через улицу, обернулась назад:

— Видите?

Алеша не мог вместить в себе восхищения и не мог его выразить ни в какой форме. Но ему стало свободно и радостно жить на земле. Обеими руками он так же ловко и изящно, отставив пальчики, подобрал полы шинели, осторожно попробовал носком сапога первый булыжник и с размахом зашагал через улицу, нарочно попадая в самые гиблые места и разбрызгивая грязь во все стороны. Девушки смеялись на другом берегу, и Нина встретила его словами:

— С наибольшим вкусом все-таки перешел улицу Алеша!

21

У калитки Остробородько сидели довольно долго. Капитан помалкивал, курил и рассматривал землю. Алеша сидел на скамье, вытянув ноги на палке, и мечтал о прошлом. Он любил иногда пошалить с воображением и

подразнить память. Сейчас, вспомнив Фауста, он задал себе вопрос: какое из мгновений его прошлого хорошо было бы повторить? Какое из них было лучше сегодняшнего дня? И он улыбался совершенно несомненному ответу: никакое! В своем прошлом он не находил образцов для подражания. Он выпрямился и удивленно посмотрел на капитана. Сказал вслух:

— Черт! Не может быть!

Капитан ничего не сказал. Алеша снова все пересмотрел и проверил. Сомнений быть не могло. Всякое там счастливое, сопливое детство, конечно, побоку? Военное училище? Фасон, глупость и фанфаронство. Фронт, патриотизм? Но за патриотизмом сейчас же начинали вырисовываться морды Николая Второго, дивизионного командира, водянистого и ленивого «нестуляки», и как итог — страшная гибель его полка. Атаки? Задор, страх, напряжение и большой человеческий гонор? Алеша прислушался к себе. Где-то от этого гонора оставались корни, и Алеша их уважал, но теперь все это представлялось трудной гимнастикой, без смысла и без счастья.

А сегодняшний поцелуй? Это была очень нежная и такая безгрешная ласка. Нужно до боли любить эту замечательную девушку, такую сильную и красивую и такую... одинокую. Алеша оглянулся на калитку с тревогой. Там, за калиткой, представился ему тихий, потонувший в покое уют, богатое семейное гнездо. Какую нужно иметь силу, чтобы так весело и так одиноко уйти из него в мрачные провалы Костромы. Стирать, красные руки!

Хотелось, чтобы у него расширилась грудь и поместилось в ней, наконец, невмещающееся чувство. Пусть будет чувство. А счастья не нужно. Просто не нужно. К черту!

— Капитан! Слушайте, капитан!

Капитан сказал, глядя в землю, но сказал настойчиво:

— Алексей Семенович! Я не мешал вам думать, не мешайте и мне.

— Слу... Позвольте... Простите, пожалуйста. Я хотел задать вам только один важный вопрос. Один вопрос.

— Хорошо. Только один.

— Вот спасибо. Скажите, в вашей жизни был хоть один такой счастливый момент, хотя бы один, чтобы вы желали его повторить?

Не оборачивая к нему лица, капитан ответил, не раздумывая:

— Был. Один момент был... то есть, я полагал, оказалось — чепуха!

— Да не может быть! Расскажите, капитан.

— Условие было: один вопрос! И почему «не может быть»? И не мешайте. Я хочу подумать.

— Извините. Думайте.

Какой там у него момент? Поцеловала какая-нибудь полковая красавица. А в будущем это невозможно. Вот и весь момент. Но как странно. Неужели прошла его молодость и нечего вспомнить? Цена человека? Достоинство?

В доме за калиткой стукнула дверь, послышались голоса, скупые, беглые, как будто чужие, хотя Алеша различил и глубокий шепот Нины, и невыразительный, с гнусавым потрескиванием тенорок Петра Павловича. Голоса были сбиты грохотом щеколды у калитки. Неся перед собой широкую коробку, Таня перепрыгнула через порог. Наклонилась к Алеше с шепотом:

— Сюда идет! Говорит: я ему скажу.

Опершись на палку, Алеша поднялся со скамьи. Калитка оглушительно хлопнула, но сейчас же открылась, и нога в широкой штанине переступила на улицу. Алеша вдруг вспомнил другую ногу, такую же широкую и такую же страшную: ногу немецкого солдата, перешагнувшего в темноте через невысокий окопчик. Тогда это была контратака прусского полка. И сейчас, как тогда, рука Алеши дернулась к поясу. Но тогда широкая тяжелая нога пронеслась мимо него и исчезла в ночи, а он сам забыл о ней через тысячную долю секунды в горячке возникшей штыковой схватки. А теперь он растерянно опустил руку по шву галифе и смотрел, как на легком ветру шевелились неясной мазней волосы на голове Остробородько.

— Ничего, Нина, ничего. Я только ему два слова скажу.

Переступив через порог, он странно зашатался и вообще имел вид встрепанный и невменяемый. Эта встрепанность еще больше испугала Алешу: он привык видеть Петра Павловича упорядоченным и приглаженным. Петр

Павлович, шатаясь, замаячил перед Алешей, поднял кулак, что-то в нем было от человека выпившего.

— Молодой человек,— начал он громко и хрипло.— Молодой человек, не думайте, что перед вами несчастный отец и несчастный гражданин. Не подумайте и не воображайте, что я вышел жаловаться. Она — моя дочь, и я ее понимаю. Она не хочет сидеть в моем доме, потому что ей нравится революция. Пусть! Мне тоже нравится. Это не ваше дело! Может быть, мне нравится, что вы меня арестовали. Это тоже не ваше дело. Я только хочу у вас спросить, а вы мне отвечайте сознательно, без малодушия. Вы принимаете на себя ответственность? Принимаете полную ответственность?

Петр Павлович произнес все это с физическим усилием, вытягивая шею и вращая встрепанной головой, как будто он проглатывал трудный и насильственный кусок. Он замолчал, еще раз поднял кулак и прицепился к Алешиному лицу таким же шатающимся и острым взглядом. Потом завизжал истошно, на всю улицу:

— Вы принимаете на себя ответственность за меня, за мою дочь, за Россию?

Алеша стоял перед ним вытянувшись и смотрел прямо в глаза. Нина прижалась к рамке калитки и растворилась в тишине вечера. Таня, полуспрятавшись за Алешей, опустила глаза. Один капитан сидел по-прежнему, склонившись к земле, и думал, вероятно, о прежнем, о своем,— может быть, о самом счастливом моменте своей жизни.

Алеша весь отдался странному сложному чувству, похожему на сон. И неудержимый, необъяснимый гнев, который поднялся в нем, тоже был похож на ярость во сне, когда человек странно колеблется между негодующим, страстным действием и настойчивым желанием понять свой гнев и остановить его. Петр Павлович, такой знакомый и обыкновенный, казался ему теперь отвратительным зверьком. Он может просто укусить, опасность не так велика, но прикосновение зверька невыносимо. Он смотрел на Алешу, смешно задравши голову, по-прежнему пошатываясь, и все вздымал свой слабый, интеллигентский кулачок. Голова Алеши вдруг начала мелко и быстро дрожать, губы страдальчески и нетерпеливо надавили одна на другую. Он сказал тихо:

— Послушайтете...

И остановился. Большими глазами с трудом посмотрел на Нину, улыбнулся:

— Нинана!

— Калека! — закричал вдруг Петр Павлович.— Калека и психически больной! Нина! Он болен. Они там все сумасшедшие. Один от фронта, другие от темноты и слабосилия ума!

Он все это прогремел патетически, с жестами, рванулся к калитке, распахнув пиджак, еще выше крикнул:

— Можете! Можете! Я вас лечить не намерен.

Расставив руки, он направился к калитке, но Алеша перехватил его рукой через грудь, а другой рукой за плечо повернул к себе. Петр Павлович открыл рот, его лицо было перед глазами Алеши на самой близкой дистанции. Алеша улыбнулся, не весело, не просто, а с уверенной силой мужской уничтожающей гримасы. Он даже чуть-чуть поклонился в сторону Нины:

— Нинана, пожалуйста, простите. Я в вашем присутствии два словава этомуму старичку. Я отвечаю за Россию и за Нинуну. Мою Нину. Слышите? А за вас я снимаю с себя ответственность, потому что вы сами за себя не отвечаете. Идитете!

Он выпустил Петра Павловича, и тот, не оглядываясь, полетел домой. Он не заметил, как его дочь тяжело, вместе с калиткой, откатилась в сторону, давая ему дорогу. Слышно было, как он прошуршал по двору, как хлопнул дверью, и дверь за ним ударила раз и еще раз и под конец слабо звякнула какой-то металлической частью. Вытягивая голову, Таня смотрела вслед ему, а потом бросила коробку на скамью и подбежала к Нине. Нина так и стояла, вытянув руку к щеколде, и не видно было в темноте, о чем думает ее лицо.

— Нинана... вы простите.

Нина аккуратно, не спеша, оглядываясь, переступила через порог, так же аккуратно закрыла калитку. В другой руке у нее оказался небольшой саквояж. Она поставила его на коробку и положила руку на Алешину грудь:

— Алешенька! Приведите вашу голову в порядок! Так, умница, родной мой! Теперь скажите «Нина». Не «Нинана», а просто «Нина». Говорите.

— Ни... на!

— Какая вы прелесть! Разговор у калитки доктора — это не такое большое событие.

Капитан поднялся со скамьи и оказался непомерно высоким. Повернувшись к спутникам, ни на кого не глядя, он наглухо застегнул шинель, сделал шаг вперед, поклонился Нине:

— Нина Петровна! Можно отправляться в обратный путь?

22

До самой вокзальной улицы шли молча. Капитан честно исполнял свои обязанности, поставил коробку на плечо, в коробке что-то постукивало ритмично, и так же мерно ходили вправо и влево полы его шинели. Капитан с места взял несколько широкий шаг, за ним и все пошли быстро, но никто не запротестовал, а потом этот быстрый ход по кирпичам, вымытым осенью, даже понравился. Было занятно находить впереди выступающий удобный кирпич, моментально заметить рядом другой для соседа и вслед за этим всем вместе шагнуть. Марш получался все же неровный, шаткий, этому очень способствовала неправильная нога Алеши.

За капитаном шли втроем, взявшись под руки. Сначала все думали о том, что в жизни слишком много горестей, что их нужно терпеливо переживать. Но на улицах было непривычно пустынно, мирно покоились отражения фонарей в лужах, ежились у ворот отсыревшие ночные сторожа. Сейчас улица жила своей собственной интимной жизнью, на ней было что рассматривать. И больше всего развлекали вот это дружное прыганье с кирпича на кирпич и невольный бег за капитанской коробкой. После одного из прыжков Таня вскрикнула весело, и сразу обнаружилось, что ничего особенного не случилось, что жизнь не так плоха, а у них еще много богатых человеческих дней. А потом впереди духовой оркестр заиграл «Варшавянку»,— событие из тех, в которых быстро и не разберешься, откуда в самом деле в городе духовой оркестр?

Капитан снял коробку с плеча и обернулся к спутникам:

— Алексей Семенович, смотрите, вроде пехоты.

Конечно, это была пехота. Играл оркестр очень маленький, вероятно, выделенный из настоящего. Солдаты проходили по четыре в ряд, но шли в полном беспорядке, вразвалку, не держали ноги, шинели кое у кого расстегнуты, у других подпоясаны ремнями. Винтовки болтаются в самых живописных положениях. Кое-где солдаты идут просто кучкой и разговаривают вполголоса. Так было в голове колонны, а к хвосту колонна и вовсе растаяла, солдаты шли по тротуарам, наполнив улицу беспорядочным шершавым шумом и толкотней. По тротуару же мимо Алеши, задумавшись, прошел пожилой офицер, а за ним еще один, молодой, в новенькой шинели и в новых погонах. Алеша удивленно посмотрел на капитана, Таня крикнула ему в ухо:

— Смотрите, смотрите, товарищи!

Посмотрели и увидели известный всему городу автомобиль и в нем самого Богомола. А рядом с ним полковник Троицкий. Нина сказала с удивленным полустоном, полусмехом:

— Господи! Мой попович! А он чего здесь?

Капитан, очевидно, забыл о своих вечерних думах и воспоминаниях. Он вытянул вперед голову и даже рот открыл, оживился необычно, зубы у него блеснули.

— Войско! Алексей Семенович! Войско!

Нельзя было разобрать, пришел ли он в восторг при виде войска или его слова выражают насмешку.

— Войско. А вот и войсковое хозяйство.

Медленно, погромыхивая по мостовой, тянулся обоз: кухни, сложный обиходный набор и патронные двуколки.

От всего этого на Алешу пахнуло полузабытой тревогой военного движения, но было очень неприятно, что в движении нет никакого военного порядка и четкого напряжения.

— Плохое войско, капитан! Интересно, для чего оно нужно Богомолу?

— Это солдаты Троицкого? — тихо спросила Нина, провожая отчужденным холодным взглядом проходящих мимо солдат, бородатых, измятых, в бестолковых смушковых шапках, на которых изредка увядали красные банты. От солдат исходил сильный острый дух: запах вагона, грязи, портянок.

Под домами гуськом, уступая дорогу солдатам, стали продвигаться дальше к вокзалу. Капитан снова поднял коробку на плечи и сказал как будто про себя:

— Две роты.

— Эй, земляк! Демобилизовался? — крикнул, оборачиваясь на ходу, молодой, остроносый унтер.— Домой подался?

Капитан не успел ответить, оглянулся, но другой, широкоплечий, с большими усами засмеялся ему в лицо:

— У него демобилизация с бабами! Веселое дело!

Несколько человек вспыхнули смехом и внимательно присмотрелись к Нине, идущей за капитаном. Пожилой бородач в распахнутой шинели крикнул задорно:

— Держись, молодайка, расцалую нечаянно!

Другой такой же бородач добродушно отозвался:

— Брось ты, не пугай народ!

— Да я только расцалую! А? Товарищ, ты не обижайся, я в шутку. Тебе все останется. Хоть ты и хромой, а свое получишь!

Алеша ответил в тон:

— Доберись до своей и целуй, сколько хочешь!

— Доберусь! Эх-ма! Голубчики мои, не по дороге этот город, да к моей милой не по направлению!

Последние слова он произнес жалобно-дурашливо. Ему неожиданно ответил размашистый знакомый голос:

— Три года ждала, одного дня не дождалася, плакала, рыдала, с другим целовалася!

— Степан! Ты чего здесь?

— О! Да это ж родные мои!

Степан из потока прибился к деревянным воротам, потащил Алешу в сторону:

— Так и знал, что вас увижу. Я прослышал — войско идет,— да и на вокзал. И старик же сказал: посмотри, какая армия и по какому делу! Встретил, как же, дорогие друзья приехали: вояки не вояки,— пехотники, до казенного хлеба охотники!

— Прощай, земляк, заходи! — кто-то хлопнул Степана по плечу.

— А как же!

Мимо проходили отставшие, заполняя улицу грохотом тяжелых сапог. Степан проводил их взглядом:

— Армия! Запасного батальона первая рота. Из губернии.

— Одна рота? Что ты!

— Одна. Теперь у них роты большие. На фронт не посылают. Богомол призвал.

— Их?

— Да их же.

— Для чего?

— На свою погибель. Выпросил. Народ свой, деревенский, трудящий народ! А мы плакали: оружия нет! Вот тебе, сколько хочешь оружия.

23

Семен Максимович нашел Алешу на свободной части заводского двора уже под вечер. Здесь были сложены бревна и обрезки досок. Сегодня красногвардейцы должны были сдавать Алеше винтовку. В течение нескольких дней они занимались в школе «по теории», а сегодня первое отделение решило воспользоваться теплым солнечным днем и устроить занятия во дворе.

Старый Котляров на отдельном бревне расположил части винтовки и, держа в руках отнятый ствол, задумался над ним. Увидев Семена Максимовича, тяжело поднялся и пошел навстречу.

— Вот, Семен Максимович, укротил бы ты своего сына, честное слово! Сдавай ему винтовку! Я ему вчера и говорю: а если не сдам, что ты мне сделаешь? Допустим. Что ж ты меня из Красной гвардии выставишь? А он, знаешь, что отвечает? Не сдашь, говорит, винтовку, отцу пожалуюсь. Это тебе, значит. Ну, что ты скажешь? Приходится сдавать. Выходит так, как будто я тебя испужался. Скажи, пожалуйста, почему это такое? Времена такие или еще какая причина?

Семен Максимович был выше Котлярова и прямее его. Легкая его борода гуляла под ветром.

— Мне уже кое-кто говорил: зачем сдавать? А только ему виднее, — он человек военный. А я тоже порядок люблю. Если у тебя в руках инструмент, ты должен понимать, какая часть к чему.

Алеша стоял в сторонке, вытянувшись, как на смотру. Котляров взмахнул дулом, засмеялся:

— Да это я понимаю. Я и должен знать, и знаю. А только зачем сдавать? А если нужно, пускай спрашивает. На пятерку, меньше не отвечу. А только, пожалуйста, пускай в одиночку спрашивает, чтобы Колька не знал, если спутаюсь. А он все норовит при всех. Колька Таньке расскажет, а Таньке только дай! К чему, скажи ты мне, стариков паскудить?

Алеша шагнул вперед, отвечал Котлярову, но посматривал на отца: одобрит или не одобрит?

— Если я тебя в одиночку спрошу, другие скажут: потрафил старому Котлярову. Никто и не поверит, что ты винтовку сдал.

Широкий, тяжелый Котляров поворачивал дуло в руках, посматривал на небо:

— Беда какая! Скажут! Могут сказать, потрафил, знают, что у нас с тобою отношения. Вот, Семен Максимович, как оно все цепляется. Пошел в Красную гвардию революцию оборонять, а тут выходит экзамен, да еще гляди, чтобы кому что не показалось. А надо. Верно, что надо. Тогда я еще помудрую, посижу. Степана позову, пускай он проверку сделает.

Он побрел к своему бревну. У других бревен тоже занимались красногвардейцы — по одному, по двое, по трое.

— Слушай, Алеша, я вижу, тебе одному трудно.

— Степан помогает. Колька Котляров знает винтовку, а по части построения и команды — слаб.

— Так... А капитан ни разу не был?

— Нет.

— Не хочет?

— Он — артиллерист.

— Артиллерист! Что же, он винтовки не знает?

Алеша промолчал.

— Завтра Муха приезжает. Важное что-нибудь привезет. А вот этот вопрос мне не нравится. Карабакчевские ходят?

— Двенадцать человек.

— Мало. Кто у них старший?

— Асейкин.

— Конторщик?

— Да.

— А шпалопропиточные?

— Один записался у меня,— Груздев. Но... винтовки для него нет.

— Винтовки будут, надо полагать. А почему один? Там двести человек работает? Почему один?

— Отец... как же я... Я не знаю.

Семен Максимович мотнул бородой, жестко посмотрел на Алешу. По привычке Алеша сдвинул каблуки и убрал живот.

— Не знаю! Что это за разговор! Имей в виду, Алексей, я тебя учить не буду. Ты учился довольно.

Молчание.

— В реальном учился. В военном учился. На фронте. Жизнь тоже...

— Но, отец... здесь же не реальное, и не военное, и не фронт.

— Я тебя спрашиваю? Ты мне будешь рассказывать, где реальное, а где завод? Ты почему до сих пор не вошел в партию?

Семен Максимович повернулся к Алеше, руки заложил за спину, наклонил голову. Видно было, что он этой позы не оставит, пока не получит ответа. Алеша смотрел на переносье отца, чувствовал, что смотрит глупыми глазами, был рад, что отец этих глупых глаз не видит.

— Отец!

Семен Максимович его перебил:

— Дома тебе некогда сказать, и народ кругом. Ты — человек умный, ученый, и я — не дурак. Был ты больной, другое дело. Теперь ты здоров. Я тебе ни о чем напоминать не буду. Понял?

— Понял, отец.

— Почему Варавва в партии, а ты нет?

Семен Максимович так и не глянул на Алешу, повернулся к нему боком, и Алеша увидел, как на спине сложенные руки шевелят длинными темными пальцами. Алеше вдруг до слез стало жаль отца и захотелось поцеловать эти пальцы. Алеша понял, чего отец от него требует. Он быстро шагнул в сторону, вытянулся перед лицом Семена Максимовича, сказал громко, прямо, открыто:

— Слушай, отец...

Семен Максимович медленно поднял лицо. Его светло-голубые холодные глаза с покойным вниманием, не

спеша нашли Алешины взволнованные зрачки, прямой уверенной наводкой остановились на них, с терпеливой, стариковской силой ожидали.

— Отец! Я, понимаешь, заленился: душой заленился. И... задумался все... лишнее... Я тебе страшно благодарен, что ты мне сказал.

Семен Максимович кивнул головой, снова повернулся боком, произнес сухо:

— Хорошо. Иди по своим делам.

Алеша не смел ослушаться. Его рука хотела вздернуться к козырьку фуражки, он остановил ее на полдороге, быстро повернулся и направился к группам красногвардейцев. По дороге его подмывало оглянуться на отца, но он удержался. А когда подсел к группе Николая Котлярова и посмотрел на то место, где оставил Семена Максимовича, там уже никого не было.

24

За ужином Семен Максимович сказал:

— Вот что, мать. Я не мешался в твои дела, а теперь ты мне скажи, откуда... ты это сало взяла?

Василиса Петровна строго поджала губы, быстро глянула на Алешу, сложила руки на коленях, ответила серьезно:

— Там, где и все люди берут: на базаре.

— Своих кабанов у нас не было, это верно. А только это сало — для рабочего человека — дорогой продукт. За какие деньги ты его купила?

— Это Михаил Антонович ходил в город, принес сало,— полфунта.

Капитан не поднял глаз от тарелки, чувствовал, видно, что разговор заведен не для благодарности. Глаза Степана быстро пробежали по лицам, тоже глянули на Алешу.

— Наши заработки теперь... никакие заработки. Не только на сало, а и на хлеб не должно хватать. Это мои... а эти красногвардейцы еще меньше получают. Дело ясное,— жить мы должны бедно.

Капитанов нос покраснел и опустился еще ниже. Семен Максимович в упор смотрел на капитана:

— Сколько у вас денег еще осталось, Михаил Антонович?

Семен Максимович вдруг улыбнулся. Но капитана не обрадовала эта улыбка. Он вскочил со стула, одернул гимнастерку, снова сел, захрипел:

— Семен Максимович! Не все на деньги, знаете, меряется. Разве можно ваше отношение оценить деньгами?

Семен Максимович взмахнул вилкой:

— Бросьте. Получается так: наши отношения, ваши деньги. Так?

Капитан вскочил:

— Василиса Петровна! Будьте защитницей! Какие же мои деньги? Я сколько раз хотел, понимаете, все равно, строгий учет, раскладка точная, ни копейки моей лишней не приняли. Ну... сегодня я действительно кусочек сала встретил... купил, так знаете, для десерта. Для десерта исключительно, Семен Максимович.

— Скажите, сколько у вас денег?

— Деньги? Да это глупые деньги. Когда выписался еще, набралось... капитанское жалованье, за ранение, отпуск, подъемные, то, другое, а теперь осталось немножко... ну... несколько сот рублей.

Капитан замер в ожидании какого угодно приговора над этой суммой.

Семен Максимович осторожно положил вилку на стол, посмотрел на нее и коротким движением руки отодвинул ее дальше.

— Михаил Антонович, ничего не поделаешь, у нас теперь будет плохо. Пища будет совсем... бедная. А у вас деньги, вы можете лучше кормиться. Где-нибудь найдете, вот Степан Иванович вам поможет.

Капитан затих на своем месте, забыв о еде, забыв даже о том, что на него смотрят. Он сидел вполуоборот на стуле, смотрел вбок, в одну точку. Потом осторожно, неслышно отодвинул стул, поклонился, как всегда, Василисе Петровне и на носках ушел в чистую комнату. Степан округлил глаза и сказал Семену Максимовичу:

— Отец родной, за что же ты его обидел?

Алеша проделал несколько движений в мускулах лица, грустно прищурился. Семен Максимович посмотрел на Алешу, на Степана, на Василису Петровну, опустившую глаза:

— Не нужно ему у нас приучаться. Все равно не по дороге. А чем я его обидел? С деньгами он найдет себе ласку.

Степан ответил уверенно:

— Не найдет. Ты, Семен Максимович, думаешь, он — офицер, что ли? Вот, ей-ей, тебе говорю: он — как дите, куда он там пойдет? Плакать здесь будет, а не пойдет. Человек жизни никогда не видел, а теперь его приучили...

— К чему?

— Да к жизни ж...

— Нам, Степан Иванович, некогда такими детьми заниматься. А потом и ты скажешь: я — не Степан Колдунов, а ребенок.

Но в этот момент открылась дверь из чистой комнаты и появился капитан. Он молча выложил на стол завернутый в газету пакет. Посмотрел на всех, посмотрел даже на стул, но не сел.

— Семен Максимович, я понимаю. Люди вы не такие, как я, у вас все прямо и честно. Работаете, живете. А я человек брошенный. Мысли всякие, думаю, думаю, поверьте мне, голова от мыслей болит. К Василисе Петровне привык, а других... боюсь, Семен Максимович, боюсь, а может быть, стесняюсь. Вот это плохо, а не деньги. Деньги же... куда-нибудь можно... куда-нибудь деть...

Он замолчал. Семен Максимович сидел, отвернувшись, свесив, по своему обыкновению, пальцы. Степан быстро глянул на него и принял на себя роль председателя:

— Ты говори толком, капитан, какая твоя резолюция! А то — деньги, деньги, ничего и не разберешь. Тебе деньги мешают, что ли? Ты их мне подари.

— Возьми!

— Да и возьму,— начал было Степан, но где-то под столом Алеша что-то с ним проделал, потому что Степан даже подскочил немного и снова овладел добродетельной председательской миной:

— Ты лучше скажи, как ты будешь дальше?

— Я хотел бы работать. Хотя... нравственное право я имею и на отдых — годичный отпуск. Только нельзя: вы работаете, а я тут отдыхающий. Работу я найду, мне уже и обещали, Семен Максимович.

Василиса Петровна до сих пор сидела тихо, сложив руки на коленях, опустив глаза, только слабые движения сомкнутых губ выдавали одобрение или осуждение, которое она чувствовала по отношению к тому или другому оратору. Но сейчас она подняла глаза на мужа и заговорила негромко, медленно, чуть-чуть наклоняясь вперед в такт своим словам:

— Нет, Семен Максимович, нельзя так делать, нехорошо. Человек он одинокий, трудолюбивый, аккуратный. Он целый день работает. Я только и отдыхать стала, когда он пришел к нам. Он меня отдыхать укладывает после обеда. А когда я после обеда отдыхала? Он хороший человек и не жадный. А что у него деньги, так чем же он виноват? Он будет есть то, что и мы едим. Сала, конечно, не нужно покупать, зачем покупать сало?

Василиса Петровна замолчала, задумалась над своей речью и все продолжала покачиваться в такт своим мыслям. Алеша решительно поднялся, взял со стола пачку денег:

— Идем сюда, капитан! Степан, пожалуйте!

С холодной, хотя и иронической вежливостью он пропустил мимо себя измятого событиями, торопливого капитана и расплывшуюся в улыбке фигуру Степана. Вошел за ними в чистую комнату и плотно прикрыл дверь. Семен Максимович проводил их искрящимся взглядом и кивнул вдогонку:

— Опекуны! Опекуны-то!

Василиса Петровна бросила на мужа быстрый благодарный взгляд и начала убирать со стола.

25

Маруся вошла в кухню, улыбнулась, шепнула подруге:

— Закрывай дверь-то, Варюша, не выстуживай хату.

Потом обратилась к Василисе Петровне, кивнула головой, аккуратно повязанной светло-коричневым платком:

— Здравствуйте, тетенька!

Василиса Петровна поклонилась им:

— Здравствуйте. Варюша одна, а другую как звать?

Черные глаза стрельнули на капитана, месившего тесто на столе:

— Сейчас же насмехаться будут. А сами хлеб месют, как будто женщина. Марусей меня звать.

Капитан повернул к ней голову:

— Ничего нет смешного. Маруся — хорошее имя.

Капитан бросил тесто, расставил руки, измазанные мукой; Маруся поспешила сама рассказать:

— Ваш сынок Алеша говорит: по глазам видно, что Маруся. Разве видно, тетенька?

— Верно. Посмотрите, Василиса Петровна, правда же видно по глазам.

Василиса Петровна улыбнулась, прямые ее бровки сдвинулись играючи:

— Дай-ка гляну.

Она внимательно рассмотрела черные брови и лукавую пропасть черных зрачков:

— Красивые у тебя глаза, и видно: Маруся!

Варюша широко открыла рот, засмеялась громко. Маруся склонила вбок голову перед Василисой Петровной:

— Ой, и они за ними! Веселые все какие здесь живут... люди! А где Алеша?

Из чистой комнаты выглянул раньше Степан, поднял брови к самым волосам и губы сложил в трубочку, будто свистеть собрался, пропел удивленно:

— Алеша, погляди, какие к нам девчата красивые пришли?

— Сам ты какой красивый: рыжая борода, и чегойто тебе ее повыщипали.

— Да я ее сейчас срежу, милые девушки! Еще чего не нравится, могу тоже срезать, ухо, например!

Но девушки увидели Алешу, бросили Степана. Маруся заговорила громко:

— Товарищ Теплов, к тебе пришли, принимай в Красную гвардию.

Степан шлепнулся на табуретку и открыл рот, у Василисы Петровны даже глаз зачесался; капитан, как погрузил руки в тесто, так и остался. Девушки заметили общее удивление, Маруся что-то хотела сказать, но не успела: крик поднялся в хате. Степан вскочил с табуретки и закричал громче всех, и капитан что-то прохрипел протестующее, и Василиса Петровна произнесла какието слова. Только крик Степана оказался сверху:

— Ха! В Красную гвардию! Да что вы, девчата, белены объелись?

Алеша вытащил из кармана наган:

— Держи, Маруся, револьвер!

Глаза Маруси вспыхнули пожаром. Она жадной рукой ухватила рукоятку револьвера, дуло его само направилось в Степана. Степан вдруг сделался деловым, метнулся даже в сторону:

— Да что ты делаешь, Алексей! Да разве можно бабе...

Капитан тоже:

— Алексей Семенович, какие шутки с оружием!

Одна Василиса Петровна смотрела на всю эту историю с интересом, смеялась открыто и молодо:

— Молодцы, девчата! Поступайте в Красную гвардию!

Алеша обнял мать за плечи:

— Вот, кто понимает дело,— это мама! У девушек душа горячая, рабочая, а винтовка и у них стрелять будет.

Степан вытаращил глаза:

— Да отними ты у нее наган, Алексей! Смотри, она в мамашу направила!

Маруся ответила звонким, как будто даже новым голосом, в котором уже не было ни девичьего смущения, ни девичьей легкой шутки:

— Ты, солдат, не егози тама, в кого стрелять нужно! Чегой-то думаешь, ты один тут все понимаешь. Скажи, какой ты такой, военный. Я и без тебя знаю, в кого стрелять. Привыкли на бабу с крыши смотреть, эксплоататоры!

Степан смущенно затоптался перед Марусей:

— Девушка милая, я с тобой кругом в согласии. Отдай только наган, честью тебя прошу.

— Отдать, что ли, ему?

— Так,— сказал Алеша.— Ты хорошо говоришь, Маруся, дело говоришь. А только револьвер не заряжен.

Варя снова захохотала громко. Маруся прищурилась на Степана:

— А еще военный! Испужался, как малый ребенок.

Алеша взял из рук Маруси револьвер, обернулся к Степану:

— Товарищ Колдунов!

— Слушаю, товарищ начальник.

Маруся снова по-девичьи пискнула:

— Вот, тетенька, как с ними разговаривать нужно. Тогда он сразу смирный!

— Сроку три дня. Маруся и...

— Варя.

— И Варя... рабочие на заводе Карабакчи. Рабочие, понимаешь?

Степан серьезно мотнул головой.

— Даю тебе три дня. Самые главные приемы с винтовкой, стрельба. Патрона по три выпустишь...

— Товарищ Теплов, разрешите доложить. Винтовок нет, а если шесть патронов, тоже достать нужно.

— Достанешь. Понимаешь?

— Так точно, понимаю.

— Покажи, главное, насчет строя, перебежки, сторожевого охранения. Три дня. Ты отвечаешь.

— Слушаю, товарищ Теплов!

— Вот, товарищи, ваш учитель. Полная дисциплина должна быть.

Варя спросила недоверчиво:

— Это... слушаться его, что ли?

— Его слушаться.

— Да он какой, смотри: против женщины идет.

— Никуда он не идет. Помиритесь. Да шапки нужно достать, платки не годятся.

Василиса Петровна молча, внимательно наблюдала эту церемонию, а когда она закончилась, приняла с другой табуретки кастрюлю и пригласила:

— Садитесь, товарищи, садитесь, девушки милые. Не только им, мужчинам, выходит, с оружием ходить... Молодые вы мои, хорошие. А по-старому жить — все равно лучше смерть.

Маруся слушала внимательно, разумно, потом сказала:

— Мы эту жизнь тоже попробовали. Вы не думайте, что мы такие молодые. Я с семи годков и чужие беды, и свои — все на одних плечах носила. А товарищ Колдунов думает: только он знает.

Товарищ Колдунов виновато завертел башкой:

— Я это... понимаете... не поспеешь за всем.

Прямо с поезда Муха и Павел пришли к Семену Максимовичу. Был уже вечер. Василиса Петровна одна сидела за столом и у самой лампы дрожащей иголкой старалась вытащить занозу из пальца. Семен Максимович за печкой копошился у кровати, в чистой комнате гудели голоса. Отворилась дверь из сеней, Муха заглянул:

— Добрый вечер. Спит Семен?

Семен Максимович ответил:

— А? Вернулись? Заходи, заходи.

— Здравствуй, мамаша! Ай-ай-ай! Что ты там достаешь?

— Занозила вот.

— Ах ты, беда! А вытащить некому?

Василиса Петровна улыбнулась:

— Некому. И у меня глаза старые, и у старика. Я вот тыкала, тыкала, весь палец исколола, а не вытащила.

— Ах ты, беда какая!

Муха швырнул фуражку на гвоздь.

— Давай-ка твой инструмент!

Василиса Петровна послушно протянула Мухе иголку. Из сеней вошел Павел, Семен Максимович взял его за локоть:

— К Алексею зайдешь? Они еще не спят, все спорят.

Павел направился к дверям. Держа в одной руке больной палец Василисы Петровны, другой рукой с иголкой Муха остановил Павла:

— Стой, Павел. Ты там не очень болтай при этом... при офицере, капитан он, что ли? И для чего ты с ним возишься, Семен Максимович, вот теперь и поговорить нельзя. Подожди, вот мамаше операцию сделаю, я тебе все растолкую по порядку.

Павел Варавва ничего не ответил, прошел в комнату.

Семен Максимович придвинул к столу табуретку, пальцами потер висок.

— Капитан этот — не плохой человек, только чудак. В Красную гвардию хочет, только... давай ему пушку. В пехоту, говорит, ни за что.

Вытянув губы, наострив глаза, Муха возился с занозой:

— Пушку ему? Я и сам не прочь бы, да пушек и в губернии нету. Там здорово прикрутили нашего брата. Прямо во все глаза смотрят.

— Что там еще в губернии?

— Да у нас... так... ничего. Дела!

— Хорошие дела?

— Одним словом, прямо говорить — берем власть!

— Ой! — вскрикнула Василиса Петровна.

— Прости, мамаша, это я, понимаешь, забыл про твой палец, думал — штыком действую. Семен Максимович, великие дела наступают: смотри на Петроград и будь готов. А то, может, и Москва начнет. Как удобнее. Ох, и палку ты загнала, Василиса Петровна, стой, стой, держись! На! С этим делом мы победоносно кончили.

— Спасибо.

Усаживаясь на табуретке, Муха толкнул локтем Семена Максимовича:

— Так как, Семен, думаешь?

— Рассказывай, рассказывай, чего ты зубоскалишь, как будто мой Алеша или этот самый Колдунов?

— Ну, добре, расскажу. А чаю дашь?

— Дай ему, мать, горячего, а то он с дороги.

— Да я борщ поставлю.

— Тащи, Василиса Петровна! Тащи борщ. С говядиной, что ли?

Василиса Петровна подняла руку к щеке, улыбнулась виновато:

— Не знали, что приедете, без говядины борщ.

Муха смеялся беззвучно, только звук «х» выходил у него длинный и веселый.

— Не ждали гостей? Ну, я и без говядины на этот раз.

— Да довольно вам, развели тут со своим борщом! Рассказывай, чего болтаешь!

Семен Максимович прикрикнул на Муху строго, Муха послушно привел себя в порядок, придвинулся к столу.

— Одним словом, Семен, последние дни идут. Но я за нас не боюсь. У нас, понимаешь, голыми руками возьмем.

— Какой ты, Муха, егозливый человек! У нас! Что у нас, я и без тебя знаю. Там что, в губернии?

— Ты знаешь без меня, как у нас, а солдат прислали. Прибыли солдаты?

— Про солдат тебе мой Колдунов расскажет.

— Ох, и молодец ты, Семен! У тебя прямо штаб: и командующий, и разведка, и артиллерия, только пушек, у бедного, нету. Давай Колдунова сюда!

— Говори, что́ в губернии.

— В губернии ничего. Обо всем побалакали. Все ясно. Ничего темного нет. В резолюции так и сказано: обращает внимание на остроту и серьезность переживаемого момента. И еще одно важное дело. Да я тебе лучше прочитаю.

Муха из внутреннего кармана достал целую кучу бумажек, послюнявил пальцы, начал перелистывать. Из облезшего футляра вытащил очки и сделался похожим на сельского писаря.

— Есть. Слушай: «Сдерживая массы от преждевременных и изолированных выступлений, мы должны теперь же готовиться к тому, чтобы дать решительный отпор нападающей контрреволюции».

— Стой, стой! Прочитай-ка еще раз.

Муха прочитал еще раз и глянул на Семена Максимовича поверх очков. Семен Максимович оглянулся на дверь в чистую комнату:

— Чудное что-то: дать решительный отпор. Выходит, в случае чего дать отпор. А если не будет случая?

Муха приступил к сложному делу запрятывания своих бумажек, очков, футляра.

— Это так пишется, понимаешь. Там, в губернии, тоже положение на иголках. Написать прямо нельзя, все равно узнают как-нибудь, вот и пишется: «отпор контрреволюции», а каждый должен понимать: не жди, пока тебя совсем за глотку схватят. Все едино, они налазят и довольно нахально. И дело понятное, какой отпор: взять да и... коленкой, это и будет самый лучший отпор. А насчет преждевременных выступлений — это для таких, как твой разведчик, Колдунов этот самый. Да давай же его сюда!

Василиса Петровна поставила на стол тарелку борща и черный хлеб.

— Вот спасибо, хозяюшка, а то домой далеко еще брести, да и борщ у нас не такой. Говорят, никто на Костроме такого борща не варит, как ты.

— Спасибо на добром слове, только это не я варила, а Михаил Антонович.

— Михаил Антонович? Это... капитан самый? Что за капитан такой? Да ведь ты научила его?

— Научила.

— Выходит — подмастерье твой. Здравствуйте, товарищи. А мне борща дали, видите?

Капитан озабоченно глянул на Павла, потом на хозяйку. Хозяйка важно кивнула головой на печь, и капитан немедленно загремел заслонкой. Муха задержал кусок хлеба перед усами и засмеялся:

— Ну, и коммуна у тебя, Семен Максимович! Настоящая коммуна!

Павел покраснел, схватил капитана за локоть.

— Честное слово! Честное слово, зачем же! Моя ведь хата рядом. Да что это вы, Василиса Петровна!

От большого черного горшка, который он держал на тряпке обеими руками, капитан оглянулся на Павла.

— Не будешь есть? Вот этого борща не будешь есть? А ты хоть раз в жизни ел такой борщ?

Павел перепуганно блеснул глазами, что-то прошептал застенчиво и с размаху под тяжелой рукой Степана уселся на стул. Семен Максимович потянул бороду книзу и с деловым видом поднялся. У шкафика с закрашенными стеклами он посмотрел на свет две рюмки и поставил их на стол, молча протянул Алексею графин с желтоватой жидкостью.

— Семен, по какому случаю такой пир?

— А вот по случаю твоих новостей. Выпейте, случай подходящий. Ничего, ничего, Павел, выпей, потом будешь вспоминать.

Муха с удивленным видом засмотрелся на борщ.

— Да с чем вы его варите, Василиса Петровна? Какой тут секрет?

Василиса Петровна по-домашнему улыбнулась капитану. Капитан серьезно, вежливо наклонился к Мухе и внимательно посмотрел на поверхность борща в его тарелке:

— Дорогой товарищ! Этот борщ я изучил здесь... в этом доме, и когда изучил, тогда понял, что такое жизнь. Я это говорю серьезно.

Семен Максимович медленно обратил лицо к капитану, все остальные притихли: никто не ожидал от капитана таких прочувствованных слов, хотя они и были сказаны очень тихо и, пожалуй, даже без всякой экспрессии.

Капитан не изменил позы. Он по-прежнему смотрел на тарелку борща, как будто читал на ней:

— В этом борще, собственно говоря, ничего нет, ну, капуста, то, се, собственно говоря, это обыкновенный постный борщ.

— Как сегодня пятница, постный день,— Степан внушительно смотрел на Муху.

— Да,— продолжал капитан,— тут дело не в пятнице. Но этот борщ во всех отношениях постный. Я знаю, как он делается. Он делается очень талантливо, замечательно талантливо. В нем мудрости много, души, заботы, а материалу в нем очень мало. Впрочем, вы все равно ничего не поймете. А я понимаю. Я долго жил там, где никто не думает о борще, потому что и другой пищи много. А так смотрели: живут там какие-то люди, рабочие люди, они чем-нибудь кормятся, потому что не умирают, ну, и пускай живут. А я этот борщ сам раз... десять сварил, и теперь я знаю... вот, как люди живут.

Не меняя своего наклона, оставаясь таким же вежливо-хмурым человеком, капитан чуть-чуть повернулся к Василисе Петровне.

— Я пользуюсь случаем, когда гости, поблагодарить... Василису Петровну, в ее лице всю семью, всех... горячее спасибо! Я здесь приемный человек, проходящий. И можно на меня смотреть: ну, что там, капитан какой-то, приблудный... Не так. Далеко не так. Я... вот... ученик у вас.

Он вдруг улыбнулся ясной, дружеской, человеческой улыбкой:

— Сварить борщ из ничего, и чтобы был вкусный... в этом, понимаете, больше достоинства и, как бы это сказать... чести, чем... вы же понимаете. Только... я вас отвлек. Пожалуйста, кушайте. Я вот тоже научился: как это приятно, когда люди едят. Ты его варил, думал, переживал, а люди кушают.

Капитан поклонился, отступил к стене, замер в обыкновенном своем хмуром молчании. Со стороны на него странно было смотреть: человек сказал такую речь и стоит, как ни в чем не бывало, глядит куда-то мимо и как будто даже ни о чем не думает. Степан начал было:

— Ох, ты, история...

Но глянул на Семена Максимовича и прикусил язык. Семен Максимович, расправившись со Степаном, медленно поставил руку ребром на стол:

— Это вы хорошо сказали, Михаил Антонович. И разобрали все до точки. Только и вы не приблудный человек, а что ученик, это не плохо. И я запрещаю и тебе, Алексей, и тебе, Степан Иванович,— старик пальцем показал на того и на другого,— запрещаю называть его капитаном. Не капитан, а Михаил Антонович. Поняли?

Алеша улыбнулся отцу, больше любуясь им, чем капитаном. Степан все-таки прогалдел громко:

— Если у тебя чего не поймешь, Семен Максимович, то, пожалуй, и по загривку получишь. Я все понял.

Муха протянул тарелку:

— А я человек простой, говорить не умею. Михаил Антонович, если там остался этот... постный борщ, плесни, голубчик.

Всем стало весело, а капитан пошел к печке колдовать над своим борщом. Муха проводил его взглядом и кивнул на него хозяину с таким выражением: смотри, дескать, тоже человек! Потом почесал за ухом, обратился к Степану:

— Расскажи, браток, как там солдаты эти?

— Солдаты? А ничего. Солдаты, как солдаты. Мужички.

— Так... мужички...

— Мужички обыкновенные.

— Так... А говорят, их к нам... усмирять прислали.

— Видишь, товарищ Муха: думала попадья: «Сначала поп, а потом я», а оказалось навыворот: сначала в зад, а потом за шиворот.

— А-а! — протянул Муха и захохотал, перекидываясь на табуретке, чтобы посмотреть на хозяина.— А попадья, значит, думала, почет ей будет? А мужички не согласны!

— Народ больше интересуется насчет земли, а насчет усмирения мало интересуется. А также и революция для этого народа нужнее выходит, чем полковники разные да господа. И вообще, как обыкновенно, солдаты. Про учредительное собрание соображают.

— А-а?

— И меня спрашивали. А я в этом деле... туда, сюда, ни угу, ни мугу, ни в оглобли, ни в дугу. Для чего это... и польза какая будет, еще не разобрал.

— Про это и на конференции спорили. Но самый народ разумный который и большевики природные, те прямо говорят: вся власть Советам!

Семен Максимович крякнул, посмотрел на Муху, потом на других, сказал сурово:

— Поумнел народ! Здорово поумнел!

27

Первая рота запасного батальона разместилась в казармах Прянского полка на краю города.

Степан и Павел Варавва вошли в широкие ворота. Дневальный проводил их скучающим взглядом, а потом вдогонку спросил:

— Эй, земляки, кого ищете?

Степан оглянулся на ходу:

— Ничего не потеряли, ничего и не ищем.

Дневальный ухмыльнулся в поднятый воротник и обратился снова к улице. Двор был квадратный, далекий, безлюдный. Только от кухонных дверей отходили одинокие смятые фигуры и особой побежкой направлялись к другим дверям, неся на отлете манерки с кашей.

— Во! — сказал Степан.— По казармам кашу таскают. Что значит, свобода пошла! Идем и мы туда. Раз кашу понесли — значит, там и люди есть.

По истоптанной, мокрой и темной лестнице поднялись они на второй этаж. Входные двери в казарму беспрестанно хлопали. В шинелях, накинутых на плечи, и без шинелей, заросшие бородами и просто небритые люди входили и выходили. Движение было большое, но какое-то скучное и бесцельное. Глаза у людей никуда не устремлялись, люди спускались по лестнице молчаливые и задумчивые и такие же возвращались, хлопали

дверью, чтобы раствориться в полутемной казарме. Задевая ноги, свисающие с нар, обходя случайные группы, Степан и Павел пробирались по узкому проходу между стеной и нарами.

— Где тут второй взвод?

— Второй и есть,— ответил веселый глазастый унтер с усиками тонкими, как у валета, но с глазами быстрыми, черными, склонными к насмешке.— А теперь спроси, где младший унтер-офицер семьдесят четвертого, господа нашего Иисуса Христа, запасного батальона первой роты Акимов. А я тебе скажу: честь имею явиться!

Степан уже пожимал руку веселого унтера. Тот сидел в боковом проходе у окна на широкой деревянной лавке, покрытой серым одеялом, и пил чай из синей эмалированной кружки.

— А это кто с тобой?

— А это наш заводской, товарищ Павел Варавва,— Степан оглянулся,— большевик.

Акимов громко рассмеялся:

— Да чего ты оглядываешься? Большевикам к нам не опасно заходить, слава богу.

Степан ответил:

— А кто вас разберет, вы люди приезжие.

— Усмирять вас приехали! — Акимов крикнул это на всю казарму и залился смехом.

Степан уселся на краю нижнего помоста нар, сказал кому-то наверху, свесившему босые ноги:

— Дорогой товарищ, убери ноги, а то откушу!

Сверху свесилась голова, худая, облезлая, тонкая, внимательно посмотрела на Степана. Ноги исчезли, но голова осталась на весу и задала скучный, хоть и привязчивый, вопрос:

— А чего это? Кто такой пришел, который ноги откусывает?

Ему никто не ответил, но с другой стороны нар тоже показалась голова, зашевелились и на нижнем этаже. Высокая полная фигура установила свежий, ладно уложенный по умеренному животу ремень на уровне глаз Павла Вараввы, а сверху на него смотрели с особенным злобным любопытством красивые глаза, под пушистыми усами шевелились полные и тоже красивые губы:

— Речи пришли говорить? Из совета?

— Эй, кто там из совета? — крикнул издали кто-то невидимый, потом гулко стукнули босыми ногами об пол, и из-за красавца вытянулось корявое, курносое, красное лицо, развело рот куда-то вкось, но ничего не сказало, а так и осталось с выражением активного воинственного внимания. Акимов добродушно протянул:

— Да это большевики!

Дородный красавец важно хэкнул, все у него вдруг перестало быть злым, а осталось только энергичным. Он тяжело надавил на плечо Павла Вараввы и опустился рядом с ним на лавку. Курносый вдруг появился на переднем плане, оказалось, что измятая бязевая нижняя рубаха у него болтается до самых колен.

Красавец произнес с аппетитной медлительностью:

— Большевики, если нужно что сказать, тоже могут. Ну, говори, ты вроде арапа, смотри какой!

Варавва блеснул белками, осмотрел казарму:

— Пришли не с речами, а познакомиться.

Тогда человек в нижней рубашке привел свой рот в деловое движение:

— Ты лучше скажи, какой закон написали там,— он кивнул головой в угол казармы,— господа написали?

— Какой закон?

— Да закон же написали, говорят, полный закон. Про землю. Землю, говорят, народ пускай у помещиков покупает. Если кому нужна земля, пускай себе покупает у помещиков. А? Написали такой закон? Говори, что ж ты молчишь! Коли ты есть большевик, так почему молчишь? Почему такой закон: покупай себе землю сколько хочешь? Народу земля в полную власть, только денежки заплати!

Младший унтер-офицер Акимов смущенно-негодующе рассматривал распущенную рубашку оратора:

— Ты, Еремеев, не галди, чего ты к человеку пристал? Он, что ли, написал?

Павел не мог оторваться от лица Еремеева,— столько в нем было давно организованного подозрения, раздражительности, злопыхательства. Еремеев смотрел на Павла, и его глаза уверенно, насмешливо разбирали всю его, Павла Вараввы, сущность и не находили в ней ничего, заслуживающего одобрения. Павел нахмурил бро-

ви и ответил Еремееву таким же серьезным и напряженным взглядом:

— Нет такого закона!

— Спрятали, значит,— воинственно подхватил Еремеев,— спрятали, потихоньку действуют. А такой закон есть!

— Ты что, земляк, землицы прикупить хочешь? — Степан спросил с таким внимательным оживлением, словно он сам немедленно намеревался предложить участок.

Еремеев метнулся было к нему, но не способен оказался оторваться от Вараввы:

— Так, говоришь, нету такого закона?

— Нету.

— Защищаешь, значит? Этих... этих...

— Нету, тебе говорю, а скоро будет.

— Покупать у помещиков?

— Да. Тебе землю дадут, а потом помещику платить будешь.

— Я буду платить? — Еремеев вдруг повеселел, вывернул из-под рубашки пустых два кармана, развел их в стороны. Переступая босыми ногами, перевернулся раза два. Степан и Акимов смеялись громко, красавец улыбался, с верхнего этажа смотрели молча. Тот самый, у которого Степан чуть не откусил ноги, заметил деловито:

— Смотри, у него сдачи еще не найдется, у помещика!

Еремеев довернулся до конца, убрал свои карманы, снова поднял на Павла сердитое лицо:

— Получит у меня помещик. Получит полную цену! Дай вот домой приеду, так и расплачусь.

Невидимый голос сказал сверху:

— Я тоже слышал, что закон такой есть. Будто землю по выкупу забирать будут.

— У кого забирать?

— Да у помещика.

— А она у него?

— А у кого же?

— Наши еще летом у него забрали. И без всякого выкупа. Он, может, и взял бы выкуп, да некогда было, пятки смазывал салом в это самое время.

Сказано было с хорошим юмором, победоносный хохот пронесся по казарме, кто-то покатился на нарах, затрещал досками. Только красавец отзывался на все разговоры беззвучно-добродушно, все обнимал и похлопывал Павла Варавву. И Еремеев развеселился и уже совсем мирно обратился к Павлу:

— А все-таки скажи, человек хороший, кто это такие законы делает?

Павел надул полные смуглые щеки, приблизил к Еремееву глаза:

— А ты в учредительное собрание за кого голосовать собрался? За эсеров?

— А как же! За эсеров. Они ж, понимаешь...

— Вот они и закон такой приготовили.

Белокурый красавец крепче прижал горячую руку к талии Павла и засмеялся погромче, подтвердил:

— Они!

Еремеев вытаращил глаза удивленно до крайности:

— Ну? Насада, и ты так говоришь?

— Да это же всем известно! И вчера кто-то рассказывал: ихний проект!

Степан считал вопрос исчерпанным. Он крякнул солидно и самым доброжелательным голосом сказал Еремееву:

— Пиши письмо, голубок. Пиши скорей письмо: так и так, спасибо вам, дорогие отцы и благодетели...

Насада отвалился к стене:

— Да чего там писать? Чего писать? Себе самому скажи, дураку, спасибо. А их тут много, вот таких умных: «Наша партия, крестьянская!»

Еремеев следил за лицом Насады по-детски внимательно, строго, прищуренным и немного завистливым взглядом. На нарах притихли. Рассмотрев выражение Насады, как следует, Еремеев с тем же прищуренным лицом обратился к нарам:

— Агитация! Это они — агитацию! Думают: непонимающий народ, что ни дай, слопают!

— Большевики! — неопределенно подтвердили сверху.

— Большевики,— совершенно определенно подтвердил Еремеев.— Насада, ему что? Ему на крестьянство наплевать. Ему чуть что — «Поеду на Каспийское море,

буду рыбку ловить». А про нас думает: этому сиволапому что ни дай...

В лице Еремеева все больше и больше прибавлялось ехидности и хитрого-прехитрого понимания. Насада продолжал улыбаться, откинувшись к стене, но Павел отнесся к речи Еремеева сердито. Он вскочил с лавки, сверкнул глазами, крикнул обиженным голосом:

— Да ты и сейчас чепуху говоришь! Чепуху!

— Ох! Ох! Чепуху? А вот и не чепуху! Вы-то... посмеяться над мужиком, ох, как вам легче становится!

— И посмеюсь!

— Они посмеются! Разумный народ, городской! — раздавался все тот же таинственный голос в темноте казармы.

— Да кто ж, по-твоему, такие законы делает?

— По-моему? Не по-моему, а вообще. А кого мы выберем, те еще где? Кого я выберу, те еще, может, чай дома пьют.

Павел презрительно отвернулся:

— Он может спокойно чай пить, потому: обманул тебя.

— А ты не обманул, не успел?

Таинственный голос снова загудел в неопределенной вышине:

— Вы все говорите: вот голосуй за меня, а я тебе — землю. А все вы одинаковые: дадите земли три аршина, да и то подороже!

— Тебе большевики говорят: за советы иди! За советы трудящихся!

— Ох, за советы! А что мы, не знаем! Сюда нас чего привезли? Усмирять, ха! А кто позвал? Председатель совета!

— Эсер! — сказал Степан.

— Чего? — Еремеев даже обернулся.

— Эсер, говорю, который чай пьет! Тот самый. У нас выступал на митинге, как это хохлы говорят: у Серка глаз позычил. Прямо тебе в лицо: не сложим, говорит, оружия, облитого народной кровью.

Тот же таинственный голос под потолком разлил безобразно-оглушительную очередь сочного, дурманящего мата. Все оглянулись, но в той стороне было уже

тихо. Губы Еремеева сделались вялыми, а глаза присматривались к Степану недоверчиво. Степан не смутился:

— Ты чего на меня, как барыня на гвоздь? Скажешь, выдумываю? Агитирую? Мы его арестовали тогда, сам его под конвоем водил.

Акимов даже подпрыгнул на лавке:

— Да что ты говоришь? Арестовали?

— А как же!

— «Арестовали». Да ведь он нас на вокзале встречал.

Степан полез за махоркой:

— Выпустили!

— А! а! — заегозил Еремеев.— Выпустили! Герои тоже, выпустили! Большевики!

— Да как же не выпустить, когда у него дело кругом? Надо же ему закон писать, землю тебе продавать. Не выпустить — так ты еще обижаться будешь, скажешь, зачем мою крестьянскую партию... Да ты не горюй. Может, здесь кого усмиришь, так тебе и даром дадут... землю. Скажут: вот хороший человек Еремеев, тоже... наш... эсер.

Еремеев подскочил к Степану, даже кулаком замахнулся:

— Ты на меня не моргай! Чего ты, хвастаться пришел сюда? Думаешь, ты человек, а мы... вот... усмирители? Тебе есть дело, как Россия пойдет, а мне нету дела? Я тебе всю землю отдам, с потрохами, а своего брата, если трудящийся который... усмирять... У меня, думаешь, чести нет?

— Во! Голубок! — Степан встал, протянул руки.— Прости, дорогой, видишь, и у меня характер... ну его... горячий...

С высоты сказали:

— Нами еще эсеры не командуют.

Насада подтвердил самым искренним тоном:

— У нас офицеры — слава тебе господи.

И как будто в подтверждение этих слов из-за спин стоящих раздался голос, такой красивый, чистый и властный, что с самого первого его звука стало ясно: говорит офицер:

— Что здесь у вас происходит, митинг, что ли?

Все обернулись, раздвинулись. Насада и Акимов медленно поднялись. В конце образовавшегося человече-

ского коридора слабо блеснули в темноте погоны. Офицер сделал еще шаг вперед. Степан узнал Троицкого и просиял.

— Это что же? Гости, что ли? — Троицкий заложил палец за пуговицу шинели.— Большевики?

Он оглянулся на Акимова. Акимов ответил по-старому:

— Так точно, большевики, господин полковник.

— Что это ты, товарищ, все посмеиваешься?

Степан подскочил, вытянулся, руки направил по швам, сказал с тем самым деревянным напряжением, которое требовалось по уставу:

— Так точно, посмеиваюсь, господин полковник.

Кажется, один Насада почувствовал в словах Степана настоящую правду. Он шевельнул усами, опустил глаза, с интересом стал ожидать, что будет дальше. Остальные — даже и Павел — растерянно глядели на оторопелую фигуру Степана. Троицкий, чуть-чуть изогнувшись в талии, присмотрелся к Степану. Степан глядел на него с завидной каменной почтительностью, и как раз ничего в этот момент у Степана не посмеивалось. Троицкий все-таки спросил:

— Посмеиваешься? Солдат, что ли?

— Так точно, господин полковник.

— Ага! Так вот... может быть, скажешь, отчего тебе так весело? Может быть, оттого, что удачно дезертировал с фронта?

— Никак нет, господин полковник, по другому обстоятельству.

— Это по какому же такому другому?

— Вас хорошо знаю, господин полковник, обрадовался очень!

Троицкий скосил на Степана серьезные глаза:

— Ты что-то ошибаешься, дружище. Я с тобой в одной части не был.

— Так точно, господин полковник! А только, как вы здешнего попа-батюшки сынок и у Корнилова воевали генерала, а потом сюда приехали,— хорошо вас знаю.

Несмотря на то, что Степан все это произнес тем же бессмысленным солдатским криком, в казарме произошло мгновенное движение: задние надвинулись на передних, на нарах загремели коленями, сверху свесилось не-

сколько новых лиц. Степан еще больше вытянулся и задрал голову. Троицкий закричал, словно его ножом пырнули в самое болезненное место:

— Ты лжешь, мерзавец! Акимов! Взять под стражу!

Он было размахнулся властным командирским пальцем, чтобы ткнуть Степана, но что-то странное произошло в казарме, он попал не на Степана, а на Павла. Павел показал ему свои ослепительные негритянские зубы, крикнул весело:

— Да никто не врет! Это весь город знает!

И вслед за этим тот же высотный таинственный голос произнес, как будто играючи:

— Корниловец? Хватай его, шкуру!

Еремеев подпрыгнул, перекосил рот:

— Товарищи!

Рука Акимова занеслась сбоку. Троицкий инстинктивно отшатнулся от нее и сразу завертелся в водовороте человеческих тел, сгрудившихся в узком проходе. Короткие, тесные движения людей перемешались с поднявшимся криком и шумом борьбы. Чей-то кулак взметнулся над толпой и неудобно опустился на светло-коричневую фуражку полковника. Удар получился слабый, однако фуражка обмякла и бесформенным колпаком насела на глаза Троицкого. Локти заходили в сумраке, но неожиданным сильным движением Троицкий вырвался в продольный проход и закричал:

— Назад, подлецы!

Крик его только на один миг ошеломил толпу, в следующий момент он выхватил из кармана браунинг и дрожащей рукой направил на людей. Передние отшатнулись. Троицкий бросился к дверям. С верхнего этажа нар ему наперерез слетел солдат, но поскользнулся на влажном полу и упал под ноги толпы. Троицкий хлопнул тяжелой дверью и выскочил на лестницу. Маленький и юркий Акимов—словно через головы всех перепрыгнул к дверям. Двери открылись и снова хлопнули, а потом уже разверзлись настежь и, вздрагивая и визжа, начали выпускать напряженный внутренним давлением клубок людей. С лестницы послышались два коротких сухих выстрела. Еремеев закричал в дверях:

— Стой, ребята! Сукин сын, снизу палит! Бери винтовки!

По казарме загремели сапогами. В сумерках заметались тени. Павел, наконец, выбрался на лестницу, там было темно, сыро и бестолково. Внизу у открытых широко дверей стоял в толпе Степан и говорил кому-то:

— Выпустили гада! Эх вы, эсеры!

28

Степан и Алеша вместе подали заявление о приеме их в партию большевиков. Муха обрадовался им, улыбался, довольный, хлопал по плечам, говорил:

— Собирается народ, собирается.

Было такое впечатление и у Алеши, что народ собирается, что он, Алеша, идет по большому полю в самой гуще народа, и со всех сторон, со всех краев России идут новые силы. Алеше все больше хотелось и хотелось думать об этом и находить новые подробности в событиях и в человеческих глазах. Дни проходили невероятно горячие, переполненные содержанием до краев, звучные и изобретательные дни, с утра захватывающие душу. Алеша не находил времени задуматься, а может быть, задумывался каждую минуту, даже в этом разобраться было трудно. Иногда он надеялся: вот он будет идти из дому на завод и обязательно о чем-то важном подумает и решит. Потом оказывалось, что по дороге на завод пришлось думать о чем-либо другом, специально подоспевшем на сегодня. Надежды переносились на вечер, на совершенное уединение души в постели, под одеялом. Но приходил вечер, приходила ночь, и вместе с ними приходили целые толпы свежих дневных впечатлений, событий, споров, решений, неясностей. Укладываясь спать в чистой комнате, разговаривали и спорили до тех пор, пока Семен Максимович не стучал в стену. После этого сигнала спорили шепотом — Алеша на диване, капитан на своей кровати, Степан на полу. Засыпали незаметно и неожиданно, прекращая спор на полуслове, оставляя без возражений самые неправильные мысли противника.

Спор обыкновенно начинал Степан,— высказывал какую-либо основательную сентенцию. Алеша встречал ее сомнением или насмешкой. Степан приходил в раж и предпринимал глубочайшие философские раскопки, такие значительные, что и капитан не выдерживал и встав-

лял свое слово, имевшее обыкновенно задушевно-хмурый характер. После этого у Степана начинала развиваться энергия педагогического типа, ибо он не мог обойтись без того, чтобы не направить капитана на более правильный путь.

Алеша и удивлялся Степановой силе, и беспокоился о ней. Степан пер вперед в восхитительном русском стиле,— это Алеша признавал. На его глазах Степан вырос из скромного балагура-денщика в настоящую политическую фигуру, но Алеша сомневался: не слишком ли много у Степана стихийности, вот той самой пугачевской страсти, которая способна перевернуть мир, а потом «заориться» и махнуть на все рукой? В чем здесь дело? Может быть, в нервах, а может, вот в той самой чести, к которой Степан относится, собственно говоря, индифферентно. Для таких, как Степан, необходима победа, только победа может двинуть его дальше. Богатырчук прав, когда «тайну жизни» видит именно в победе.

В представлении Алеши и победа крепко связывалась с вопросом о цене человека. В этом вопросе Алешу уже не интересовали никакие особенные тонкости. Человек должен быть здоровым во всех отношениях, в том числе и в нравственном, в том числе и в своем достоинстве,— вот и все.

Это достоинство Алеша уже давно научился видеть у таких людей, как отец, Муха, Котляров, Богатырчук. Достоинство это не является ли результатом культуры? В самом деле? Деревенских людей издавна прославили: вот у них настоящее, замечательное здоровье, настоящие нервы. Им противополагали нервы культурного человека, которые будто бы настолько истрепаны, что могут держаться только в оранжерейной обстановке. Когда-то и Алеше часто казалось, что нервная устойчивость деревенского человека очень велика и завидна. На фронте картина была сложная.

Алеша часто вспоминал день одной атаки. Если атака объявлена заранее и даже назначен час выступления, нервная тревога у офицеров доходила до чертиков. Так было и под Корытницей. Алеша в течение целого дня переходил с места на место, и его душа никак не могла оторваться от атаки, назначенной на два часа ночи. На

этом участке фронта попытки упорного прорыва предпринимались уже не первый раз и всегда заканчивались гибелью целых батальонов. И сегодняшняя операция казалась такой же обреченной и страшной. Она стояла впереди, через несколько часов, как совершенно неотвратимая казнь, и каждый человек, встречающийся с ним в окопе или в блиндаже, поражал Алешу нелогичной, напрасной игрой жизни, движением мускулов, лживым блеском в глазах. Все эти люди были уже мертвы, и то, что казалось у них проявлением жизни, было, собственно говоря, только агонией перед холодным, безобразным концом. Конец наступит молниеносно быстро, как только промелькнет этот жалкий остаток дня. Алеша почти физически ощущал себя порцией пушечного мяса, с такой безразличной холодностью заказанной простым приказом по дивизии: подать в два часа ночи. Бродя между людьми, сталкиваясь с ними и не замечая их, он повторял все одну и ту же фразу:

— Что я могу сделать? Что я могу поделать?

Эту тоску и отупение духа он видел и у других офицеров. Когда до сигнала к атаке осталось два часа, это смертное томление стало уже невыносимым, и тогда кто-то предложил в блиндаже, предложил побледневший, холодный и чужой:

— Господа, а не сыграть ли нам в преферанс?

Многие даже головы не повернули к инициатору, но четверка согласилась, и на шатком, из шершавых досок примостке,— кажется, впервые за всю кампанию изменив обычной на фронте азартной игре,— занялись преферансом. Играли сурово, спокойно, с расчетом, говорили после сочного раздумья:

— Я воздержусь.

— Рискну на одну взятку.

— Пас.

И Алеша играл и удивлялся только одному: как технически совершенно устроен человек. В душе у него невыносимо судорожной изжогой стояла тоска, а какая-то часть его личности по очень тонкой линии раздела все-таки отделилась и играла в преферанс, рассматривала в руках десять карт, соображала, что под играющего нужно ходить с маленькой, что ход с бубен может отыграть у противника короля. Со стороны могло показаться, что

преферанс — это почти героизм, великое усилие души, а на самом деле это был распад личности, предсмертное тихое ее гниение. Прибежал перепуганный и фактически умирающий вестовой и прохрипел:

— Ваше сокродие, сигнал!.. Через пять минут...

Штабс-капитан не спеша смешал карты и взял огрызок карандаша:

— Кончить не успеем. Разделим пульку... Сколько у вас на меня, прапорщик? Сто двадцать четыре? Так... Значит, с вами у меня плюс восемьдесят.

И другие просчитали свои висты, быстрыми прыжками карандаша поставили цифры, взяли их в кружочки. Потом лихорадочными движениями достали кошельки и бросили на стол мелочь. Засовывая кошельки в карманы, побежали к выходу,— умирать. Перемахнули через три ступеньки входа, словно они и в самом деле еще жили, словно они еще о чем-нибудь думали и что-то ощущали.

Так умирали эти высокоорганизованные культурой и книгой человеческие существа, и с такой же заячьей, жалкой спазмой ходил умирать и Алеша. А Степаны Колдуновы, мужики в погонах, «михрюты», как называли их армейские пошляки, умирали иначе. Алеша помнит. Когда он выбежал из блиндажа, только что уплатив свой проигрыш — два рубля семнадцать копеек,— его полурота сидела, прижавшись к стенке окопа, и... ужинала. Люди скучно, но сильно жевали ржаной хлеб, держали в одной руке бесформенный его кусок, а в другой винтовку,— все знали, что первый световой сигнал уже дан. Алеша был так поражен этим зрелищем, что на секунду даже забыл о своей предсмертной тоске.

— Черт! Сейчас атака, а вы жрете!

Кто-то ему ответил не спеша, с трудом поворачивая язык:

— А чего хлебу-то пропадать даром?

Потом он вспомнил эту сцену и думал о непобедимых и неуязвимых мужицких нервах, о стойкости духа, о спасительном народном здоровье. Думал до тех пор, пока не возмужал в боях и не увидел другую сторону явления: вот те самые крепкие мужицкие нервы, воспитанные землей и природой,— они тоже иногда сдавали.

И Степан Колдунов тоже не раз, вероятно, удирал с поля, позабыв о том, что у него есть какое-то там достоинство.

А может быть, достоинство и должно заключаться в том, чтобы искать для себя достойное поле сражения? Не смешно ли было ему, Алеше, сочинять для себя достоинство, смысл которого был так наивен: защищать бесцельность и пустоту своего героизма?

О чем там распелся Степан, лежа на полу?

— У господ душа завсегда жидкая. Он тебе задается, задается, а на самом деле у него ничего такого нет. Он гоноритcя, пока поел хорошо да выпил, да закурил, да с бабой побаловался. А дай ты ему, скажем, батрацкую долю, так он тебе через три дня либо плакать будет, либо с ума свернет,— ни за что не выдержит. У нас в Саратовской был такой панок, такой себе был мордатый, занозистый и ходил это все с прискоком, фасон держал. А как промотал там тятькино да мамкино, такой щененок из него образовался, паскудный такой, слюнявый, и ладу себе так и не дал. Плакал, плакал, холуйничал, как последняя тварь, лизал там разные места, а потом взял да и повесился в нужнике. И места себе, понимаешь, лучшего не нашел. Повесился и в записке написал: «Жизнь мне была, как мачеха». Видишь? Ему жизнь мамашей должна быть. И такие они все, господа. Пока есть кого сосать, он и сосет, а как некого, он тебе и скапустился. А в середке в нем ничего такого, крепости никакой.

Капитан отозвался с своей кровати:

— И у них, у господ, разные бывают. Бывают и крепкие.

— Мало. Оно, конечно, на кого нападешь. Бывают и злые. И сердце разное, как у нас говорят: у старухи сердце и у девки сердце, у старухи со слезой, а у девки с перцем.

Алеша пристал к разговору:

— Мало чего объяснил: с перцем, с перцем!

— А как же? Вот, к примеру, Пономарев. Без перца, пустой человек. Ты смотри, на митинге: мя-мя-мя! Какой это человек! Если ты буржуй, так уж ты будь, собака, буржуем. А не хочешь, иди к народу полностью. Вот этот... полковник ихний Троицкий,— вот это да! Аж гла-

за у него горят на нашего брата, чуть что — за револьвер. Убежал, смотри, искали-искали,— как сквозь землю провалился. А потом и вылезет где-нибудь, где не ожидаешь.

— Этот, по-твоему, с перцем?

— Этот, конечно, этот такой.

— А говорил: у господ душа жидкая.

— Так я это вообще говорил жидкая. А только не у всех. А с перцем которые — у господ мало. А то больше, сволочи, из-за угла: там купил, там надул, там схитрил, там, понимаешь, высидел, в другом месте водочки выпили, сговорились. Сволочной народ, бесчестный, потому все и заграбастали. А если бы все такие были, как Троицкий, давно бы их всех поубивали. Оно, когда против тебя зверь идет, виднее как-то.

— Погоди, Степан, погоди! Ты говоришь: сволочной народ, бесчестный. А Троицкий?

— Ого! А как же! Вот посмотрел бы ты: за браунинг, хлоп, хлоп! Этот про свою честь думает, сдохнет, а не уступит. Если я его поймаю, обязательно убью. А то все равно кусаться будет.

— В чем же, по-твоему, честь: в злости, что ли?

— А как же? Если человек злой — значит, цену себе знает.

— Чушь,— сказал капитан.— Что ж, по-твоему, у меня чести нет, что ли?

— Почему у тебя нет? Да у тебя — кто тебя знает. А и злости у тебя — аж на стенку лезешь.

— Слушай, Степан, ну, что ты мелешь? На кого у меня злость?

— У тебя? А на буржуев, на кого ж? Они ж тебя больше всех обидели.

Слышно было, как затрещала кровать у капитана. Потом он спросил:

— Хорошо. А Василиса Петровна?

— Мамаша? Эх, вы: ученый народ, а ничего не понимаете.

Семен Максимович постучал в стену. Все затихли, а потом Степан зашептал:

— Это она к нам такая добрая, потому что — свои люди. А так она — настоящий человек, злой и сердитый.

Этот ночной разговор почему-то встревожил Алешу. Никак не могли исчезнуть из памяти дикие рассуждения Степана. Алеша злился на них и минутами сожалел, что не успел накопить в жизни то необходимое чванство, которое может отделять образованного человека от необразованного, которое позволяет сказать самому себе: «Что там понимает темный мужик, стоит ли прислушиваться к его словам».

Алеша начинал на живых людях проверять «теоремы Колдунова», и получалось как-то неожиданно странно. Конечно, есть хорошее, убежденное, постоянное негодование у матери, конечно, злой и суровый живет отец, злые и сам Степан, и Муха, и Котляров, и Николай, и даже Таня. Нина? Ох, если раскусить Нину по-настоящему, сколько там спрятано настоящего, может быть, даже остервенелого гнева против так называемой жизни.

По «теореме Колдунова» «жизненная злость» — это когда человек себе цену знает. Алеша свободно улыбался, вспоминая эти слова: не подлежало сомнению, насколько это глупо. А может быть, Степан называет злостью всякую активную требовательность, энергию, но в таком случае, почему и капитан относится к злым?

Вот задал человек задачу! Наболтал, наболтал, через пять минут и сам забыл, чего наболтал, а Алеша должен ходить и раздумывать о том, что это значит. И не просто раздумывать, а с обидой. Революция много сказала нового, и многое стало ясно. Но ведь и раньше Алеша мог бы подумать над тем, что было написано в книгах, что бросалось в глаза. И сейчас обидно было: почему цена человека определялась у него без достаточного количества злости?

В первый год фронта была у Алеши простая гордость — совершенно ясная убежденность в том, что он должен быть храбрым и не бояться смерти. А рядом с этой гордостью была и злость: он мучительно страстно хотел победы, он физическими слезами встречал поражения, он заболел, когда наши полки покатились назад, когда в дивизии оставалось по три патрона на стрелка. Он огневой и искренней ненавистью ненавидел немцев, потом своих генералов, петербургских сановников,

Николая Второго. Он тогда судорожно презирал всех окопавшихся, земгусаров, всю тыловую сволочь. Наверное, у него тогда иначе блестели глаза и голова стояла гордо на плечах,— он чувствовал себя настоящей личностью.

Он тогда злился на людей за то, что они не были в общей опасности, что они свою маленькую жизнь поставили выше общих движений. И теперь он склонен был презирать этих людей, но в то же время родилась у него и новая злость на себя, на свою былую гордость. Было совершенно ясно: он тогда жил и чувствовал, как мальчишка, которого так легко и просто можно было одурачить громким словом. Было досадно и обидно, что очень простые вещи были тогда для него чем-то закрыты. Немцы, тот самый немец, в которого он стрелял из нагана, не был ли таким же одураченным молодым человеком? Враги, те самые враги, которых так горячо хотел победить Алеша, не в одинаковой ли мере с ним больше всего нуждались в просветлении? И в этом большевистском призыве к единению трудящихся всего мира насколько же больше достоинства, чем в его былом фанфаронстве!

Да, злость тоже может быть спасительной силой, в особенности если на себя злишься и себя проверяешь. Алеша теперь ясно видел новые станы врагов и новые начала достоинства.

Целый день у Алеши был занят. В Красной гвардии прибавилось людей, железнодорожники дали двадцать человек и часть из них даже с оружием, но оружия все же не хватало, а самое главное, не было патронов. Никакого пулемета не мог привезти Павел из губернии. Костромские большевики чувствовали себя вообще одиноко. В самом городе почти не было большевиков, рабочие на пристанях организованы были плохо, там боролись только одиночки. В городском совете после истории с Богомолом лучше было не показываться. Кострома, собственно говоря, оказалась предоставленной своим силам.

Правда, первая рота запасного батальона не оправдала надежд Богомола. Куда делся Троицкий, так никто и не мог сказать. Он тогда выбежал на улицу. Дневальный в воротах пропустил его с сонным удивлением. А на

улице он исчез. Группа солдат во главе с Насадой побывала в поповском доме на Костроме, но застала там только растерянность и вздохи матушки. Перестали появляться в роте и другие офицеры, отсиживались по квартирам, о них никто даже и не вспоминал. Вся эта история сильно взволновала город. На другой день штабс-капитан Волошенко появился на улице в штатском пальто и в зимней шапке, которую надевать было еще и рановато. Встречным знакомым Волошенко говорил:

— Придется подождать, пока офицеры понадобятся России.

Волошенко решил ждать в штатском костюме, наверное, так решили и другие, в городе исчезли золотые погоны.

В первой роте побывал сам Богомол, при нем были произведены выборы командира роты, и выбран был старший унтер-офицер Насада. Тогда же были выбраны и представители от роты в совет, но от этого ничего не изменилось, так как совет давно не собирался и ни у кого охоты не было его собирать.

Что-то в городе происходило еще. Ходили слухи, что уездный комиссар Сенюткин потребовал присылки казаков, на железной дороге собирались закрытые митинги служащих. В реальном училище старшие классы строились во дворах и маршировали. Сначала этому событию не придали особенного значения, но однажды утром в руках у реалистов увидели винтовки. На Кострому это известие добежало в тот же день.

Алеша зашел в заводской комитет по дороге домой, и Муха встретил его змеиным, насмешливым взглядом:

— Вот тебе винтовок не хватает. И в совете плакали: нет винтовок. А для реалистов, видишь, нашлось.

— Для каких реалистов?

— Для таких.

— Нашлось?

— Да, где-то нашлось. Уже с винтовками работают.

Из-за спины Алеши Степан зашипел:

— Ах ты, подлюки! Кто им дал?

— Наверняка скажу: комиссар дал, Сенюткин этот паршивый.

— Отнять! — крикнул Степан.

Алеша утвердительно дернул головой. Он даже по-

бледнел от возмущения. Сколько он исходил лестниц, сколько прошел дверей, перед сколькими столами настоялся, везде перед ним разводили руками и строили печальные рожи, везде уверяли его, что все меры приняты, всем написано, со всеми ругались, испортили отношения. Никаких винтовок, потому что, как известно, и в армии винтовок не хватает.

— Это что же... мошенники, значит?

— Того мало, что мошенники,— сказал Муха.— Для чего, думаешь, им винтовки дали?

Степан в этом вопросе не видел ничего сложного:

— Да играться, для чего! Для чего мальчишкам ружья? Да что же это делается, товарищ Муха! Да сейчас же пойдем и заберем.

Муха замотал головой:

— Играться? Тут, друзья, игра серьезная затевается.

Алеша загорелся удивлением, весело приглядывался к Мухе, даже на стул сел:

— А по-вашему — что? Сражаться будут?

— Будут.

— Эти? Карандаши?

— Ну, знаешь, карандаши с винтовками? Да еще с патронами!

Упоминание о патронах сразило Алешу. Патронная нужда у него была отчаянная и оскорбительная. Алеша всегда испытывал неизмеримый, леденящий стыд, когда вспоминал, что у него всего по два патрона на человека. Первая рота прибыла тоже с одной обоймой, обещали дослать из губернии, но теперь и первая рота попала в немилость. Слова Мухи о патронах сняли с очереди вопрос о том, будут сражаться «карандаши» или не будут. Весь вопрос имел только одно значение: в городе появилось место, где есть патроны. Это было настолько волнующее значение, что Алеша и Степан одновременно обернулись друг к другу и в одно время сказали:

— Идем!

Они уже бросились к дверям, но Муха остановил их грозно:

— Куда? Куда вы идете? Чего такое придумали?

Алеша оглянулся на Степана с удивлением, и оба они, как козлы, уставились на Муху.

Муха пригрозил:

— Я вам пойду! Вы что, забыли? «Сдерживая массу от преждевременных и изолированных выступлений».

Степан моментально наладил руку для того, чтобы считать по пальцам, но дело было такое срочное, что его пальцы только вздрагивали, а считал он без их существенной помощи:

— Во-первых, товарищ Муха, нас не масса, а двое. А во-вторых, ничего не будет... этого... преждевременного, а как раз в точку, а третье... еще там у тебя какое-то слово: лизорованный или лизоронный, так это я также тебе скажу: пустяк.

Муха крепко положил ладонь на стол:

— Не смей! Сегодня вечером потолкуем, посоветуемся.

Открылась дверь, с трудом просунулась в нее в мохнатом рыжем пиджаке фигура старого Котлярова. Он поставил винтовку в угол, глянул на всех по очереди:

— Про реалистов знаешь?

— Знаю.

— Ну?

— Что «ну»?

— Да что ну! У них винчестеры и патроны!

Степан приложил пальцы к щеке, воскликнул:

— Мать...

Но глянул на Муху и закончил так же выразительно:

— ...моя, пресвятая богородица! Винчестеры!

Муха опустил глаза:

— Вечером обсудим.

30

На другой день было воскресенье. Ночью моросил дождик, песок сделался мокрым и плотным, от реки тянуло зыбкой, несимпатичной прохладой, потемнели крыши на хатах. Семен Максимович вытащил из сундука старое ватное пальто, совсем еще хорошее, только на самом важном месте, буквально на животе, была нашита на нем квадратная, рыжеватая заплата, гораздо более светлая, чем пальто. И шапку надел Семен Максимович зимнюю, старого мелкого барашка, сильно промасленную

в подкладке, но безусловно еще целую. А палка у него в руках осталась прежняя,— суковатая с крючком.

Нарядившись, сказал Семен Максимович Алеше:

— Собирайся, пойдем погуляем.

Никогда не замечалось у Семена Максимовича такой привычки — гулять. Даже в воскресные дни находил для себя Семен Максимович работу, если не возле колодца, то в сарае. Там у него и верстачок стоял, и лежали в полном порядке у тисков молотки, напильники, зубила. Частных заказов Семен Максимович никогда не брал и гордился этим:

— Я не мастеровой, я рабочий.

И все-таки на воскресные дни всегда находилась у Семена Максимовича работа — для себя, для соседей, для знакомых, не умеющих обращаться с металлом, для разных там столяров, маляров, конторских: то замок починить, то совок, то заслонку сделать, то самоварную трубу поправить, то кран.

А сегодня Семен Максимович решил воспользоваться воскресным днем и очень обрадовал этим решением Алешу, который уже не помнил, когда это было, чтобы они с отцом «гуляли» в городе.

Алеша быстро надел шинель, измятую фуражку, на которой до конца уже выцвел темный кружок на месте офицерской кокарды. Тоже взял палку, и они вышли на улицу. Алеша хромал теперь еле заметно и даже красиво, чуть склоняясь в сторону, как будто нарочно, чтобы моложе и живее казалась талия.

Направились к городу. По Костроме, у заборов, долго шли молча. Алеша все поглядывал на отца пристальными большими глазами, и было ему страшно интересно, для чего это отец затеял такой специальный поход. Но Семен Максимович шагал серьезно, деловито, аккуратно ставил палку рядом с собой и молчал, даже по сторонам не посматривал. Алеша потерял надежду понять, в чем дело, тоже о чем-то задумался. И вдруг он радостно оживился, быстро глянул на отца:

— Отец, объясни мне одну вещь. Злость — это хорошо или это нехорошо?

Семен Максимович не удивился вопросу, тронул бороду рукой и ответил суховато:

— Вопрос довольно глупый: справедливая злость — хорошо, несправедливая — нехорошо.

— Хорошо... справедливость. Значит, если что-нибудь неправильно, так и нужно злиться?

— Неправильность — это хитрая штука. Бедный иногда делает неправильно,— ему бывает «не до того», он только и знает, как бы с бедностью своей управиться. А богатый всегда — неправильно, ему иначе нельзя. Так все и делают неправильно.

— Как это... все? Ты, отец, преувеличиваешь.

— Ты, Алексей, учись разбираться в жизни. Нечего мне увеличивать. Раз есть богатые и бедные, тогда все поступают неправильно.

— И ты?

— А что же ты думаешь? И я.

— Например?

— Да какие тебе примеры? Примеров на твоих глазах сколько хочешь.

— Нет, ты скажи.

Шагая размеренно, точно, Семен Максимович чуть-чуть улыбнулся:

— Да вот латка у меня на животе. Это разве правильно? А видишь, мать взяла и пришила, какой кусок нашелся, такой и пошел в дело. Разве это правильно — такую латку пришивать?

Семен Максимович глянул на сына. Алеша понял, что он ждет ответа:

— Это... конечно... неправильно.

— А вот мать у нас всю жизнь на кухне простояла, это разве правильно? Она была красивая, знаешь, умница женщина. Учиться хотела. Какая же тут правильность?

Он снова глянул на Алешу, но Алеша ничего не мог ответить, мысль о матери сильно его взволновала.

— А хату я себе строил. Не плохую хату. А чужую нужду не замечал. Себя спасаешь, себе лепишь, а на другого не смотришь. Это неправильно.

— Вот это, отец, здорово! Неправильная жизнь — нужно, чтобы человек злился...

— Люди, может, тысячу лет на это злобятся. Только на кого смотря, и какой толк. Вот за латку на мать

нельзя злиться. Она и то, бедная, когда эту латку пришивала, смотреть на нее было невозможно.

— На других, значит!

— Эх, другого не всегда найдешь! Привыкли — так и живут, а виноватого некогда искать было. Да и каждый старается утешиться чем-нибудь. Один хату построит, другой погоны нацепит,— доволен. А злятся больше на своих, на близких: зачем с ним из одной миски лопает, за его ложку цепляет.

— Виноватого можно найти.

— Ха! Молодой ты еще, Алексей! Злой человек никогда виноватого не найдет. Гнева народ довольно потратил, да без толку. Один гнев не поможет. Если один гнев, так это не наше дело.

— Это чье — не наше?

— Не наше? Не рабочее, не пролетарское, как говорят.

— А какое — наше дело?

— Наше дело — разум. Гневайся, сколько хочешь, а главное — голова. Человеческий разум, если по-настоящему, он никакого гнева не знает впустую. А если гневаться по-разумному, то все равно выходит, разум на первом плане.

— Хорошо. А если терпения нету?

— А если терпения нету, ложись в больницу.

— Вот как?

— Вот так.

— Значит, люди должны всегда терпеть?

— Слушай хоть с терпением, не егози. Разум должен быть, понимаешь? Как это терпения нету? У кого нету терпения? У тебя? А нужно смотреть на весь народ. Да разве один наш народ. Скажем, наш человек рабочий и французский там или немецкий. На чем ты их можешь вместе сбить? Думаешь, на том, что у тебя терпения нету? На разуме можешь. Думаешь, Ленин для чего? Твои нервы лечить, что ли? Бомбы бросали в царей, а Ленин бросал? Говори, бросал?

— Не бросал.

— А другие бросали. Ленин умел терпеть, и он знает, когда что должно быть. Он сколько лет терпел, и народ с ним тоже.

— А злость?

— Вот заладил! Да если у тебя в голове порядок, злись себе сколько хочешь. Человек, если он без ума,— никакой ему цены нет.

— А кому цена?

— Народу цена, и всякому человеку цена, который с народом.

— Бывает так, что и народ ошибается.

Семен Максимович кашлянул осторожно, внимательно пригляделся к пространствам парка, через который они проходили:

— Бывало. Народу тоже учиться приходится, и народ умнеет в свое время. Скажем, и теперь: без Ленина ничего не увидели бы. А пришли большевики, и Россия вся поумнела. Конечно, есть такие раззявы, что и большевики их не научат.

— А раньше?

— И раньше народ свое дело делал. Бывало лучше, бывало хуже, а все ж таки Россию сделали. Паны мешали да цари плохие, а все-таки и раньше было видно, кто с народом, а кто против народа, для себя только да для своей гордости.

— А разве гордость — это плохо?

— Отчего? Если у тебя в голове что-нибудь есть стоющее, гордись себе.

Алеша даже остановился. Семен Максимович улыбнулся:

— Чего испугался? Можно гордиться, если у тебя пятерка в кармане, только посчитай раньше, а может, там не хватает полтинника.

Семен Максимович вдруг просиял настоящей открытой улыбкой:

— Эх, молодой ты еще какой! Вот я тебе скажу: никогда не ищи гордости, она сама придет. А кто ищет, тот дурак, значит. Простой дурак, пустяковый.

Алеша радостно ухватил батька за плечи, затормошил:

— До чего ты хитрый, отец! А вот мне рассказывали: за исповедь отцу Иосифу ты рубль платил. Из гордости, говорят.

— Какая там гордость? Это не из гордости... Это так... насмешка просто.

— Хорошая насмешка: взял да и отдал целый рубль лохматому!

— Этот лохматый думает: вот я священник, народ поучаю, живу богато, а вы там темный народ, глупый. А тут и я его поучил: никого ты не поучаешь, а просто мошенник, а кроме того, я тебе еще и милостыню подам, протягиваешь руку,— на, я человек трудящийся. Он это хорошо понимает, поп. Это просто в насмешку. Гордости тут нет никакой. Если ты с народом идешь, тогда можно гордиться, и честь тогда у человека. А это просто насмешка!

Они уже выходили из парка. Впереди протянулась улица. Семен Максимович сказал:

— Туда нам нечего идти. Домой пойдем.

— Как домой? А ты в город собрался?

— Никуда я не собирался. Покупать там нечего, да и денег нет.

— А зачем же ты меня позвал?

— А я же сказал тебе... погулять. Поговорить нужно было.

— Ты что-нибудь хочешь сказать?

— Какой ты все-таки бестолковый, Алешка! Мы с тобой уже сколько наговорили!

— А ты... ты хотел... что-нибудь?

— Я тебе все сказал, все, что нужно, о чем ты спрашивал.

Семен Максимович снова рассмеялся, прищурился:

— А еще большевик! Смотри, растерялся как! Ну, идем домой.

31

До дому оставалось еще несколько хат, когда Семен Максимович остановился:

— Зайдем сюда.

Алеша не сразу поверил своим глазам. Они стояли перед хатой, в которой жила Нина. Семен Максимович не глядел на Алешу, а с самым обыкновенным, деловым видом толкнул калитку.

Дощатая, серая, некрашеная дверь над тремя ступеньками крылечка стремительно открылась. Нина быст-

ро выбежала из хаты, простучала каблучками по ступенькам, радостная взяла руку Семена Максимовича:

— Семен Максимович! Неужели вы ко мне? Как вы хорошо придумали!

Она даже мгновенного взгляда не бросила на Алешу, все хлопотала вокруг Семена Максимовича, потом за руку потащила его к крыльцу. Семен Максимович ничем ей не отвечал, был сдержан, серьезен. Она втащила старика на крылечко и только тогда крикнула Алеше:

— Алешенька, идите, идите, чего вы загрустили?

Одной рукой она еще держалась за старика, а другую протянула к Алеше. Он пожал ее пальчики.

Нина жила в обыкновенной хате, на Костроме они все одинаковы: окна маленькие, на окнах в горшках цветы с шершавыми, круглыми листьями, полы давно потеряли краску, а стены бугристые, неровные.

Но все-таки это была комната Нины. Значительную часть комнаты занимала никелированная кровать, покрытая чем-то воздушным, нежным, непонятным в своей сущности. Было два кресла, широких, мягких, гостеприимных. Туалетный столик блестел дорогим зеркалом, обрамленным затейливым полупрозрачным, полунебесным орнаментом, а перед зеркалом стояли остроумные, просвечивающие честностью и чистотой флакончики, коробки, баночки, безделушки. Это был тот особенный притягательный, блаженно-непонятный мир, в котором женственности, может быть, больше, чем у женщин.

Зато маленький столик, накрытый голубым листом бумаги, имел вид очень деловой: стопки книг, бумага, стаканчик с карандашами и костяной ножик, ручка которого изображала лапу орла, держащую агатовый шарик.

Семен Максимович оглядел всю эту девичью роскошь, поставил палку в угол. Не снимая пальто, сел у стола.

— Почему пальто не снимаете, Семен Максимович?

— Да, пожалуй, что и сниму. Только я в рабочем... это... костюме.

Алеша повел глазами на Нину, оба они хорошо знали, что этот рабочий костюм есть в то же время и самый парадный. Еще в прошлом году этот костюм надевался только по праздникам.

— Расскажите, Нина, как вы живете. Может быть, что-нибудь нужно...

Нина уселась против Семена Максимовича. Алеша утонул в кресле и оттуда мог любоваться и лицом Нины, и профилем отца.

— Расскажу, Семен Максимович, всю правду расскажу.

— Рассказывайте.

— Живу я так. Утром в городе. Вы знаете, очень много есть книг. Куда ни приду, никто мне не отказывает, все дают.

— Это кто же такие дают?

— К большим господам я не хожу. А разная интеллигенция: служащие, инженеры, учителя, врачи. Они стесняются мне отказывать. А часть я и купила — полные собрания. Муха дал немного денег. Потому что полные собрания никто не подарит.

— Какие это полные собрания?

— Купила я Льва Толстого, Гончарова, Белинского, Мельникова-Печерского, Гоголя. А больше никого, потому что денег мало.

— О книгах ваших я знаю, говорят у нас много. И читают уже, берут книги, тоже знаю. И работы у вас много: и записать нужно, и выдать. А вечером репетиции. Это я все знаю. А вот, как вы живете?

Нина посмотрела на кровать:

— Вот здесь живу. Только мало. Все некогда.

— Хозяйка вам готовит?

— Хозяйка.

— Так... А с отцом как?

Нина опустила голову, потом быстро глянула в глаза Семена Максимовича и снова опустила голову:

— С отцом? С отцом плохо, Семен Максимович.

— Рассчитались?

— Рассчиталась.

Семен Максимович выпрямился на стуле, кашлянул:

— Не любите, что ли, отца?

— Как — не люблю? Люблю. Любила.

— А что же случилось?

— Не у меня случилось, а вообще. И у меня тоже... с этим... Троицким. А потом революция. Как-то все стало ясно. Я полюбила революцию, Семен Максимович.

— А отцу не нравится?

— Отцу с другой стороны понравилось. Не с той стороны. Он в эсеры записался. Собираются там у него... разные... говорят, вино пьют. А когда выпьют, еще больше говорят, даже плачут, знаете, Семен Максимович, до того отвратительно плачут! А я их насквозь вижу, Семен Максимович: они кокетничают, а на самом деле отец хочет купить дачу и какое-то там образцовое хозяйство устроить. Привели одного... помещика, покупать у него имение. И по этому случаю тоже пили и говорили речи, и плакали, вы знаете? Образцовое хозяйство, говорят, для нашего народа очень нужно, для крестьян — агрономическая пропаганда!

— У вас брат офицер?

— Поручик, как же. Отец очень любит Бориса. Он сейчас где-то устроился... передвижение поездов, что ли. Приезжает на день, на два, но ко мне уже не заходит. Стесняется или отец не пускает.

— Значит, выходит, с отцом вы враги?

Нина покраснела, отвернулась к окну:

— Семен Максимович, я боюсь об этом думать. Я стараюсь, очень стараюсь, чтобы у меня не было ненависти к нему. Это нехорошо, правда? Я, наверное, эгоистка. Все думаю о себе. И не хочу думать, а оно все думается. Иногда так кажется: зачем бросила отца, отцу можно кое-что и простить. А потом другое кажется. Отец или другой, а на первом месте должно быть уважение к себе. Даром себя нельзя уважать, правда? Нужно за что-нибудь уважать, правда?

Семен Максимович обернулся к сыну:

— Смотри, Алексей, как она правильно сказала, а ты еще путаешь. Вот это самое главное: за что себя уважать. У нас тут есть на Костроме человек один, так он себя больше всего за то уважает, что у него ставни голубой краской выкрашены. А бывают такие, которые калошами гордятся. Пока у него калош не было, человек скромный был, а как купил калоши, уже и шапку не снимает,— гордится.

Нина удивленно следила за Семеном Максимовичем: вероятно, поражала его необыкновенная улыбка. Вдруг она положила руку на его блестящее колено:

— Семен Максимович, знаете — что? А ведь мы с Алешей друг друга любим.

Алеша поднял руки к глазам, Нина, наклонившись вперед, смотрела на гостя, только щеки у нее разрумянились и глаза заблестели живее; Семен Максимович для порядка ухватил бороду, кивнул:

— Это я знаю.

— Знаете? — Нина еще ближе склонилась к нему.— И скажете что-нибудь, Семен Максимович?

— Не что-нибудь тебе скажу, а дело.

Нина закрыла глаза:

— Спасибо, Семен Максимович. За «ты» — спасибо.

— Не стоит. Ты его любишь, и он тебя любит, а только нужно немного подождать. Скоро будет другая жизнь и другие законы. Тогда вы по новому закону и поженитесь.

— Он меня только один раз поцеловал, и то насильно.

— Целоваться... ничего плохого нет, а только с поцелуев начнется, да так и забывается про другое. Такие идут дни, считайте, как раньше великий пост назывался. А любить... это хорошо, любите. Я так и буду считать, что вы его невеста. Благословлять, конечно, не буду, а желаю вам счастья. Только знаешь, какого счастья? Такого, как ты говорила, с уважением.

Он двумя руками, темными прямыми пальцами взял Нину за щеки, улыбнулся в глаза:

— Ты хорошая девушка,— душевная, и хорошо, что ты его полюбила. Он тоже славный парень, только у него все, знаешь... жадность такая, ему все подавай, чтобы было ясно. А иногда нужно нахрапом брать, вот как у тебя вышло. Ну, идем обедать к нам.

Алеша поднялся с кресла, серьезный, вытянулся, опустил глаза. Семен Максимович иронически кивнул на него. Нина откинула прядь волос, упавшую на лоб, вздохнула счастливая:

— У вас заплата нехорошая, Семен Максимович: не в тон. Вот смотрите, какой у меня есть подходящий кусочек.

Она быстро присела у кровати и вытащила из-под нее желтую коробку, а из коробки сверток обрезков. Развязав сверток, она раскинула на ладони квадратный,

темный кусочек материи. Семен Максимович строго посмотрел на него, ничего не сказал, но Нина подбежала к его пальто, закрыла своим обрезком заплату:

— Как раз, смотрите, Семен Максимович. Я сейчас пришью, я очень быстро.

Она уже метнулась к какой-то коробке на туалетном столике, но Семен Максимович остановил ее:

— За латку эту спасибо. Латка подходящая. А только ты ее захвати с собой. Пускай дома мать пришьет, а то она на тебя обижаться будет: скажет, я сделала латку, а они там взяли и спороли. Она тоже к себе уважение имеет, мать-то...

— Я поклонюсь ей и попрошу разрешения.

Нина действительно чуть-чуть поклонилась Семену Максимовичу. Он поднес палец к усам, стрельнул глазами на Алешу. Очень уж хорошо и сказала и поклонилась невеста его сына.

32

Генеральная репетиция «Ревизора» должна была начаться в восемь часов. За сценой, в библиотеке на диванах разложены были костюмы, днем привезенные из города. Нина, Таня и одна из учительниц, вооружившись иголками, что-то зашивали в костюмах и возмущались, в каком плохом состоянии они содержатся в городском театре. Алеша слушал девичий говор и удивлялся: как замечательно устроено в мире, как это прекрасно, что может жить, улыбаться, смотреть и говорить такая настоящая, глубокая прелесть, как Нина. И он радовался тому, что девятым валом пошла жизнь и принесла на Кострому эту девушку, принесла как будто из другого мира, но такую добрую, близкую, такую понятную. Он прислушивался к голосам Тани и других девушек. И у них все радостно, и у них есть много общего с Ниной. Это — достояние всех людей, и никакому Остробородько, никакому его богатству он не обязан благодарностью.

Алеша начал примерять к своим сапогам легкие, клеенчатые краги для костюма городничего. Он невольно улыбнулся их бутафорскому великолепию, их растрескавшемуся блеску. Ничего, со сцены все это покажется настоящим.

— Алеша, вы примеряли ваш мундир?

Нина с мундиром в руках подошла к нему. Алеша поднял к ней глаза и спросил серьезно:

— Нина, скажите, мы отняли вас? Или свое взяли? Возвратили свое?

Нина лукаво оглянулась, наклонилась к нему:

— Ничего вы не отняли, ничего не возвратили. Не воображайте, пожалуйста! Я сама возвратилась. Пришла домой. Бывают такие случаи, когда человек приходит к себе домой? Бывают? А дома всегда лучше.

Дверь не открылась, а взорвалась. Степан влетел в комнату и заорал:

— Алешка! Алешка, скорее! Батько и Муха приказали срочно!

— Что случилось?

Степан смотрел вылезающими из орбит глазами, все лицо его изображало высшую степень оторопелого возбуждения, такого возбуждения, с которым человек справиться не может. Девушки рассмеялись:

— Что с вами, Степан Иванович? Примерьте ваш кафтан.

— Холуя? — закричал Степан, и это слово как будто выхватило клапан из его души. Он задрал вверх кулаки, растянул рот и высоко подпрыгнул. Хлопнул об пол валенками, еще раз подпрыгнул, перевернулся в воздухе и заорал Алеше в лицо:

— Ленин... большевики... Керенского выгнали!!

Проделав еще какое-то сложное антраша, он, словно по воздуху, вылетел в дверь. Алеша только на секунду остановил дыхание и — бросился за ним. Учительница закричала вдогонку:

— Краги! Алексей Семенович! Куда же вы в крагах?!

33

У Тепловых негде было повернуться, ни в кухне, ни в чистой комнате. Здесь был весь заводской комитет. У Мухи вздрагивала в руке бумажка, он все заглядывал в нее, и другие заглядывали со всех сторон. Эту бумажку Муха сразу протянул Алеше, как только тот вбежал: есть еще один человек, которому он может сооб-

щить радостное известие. Алеша с захлебывающейся жадностью набросился на текст телеграммы и пытался охватить его одним взглядом, но слова мелькали в глазах и пугали воображение отрывочным и тревожным содержанием: «разоружить», «войсками». Он встряхнул головой и начал читать медленно, вслух:

«Вчера временное правительство Керенского в Петрограде низложено петроградскими рабочими и солдатами заняты государственные учреждения вокзалы зимний дворец тчк Предлагаем немедленно осуществить организовать Ревком обладающий всей властью реквизировать для вооружения Красной гвардии частное оружие подчинить себе милицию если она не надежна разоружить установить тесную связь с войсками организовать охрану телеграфа телефона вокзала тчк Выезжает первым поездом уполномоченный губкома Богатырчук

Губернский Комитет большевиков».

Пока Алеша читал, все стояли неподвижно вокруг него, слушая телеграмму, вероятно, в десятый раз; далеко в дверях виден был нос капитана.

Алеша еще раз пробежал телеграмму, потер лоб, начал искать глазами отца. Он нашел его на диване. Старик сидел, вытянувшись, аккуратно сложил руки на коленях и чуть-чуть улыбался. Такую улыбку он обыкновенно прикрывал своим пальцем, редко кому ее удавалось видеть. Улыбались и его глаза, по-детски щурились; немного вздрагивали ресницы. Проследив за его взглядом, Алеша увидел старого Котлярова. Он сидел с другой стороны комнаты, против отца, и смотрел на него такими же веселыми глазами, усы у него сами ходили и играли пушистыми кончиками.

Алеша перевел дух и спросил у Мухи:

— А как это... как телеграмма получена?

— А ты посмотри на адрес. Богатырчук не дурак. Он телеграмму дает Совету, а нашему заводскому комитету копию. Э! Богатырчук не дурак!

Семен Максимович обернулся к ним и сказал, сохраняя на лице все ту же обрадованную хитроватость:

— Ну, кум, давай за дело приниматься.

Богатырчук приехал ночью. Алеша встретил его на вокзале. Богатырчук забыл пожать ему руку, потому что спешил получить ответ на вопрос чрезвычайно острый, хотя и выраженный в одном слове:

— Знаете?

— Да телеграмму ж получили.

— Получили? Ну, что?

Алеша рассказал ему о принятых мерах. Телеграф, телефон, вокзал, почта, банк заняты патрулями первой роты и Красной гвардии. На милицию можно положиться,— свои люди. В городе никаких врагов быть не может. Сейчас собираемся захватить оружие в реальном училище, там винчестеры откуда-то и патроны есть.

Карманы Сергея были переполнены газетами. Он даже в парке, в его кромешной темноте, вытаскивал из кармана газету и пытался показывать какую-нибудь статью. Перед самым переворотом он был один день в Петрограде, но впечатления этой поездки у него не способны были выразиться в связном рассказе, он только хвалился:

— Ух, я тебе и расскажу! Вот постой, я тебе расскажу!

В заводском комитете было темно от табачного дыма. Два взвода Красной гвардии готовы были выступить в город.

На Костроме стояла тихая осенняя ночь. Это было время, когда в природе закончился длинный и тяжелый период болезни, и сейчас она, усталая, ожидала, когда небо набросает на нее белое одеяло, чтобы она могла спокойно заснуть до весеннего здоровья.

В прохладном воздухе ощущались какие-то соседние морозы, может быть, морозы сейчас стояли в Петрограде, где Ленин и большевики так чудесно начали новую историю.

В три часа взводы Красной гвардии выступили в город. Впереди шли Муха, Семен Максимович, Криворотченко, еще несколько человек из комитета. Все они тоже были с винтовками, только Семен Максимович не изменил себе. Он шагал такой же размеренной и аккуратной походкой, и так же, по-деловому спокойно, переставлял

свою суковатую палку, так же не оглядывался по сторонам. Алеша и Богатырчук шли сбоку, ряды отряда то отставали, то обгоняли их — то пухлый и широкий старый Котляров основательно ставил в песок тяжелые ноги, то Павел Варавва, туго перетянутый поясом, сверкал в темноте глазами, то Степан щеголял армейской выправкой. В последних рядах шли без оружия. Маруся пользовалась каждым случаем, чтобы пожаловаться:

— Товарищ Теплов, что же это такое, прости господи. Все люди как люди, а мы с пустыми руками.

— Маруся, да потерпи ты: идем же за оружием. Ты же знаешь?

— Ой, скорее бы уже прийти! Как долго идем!

При входе в парк догнали Алешу задыхающиеся шаги,— человек бежал долго. Алеша оглянулся: силуэт был знакомый, взлохмаченный, над плечом торчало широкое дуло двустволки.

— Алексей, достал! Охотник знакомый, Ухов, все не давал, не давал. И сегодня еще покуражился, а потом говорит: на, для такого дела не жалко!

— Иван Васильевич, вот молодец! А патроны у тебя?

— Десять штук волчьей дробью. Волчья поможет, как ты думаешь? Особенно, если в голову.

Алеша сжал руку Сергея:

— Сразу и вопрос. По международным правилам, пожалуй, волчья дробь не допускается. А в этом случае, думаю, можно.

Богатырчук ответил:

— Волчья как раз в точку.

— Иван Васильевич, ты уж пока — с волчьей, а скоро мы тебе — винчестер.

Они прошли вперед, где Николай Котляров нес знамя, точно соблюдая уставное положение для полкового знаменщика. Знамя было небольшое, не пышное, не бархатное, и на нем была написана только одна строчка:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Груздев зашагал рядом со знаменем.

— Кто это? — спросил Богатырчук.— Подкрепление-то.

— А это мой крестный батько.

— Крестил тебя?

— Крестил. На улице возле госпиталя.

Богатырчук расхохотался на весь парк:

— Это был интересный случай. Воображаю твою физиономию тогда!

— Физиономия была расстроенная, вероятно. Сергей, расскажи все-таки про Питер.

Полушепотом, взявши Алешу под руку, Богатырчук рассказал ему о том, чего и сам хорошо не знал. В Петрограде он видел много, но еще больше слышал, и не все дошло к нему в точном виде. У Богатырчука перемешались вместе: впечатления, разговоры, прочитанные статьи, статьи непрочитанные. Но у него был хороший и ясный ум, и он умел уловить запах предательства, трусости, хитрой и увертливой дипломатии, умел разобрать далекое эхо ленинского гнева.

— Вокруг Ленина стоят замечательные люди, таких людей никогда еще не было в России. Ты понимаешь, Алексей, какая это сила? А только там есть и... человечки, ой, какие человечки! Ты не думай, что Ленин вот скомандовал — взяли и пошли. Ему страшно трудно, потому что кругом него, пожалуйста, врагов и просто... этих... человечков, сколько хочешь!

— Ты видел Ленина?

— Не видел, понимаешь, нельзя. Но я человек двадцать расспросил и все хорошо представляю, как будто видел. Все в одно рассказывают.

— Какой же он?

— Невысокого роста, скуластый, светлый, бородка такая. Лицо, мимика очень замечательные, энергичные. Чуть-чуть картавит. Чем берет? Говорят, всем. Ничем не берет, говорят, сам идешь.

Богатырчук задумался:

— Я не могу, конечно, как следует его представить. Ленин видит весь мир, самую его середку знает, подноготную. Ты понимаешь, какая это сила?

В темноте было видно, как тяжелый добродушно-массивный Сергей застенчиво улыбался: ему было стыдно, что он так невыразительно говорит о Ленине. Он замолчал, потом продолжал, улыбаясь:

— Ты знаешь, я все стараюсь и стараюсь, а пороху у меня не хватает, чтобы понять Ленина. Там люди совсем особенные. Легко сказать: вот мы с тобой идем, идут рабочие люди, видишь, с винтовками. А сколько городов в России, сколько сел, деревень. И везде сейчас идут, вот так идут... да! А они нас видят, они видят, знают. Разве легко так много видеть?

— Кто это они?

— Ленин. Ленин и его товарищи. Думаешь, они сейчас твоего батька не видят? Видят. И знают, о чем он думает. И тебя видят. И всех врагов видят. Ты понимаешь? Насквозь, все нутро! А мы с тобой, бывает, и под носом ничего не разбираем. Ты сказал вечером: тут драться не с кем. А они уже знают, с кем нам придется драться.

Алеша поднял глаза к прохладному небу, и оно показалось глубоким и прозрачным, а за его простором, на конце тысячеверстного пространства, он увидел лицо Ленина, скуластое, живое, только глаза у него почему-то черные, всевидящие, улыбающиеся и мудрые. Вдруг с удивлением Алеша почувствовал, как физически горячо стало у него в груди, как в глазах налились тонкие теплые слезы. Он захотел оглянуться, чтобы увидеть Нину, но встретил в темноте горячие и обиженные глаза Маруси,— не могла Маруся простить, что в такую ночь она идет вперед без оружия.

Шли уже по улице. Город начинал просыпаться. У ворот кое-где копошились дворники, у домов пробегали женщины с кошелками, останавливались, удивленно смотрели на отряд Красной гвардии, поправляли платки и бежали дальше. Ломовик, гремя колесами, тяжело продвигался навстречу, и от него несло обыденщиной. На углу двух улиц ходил милиционер с винтовкой — юноша в каком-то форменном пальто.

Алеша поспешил вперед, пошел рядом с Мухой и отцом:

— Как с милицией?

Муха блеснул зубами:

— Какая там у нас милиция? Пускай стоит.

Семен Максимович даже не посмотрел на милиционера.

35

На главной улице — широкий двор реального училища, огороженный фасонной решеткой с каменными столбами.

Новенькие изящные винчестеры перешли на плечи красногвардейцев через полчаса. В зданиях реального училища жили люди. Они не привыкли вставать так рано, они вылезли из дальних квартир и комнат, еще покрытые приятным сонным пухом. Очень возможно, что отряд Красной гвардии во дворе показался им продолжением сна или неожиданным его неприятным изломом. Но действительность так властно нарушила сон, что никто не сопротивлялся и никто не спорил. Люди официального чиновничьего склада — директора, инспектора, заведующие материальной частью, у которых из-за воротников форменных тужурок торчали сегодня простодушные запонки, и еще люди с военной выправкой — без споров отдали ключи, показали лестницы и входы, подвалы, пирамидки и ящики.

У Маруси и у Вари появились за плечами винчестеры, в отряде не осталось безоружных, а у Ивана Васильевича Груздева винчестер мирно подружился с толстенькой добродушной двустволкой.

В реальном училище как будто ничего особенного не произошло. Отряд ушел дальше, куда ему нужно, хозяева снова залезли в свои квартирки и комнаты,— конечно, без надежды заснуть, но с полной возможностью поговорить и осудить насильнические действия рабочих. Школьный двор остался таким же просторным и пустым. В некоторых коридорах училища у дверей стали люди в пиджаках и пальто, подпоясанные ремнями, в старых шапках и картузах, в руках у них были винтовки.

36

В помещении Совета на перекрестке двух улиц было людно, шумно и бестолково. Несмотря на холодный день, все окна в здании были открыты настежь, по комнатам бродили люди, заложивши руки в карманы пальто, курили без памяти и все выглядывали в окна. Богомол перебегал из комнаты в комнату с таким видом, как буд-

то он лихорадочно ищет нужного человека и никак найти не может, а все остальные люди не только ему не нужны, но даже раздражают. Наконец, он напал на молодого человека, сидящего рядом с его кабинетом:

— Я ничего не понимаю. Где же пленум?

Молодой человек, нахально забывая о своей молодости, посмотрел на Богомола прищуренными глазами:

— Какой там пленум, товарищ Богомол?

— А что за люди ходят?

— Какие там люди? — сказал молодой человек.

— Люди... разные люди... Ходят здесь... везде ходят...

— И будут ходить. А что вы сделаете?

Сказав эти слова, молодой человек даже наклонился вперед, так он заинтересовался вопросом, что́ Богомол может предпринять против хождения людей. Богомол зябко пожал плечами и ничего не ответил. Молодой человек с торжеством оторвался от председателя, стукнул ящиком стола, двинул презрительно плечами:

— Как вам угодно, а я ухожу.

Он с мужественной решительностью подошел к вешалке и начал гневно надевать пальто:

— Пусть попробуют, большевики! Большевики!

Молодой человек показал на город.

Богомол тупо наблюдал за гневными движениями молодого человека и, когда тот ринулся в дверь, слабо застонал:

— Как же так? Товарищ Соколов? И вы уходите?

— А вы хотите умереть на посту?

— Да что вы? Почему умереть?

— Я — в переносном смысле. Все равно: в России наступает анархия!

Он вдруг прислушался, подбежал к окну:

— Пожалуйста! С музыкой!

В окно, как тонкий запах, проникали далекие звуки марша. Соколов с умным сарказмом посмотрел на Богомола:

— Это они идут приветствовать... Совет! Советскую власть!

Он сардонически рассмеялся в лицо Богомолу и выбежал.

Как подстреленный заяц, Богомол закричал ему вдогонку пискливым голосом:

— Послушайте!

Дверь за Соколовым ударила громко, отскочила, открылась в коридор. В комнату влезли глухие звуки шагов, говор, запах махорки. Богомол страдальчески наморщил лоб, но двери не закрыл. Опустив голову, он прошел в большой кабинет рядом и сел на диван. Когда военный марш наплывом покатился в окно, Богомол поднял глаза к потолку. Очень возможно, что в этот момент он был похож на христианского мученика, на которого из железной клетки выпустили рыкающего льва. А может быть, и не был похож. Но к окну он не подошел и что происходило на улице — не видел.

В коридоре новые шаги застучали весело, шумно, торопливо.

Муха в дверях сказал бодро:

— Эге! Вот и председатель! Что же ты тут один сидишь?

Богомол с суровой усталостью поднялся с дивана, подошел к столу, поднял глаза. Перед ним стояли люди, которых он считал дикими, малоразвитыми, слепыми и темными. Они могли быть хорошими объектами для управления или для революционной заботы. А сейчас они ворвались в его комнату, стояли в дверях веселой группой. В окно вливался неприятный, неразборчивый, говорливый шум человеческой толпы.

Он грустно улыбнулся Мухе:

— Что же, ваша сила, товарищи большевики!

— А ты думаешь, сила, это плохое дело? Это очень хорошее дело. Открываем пленум?

— Пленум не собрался.

— Как это не собрался? Сейчас начнем.

Богомол обвел глазами вокруг и понял, что пленум имеется. Он вдруг узнал в тех самых людях, которые до сих пор бродили по комнатам, членов пленума, во всяком случае,— некоторые лица показались ему знакомыми. Его кабинет и комната секретаря были заполнены людьми, у иных за плечами торчали винтовки. Все эти люди, впрочем, мало интересовались Богомолом. Они входили в комнату, и сразу же возникали кружки и груп-

пы с отдельными центрами. Люди шутили, убеждали друг друга, смеялись, подходили к окнам и переговаривались с улицей. Вокруг Семена Максимовича собрались старики с обкуренными, хитрыми усами, с ироническими складками у носа. Семен Максимович что-то сказал быстрое, короткое, провел пальцем по усам, его окружение захохотало. Старый Котляров покрыл хохот сочным басом:

— А они думали: шмаровозы!

Богомолу страшно захотелось узнать, что такое сказал Семен Максимович, но не пришлось узнать. В комнату вошел высокий, могучий человек, в разные стороны повернул молодое сильное лицо и спросил:

— Где же этот самый Богомол? Ага! Ну, что же, поздравляю: вся власть Советам! Вся власть в ваших руках, товарищ председатель Совета!

Богомол устало улыбнулся не столько губами, сколько мешками под глазами на сером лице,— промямлил:

— Да. Вы из губернии?

— Из губернии.

Богомол не удержался, скривил рот:

— Большевики-то... энергию какую...

— Я — уполномоченный губернского Совета.

Богомол сказал с отвращением:

— Уже... успели?

Богатырчук влепился в его лицо веселым доверчивым взглядом и отвечал радостно:

— Успели!

37

Пленум собирался. Даже эсеры и меньшевики вылезли из щелей, в которые они попрятались в первый момент. Они улыбались несколько ехидно и опускали глаза, давая понять единомышленникам, что им стыдно наблюдать происходящее безобразие. И Петр Павлович Остробородько по привычке появился в «кулуарах», тыкался любопытной бородкой в ту или иную группу, осудительно прищуривал глаза и с очень немногими разговаривал, энергично, с жестами и с быстрой-быстрой огλядкой. Богатырчук, продвигаясь по коридору, услышал такие даже слова Петра Павловича:

— Нет. Вечером мы собираем городскую управу, обсудим момент...

Хоть и могуча шея Богатырчука и не способна к юрким поворотам, а Сергей все-таки скрутил ее настоящим жгутом и увидел Петра Павловича, да так и пошел дальше с оскаленными зубами.

— Чего ты? — спросил его кто-то встречный.

— Чудака одного увидел. Люблю чудаков.

Сергей вышел на улицу, с высокого крыльца посмотрел, что делается. Ему захотелось громко засмеяться и сказать: — Эх! Милая провинция!

В этом городе все происходило по-своему. Главная улица, расширяющаяся в этом месте, наполнена была народом, в народе уже образовалось широкое круговое течение. Плакаты и знамена прислонили к стенам домов, а оживленные ряды людей не спеша двигались друг за другом. Движение это захватывало и тротуары, линии акаций не усложняли его, а только рассекали. Движение уходило далеко вправо и влево, заливало поперечную улицу, путалось в сквере. Похоже было на то, что все люди сейчас не только знакомы, но и дружны. Солдаты первой роты и красногвардейцы потерялись в массе, только изредка можно было видеть дула винтовок. Основную массу составляли обыкновенные мирные люди, ничем не вооруженные, улыбающиеся домашней простой улыбкой, зубоскалящие, веселые. Богатырчуку показалось, что сейчас на улице происходит соединение чего-то страшно знакомого и чего-то совершенно необычного, незнакомого. Сергей еще раз окинул улицу взглядом: что именно здесь необычно? Знаком был и весь город, и давно был хорошо изучен этот центральный перекресток, где большой мануфактурный магазин Хоречко, самый модный галантерейный Полера и где старое здание дворянского собрания, по мнению местного журналиста, похожее на коленопреклоненного богатыря. Здесь знакомы каждая плита тротуара и крона каждой акации. И люди на улице как будто все знакомы, трудно не узнать их с первого взгляда: это — рабочие с лесопилки, эти, измазанные,— с лесной пристани, это — девушки с табачной фабрики. На тротуарах — целые гирлянды приказчиков, железнодорожников. Кострома перетасована с городскими девушками и приятелями. Как всегда, она —

шумная, говорливая и худая. Богатырчук просиял: не только она, на улице вообще не видно ни одного толстяка. Может, в этом и заключается необычное?

Сергей растянул рот: действительно, ни одного толстяка! И вдруг он увидел родное: взявшись за руки, маршировало несколько рядов. Они пели особенно приятно и значительно: негромко, но очень стройно, стараясь петь хорошо, от удовольствия покачивали головами в такт шагам и песне и поглядывали друг на друга с улыбкой:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...

Богатырчук спрыгнул с крыльца и закричал:

— Милые мои костромичи! Какие же вы красивые!

А и в самом деле, все они были хороши: и смуглый Павел с винчестером за плечами, и Митька Афанасьев, и Оноприй, и Восковой, и Гаврилов, и в новеньких ремнях большеглазый Алеша, и Таня Котлярова, и другие девушки, и Маруся, и молоденькая учительница, и Степан Колдунов, и еще многие — то однокашники Сергея, то просто друзья. Нина Остробородько в своей прекрасной жакетке, в голубом шарфе на голове, шла опустив глаза и не пела,— очевидно, слушать для нее было важнее и приятнее. Все они, услышав возглас Сергея, скосили на него смеющиеся лица, но с нарочитым задором продолжали марш и еще стройнее несли песню:

Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!

Богатырчук засмеялся и побежал рядом с ними. Они вдруг бросили марш, прекратили песню, окружили его. Алеша сказал:

— Пой с нами, крошка!

Павел Варавва что-то галдел ему в глаза, но и другие галдели и смеялись. Алеша обхватил его руками, попробовал поднять, беспомощно запрыгал в изнеможении. Это всем понравилось, завозились все вокруг Сергея, пыхтели, покрикивали, делали вид, что поднять Богатырчука невозможно. Все это представление очень понрави-

лось девушкам, они смеялись до беспамятства. Сергей, наконец, «разозлился», сам поднял в воздух Алешу, все остальные в той же издевательской беспомощности бросились в стороны. Богатырчук поставил Алешу на мостовую, ласково одернул его шинель и спросил недоуменно:

— Да, Алеша! Я смотрел-смотрел! Нет, понимаешь, ни одного толстяка!

— Нет толстяков? А в самом деле?

Алеша оглянулся по улице:

— А и в самом деле! Степан! Где это толстяки подевались?

— Толстяки? А им здесь пива не варили,— они дома сидят.

— А знаете? — Павел расширил глаза.— И реалистов нет! И вообще... чистой публики!

Чистой публики было действительно мало, разве девушки-учительницы да несколько франтовитых приказчиков нарушали это общее впечатление.

Степан торжествовал:

— Во! Один народ! Товарищ Нина, ты обрати серьезное внимание! Один тебе народ, без всякой порчи!

Нина подошла к Степану, тронула пальцем его шинельную грудь:

— Степан Иванович! А я... тоже народ?

— Ты? Да ты самый первый народ! Ты, Нина, брось про это даже и думать! Как же это так можно,— равнять себя с разной сволочью, которая сейчас под кровати залезла, а начнем вытаскивать, так она еще и плакать будет.

Нина о чем-то вспомнила, улыбнулась Степану благодарно и вздохнула.

38

Потом начался пленум, начался прямо на балконе, как никогда еще не начинался. Никто не стал считать голосов и поднятых рук, и у всех была одна душевная

радость. И на балконе, и внизу на многотысячной улице, и в словах большевиков, и в приглушенных вздохах солдат первой роты, и в девичьих внимательных глазах, и в изломанных морщинах стариков, и в улыбке Алеши была одна мысль о всем народе, о проснувшейся России, и перед каждым воображением здесь, в этом городе, стоял далекий и родной Петроград, и в нем — победоносная воля и творящий разум Ленина. А в конце митинга ворвался на балкон Муха, толкнул оратора, сунул бумажку в руки Богатырчуку, и перед всем народом Богатырчук рассмеялся, как дитя, и не мог уже остановить радости в голосе, когда читал громко декреты о земле и о мире. Штыки над шапками солдат заволновались тоже, и самые плечи расправились, и распахнулись шинели. Степан рядом с Алешей подбросил плечом винтовку, рот открыл, двинулся вперед на соседа, сказал хрипло:

— Закон, Алексей! Слышишь, новый закон?

Наверное, он плохо расслышал: столкнулся с соседом башкой, заговорил, бросился назад, ухватил Алешу за рукав:

— Мир объявили! Слышишь, Алеша, мир с немцами!

— Да слышу. Чего ты танцуешь?

— Да разве так слушают? Стоишь, как статуя!

Алеша командирским взглядом смерил Степана:

— А как нужно стоять? Первый наш закон! Стоять смирно нужно, а ты егозишь, как на ярмарке!

— Не выходит смирно, Алешка! — Степан облапил его одной рукой, на них кругом зашикали, потом оглянулись, потом засмеялись, всем была известна крепкая дружба этих двух людей, и всем было приятно видеть их дружеское торжество.

После митинга Алешу и Насаду пригласили на заседание только что организованного ревкома. Советская власть в городе сделала первые шаги.

На улицах долго еще было людно и шумно. Даже и дыхание первых соседних морозов как будто смутилось: к вечеру стало тепло и душисто, ласковый воздух остановился под звездным небом.

На улице у парка еще не зажигались фонари, по дороге домой люди сумерничали — разговаривали тихо,

а громко только смеялись и перекрикивались между группами. На Кострому возвращались уставшими от событий, предвкушая, как дома будут рассказывать о Петрограде, о мире и о земле. Казалось людям, что за парком еще живут по-старому и еще не хорошо знают, как нужно жить с сегодняшнего дня.

И как раз с Костромы, навстречу возвращавшимся потокам людей, из мрачного молчания парка начала просачиваться тревога. Сначала трудно было разобрать, откуда она идет. Кто-то впереди что-то услышал, кто-то встречный кому-то шепнул. В отдельных группах родились слова:

— Да не может быть!

— Давно стоят?

— А почему в городе не знают?

После митинга Красная гвардия разделилась на части, и у каждой было свое дело. Небольшие группы остались в городе для охраны отдельных пунктов.

Алеша стоял на высоком ампирном крыльце отделения Государственного банка и смотрел на проходящую внизу публику. Он только что помирил свой красногвардейский патруль с нарядом милиции. Милиционеры очень обижались, что не доверяют им одним охрану банка, кричали:

— А мы кто, по-вашему? Мы меньшевики, по-вашему?

Начальником караула оставался старый Котляров, и его медвежья добрая ухватка помогла успокоить милиционеров:

— Чего вы ерепенитесь? — сказал Котляров.— В такую ночь нужно всегда в компании! Как на пасху! Весь народ вместе. Часовые пускай себе стоят, а мы поговорим, чайку попьем, вы нам расскажете, мы вам расскажем.

Не везде в караулах, расставленных в городе, были такие ладные начальники. Алеша решил еще раз обойти и проверить, все ли там благополучно. В два часа ночи его должен был сменить Павел Варавва. Полчаса тому назад он отправился на Кострому вместе с Ниной и Таней.

Алеша стоял на высоком крыльце и, по привычке опытного дежурного по караулам, стягивал пояс на одну дырочку. Вспоминал с некоторым волнением, как после митинга из здания Совета вышел Петр Павлович Остробородько и, словно из засады, подошел к Нине. Нина встретила его побледневшим лицом. Он пожевал перед ней дрожащими губами и, наконец, сказал раздельно:

— Че-пу-ха! Демагогия! Бед-лам!

Нина не ответила ему. Петр Павлович покосился на Алешу, повернулся, забыл, что перед ним только что была его дочь, и побрел сквозь толпу. Нина проводила его взглядом, взяла Алешу под руку, молча прижалась к его плечу.

— Ничего, Нина. Почудит старик и перестанет.

Алеша сейчас вспоминал, как по-детски Нина потерлась подбородком о воротник жакета и прошептала:

— Нет, он не перестанет.

Алеша думал о том, перестанут топорщиться такие чудаки, как Остробородько, или не перестанут. Думал и смотрел на тротуар вниз. И на тротуаре узнал знакомый блеск выразительных глаз Павла Вараввы. Не могло быть сомнений: что-то случилось.

— Алеша, ты здесь?

— Что такое?

— Нехорошо. Смазчик Ворона приехал с товарным. На Колотиловке стоит Прянский полк.

Алеша схватил Павла за борт пальто:

— Что? Прянский полк?

— Да. Говорит Ворона, второй день стоит.

— Да врешь! Прянский полк на румынском фронте.

— Алеша! Я же сам не был на Колотиловке! Ворона рассказывает. Я его пять минут за воротник держал. Говорит, хорошо разобрал: Прянский полк стоит. С офицерами, две пушки!

— Почему стоит?

— Боится в город идти. Большевиков боится.

— Большевиков боится? Черт! Да что... целый полк?

— Ворона в этом не разбирается, где там полк, а где дивизия. Говорит, один большой эшелон. И паровоз держат.

— Где же этот Ворона? Почему ты его не привел?

— Ведут. Твой Степан его тащит. Выпросился у меня жене сказать. А я вперед побежал.

Алеша быстро, чуть пошатываясь влево, сбежал с крыльца. Вспомнил, что палка осталась в караулке банка, но было уже некогда:

— Скорее! Хорошо, если они еще в Ревкоме.

39

В Ревкоме еще заседали, когда пришли Алеша и Павел. Муха поднял глаза на вошедших:

— Что у вас случилось?

Варавва заволновался, замотал правой рукой:

— Какая-то история, черт его знает! Прянский полк на Колотиловке. С полком офицеры.

— Прянский полк? С фронта? Чего?

— Сейчас Ворона придет, смазчик. Он был на Колотиловке.

Муха посмотрел на Богомола:

— Ты знаешь что-нибудь? Почему Прянский полк?

Посмотрели и другие. Насада мрачно глянул красивыми глазами, поднялся за столом:

— По глазам вижу, знает.

Богатырчук хлопнул ладонью:

— Да что за история? Вызывали, что ли, полк с фронта? Или как? Для чего здесь полк?

Черноусый Савчук, машинист с лесопильного завода, сказал негромко:

— Да, может, сплетни?

— Знает! Богомол знает! Говори, чего же ты молчишь?

Богомол серел еще больше под общими взглядами, напрягал скулы и потел, пот заливал его глаза:

— Ничего определенного не знаю, товарищи.

— А неопределенное?

— Ходили слухи, письма кто-то получал, говорили, что Прянский полк снялся с резервной позиции. Просто не верили.

Стало тихо. В тишине поднялся за столом Семен Максимович, внимательно осмотрел лицо Богомола, сказал строго:

— Нечего слова тратить, Богомола арестовать, удалить. Где Ворона?

Оглянулись на дверь, и в дверях увидели Ворону и Степана. Ворона, маленький, нечесаный, в длиннополом сюртуке смазчика, тяжело дышал, со страхом приковался взглядом к сердитому лицу Семена Максимовича.

Богатырчук загремел стулом, передернул слева направо свой пояс на синей рубашке:

— Иди, Богомол. Алеша, подержи его в караулке.

Богомол вытирал платком потное лицо. Его волосы тяжелыми неряшливыми прядками торчали над ушами. Алеша выжидательно остановился у дверей. Богомол вышел из-за стола, остановился, задумался, платок забыл спрятать. Потом как будто опомнился, протянул руку с платком к Богатырчуку:

— Да что вы, товарищи?

Алеша открыл перед ним дверь, Ворона отскочил в сторону. Степан вытер рукавом усы, но ничего не сказал. Шатаясь, Богомол вышел в коридор, за ним вышел и Алеша.

Прошли на лестнице первый поворот. Им навстречу подымался скучный слабенький старичок, широко ставил ноги на ступени, покашливал:

— Кому теперь здесь?

— А что?

— С телеграфа.

Телеграмма была адресована председателю Совета.

— Давай.

Алеша расписался в книге. Старичок сказал:

— Вот спасибо. Трудно по лестницам ходить-то.

Богомол терпеливо ждал на повороте лестницы. Старичок, так же широко расставляя ноги, отправился вниз. Алеша еще раз глянул на адрес. Там было написано: «Из Колотиловки».

Он крикнул строго Богомолу:

— Назад!

Богомол испуганно полез кверху.

— Да скорее! — крикнул Алеша и с досадой оглянулся: арестант все орудовал своим платком. Алеша подбежал к дверям, открыл, Богомол дернулся вперед, как под кнутом.

— Чего это? — Богатырчук смотрел на Алешу. Алеша протянул ему телеграмму.

Богатырчук вскрикнул:

— Из Колотиловки?!

Все вскочили, кроме Семена Максимовича,— затихли, вытянув шеи. Кто-то шепнул:

— А Богомол?

Семен Максимович ответил негромко:

— Пусть послушает.

«Председателю Совета Рабочих Депутатов Прянский полк вступает город завтра двенадцать часов тчк Немедленно сообщите готовность казарм довольствия тчк Красной гвардии сдать оружие коменданту станции тчк Исполнение телеграфьте немедленно срочно выезжайте Колотиловку

Полковник Бессонов».

Богатырчук опустил руку с телеграммой и оглядел присутствующих. Семен Максимович по-прежнему сидел у стола. Все почему-то смотрели на него.

— Ничего,— сказал Семен Максимович и потянул бороду книзу, еще раз потянул, поднял другую руку, расправил бороду и волосы пригладил,— ничего, это чепуха.

Степан закричал:

— Верно говоришь, отец!

Муха всполошился:

— Как — верно? Семен Максимович! Полк ведь! Куда мы годимся? И явная контрреволюция. Сколько офицеров, говоришь?

Ворона ответил:

— Девять офицеров, это я хорошо посчитал.

— Видишь?

Семен Максимович через плечо посмотрел на Муху:

— Григорий! Стыдно говорить: девять! Ну так что? Смотри: один, два, три...

Он пересчитал девять пальцев, показал их Мухе и одним из них тут же провел по усам.

И всем вдруг стало весело. Степан еще громче закричал:

— Вот спасибо, папаша!

Семен Максимович строго посмотрел на Степана и перевел тот же строгий взгляд на Богомола:

— А по депеше видно, сговорились с полковником!

Богомол передернул губами и повернулся к Семену Максимовичу боком.

— Убери его! Алексей, заснул?

Алеша посмотрел на отца с укором, для него было дорого каждое слово, сказанное в этой комнате. Но укор не произвел никакого впечатления, и Алеша со злостью решил наверстать на быстроте выполнения. Он довольно грубо толкнул Богомола в плечо и с радостью увидел, что приобретенная благодаря этому толчку скорость Богомола совершенно удовлетворительна: ему пришлось даже догонять Богомола в коридоре.

Кажется, Алеша ничего не потерял. Когда он возвратился, Муха настаивал на своем:

— Сергей, как это можно? Требуют сдачи оружия! Как же можно пустить их в город? Надо встретить.

Насада отставил цигарку подальше от глаз, и все-таки дым попадал в глаза, он часто моргал и недовольно кривил губы:

— Если там полк, да еще пушки, да еще пулеметы, безусловно, десяток, нам не с чем встретить в поле. Семен Максимович верно говорит.

Муха горячился:

— Как это — верно? А я предлагаю: идти на Колотиловку, разобрать пути, драться! Сражаться!

Семен Максимович сейчас был в самом хорошем настроении:

— Сражаться! Какой ты Суворов! Тебе обязательно — сражение!

— А что делать?

— Да всякий разумный человек скажет, что делать.

— Так я говорю, а вы никакого внимания.

— Я сказал: разумный человек!

И Муха засмеялся вместе со всеми. Положил руку на плечо старика:

— Семен! Что же ты меня в такое положение ставишь? А они меня за разумного считают. Ну, хорошо, ты старше, говори, что делать!

— Я тут у вас советчик какой. Пускай вот Сергей говорит, он и в губернии бывал, и в Петрограде, а я плохой еще исторический деятель.

Сергей поставил одну ногу на стул, наморщил молодой лоб, который еще неохотно морщился:

— Семен Максимович верно сказал. Мы не знаем, сколько там солдат, чего они хотят. Переговоры с ними трудно наладить, а с офицерами разговаривать нечего. И сражение — нехорошо, да и сражаться в городе будет неудобно: обозлим солдат да и только. Надо послать разведку. Степан Колдунов для этого, правильно, самый подходящий человек, он и посмотрит, и с солдатами побалакает. А нам здесь в городе сидеть тоже нельзя. Семен Максимович правильно говорит: стянем и роту, и Красную гвардию в парк, пускай они выгружаются, посмотрим, что за народ приехал. Ворона, не слыхал, у них есть полковой комитет?

— Говорили, есть, да только я не видел.

Насада недовольно махнул рукой:

— Комитет тут без дела. Если даже имеется, все равно в руках у офицеров.

— Вот видите? Так будет хорошо: Кострома выйдет вроде как база. Посмотрим. Если наша сила — пойдем на них из Костромы. Если там действительно полк, да еще с пушками, да если у них дисциплина и все такое, что ж... придется ждать помощи...

Савчук слушал, слушал и, наконец, взмолился:

— Да что они там, офицеры эти, болваны какие или что? В нашем городе они сверху будут, а вся Россия как? Они что, без понимания?

Степан ответил, как специалист по подобным вопросам:

— Ты их, товарищ, не знаешь! Они и привыкли всю Россию в руках держать. А сейчас соображают: не только в нашем городе, а и везде так: может, они не один полк направили с фронта. Воображают, понимаешь? А воображать нечего, конченое дело.

— Читают же они газеты? Грамотные!

— У нас говорят: грамотный,— был два раза на базаре да раз на пожаре. Такие и они грамотные, они тебе и в газете ничего не понимают.

Муха сдался:

— Пожалуй... осмотрительнее будет, а только им что-нибудь ответить нужно. Такое!

Богатырчук сразу взялся за карандаш:

— Вот так:

«Колотиловка Прянскому полку вашему вступлению в город не препятствуем Совет».

— И хорошо,— Семен Максимович поднялся,— Степан, отправляйся без проволочки. А Насада и Алеша свое дело делайте. Милицию оставьте в городе, а Красную гвардию и роту тащите к нам.

И Алеша и Насада вытянулись, приложили руки к козырькам.

Богатырчук улыбнулся Алеше:

— У тебя найдется лишняя винтовка?

— Найдется для друга.

40

Было десять часов вечера, когда последняя группа первой роты прошла через парк и направилась к зданию школы. Насада и Муха успели поговорить с каждой группой. Все солдаты перейти на Кострому соглашались с заметным подъемом и даже с интересом, но в то же время все утверждали, что тревога напрасна, что Прянский полк ни за что не будет сражаться.

Как-то так вышло, что возле Мухи постоянным помощником пристроился Еремеев. На нем широкая и длинная шинель, левый ее рукав болтается у самого колена, а правый собран в сложных складках, потому что в правой руке Еремеев держит винтовку. Фуражка на Еремееве замасленная и худая. Сам Еремеев был сегодня очень оживлен, везде поспевал и на все отзывался косоватым курносым лицом. Он всегда оказывался позади Мухи и всегда удачно находил момент, чтобы сказать и свое слово.

— Товарищи! Раз они просят, мы должны идти, сказать бы, на защиту рабочего класса. И мы с удовольствием. А только это выходит как бы в гости, потому этот самый Прянский полк, он не пойдет воевать, ни в котором виде не пойдет. Против советской власти он не пойдет воевать, известно, как солдаты. Сегодня он солдат, а завтра ему землю получать по новому закону, и воевать ему некогда. Землю ему из рук товарища Ленина получать, и за офицеров ему воевать невозможно...

Солдаты выслушивали его речь с добросовестным вниманием, но по их лицам было видно, что больше всего их радует его ораторская прыть, а самые мысли Еремеева для них не представляют ничего существенно нового. Потом они вскидывали винтовки на ремень и окружали Муху. По дороге к парку разговаривали о своих солдатских или крестьянских делах и только изредка кто-нибудь бросал едкое слово:

— Золотопогонные, видать, обратали прянцев-то этих...

— Ничего не обратали. У людей свои мысли.

— Хе! Смехота! Прянцы! Одинаковый народ! Что и мы!

У школьного здания было интересно. На дворе подымала искрящийся дым походная кухня. На крыльце и на стволах дубов, лежащих у забора, сидели уже девицы. Первым рыком вздохнула гармошка. В классах кое-кто располагался на ночлег, другие еще сидели на разостланных шинелях и беседовали. Акимов ходил по классам и объявлял:

— Товарищи! Никуда не расходиться,— может быть тревога. До утра на линии дежурит первый взвод.

Ему кричали вдогонку:

— Пускай там с линии прянца одного приведут,— посмотреть бы.

— На линию! Черт их, заводится что: линия! Сказать бы с буржуями, а то прянцы!

На Костроме происходило невиданное движение. Многие спешили в школу познакомиться с солдатами первой роты, красногвардейцы собирались в заводском комитете. Здесь же сидел и Богомол, а у крыльца стоял его автомобиль, теперь принадлежащий Ревкому.

41

На опушке парка, обращенной к городу, уже стояли вооруженные люди: слева — первый взвод роты, справа — первый взвод Красной гвардии. На площади, уходящей к самому вокзалу, и на улице, освещенной фонарями, выставлено было сторожевое охранение. Алеша и

Насада прошли по всему строю, покурили у парковых ворот. Потом Насада сказал:

— По солдатскому порядку, пойду кашу есть. И посмотрю. А ты здесь побудешь?

— Добре.

Насада исчез между деревьями.

Справа слышался разговор и блестели огоньки папирос. Алеша сел на дубовый пень, выросший из одного корня с могучим стволом, может быть, и в самом деле помнившим Потемкина. Посмотрел вверх: листьев почти не осталось, переплет ветвей пересыпан был звездами. Тишина.

Вперед убегала линия фонарей улицы, слева сквозь деревья привокзального сквера тоже блестели огни. Там посвистывали паровозы, в городе иногда рождались трамвайные звоны, далекая дробь кованых колес. Город жил, как всегда, и в то же время и над ним нависла особая, тревожная тишина. На улице, сколько хватает взгляд, не видно было ни одной тени человеческой, никто не направлялся на Кострому, а с Костромы четверть часа назад воровским манером тихо вынырнула из парка и затарахтела по мостовой бричка, запряженная парой,— это отправился в город Пономарев с женой. Алеша проводил бричку ревнивым и беспокойным взглядом: было досадно, почему ее прозевали. Сегодня Пономарев вызывал у Алеши враждебное и горячее нетерпение.

Над городом горели звезды, над крышами стояли веники деревьев, внизу над тротуарами курчавились еще акации, крыши города терялись во мгле — не то черные, не то серые. Под крышами сидели люди. Это были обыкновенные люди, занятые своими делами и своей жизнью. Сегодня они приветствовали новые дни России, только несколько часов назад они румяной улыбкой встречали рабочую власть, а с балкона смотрели на них и непривычно, и благодарно, и сурово хмурились и Муха, и Семен Максимович, и Богатырчук, и другие люди с обветренными лицами и с темными руками, привыкшими к работе.

Население этого города уже научилось радоваться свободе, но ему и в голову не приходит, что оно может защищать свободу. Оно сидит под крышами и ожидает, что будет дальше. Есть там люди, которые предаются

грусти и растерянности, другие предаются испугу, а много есть и таких, кто просто не умеет прийти и сказать: «Дайте и мне винтовку». Кто не держал в руках винтовки, тот не всегда способен взять ее в руки. Кто никогда не защищал себя, тот не может сказать: «Я не позволю». И кто привык по зернышку собирать радость, тому трудно рискнуть жизнью в борьбе за большое счастье.

Чувство горячей и светлой гордости волной захватило душу. Алеша поднялся с пенька, тронул рукой кобуру револьвера, отстегнул в ней застежку. Он сделал несколько шагов вдоль опушки парка, под ногами у него сухой бурьян молча пригибался к земле. Стволы деревьев туманными полосами отражали огни города. За деревьями в темной ночи сейчас жила и бодрствовала Кострома. Алеша представил ее всю: все хаты, крыши, крыльца, дорожки. И в каждой хате знакомые лица, и в каждой хате прожитая жизнь, изношенные мускулы, привыкшие к несправедливости простые люди. Как замечательно, без речей и позы, даже без мысли о героизме эти люди подняли на свои плечи дело нового человечества. Сейчас они сидят в своих кухнях, при керосиновых лампах, говорят нехитрые слова и улыбаются, в руках у них винтовки и винчестеры, они готовы встретить тревогу. Может быть, через полчаса на улицах Костромы засверкают огни выстрелов, залают пулеметы, может быть, здесь произойдет одна из тех трагедий, которых так много было в истории.

На запад уходил город, а за городом — тонкая нить железнодорожного пути, и в конце ее — какая-то серая Колотиловка, а на Колотиловке — враги. Все это казалось безобидным и выдуманным. Такой же безобидной для глаза казалась западная даль на немецком фронте. Но Алеша не хотел уменьшать для себя представление об опасности. Судя по тону телеграммы Бессонова, дело на Колотиловке могло быть организовано и всерьез. Десяток офицеров во главе полка, если эти офицеры толковые люди,— это большая сила и большая власть. Если солдаты у них в руках, если в руках у них еще и револьверы, если вокруг офицеров два десятка дельных унтеров, полк кое-что может сделать, пока солдаты откроют глаза. Может быть, этот полк не так и одинок. Кто его

знает, что там происходит сейчас на фронте? Может быть, на каждый город двинулся сейчас такой полк, составленный из таких же темных, послушных людей. Румынский фронт, говорили, сохранил дисциплину. А вести найдется кому.

Алеша ясно вообразил трагическую обиду господ, офицеров, политиков, буржуев. Да это и не только обида. Это катастрофа, гибель, они думают, что это гибель культуры, их культуры, вековой, приятной, счастливой, оборудованной стихами, комфортом, гордостью. С какими горящими глазами, с какой злобой, с каким «честным» возмущением они должны подняться на защиту. С каким высокомерным, уязвленным и брезгливым негодованием они должны оскорбиться этой попыткой потных и грязных «мастеровых» и мужиков вычеркнуть их из жизни.

И вот они уже двинулись на защиту. Веками они научились это делать руками тех же мужиков. Метод, так сказать, не новый, раньше он приводил к успеху.

Против них сейчас стал Алеша, стал на краю черного парка и поставил свою жизнь. Он это сделал потому, что так сделал весь народ, иначе сделать он не мог,— это было так же естественно, как естественна сама жизнь. И поэтому у него не было ни страха, ни отчаяния, не хотелось ему в беспамятстве повторять: «Что я могу поделать». В этот момент он ни за что не взял бы в руки карты для преферанса, и не было надобности сейчас ни в какой чести, чтобы притушить страх. Было проще и прекраснее: великий русский народ, многоязычные миллионы трудовых людей, связавших свою судьбу с Россией, на беспредельных пространствах Европы и Азии встали против господ, назначили Алеше вот этот важный участок, вот этот парк, эту Кострому.

Алеша оглянулся вправо, влево. И вправо и влево расходились просторы России. Стена горизонтов как будто раздвинулась, Алеша ясно представил себе Ленина: Ленин стоял на краю огромного, туманного города и видел всю Россию, потому что он велик. В туманном городе раскатывался гул человеческих миллионов, перемешанный с набатом, и каждое слово Ленина было все-таки слышно ясно и отдельно. И Алеша слышал это слово, и стало досадно, что вдруг кто-то помешал ему. Родивший-

ся в ночи, раздвинулся, разлился над горизонтом, раскатился за рекой уничтожающий, тяжелый и круглый грохот. Алеша вдруг понял, что это артиллерийский выстрел. Пораженный, он бросился вперед и сейчас же узнал в себе то привычное состояние, которое бывает перед разрывом. Разрыв зазвенел над городом, и вдруг оказалось, что в городе есть высокие, ярко-белые здания. Алеша побежал к своим. Ему навстречу зашумели встревоженные голоса, а за его спиной взорвалось новое эхо. Но Алеша уже не оглянулся. Он сдержанно-громко приказал:

— Все по местам! Прекратить курение! Полный порядок, товарищи! Самое главное: никакой воли нервам!

Кто-то ответил счастливым тенором:

— Понимаем, товарищ Теплов.

Алеша быстро пошел к солдатам первой роты. Из кружка собравшихся у ворот отделился Еремеев и побежал к нему навстречу:

— Товарищ Теплов, стреляют!

Еще грохот за городом. Еремеев остановился и задрал голову. Разрыв ударил в конце улицы. Еремеев перевел остановившееся лицо на Алешу.

— Стреляют, говоришь? А я и не слышал...

У ворот засмеялись. Еремеев не понял сначала, потом обрадовался, перекосил рот еще больше:

— Да какое же они имеют право! А? Против народа — с пушкой, значит?

— Занимайте места, приготовьте винтовки. Товарищ Еремеев, порядок!

— Да я понимаю, дорогой мой!

Еремеев побежал бегом к своему месту. Алеша обернулся к городу, ждал. Больше выстрелов не было. В городе замолкли трамваи, перестали свистеть паровозы.

Алеша глубоко вздохнул. Было на душе ясно и ослепительно чисто. Он на своем месте, вопросов никаких нет.

42

Капитан прибежал первым и удачно налетел на Алешу. Он вынырнул из парка небывало стремительный и подвижной, даже нос его и усы уже не перевешивались

вперед. Капитан схватил Алешу за борт шинели и захрипел:

— Видите, у них артиллерия, видите?

Он осмотрел линию опушки парка:

— Ах ты, черт! Прекрасная позиция, но... нельзя же... ни одной пушки! А у них две. Одна старая, а другая, видно, только с завода.

— Да вы откуда знаете?

— Так слышно же! Неужели они по Костроме будут бить? Не может быть!

— А помните, Михаил Антонович, вы говорили: артиллеристы стрелять не будут. Стреляют все-таки?

— Какие там артиллеристы! Гадина какая-нибудь стреляет!

В парке уже шуршали шаги. Насада подошел, перетянутый ремнями. Блестя глазами в темноте, из-за его спины вынырнула Маруся и толкнула Алешу в руку:

— Товарищ Теплов, ваша мамаша сказали, вам передать чтой-то.

— Что передать? Слово какое?

— Да не слово, а вот, саблю сказали передать.

Алеша, наконец, разобрал, что в руках у Маруси его шашка. Алеша взял ее в руку, ощутил холодный металл эфеса и ласковый, тоже прохладный шелк темляка. В этом ощущении было что-то такое, как будто он вспомнил детство:

— Спасибо, Маруся!.. Как там она?

— Мамаша вам приказала кланяться. Они ничего... А потом меня так... за щеку взяли и говорят: ничего, не бойся, все равно господам конец.

Насада повернул Марусю за плечо:

— Красногвардеец, катись, красавица, на свое место.

Маруся убежала влево, туда, где уже слышен был голос Павла Вараввы. Алеша пристегнул шашку и улыбнулся, подумал: «Мать посвятила меня в рыцари». Насада присматривался к городу:

— Тебя мать саблей благословила? Это хорошо. А только, думаю, рубить тебе никого не придется. Сюда они не пойдут ночью.

Алеша задумался:

— Важно знать, как они в город вступят. Из пушки это они для впечатления палили. А вот, как вступят?.. Михаил Антонович, как далеко стояли орудия? Километра два?

— Да, не больше двух.

— Значит, стреляли от семафора, немного дальше. Если они выйдут из вагонов у семафора и пойдут на город в боевом порядке, обязательно сюда доберутся, придется пострелять. Если же на вокзал по рельсам вкатятся, тогда ничего страшного, просто отправятся в казармы. Тогда до утра можно спать спокойно.

— Почему так думаешь?

— Не знаю почему. Впрочем, знаю. Как тебе сказать: если они влезут на станцию, значит — в военном отношении они ничего не стоят или нас не считают за противника. Станция ведь в центре города. Мы здесь могли бы их голыми руками взять, особенно, если бы пулеметы...

— Да, может, они знают, что у нас пулеметов нет.

— Ничего они не знают. Подождем Степана, он что-нибудь расскажет.

Вместе с Мухой из парка вышел Семен Максимович со своей палкой. Он молча стал рядом с Алешей, посмотрел на город. Муха сказал тихо:

— Притаились горожане-то!

Семен Максимович спросил:

— Алеша, Степан не вернулся?

— Нет.

— Его там еще сцапают...

— Нет, Степан — старый разведчик.

Капитан шагнул вперед, протянул руку:

— Тихо! Слышите? Входит состав на станцию.

— Входит,— подтвердил Муха.

Алеша пошел к отряду.

Красногвардейцы стояли между деревьями опушки и все смотрели на огни вокзала. Старый Котляров прислонился к стволу, повернул голову к Алеше:

— Там девчата перевязочный пункт приготовили.

— Знаю.

— А я отправил Марусиченко носилки делать. С ним еще два парня. Они это дело наладят. Как думаешь, пойдут на нас?

— Нет, сейчас не пойдут.

— Если сейчас не пойдут, так и совсем не пойдут.

— Почему?

— Солнце взойдет, народ увидит, в чем дело, солдаты эти...

— Хорошо, если бы так...

— Вот увидишь!

Алеша пошел дальше. Груздев вышел из-за дерева и столкнулся с Алешей.

— Милый мой, хороший юноша,— Груздев взял его за плечи.— Как это хорошо, что я тебя увидел. А то все скучал, сына вспоминал. А я как сына вспомню, так и тебя сразу.

— Спасибо, Иван Васильевич!

— Жалко, сын не дожил до такого дня. Лучше бы ему сегодня умереть. Ну, ничего, я, может, сегодня кого-нибудь... уложу. Уложу, как ты думаешь?

— Сегодня едва ли. Завтра, может, и придется пострелять...

— Жаль...

Подошел Павел, какой-то весь ладный, довольный, добродушно-серьезный, хотел обнять Алешу, зацепился за шашку:

— Ты с саблей?

— Да это... Слушай, Павел, надо сделать срочно: двух человек послать на вокзал.

— Без оружия?

— Никакого оружия. Посмотреть умненько и сейчас же назад. До сторожевого охранения я проведу.

— Головченко и Митрошка.

— Митрошка хорош, а Головченко тяжел.

— Тогда Рынду.

— Верно. Давай их сюда.

Рында и Митрошка Ладейкин через минуту уже стояли перед Алешей.

— На станцию, что ли?

Оба они были слесаренками на заводе, оба маленькие, юркие, оба зубоскалы. Отличались друг от друга только тем, что Митрошка кругл и доверчив, а Рында заострен во всех направлениях.

— Отдайте ваши винтовки и идем

— И патроны?

— Обязательно.

— Забирай, Павло.

Вышли из парка и зашуршали сапогами по сухим зарослям заброшенной площади. Потом вышли на косую разъезженную дорогу, идущую к вокзалу. Сбоку от дороги тройка сторожевого охранения сидела на брошенном бревне и напряженно прислушивалась к тому, что делается на вокзале. Услышав шаги, вскочили.

— Не нервничайте. Свои.

— Слышишь, Алексей, шумят?

— Да. Ну, ребята! Осторожненько, под забором... И скорее назад. Я здесь подожду.

Митрошка и Рында свернули с дороги и побежали к железнодорожному забору слева. В беге они показались совсем малыми ребятами и скоро исчезли не то в зарослях бурьяна, не то просто в темноте. Алеша присел на бревно и прислушался. На вокзале что-то происходило: доносились голоса, неясный топот ног, стук колес. Звуки приходили сюда испорченными и приглушенными. В недалеком дворе тявкала истерическим дискантом собачонка.

Просидели молча минут пятнадцать и... вздрогнули: Митрошка и Рында выскочили как будто из-под бревна. Рында зашептал, оглядываясь на вокзал:

— Пошли по улице... солдаты.

— Много?

— Ой, и много!.. Я так думаю... больше тысячи!

— Не...— Митрошка завертел головой,— не! Тысячи не будет.

— Строем?

— Вроде как строем... С ружьями.

— А пушки?

— Пушек не видели.

— Народ есть на улицах?

— Ни одной собаки. Просто — как мертвый город. А только на станции, видно, встречали.

— Кто?

— Господа какие-то, человек пять. И лошади,— фаэтон. И еще коляски были... или как это...

— Офицеров видели?

— Как же... Офицеры. Кто пошел, а кто поехал. Погоны — это далеко видно.

— Не заметили! Не боялись входить в город?
— Да кого же им бояться. Пусто...
— Ну, добре... Идем к своим.

43

Семен Максимович сидел на том самом пне, на котором раньше сидел Алеша. Вокруг него стояли Муха, Богатырчук, несколько городских большевиков. Семен Максимович положил руки на крючок палки,— видно было, что устал. Но Алешу встретил весело:

— Ну, вояки, как там дела? Вам воевать, а нам с вами не спать приходится на старости лет.

Алеша рассказал о поиске разведчиков. Его слушали, не перебивая. Когда он кончил, Богатырчук решительно размахнулся:

— Черт бы их побрал, комедию какую-то ломают! Какое же это войско: даже разведки в город не выслали.

Муха поежился, он был в легком пальто:

— Та-ак! Значит, приехали! Тысяча человек! Много! Эх, если бы знать, как в других городах!

Савчук задумчиво накручивал ус, ответил Мухе:

— Во всех городах одинаково, везде есть враги, только выступают по-разному. А нам повезло. Целый полк. Как ты думаешь, Семен Максимович?

— Постой, не торопись.

— Да как, по-твоему?

— По-моему, ерунда все это. Господа разум потеряли. Ничего у них не выйдет.

Семен Максимович вдруг поднялся, наклонился вперед.

— У кого глаза молодые? Свистит кто-то...

Богатырчук сзади сказал спокойно:

— Саратовский философ шествует.

Степан Колдунов, действительно, шествовал. При свете звезд было видно, как, распахнувши шинель, вразвалку он шел по зарослям бурьяна, палкой сбивал головки молочая и насвистывал знаменитую песенку о коленочках.

Алеша зашипел на него:

— Да что же ты, голова, рассвистелся, как соловей?

Степан приподнял картуз, отвечал полным голосом:

— Ночь, Алешенька, хороша дюже, в хорошую ночь только и посвистать: на земли мир и в человецех благоволение.

Он пожимал всем руки и даже в темноте сиял прекрасным настроением. Чуть-чуть пахло от него спиртом.

— Ты пьян? — сказал Богатырчук.

— Не пьян, что ты, Сергей! Кружкой пива угостили солдатики, это верно.

— А у них и пиво имеется?

— Народ обстоятельный, бочку пива с собой везли. А раз бочка пива — надо ее выпить, не бросать же? Да и по скольку там пришлось, а все-таки спать хорошо будут, пиво... оно помогает.

Муха спросил саркастически:

— Так, говоришь, на земле мир?

— Мир, а как же! С немцами мир!

Семен Максимович недовольно повернул голову:

— Довольно болтать, как сорока. Рассказывай.

— Ох, прости, Семен Максимович, не заметил тебя, а то и сразу не болтал бы. А рассказывать буду сейчас, недаром посылали.

Степан сел прямо на землю против Семена Максимовича, подтянул рукава шинели к плечам, полез по карманам за махоркой и начал рассказ:

— Добрался я туда на паровозе. У них, у железнодорожников, этот паровоз называется резервом, не пойму только чего, просто себе паровоз. Бежал он на Спасовку, ну, я и прицепился: и машинист знакомый к тому же. В Колотиловку эту приехал, смотрю: действительно, эшелон,— один эшелон, а больше по всей станции ни одного вагона, да и людей нету, не то, что людей, а и собаки ни одной не видел, кроме начальника станции да стрелочника. Для чего такие станции строят, никак не разберешь.

Богатырчук нетерпеливо перебил:

— Вот... станция тебе нужна! Ты дело рассказывай!

— Да я дело и говорю, а дело все на этой станции. Солдатики по вагонам сидят скучные, слышу я, и песен не поют, помалкивают. Я прямо в один вагон и полез. Куда, говорят, лезешь, это не твой вагон. А я им отвечаю: все вагоны теперь мои, куда хочу, туда и ле-

зу, могу с полным правом выбирать себе вагон, который мне по душе. А они меня спрашивают, любопытно так спрашивают: а почему тебе этот самый вагон нравится? А я им отвечаю: в других вагонах навоняли здорово, а в этом воздух хороший. Ну, они, конечно, развеселились, хотя воздух у них и нельзя сказать, чтобы очень хороший был.

— Да перестань ты, ну тебя к черту! — сказал Богатырчук.

— Да к слову, Сергей, приходится!

— Говори дело!

— Дело и говорю. Они-то развеселились, а все-таки спрашивают, кто такой и чего мне нужно. А я отвечаю, как и на самом деле есть: солдат я, обыкновенный герой, как и вы, дорогие товарищи, а еду я к молодой жене, к отцу, к матери. Немцы меня не до конца покалечили, так, может, еще и пригожусь. А чего мне нужно, так то же самое, что и всякому хорошему человеку: еду землю получать от помещика по новому большевицкому закону. Тут они на меня и накинулись: какой закон, да почему закон! Вижу я это, народ они темный, никакой у них сознательности нет. Давай с ними разговаривать. Они что-то такое слышали про Петроград, только так, кончики самые, а дела настоящего не понимают. Ну... обрадовались. Как про землю услышали, здорово обрадовались, а как про мир с немцами, так и совсем у них отлегло: видно, у них душа все-таки скучала: легко сказать, с фронта целым полком ушли. А тем временем и я у них распытал, что за народ, куда едут и какого им черта нужно.

Дело маленькое. Расшибли их еще восемнадцатого июня, они тогда тоже были в послушании. Расшибли: кто в плен попал, кто убит-ранен, а больше просто разбежались с поля. Осталось их человек семьсот да офицеров с полдюжины. Отправили их куда-то там в тыл, пополняться, что ли. Пополняться не очень пополнялись, а больше скучали да домой собирались. А стояли на какой-то станции, людей не видели, доброго не слышали. А потом им и сказали: поезжайте в такой-то город, формироваться будете. Я вам так скажу, по моему мнению: народ у них остался так себе, постарше, да кадровиков больше, которые с первого года сохранились. И полк

этот, видно, у командиров хорошим считался, крепким, по-ихнему, генералы его и припрятали на всякий случай, пригодится, мол. И с офицерами у них мирно было, и все. Дали им состав, поехали они, а тут и обнаружилось, вроде как взбунтовались: никуда не хотим ехать, везите нас в наш город. А народ все больше здешний, кадровый, как я сказал. А кто не здешний, те по дороге соскочили, кому куда нужно. Сейчас их человек четыреста. А еще что: офицеры тоже здешние, значит, и думают, все равно ехать, так ехать, ближе к дому. Так и поехали. Начальство железнодорожное, ему что, только с плеч спихнуть. А подъехали к Колотиловке, им и сказали: большевики власть взяли в городе, покажут вам, как это — самовольно. Там-де и Красная гвардия. Я только потом разобрал, откуда такое: пристроилась к ним по дороге тройка офицеров, а главный самый — господин полковник Троицкий.

— Вот в чем дело! — протянул Богатырчук.— Старый знакомый!

Насада вскрикнул:

— Нашелся, значит!

— Вот же: нашелся. И другие, конечно, офицеры. У них, конечно, не столько пороху, сколько страху. А Бессонов, командир ихний, говорят: настоящий царский, только все старался солдатам понравиться. Большевиков боятся, про это и говорить нечего.

— А что же у них полковой комитет делает?

— Какой там полковой комитет? Три шкуры из унтеров, видно — хуторяне здешние, да прапор какой-то, эсер, говорят, а может, и другая какая сволочь. А офицеры там мало чего понимают. Видят, солдаты послушные, погон не срывают, на караул становятся,— ну, думают: за нас. А кроме того, и так размышляют: большевики власть захватили, так это на два дня, и солдатам так объясняют. И в Петрограде уже, говорят, нет большевиков, а генерал Краснов будто. И газету показывали, сами напечатали, что ли, уже не знаю, сам этой газеты не видел.

— Зачем стреляли? — спросил Алеша.

— Со страху стреляли, на всякий случай, эти самые шкуры да возле них которые. А потом кто-то к ним из города припер на дрезине, сказал: большевики ушли из

города. Так вот они и решили: давай еще и пальнем, крепче будет. Это они, когда уже к городу подходили. Паровоз, а перед паровозом две платформы и пушки. Смехота!

Семен Максимович крякнул:

— Так. А в городе как, встречали?

— Кто-то их повел в казармы. Да ни к чему. Вот увидите, к утру никого не останется. Все домой пойдут.

— А может, не все?

— Да может, какой дурак и останется, а то пойдут. По деревням своим.

— Да что ж, офицеры не знают про это? — Богатырчук недоверчиво оглянулся.

— А что ж ты думаешь? И не знают. Они думают: вот полк у них, и пулеметов десяток, и пушки. Чем не полк? Россию будут оборонять против народа. А я нарочно задержался: пушки те на платформах бросили. Я нарочно,— посмотреть. Оставили караул, только сейчас наверняка и караул этот разошелся, кто куда.

44

Это происходило около полуночи, а в два часа ночи Алеша уже был в плену и сидел один в пустой и ободранной комнате бывшей гарнизонной гауптвахты. Гауптвахта стояла рядом с собором, на небольшой круглой площади, обсаженной акациями в несколько рядов. Алеша видел в окно эти акации и белеющую стену старинного здания, называемого в городе штабом. Возле штаба горели фонари. Через каждые две минуты этот вид медленно перекрывался фигурой часового, проходящего мимо окна. На голове у часового была сложная шапка с опущенными крыльями. И эта шапка, и поднятый воротник, и распущенная сзади, без хлястика, шинель, и винтовка без штыка, повешенная на плече ложем кверху, все это даже в неразборчивом силуэте на фоне фонарей штаба производило впечатление беспорядка и тоски.

Тоска была и в душе Алеши,— тоска обиды и оскорбления. Как непростительно, глупо, смешно, он оказался просто мальчишкой, хвастливым желторотым мальчишкой! Ему люди доверили святое дело, а у него в ответ

на это нашелся только дурацкий легкомысленный задор. Дело оставлено там, в парке, и он выброшен из дела, как ненужный винтик. Если его даже убьют, то без всякой пользы для людей, без всякого смысла.

С ощущением, похожим на тошноту, Алеша представил себе, что̀ сейчас думают и чувствуют Богатырчук, Муха, Котляров, Насада, Акимов, Павел и около сотни мужественных и простых людей, которых он так мудро обучал военному делу. При воспоминании об отце у него останавливалось сердце.

Как это произошло? Алеша все не мог опомниться от неизмеримой глупости происшедшего.

После возвращения Степана прошло не более получаса, когда на освещенной улице, ведущей к парку, показались отдельные фигуры. Это были солдаты, некоторые с винтовками, другие без винтовок, но все обязательно с сундуками, или с мешками, или с чемоданами. Они направлялись к большой дороге, ведущей через парк на Кострому и дальше. Там, на старом, широком шляху, хорошо были всем известны большие села: Масловка, Федоровка, Березняки, Олсуфьево, Вятское, Сухарёво, а от них пошли дороги и дорожки к деревням и хуторам, к другим селам, и везде ожидали путешественников жены, матери, дети, и везде ожидала их революция, новые поля, отвоеванные у помещиков, новые дни, отвоеванные у истории.

У Насады с Богатырчуком сразу возник спор: можно ли пропускать этих людей на Кострому. Насада выступал как стратег и уверял, что недопустимо в тыл себе пропускать вооруженных людей. Богатырчук лениво поворачивался и улыбался презрительно:

— Очень им нужен твой тыл. Они спят и видят, как бы тебя окружить.

— А зачем они винтовки с собой тащат?

На это отвечал Еремеев:

— В хозяйстве винтовка всегда пригодится.

Семен Максимович сидел на пне и все смотрел на город. Он сказал Насаде:

— Не спорь, командир, пускай проходят: свои люди.

— Да ведь беспорядок, товарищ Теплов!

— Порядок потом наведем. Когда обед варят, всегда бывает беспорядок, а сядут обедать — ничего.

Солдаты подходили, весьма удивлялись военной обстановке в парке, дружески закуривали, охотно сообщали свой дальнейший маршрут и, только уходя, говорили:

— Напрасно беспокоитесь. Что мы, корниловцы, что ли? Мы тоже за товарища Ленина.

— А чего из пушек палили?

— Да это... дурачье... Дураков везде есть довольно.

— Врешь, голубь, офицеры вам на голову сели.

— Да, браток! На что нам офицеры. Всех вам оставляем, пользуйтесь, люди добрые... До свидания.

Они уходили в глубь парка, а на их место выдвигались на свет новые фигуры. Степану это нравилось.

— Гляди, Насада: говоришь, беспорядок. А штыки у всех спрятаны, ни один не торчит. Из этого народа толк будет.

Эти военные путешественники уничтожили ощущение военной тревоги и опасности. В парке закурили и заговорили громче. Кто-то пробрался на вокзал, оттуда вернулся запыхавшийся, увлеченный:

— Ни души! И пушки! Так и стоят на платформах.

Услышав это, капитан заволновался, зашнырял по парку, подбежал к Алеше:

— Возьмем пушки, чего же волынить!

— Завтра возьмем, на что они вам сегодня.

Семен Максимович тоже возразил:

— Разделяться нельзя. А по городу все равно стрелять не будете, Михаил Антонович?

— По городу?

— Ну, да! Помните, вы говорили: нельзя по городу стрелять.

Капитан так и не понял иронии. Он видел только существо вопроса и поэтому ответил просто:

— Если вы, Семен Максимович, скажете, я буду и по городу стрелять.

— По какому городу?

— Куда скажете, туда и буду стрелять.

— Спасибо, Михаил Антонович, а только подождем. Пушки все равно наши будут.

Тут же возле пенька устроили совещание. Без споров решили в три часа ночи наступать на город, захватить казармы, разоружить прянцев, которые еще оста-

лись, арестовать офицеров. Проходящие солдаты не скрывали, что полк разместился в казармах на Петровской улице. Штаб расположился в городской управе, туда и народ разный собрался: собираются угощать ужином господ офицеров.

Настроение у всех повысилось, все были уверены, что дело предстоит нетрудное. Один Алеша не вполне разделял такой оптимизм:

— Нельзя верить этим... проходящим. Он снялся потихоньку и побрел домой, а что у него за спиной, ему и дела нет. Сколько здесь прошло? Пятнадцать-двадцать человек. Пускай по другим дорогам — пять-шесть десятков. А остальные в городе. Не думаю, чтобы офицеры так легко спать пошли. Особенно Троицкий. Что-нибудь приготовлено.

— Да что приготовлено? — спрашивал Насада.

— Наверное, у них есть надежные взводы. И пулеметы кое-где поставлены. Без разведки идти нельзя.

Задумались, потом заспорили. Наконец, согласились: чтобы никого не встревожить, послать разведку без оружия,— просто себе люди идут: мало ли кому нужно в городе быть? А по главной улице лучше всего — с девчатами. Маруся и Варя пришли в восторг. Понравилось это и Алеше. Он решительно заявил:

— Замечательно. Девчата — еще молодые воины, всего не увидят, а пойду с ними и я.

Богатырчук возразил:

— Алеша, тебе не стоит, нарвешься на Троицкого.

— Не нарвусь. Троицкий сейчас ужинает и речи говорит.

А другим даже и понравилось.

— Он, конечно, разведку сделает. А по вокзальной Степан пускай.

Алеша быстро сбросил с себя ремни, шашку, шинель, стащил с Павла его старенький пиджачок, у кого-то с головы шапку, стал похож на мастерового. Револьвер сунул в карман пиджака.

Богатырчук на это переодевание смотрел с сомнением:

— Сапоги у тебя того... модные. И хромаешь все-таки. Троицкий тебя сразу узнает.

Семен Максимович, пока Алеша собирался в поход, ничего не сказал, но, когда Алеша с девчатами тронулись уже в путь, старик остановил его негромко:

— Алексей!

— Что, отец?

— Не на прогулку идешь, а на дело. В случае не вернешься, кто старшим будет?

— Как это «не вернусь»?

— Вот тут уже и я беспорядка не люблю.

— По Красной гвардии старшим остается Павел, а по всему нашему фронту — Богатырчук, как и был.

— Хорошо, иди.

Алеша весело кивнул, обнял девчат за плечи. Двинулись по улице. Им крикнули вдогонку:

— Он с девками и хромает меньше!

До первого перекрестка они дошли спокойно и не встретили ни одного человека. Варя шла тревожно, все вытягивала голову вперед и все старалась показывать пальцем. Маруся была в радужном настроении, ее приводили в восторг и лицо Вари, и ее палец, и протесты Алеши против этого пальца. Алеша не возражал: так получалось даже естественнее. За первым перекрестком, где начинался собственно город, они встретили двух солдат без винтовок. Солдаты прошли молча, а когда прошли, один из них спросил:

— Земляки, дорогу на Масловку не завалили еще?

Алеша ответил:

— Иди смело, дорога хорошая.

Маруся даже взвизгнула от удовольствия. Взвизгнула еще веселее, когда перед ними с угла на угол быстро прошла парочка.

— Ходят люди, ходят! И нам можно!

Не встретили никого до самого Совета. Оставалось три квартала до соборной площади. Нужно было посмотреть, что̀ происходит у здания управы, до которого оставалось несколько домов.

Перешли на противоположный тротуар. В здании управы светились два окна. Если здесь и был ужин, то, вероятно, уже кончился. У входа стоял часовой с винтовкой. На ступени под деревянным ажурным козырьком выходили по двое, по трое какие-то господа и направлялись в разные стороны, офицеров между ними не было.

В этом месте вообще было кое-какое оживление, по тому и другому тротуару бродили даже несколько парочек: очевидно, люди, воспрянувшие духом с приходом Прянского полка. Рядом с домом городской управы открыты были ворота, за ними — темный глубокий двор, и во дворе — голоса.

Алеша прошептал:

— Кажется, в том дворе пулеметы. Погуляем еще на той стороне.

Маруся ответила жарко:

— Погуляем! — И крепче прижалась к его руке.

Здесь уже неловко было обнимать девушек, заметнее стал Алешин крен. Он старался опираться на их руки, но это только ухудшало положение: они были гораздо ниже его ростом. Выходящие с некоторыми промежутками господа заняты были разговором, часовой скучно дремал, заложив руки в карманы и балансируя винтовкой под мышкой. Несколько подальше разведчики перебрались на другую сторону и не спеша прошли мимо ворот.

— Пулемет! — шепнула Маруся.

— И солдаты,— шепнула Варя и хотела показать пальцем.

Алеша поймал палец и спрятал в карман своего пиджака. Варя дернула рукой и тихо засмеялась. Алеша поднял глаза, чтобы посмотреть на нее, и увидел перед собой погоны полковника и лицо Троицкого, удивленно и радостно остолбеневшего перед ним. Алеша оттолкнул девушек в стороны и сунул руку в карман. Он дернул руку вверх, но револьвер рукояткой провалился в какую-то дырку в кармане. Алеша дернул сильнее и выхватил наган в тот самый момент, когда Троицкий выстрелил. В одно и то же мгновение Алеша ощутил ожог на кончике уха и услышал крик Маруси. Она бросилась к полковнику и схватила его за воротник, чуть-чуть Алеша не выстрелил ей в спину. Он опустил револьвер и быстро оглянулся. Из двора и от подъезда к нему бежали солдаты. Алеша поднял наган, но было уже поздно. Кто-то сильно сжал сзади его локти, другой рванул револьвер, потом вывернул, отнял. Алеша успел заметить, как Маруся мимо его колен отлетела на мостовую, успел крикнуть ей: «Уходи!», после этого он видел перед собой только лицо Троицкого.

— Я промахнулся? — спросил Троицкий, рассматривая Алешу в упор холодными, зеленоватыми глазами.

Алеша снова почувствовал, как горит у него кончик уха, ответил Троицкому с еле заметной улыбкой:

— Да, вы неважно стреляете, господин полковник.

Краем глаза Алеша все-таки посмотрел на мостовую. Как будто Маруси там уже не было. Вокруг них стояло несколько солдат.

Троицкий спросил:

— Почему вы в таком маскараде?.. Впрочем, пожалуйте, поговорим подробнее здесь.

Он рукой показал на подъезд городской управы. Из двери выскочил щеголеватый прапорщик и удивленно посторонился. Троицкий сказал ему, закладывая револьвер в кобуру:

— Господин прапорщик! Этого большевика нужно куда-нибудь запереть.

Прапорщик широко открыл глаза и беспомощно оглянулся:

— Да... я... сейчас узнаю.

— Узнайте. Мы еще поговорим.

Они вошли в полутемный вестибюль, прошли по широкому коридору. Троицкий предупредительно открыл дверь.

В большом кабинете, сильно заставленном мягкой мебелью, на широком диване сидело три человека в золотых погонах. Троицкий объявил, вытянувшись и двумя пальцами показывая на Алешу:

— Поручик Теплов: большевик!

Тонкий, узкий в плечах полковник, но с головой круглой и с мясистым, нездорово-бледным лицом, бритый, поднялся с дивана, пересел в кресло за столом, завертел в руках костяной ножик и только тогда поднял на Алешу уставшие круглые глаза.

— Поручик Теплов? Это... о котором говорили?

Троицкий захлопнул серебряный портсигар и ответил:

— Да. Сын токаря Теплова.

— Местный?

— Да.

— Ага! Оружие?

— Револьвер отняли. Здесь... у ворот... Намеревался выстрелить в меня.

— А-а! Вот как!

Около минуты полковник молчал, играл ножиком и посматривал на Алешу с каким-то неясным, но значительным интересом. Потом кивнул на кресло.

— Садитесь.

Голос у него был слабый, сорванный.

Алеша опустился в кресло. С удивлением почувствовал, что совершенно спокоен и заикаться не будет. Потом с обидой вспомнил: наган нужно было держать в руке за бортом пиджака. Забеспокоился о Марусе: удрала или захватили солдаты? Варя, наверное, убежала. Полковник все постукивал костяным ножиком по столу. Ручка ножика изображала голову совы.

— Где сейчас ваши красногвардейцы? Далеко удрали? — полковник слабо хмыкнул.

— Не знаю,— ответил Алеша.

Троицкий задымил, развалился в другом кресле:

— Он играл там какую-то роль. Инструктором были?

Вместо того, чтобы ответить, Алеша посмотрел на диван. Офицеры, полулежа, шептались.

— Вы не отвечаете? — полковник еще раз хмыкнул.— Я советую вам не воображать, что вы скрываете от нас вашу военную тайну. Этой тайне мы не придаем особенного значения.

Полковник уселся в кресле удобнее, боком, положил ногу на ногу, ножиком играла теперь только одна рука.

— Полсотни вооруженных мастеровых мы не считаем военной силой, завтра мы арестуем их жен, а мужья сами явятся. А рота запасного батальона,— вы же человек военный,— сброд! Интересно, куда они сбежали?

Алеша улыбнулся полковнику.

— Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста.

— Да, господин полковник, я хочу спросить.

— Пожалуйста.

— На что вы рассчитываете? Власть перешла к Советам...

— К большевикам?

— Да, к большевикам. Что же? В одном городе будет власть Прянского полка?

— То, что вы говорите,— бредни. Ленин, вероятно, сейчас уже арестован... Несколько хороших полков достаточно, чтобы с этим справиться. Разумеется, необходимо, чтобы этими полками руководили не изменники, подобные вам, а честные офицеры, способные отдать жизнь за Россию.

Алеша улыбнулся, наклонился к столу, положил ладонь на его сукно:

— Года три назад был у меня разговор на такую же тему с полковником Троицким. Отдавать жизнь за Россию нужно тоже... умеючи. Господа офицеры доказали, что они этого... не умеют... Хотят жизнь отдать за Россию, а отдают за всяких мошенников. Ничего из этого не выйдет, так же, как не вышло с немцами.

Полковник встал, бросил ножик, ножик мягко стукнул, подпрыгнул на сукне.

— Вы... довольно развязны, молодой человек. Неуместно развязны. Для вас этот вопрос уже не имеет практического значения. Завтра, правильнее сегодня, мы вас расстреляем за измену и за покушение на офицера.

Он пристально глянул на Алешу. Алеша крепко сжал резные ручки кресла, забеспокоился, не слишком ли он побледнел. Его легкие наполнились терпким, колючим холодом. Все-таки он заставил себя взглянуть полковнику в глаза. Полковник чуть-чуть наклонился к нему.

— Мне вас очень жаль. Вы еще молоды, и у вас хорошее лицо. А я, хоть и полковник, но, ничего не поделаешь,— тоже интеллигент, обладаю всеми недостатками русского интеллигента. Но... таких, как вы, нужно расстреливать. Это должно произвести хорошее впечатление на других. Так что... не обижайтесь.

Полковник развел руками, вытянул пухлые губы и вышел из-за стола.

— Военно-полевой суд соберется в восемь часов. А сейчас отправьте его куда-нибудь. Конечно... если вы пожелаете раскаяться совершенно чистосердечно и честно и поможете нам в дальнейшем как гражданин и офицер,— принимая во внимание вашу молодость и..., так сказать, влияние: сын рабочего... поверьте, это мы уважаем... как вы думаете?

Даже офицеры на диване повернули головы. Алеша встал с кресла, мельком глянул на диван...

— Вы слышали, что̀ я сказал?

— Слышал. Чистосердечно, вы говорите? Чистосердечно — я все-таки удивляюсь вашей авантюре и, простите меня, вашей... слепоте.

— Чудак!.. Вы сегодня умрете! Сегодня! Вам уже не к лицу удивляться!

Алеша на несколько секунд задумался, отвернувшись в сторону. Полковник ожидал его ответа.

— Умру? Я — еще очень молодой большевик. Но... я умру... хорошо. А вы... вы все умираете... Пожалуйста!

Алеша улыбнулся ясно и открыто, как умел улыбаться его отец. Полковник пожал плечами.

— Как угодно. Так вы его подержите где-нибудь.

Он чуть-чуть наклонил голову и пошел к дверям. Алеша только теперь увидел, что сапоги у полковника были очень простые, деревенские, их голенища были гораздо шире худых полковничьих ног. Сапоги эти скрылись за тяжелой, высокой дверью.

45

Алеша все смотрел на площадь, и часовой все ходил перед окном. Подоконник был широкий, Алеша положил на подоконник руки. Ухо начинало распухать и очень болело.

О том, что его сегодня расстреляют, Алеша не думал. В восемь часов предстоял еще полевой суд. Все эти соображения проходили на фоне обидного ощущения неудачи и глупого промаха. Если его не расстреляют, то положительно невозможно будет показаться своим на глаза. Алеша вспомнил, как он обнял девушек, отправляясь в разведку, — геройство весьма легкомысленное.

Он все надеялся, что Варя ушла. Марусю могли и захватить, но ведь никто не знает, что она в Красной гвардии.

Девчата расскажут о пулеметной заставе. Интересно, что̀ принесла разведка с другой улицы, там был Степан, может быть, он действовал более разумно, чем Алеша. Все-таки у офицеров были кое-какие силы, а пулеметы — дело серьезное. Наступать прямо по улице нель-

зя. Следует пройти боковыми улицами и переулками. Можно выйти к пулеметам с тылу. А еще лучше через двор — двор городской управы — проходной. Богатырчук об этом знает.

Силуэт часового проходил мимо окна и вдруг заслонился новой тенью, гораздо более стройной и тонкой,— кажется, офицер. Что-то застучало у самого здания гауптвахты,— открыли дверь, через полминуты загремел засов у входа в камеру. Дверь открылась, рука с керосиновой лампочкой без стекла выдвинулась первая.

— Хорошо,— сказал кому-то Троицкий и закрыл дверь.

Алеша обернулся к нему, не снимая рук с подоконника. Троицкий поставил коптящую лампочку на деревянную койку, расстегнул шинель и сел на табуретке против Алеши в углу.

— Пришел поговорить с вами. Не удивляетесь? Пожалуйста.

— Не курю.

— Я назначен председателем суда над вами. Но суд — дело быстрое и, в сущности, формальное. А я хочу выяснить ваши мотивы: очень возможно, что смогу добиться менее сурового приговора, хотя должен сказать, что надежды на это минимальные. Не скрою от вас: для меня тоже важно кое-что... уточнить... для себя, так сказать. Я прекрасно понимаю, что, переходя к большевикам, вы не преследуете материальных выгод, так же точно, как и я не преследую, оставаясь верным... присяге и России. Одним словом, мы можем говорить как культурные люди, по каким-то причинам сказавшиеся в противоположных... э... станах. Конечно, ваше положение, близкое к смертному приговору, трагично, я понимаю, но и мое положение не так уж блестяще,— здесь можно говорить откровенно. Вы, например, у полковника выразились в том смысле, что мы... умираем. Видите?

Троицкий говорил медленно, негромко, очень просто и серьезно, согнувшись на табурете, глядя на коптилку-лампочку. В паузах он медленно стряхивал мизинцем пепел с папиросы и складывал губы трубочкой, выпуская дым. Папироса у него была худая,— когда он затягивался, она худела еще больше.

По-прежнему глядя в окно, Алеша ответил так же серьезно:

— Вы ошибаетесь: мой переход к большевикам объясняется материальными соображениями, так же, как и ваша верность... буржуазии.

— О, да! Я знаю, вы любите этим щеголять: мы-де материалисты. Я не в том смысле сказал. В сущности, вы настоящие идеалисты, поскольку вы боретесь за какое-то там человеческое счастье, счастье будущих поколений, и готовы для этого жертвовать вашей, так сказать, сегодняшней жизнью. В сущности, это самый настоящий идеализм.

— Все равно вы ошибаетесь,— сказал Алеша и положил подбородок на руки. Часовой, привлеченный огоньком лампочки, стоял прямо против окна и глядел в комнату, но нельзя было разобрать выражение его лица.— Я не борюсь только за счастье будущих поколений, я борюсь за свое счастье.

— За ваше личное?

— Да, за мое личное.

— Но вот вы сейчас арестованы, и вам угрожает смерть.

— Я и не сказал вам, что завоевал счастье. Я только еще борюсь за него. А в борьбе возможны неудачи и случайности. Из-за этого нельзя же отказываться от борьбы?

— Бесчестно — отказываться?

— Да... нет... Просто... нельзя, нет смысла, понимаете?

Полковник круто повернулся к Алеше:

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

На лицо полковника упал свет фонарей штаба, свет плохой, запятнанный тенями деревьев. Лицо Троицкого казалось мертвенным и измятым, только один глаз поблескивал. Алеша мечтательно откинул голову на подставленную к затылку руку и улыбнулся:

— Вы сказали: два культурных человека. Но у нас с вами нет ничего общего. Настоящая культура вам не известна. У вас — культура неоправданной жизни, культура внешнего благополучия. Я тоже к ней прикоснулся и даже был отравлен чуть-чуть. Вы не понимаете или не хотите понять, что так жить, как жили... ну, хотя бы ра-

бочие на Костроме, нельзя, обидно. Возьмем отца или мать — моих: это нельзя простить. И я не могу жить, если рядом будут Пономарев или Карабакчи, или ваш отец, или вы. Ваше существование, ваш достаток, ваша гордость, ваши притязания руководить жизнью оскорбительны. Будет моим личным счастьем, если вокруг себя, среди народа я не буду встречать эксплуататоров.

— Позвольте. Вы выражаетесь точно, и я не обижаюсь. Но ведь люди так жили миллионы лет, без этих ваших... идей и без вашего Ленина.

— Миллионы лет люди жили и не зная грамоты, огня, сытости. Попробуйте жить теперь без этого. Я думаю, что люди ни за что не откажутся и от электричества, и от медицины. Человек растет, господин полковник. Еще сто лет назад люди терпели оспу, вчера они терпели эксплуататоров, а завтра не будут. Мы с вами люди культурные, но стоим на разных ступенях культуры.

Опираясь руками на колени, полковник склонил голову. Алеша увидел на его темени круглую маленькую плешинку. Потом полковник вытащил платок и начал вытирать им лицо, вероятно, ему хотелось спать:

— Вы оперируете непосильными категориями: миллионы лет, ступени культуры. В своих поступках и в своих действиях люди никогда не руководились такими схемами. Человеческий поступок — это очень сложное явление, но он всегда должен быть живым движением, а не математической формулой. В этом месте вы мало убедительны. Кроме того, вы забыли одну важную вещь: человеческую нравственность. Без нравственности не будет никакой культуры и никаких ступеней. Будет одичание. Одичание в погоне за счастьем — это очень трагично, господин поручик. Вы, например, оказались малочувствительным к такому явлению, как единство корпорации.

— Офицерской?

— Офицерской, если хотите. Я бы сказал шире: национальной, русской. И поэтому вы будете раздавлены. Россия — все-таки Россия, это реальность, а не схема. В момент разброда Ленин мог захватить Зимний дворец, допускаю. Но русские люди остаются русскими, а они вовсе не безразличны к чувству чести. А у кого чувство национальной чести стоит на первом плане, за теми и пойдет народ. Вот видите, нас десять офицеров, десять

людей, которые не так легко расправляются с честью, и за нами народ уже идет. Один полк, один полк, ощущающий честь, сильнее и благороднее какой угодно толпы, рвущейся к так называемому счастью. Это потому, что честь выше счастья. Я уж не знаю, как это располагается на ступенях культуры, но это очень высоко, а для некоторых даже и недоступно высоко. Вы были на фронте, вы не один раз несли вперед вашу жизнь, вы награждены золотым оружием. Спрашивается: почему я, обыкновенный армейский офицер, все-таки выше вас? А я выше, в этом нет сомнений.

Алеша по-прежнему смотрел на площадь. Его правое контуженое ухо внимательно слушало однообразный, негромкий голос полковника. К сознанию слова приходили правильными рядами и немедленно разбегались по каким-то приготовленным помещениям. Слова казались обычными, старыми, было довольно скучно их слушать, проникновенность полковника вызывала только одно желание: быть с ним вежливым. В Алешиной душе оставалось еще много свободных просторов, вспоминалась жизнь людей, ее истины и ценности: Нина, отец, Богатырчук, темный осенний парк, за парком — Кострома, начинающая далекие пути по всей России, пути к городам, селам, деревням, где жили такие же люди, требующие справедливости и поднявшиеся за нее. И высоко над миром, над туманами большого далекого города стоял Ленин. Ленин видит всю Россию, видит каждого человека, знает его мысли и стремления, знает, может быть, что в запущенной комнате городской гауптвахты сидит Алеша и... нет, не страдает.

Часовой снова заходил перед окном, но он ничего не заслонил в душе Алеши, как ничему не мешал и голос Троицкого. Алеша слушал его и для развлечения даже прищуривался на окно. Сильнее начало болеть ухо.

— Знаете что, господин полковник. Спорить нам пришлось бы долго, а у нас времени не так много. Лучше я прочитаю вам одну маленькую выписку, очень короткую, три строчки.

— Из Маркса, конечно?

— Нет, Маркс для вас неприемлем.

Алеша вытащил из кармана записную книжку и перелистывал ее.

— Недавно я пересматривал в нашей клубной библиотеке только что полученные книги, пожертвованные книги. Не читал, а перелистывал. И вот: «Россия» — «полное географическое описание нашего отечества, настольная книга для русских людей». Обратите внимание,— для русских. Том шестнадцатый, Западная Сибирь. Страница 265. Такая себе книга добросовестная, наивная и весьма патриотическая.

— Знаю.

— Знаете? Хорошо.

Алеша подошел к лампе.

— От марксизма это очень далеко. Ну, слушайте, три строчки:

«В самом характере самоеда больше твердости и настойчивости, но зато меньше и нравственной брезгливости,— самоед не стесняется при случае эксплуатировать своего же брата, самоеда».

Алеша закрыл книжечку, спрятал ее в карман, снова сел на свою табуретку. Полковник молчал. Алеша опять положил подбородок на руки и заговорил, присматриваясь к акациям у штаба:

— Как счастливо проговорился автор, просто замечательно. Дело коснулось людей некультурных, правда? И сразу стало очевидно: чтобы эксплуатировать своего брата, нужно все-таки не стесняться. Не стесняться — значит, отказаться от чести. Здесь так хорошо сказано — «нравственная брезгливость». Представьте себе, господин полковник: этот самый дикарь, у которого нет нравственной брезгливости и который не стесняется эксплуатировать своего брата, вдруг заговорит о чести. Ведь, правда, смешно? Дорогой полковник! Так же смешно выходит и у вас.

Полковник поднял лицо:

— Сравнение натянутое: я никого не эксплуатирую.

— Врете. Вы вскормлены, воспитаны, просвещены на эксплуатации. Я ни разу не позавтракал, когда учился в реальном училище. Спросите, сколько из заработка моего отца перешло в вашу семью? Пусть пять рублей в год. Значит, пятьдесят завтраков,— моих. У вашего отца, как видите, тоже не нашлось нравственной брезгливости, и, как видите, он тоже не стеснялся. И вы сегодня не стесняетесь: собираетесь меня убить и пришли

доказывать, что у меня нет чести. А ведь вы, именно вы, отнимали у меня такой пустяк, как ученический завтрак.

Полковник встал, начал застегивать шинель.

— Да! Нам говорить не о чем. Я вам — о чести, а вы мне — о завтраках. О России говорить и совсем уж не стоит.

— Россия! Как вы не понимаете? Россия уже сотни лет хочет вас уничтожить, а сейчас уничтожит. Она уже сказала вам: «Пошли вон!» — Алеша тоже поднялся у окна.

Троицкий застегнул шинель и почему-то опять опустился на табуретку. Алеша продолжал:

— А о чести, поверьте, я больше вашего знаю. Я был в боях, был ранен, контужен. Я знаю, что такое честь, господин Троицкий. Честь — это как здоровье, ее нельзя придумать и притянуть к себе на канате, как это вы делаете. Кто с народом, кто любит людей, кто борется за народное счастье, у того всегда будет и честь. Решение вопроса чрезвычайно простое.

Полковник захохотал:

— Согласен с такой формулой. Так народ-то с кем? Куда вы забежали с вашей Красной гвардией, товарищ большевик? Разве не народ выбросил вас из города? И выбросит из России!

Но Алеша уже не слушал. Полковник еще что-то говорил, а Алеша засмотрелся на чудесную картину. Происходила смена часового. Подошли пять человек с винтовками, шли они попарно, а разводящий — слева, как полагается. Часовой странно затоптался на месте, как будто начал танцевать. Алеша вдруг понял, почему он танцует. Пришедший караул был не в шинелях, а в пиджаках, подпоясанных ремнями, только разводящий был в шинели, а когда он немного повернул лицо, Алеша узнал Степана Колдунова. Караул подошел к часовому и остановился. Степан что-то говорил, часовой стоял неподвижно и слушал. Алеша повернул лицо к Троицкому, перебил его:

— Если вы хотите полюбоваться единством русского народа, идите сюда...

Полковник подскочил к окну и замер, видно — он не сразу понял, что происходит. Часовой сделал шаг влево, и на его место стал красногвардеец с винтовкой в правой

руке. Троицкий бросился к дверям, но было уже поздно. Что-то зашумело у входа в гауптвахту, Троицкий отскочил к старому месту и вынул револьвер. Дверь широко распахнулась, Степан закричал:

— Алеша, ты?

Алеша схватил руку Троицкого, револьвер выстрелил в потолок. Троицкий с силой оттолкнул Алешу к окну, но в руках Степана два раза оглушительно загремело, два огненных пальца ударили в грудь полковника. Его рука с наганом тяжело взметнулась вверх, он свалился у ног Алеши.

В дверь вломилось несколько человек. Степан шумно вздохнул:

— Охх!

Потом он закричал, как кричал всегда:

— Все в порядке! Алешенька, милый ты мой! Красавец ты мой, Алешка! Да мы ж думали...

Он облапил Алешу, сжимал его, хрипел:

— Ох, и молодец же ты!

— Да ты скажи, как там?

— Все кончено! Все в порядке! Расскажу, постой! Дай-ка я гляну, что с этим...

Он взял лампочку в руки, наклонился. Несколько человек наклонилось рядом с ним:

— Готов... господин полковник! А жаль... с оружием в руках помер! Не стоит он того.

46

Так впервые за несколько сот лет наш город принял участие в исторических событиях. События только начались. Через две недели отряд Красной гвардии был вызван в губернию, там началось формирование большой части.

Провожали Красную гвардию отцы, матери, жены и дочери. И Семен Максимович устроил у себя в хате маленькие проводы. И на проводах сказал сыну:

— Ну, Алексей, значит, все как нужно. Я думаю, учить тебя нечего.

Василиса Петровна, только когда сын уходил уже на станцию, положила руки на его плечи:

— Ну, счастливо тебе, Алешенька. Не один идешь, с народом. А ты не беспокойся: мы поплачем, да и утрем слезы,— обратно ждать будем.

К отходу поезда большое волнение прошло по Костроме. Девушки много пережили в этот день, а все-таки на станции и шутили и вспоминали постановку «Ревизора» неделю назад. У Степана не закрывался рот от болтовни и разных мудрых высказываний. И теперь главным объектом его педагогической заботы был капитан. А капитану было некогда: вместе с отрядом отправлялись в губернию две трехдюймовки.

Поезд тронулся. На перроне кричали и размахивали руками и шапками, и улыбалась Нина. Нина — это счастье, счастье оставалось на Костроме, но и поезд уходил в те стороны, где разгоралась борьба тоже за счастье.

СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ

БЕСЕДА С НАЧИНАЮЩИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Товарищи! Я себя причисляю к начинающим писателям, и поэтому вам будет особенно полезно обменяться со мной опытом. Называя себя начинающим, я говорю совершенно искренно. Успех «Педагогической поэмы» дела не меняет. В этой книге заключен богатый жизненный материал; очень часто этот материал и делает погоду, а вовсе не мое писательское мастерство. С другой стороны, я и скромничать не хочу: я очень много над собой работал и, собственно говоря, всю жизнь готовился к писательской работе.

Давно, в 1915 году, написал я свой первый рассказ, который назывался «Глупый день». Мне тогда было 27 лет, но я имел очень слабое понятие о писательском мастерстве и вообще о законах художественного творчества. Я взял интересный случай из жизни и просто о нем рассказал. Отправил рассказ к А. М. Горькому, который тогда издавал «Летопись». Через две недели получил от Алексея Максимовича письмо, которое помню дословно:

«Рассказ интересен по теме, но написан слабо: не написан фон, диалог не интересен, драматизм переживаний главного героя не выяснен. Попробуйте написать что-либо другое».

Из этого письма я очень хорошо понял, что я писать не умею и что нужно учиться. Очень может быть, что в глубине души остался неприятный след, но учился я основательно и долго. Тринадцать лет я не повторял писательских попыток, даже старался не думать о них, но все-таки завел себе записную книжку, в которую за-

носил все, что казалось мне достойным. В первое время в этой записной книжке преобладали афоризмы и сентенции, а потом я привык записывать детали жизни, пейзажи, сравнения, диалоги, портреты, темы, словечки. К концу 1927 года у меня собрался богатейший материал, но я все не решался приступить к книге, все мне казалось, что я не готов быть писателем. Очень часто вспоминал письмо Алексея Максимовича. Фона я не боялся, но интересный диалог и теперь казался мне недоступным. Интересно вот что: я работал в трудовой колонии имени Горького, мимо меня проходила сложная и напряженная жизнь нескольких сот молодых людей, но я считал, что эта жизнь настолько обыкновенна и проста, что она не может быть предметом художественного изображения. В моих записных книжках ничего не было записано именно об этой жизни, которую я лучше всего знал. Мне все казалось, что если я когда-нибудь напишу роман, то он будет на самую важную тему — о человеке, о любви, о великих революционных событиях. А беспризорщина — это обыкновенная жизнь, о которой и писать нечего, которую все знают.

В 1928 году у меня в колонии три дня гостил Алексей Максимович. Ему очень понравилась и сама колония, и тот стройный комплект педагогических приемов, который в ней выработался. Я очень много беседовал с Алексеем Максимовичем о колонии и о своих педагогических находках, о принципах воспитания. Темы нашей беседы совершенно не касались вопросов художественного творчества. Мои старые мечты быть писателем я старался не шевелить, я не напомнил Алексею Максимовичу о посланном ему в 1915 году рассказе «Глупый день», а он, конечно, забыл о нем.

Беседуя с Алексеем Максимовичем, я чувствовал себя только педагогом, чувствовал тем более остро, что в эти дни меня занимали довольно трагические переживания, связанные с моей педагогической борьбой, с настойчивыми атаками наркомпросовских бюрократов на мою колонию.

И Алексей Максимович моей колонией интересовался исключительно с точки зрения педагогической революции. Его интересовали новые позиции человека на земле, новые пути доверия к человеку и новые прин-

ципы общественной, творческой дисциплины. Алексей Максимович сказал:

— Вы должны писать обо всем этом. Нельзя молчать. Нельзя скрывать то, к чему вы пришли в вашей трудной работе. Пишите книгу.

Я этот завет Алексея Максимовича принял как директиву и немедленно, как только он уехал, начал писать. Первую часть «Педагогической поэмы» я написал очень быстро, в два месяца, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия работы в колонии, несмотря на то, что мои враги выгнали-таки меня из колонии. Работая над первой частью поэмы, я все же был уверен, что пишу педагогический памфлет, что никакого отношения эта работа к художественному творчеству не имеет. Тем не менее я придал ей беллетристическую форму, руководствуясь при этом исключительно таким соображением: для чего мне доказывать правильность моих педагогических принципов, если жизнь лучше всего их доказывает, буду просто описывать жизнь. В то время еще очень сильна была педология, выступавшая под знаменем «марксистской» науки. Я боялся педологии и ненавидел ее. Но прямо напасть на все ее положения было все-таки страшно. Мне казалось, что в беллетристической форме удобнее будет если не развенчать, то хотя бы начать атаку на нее.

Когда первая часть была написана, я продолжал находиться в уверенности, что это не художественное произведение, а книга по педагогике, только написанная в форме воспоминаний. Книга мне не понравилась. По-прежнему я был убежден, что жизнь колонии беспризорных никого особенно занимать не может, что о беспризорных уже много написано, и написано неплохо. Поэтому я не послал книгу Алексею Максимовичу, а подержал ее несколько месяцев в ящике стола, потом еще раз прочитал, печально улыбнулся и отправил на чердак, где у меня лежали разные ненужные вещи, чтобы они не загромождали мою тесную комнату.

Через четыре года, когда я не только забыл об этой книге, но забывать начал и о своей мечте сделаться писателем, когда цвела и славилась на весь мир во всех отношениях замечательная коммуна имени Дзержинского, где я работал, и когда меня в наибольшей степени

увлекали проблемы производства «ФЭДов»,— один из моих приятелей, начальник финансовой части коммуны, в какой-то служебной папке нашел несколько страниц «Педагогической поэмы», прочитал их и заинтересовался. Он настойчиво потребовал от меня, чтобы я дал ему почитать книгу, которая в то время не имела даже названия. Я не особенно сопротивлялся, в самом деле,— пусть читает! Я был очень удивлен его читательскими восторгами, но они не вскружили мне головы. Я думал: провинциальный читатель, да еще бухгалтер, что он там понимает в литературе. Неожиданно я получил письмо, а потом и телеграмму от Алексея Максимовича с требованием немедленно представить книгу. Делать было нечего, я собрался в Москву и повез с собой названную уже «Педагогическую поэму».

Алексей Максимович прочитал книгу в течение одного дня и немедленно отдал ее в печать.

Я очень благодарен своему терпению и своей неторопливости. Моя книга вышла в 1933 году, когда мне было уже сорок пять лет. За сорок пять лет я накопил богатый опыт жизни и борьбы, я сделался специалистом в области воспитания, я создал две колонии и выпустил из них более тысячи человек, которые сейчас работают как настоящие честные граждане страны трудящихся. И самое интересное, я научился писать о жизни. Тот самый диалог, который в первом моем рассказе был просто неинтересен и которого я всю свою жизнь больше всего боялся, благодаря моей упорной работе над собой составляет в настоящее время наиболее доступную для меня форму письма.

Незаметно для себя, в течение всех тринадцати лет моего писательского молчания, я работал над диалогом. В этом деле огромную роль сыграли мои записные книжки.

Я и сейчас веду их очень аккуратно и считаю, что это очень важная часть писательской работы. К сегодняшнему дню в записных книжках у меня собралось около 4000 заметок. Каждому писателю и в особенности начинающему я очень рекомендую записную книжку.

На записной книжке я остановлюсь подробнее. При этом я не думаю, что нашел какой-нибудь секрет. Наверное, все писатели ведут такие книжки, и каждый де-

лает это по-разному. Мой опыт — только незначительная часть общего опыта.

Записная книжка писателя не должна быть дневником. Собственно говоря, в ней не нужно записывать ничего такого, что составляет основание жизни, ее главный ход. Записывать нужно только то, что способно держаться в памяти очень короткий миг, а потом может исчезнуть. Что я записываю? Чье-нибудь интересное слово, чей-нибудь рассказ, детали пейзажа, детали портрета, характеристики, маленькие спешные мысли, соображения, кусочки темы, сюжетные ходы, обстановку жилища, фамилии, споры, диалоги, прочие разнообразные мелочи.

Записная книжка важна даже не в качестве поправки к памяти. В сущности, когда пишешь роман, в записную книжку почти не заглядываешь. Книжка эта важна как арена, на которой обостряется внимание к мелочам жизни, воспитывается уменье видеть и замечать, способность не зевать, не проходить мимо мелких, но выразительных и всегда важных деталей. Поэтому такая книжка приносит пользу только в том случае, если она ведется регулярно, если вы ни по лени, ни по занятости, ни по забывчивости не пропускаете ни одного дня в работе над записной книжкой.

Разумеется, неудобно и часто невозможно пользоваться такой записной книжкой в присутствии многих людей, пожалуй, и некрасиво и неделикатно при всяком случае ее вынимать и записывать. Поэтому свою записную книжку я держу дома и при посторонних никогда в ней ничего не записываю. Но при мне всегда есть миниатюрный блокнот, в котором я очень коротко, одним словом, отмечаю то, что потом более подробно вношу в записную книжку.

Работа с такой книжкой интересна еще вот в каком отношении. В процессе самой записи родятся дополнительные, созданные воображением ходы, образы, усложнения. Это та черновая работа, которая не связана еще ни договором, ни строгим планом романа, ни боязнью критики. Это совершенно интимная лаборатория, в которой ваше воображение имеет полный простор и в которой вы можете упражнять свои силы, как в гимнастическом зале.

Такую книжку вести довольно трудно. Очень часто устаешь, хочется отложить на завтра. В первое время нет навыка работать с книжкой продуктивно. Нужно заставлять себя производить эту работу. Потом она становится совершенно необходимой потребностью, образуется привычка к такой работе, уменье выбирать самое интересное и нужное.

Записная книжка вплотную подводит нас к вопросу об отношении материала и литературного изображения. Приходится встречать молодых людей, которые во что бы то ни стало хотят изображать революцию 1905 года, или гражданскую войну, или старый режим. Недавно я прочитал роман одного начинающего писателя. Он изображает поповскую семью. Мальчик, сын попа, спит на диване. Почему-то автору, вероятно, для создания определенного колорита, захотелось укрыть мальчика не одеялом, а ризой. И автор серьезно, даже красочно, описывает, как перекосился накладной крест на ризе, повторяя изгибы тела мальчика. Тот же автор пишет: «гнусавое пение дьячков перемежалось дробным чтением евангелия» — это во время обедни. Этого автора можно упрекнуть только в том, что он выбрал материал, совершенно ему неведомый. Только поэтому он свободно представляет себе, что в поповском доме мальчики укрываются ризами, что церковная служба состояла в чтении евангелия. Если бы автор наблюдал поповскую жизнь, он хорошо знал бы, что ризы никогда не находились в поповской квартире и что евангелие читается во время обедни только один раз, и при этом никогда не читается «дробно», а всегда торжественно, протяжно, с особыми, специально для этого дела придуманными завываниями.

Записная книжка помогает организовать знания жизни, но она никогда не заменит их. Не может быть писателем тот человек, который не знает хорошо никакой реальной жизненной среды, который не знает никакой работы, никакого быта. В особенности в нашей советской литературе это очень важно. Тургенев мог описывать охоту, чувства людей, привыкших к безделию, их разговоры, мечты, судьбы. В нашей стране нет таких людей. Каждый гражданин Советской страны обязательно что-нибудь делает, непременно участвует в производительности труда. И его характер, и его личность не могут

быть описаны, если отбросить те черты характера, которые возникают и развиваются в процессе работы, в процессе трудового общения с другими людьми.

Кажется, у нас все хорошо понимают этот закон, но иногда делают из него неправильные выводы. Полагают, что можно просто со стороны присмотреться к трудовой жизни и увидеть все ее детали. Находятся люди, которые прямо утверждают, обращаясь к писателям:

— Не сидите на месте, путешествуйте, наблюдайте, смотрите.

Многие так и делают. Путешествуют, наблюдают, смотрят и при этом глубоко убеждены, что они изучают жизнь, собирают материалы для литературного произведения. Мне хочется всегда возразить на подобные призывы, хочется сказать:

— Наоборот: не передвигайтесь, не путешествуйте, сидите именно на месте.

Представьте себе, что вы решили описать коллектив завода. Вы жили рядом с заводом месяц или два месяца, вы беседуете с рабочими или с инженерами, вы запоминаете или записываете их портреты, события на заводе, рассказы, ситуации. Вам кажется, что вы узнали все, что вам нужно,— вы собрали материал.

Я утверждаю, что ничего вы не собрали и что никакого материала в вашем распоряжении нет. Только тогда, когда вы сами участвуете в работе завода, когда вы переживаете все его удачи и неудачи, когда вы отвечаете за них перед советским обществом, только тогда вы по-настоящему узнаете то, что вам нужно, узнаете не в качестве холодного, хотя и пристального наблюдателя, а в качестве участника. Вы можете сколько угодно беседовать с рабочим, но пока вы не поспорите с ним, пока вы не порадуетесь вместе, не помиритесь на чем-нибудь,— до тех пор вы не узнаете ни его характера, ни характера тех идей, которые им руководят. В то же время только в качестве участника вы можете приобрести тот эмоциональный накал, который совершенно необходим для художественного произведения.

Мои слова вовсе не обозначают, что необходимо писателю обязательно работать в каком-нибудь предприятии или учреждении. Может наступить момент, когда воспитанный в работе жизненный опыт позволит писате-

лю более или менее свободно разбираться в человеческом коллективе соседнего ряда, но накопить такой человеческий опыт все же необходимо. Я лично убежден, что советский писатель должен пройти какой-то рабочий жизненный стаж перед тем, как начать писать. Прелесть «Танкера «Дербента» Юрия Крымова заключается в глубоком знании не только людей на каспийском пароходстве, но и вещей, техники этого пароходства. Не зная техники, нельзя представить себе силу того сопротивления, которое испытывает каждый трудящийся со стороны природы, со стороны вещей и предметов, со стороны технических условий труда, в таком случае нельзя представить и психику этого человека.

Кто хочет быть хорошим советским писателем, тот должен начинать с вопроса о своем отношении к жизни. Он должен активно участвовать в этой жизни, активно ее изучать.

Только правильно разрешив вопрос о материале, можно приступить к разговорам и о писательской технике.

К сожалению, у нас нет свода этой техники. В особенности плохо обстоит дело с прозой. Каждый писатель только по мере прохождения своего авторского пути постепенно разбирается в таинствах этой техники. Даже терминологии, в той или иной мере определяющей эту технику прозы, у нас нет.

В своей работе я и до сих пор часто испытываю технические затруднения, и мне приходится их заново преодолевать.

Наиболее трудными отделами этой техники я считаю следующие:

Композиция.

Диалог.

Портрет.

Тон.

В настоящей беседе я не имею в виду изложить свои технические выводы или мысли. Я только касаюсь для примера некоторых вопросов, чтобы показать, какие затруднения встречает писатель в своей работе и как с этими затруднениями нужно бороться.

В композиции меня больше всего затрудняет вопрос о плотности рассказа. Под плотностью я понимаю коли-

чество содержания на единицу текста, например, на страницу или на главу. Всякий читатель знает, что на немногих страницах описываются иногда события чрезвычайно подробно, с перечислением самых мелких деталей, самых неуловимых движений, не только внешних, но и внутренних — психических. Этот случай и будет случаем наибольшей плотности. С другой стороны, сплошь и рядом автор описывает на странице целый период, характеризуя его приблизительно такими словами: «В течение двух месяцев Иван Иванович познакомился с товарищами и увидел...» Такие места мне хочется назвать местами наименьшей плотности.

Нет никаких законов, позволяющих прийти в этом вопросе к каким-либо выводам. Мы знаем писателей, которые не любят большой плотности и почти все повествование ведут большими, крупными мазками, их произведения от этого не делаются менее ценными. В известной мере к таким писателям относится Эренбург. С другой стороны, мы знаем писателей — мастеров наибольшей плотности,— например, Леонов. Обычно же у каждого писателя свои законы композиции и свое индивидуальное отношение к вопросу о плотности. В каждой книге вы можете встретить различные типы чередования мест большой плотности и малой, иногда это получается удачно, иногда менее удачно. Наибольшим недостатком повести Первенцева «Кочубей» я считаю нелогичное распределение плотности.

Каждый автор должен серьезно учиться этому, должен найти свои законы композиции, достаточно стройно и прямо соответствующие содержанию и общему стилю. Во всяком случае я пришел к таким правилам для себя:

а) нельзя показывать второстепенные лица в прозе большой плотности;

б) нельзя держать читателя более или менее долго на плотности одного и того же напряжения;

в) нельзя разнообразить плотность в пределах одного эпизода;

г) в пределах одной главы желательно наибольшую плотность иметь в конце главы.

Можно еще много и более пространно сказать о плотности, но я думаю, что это не следует делать в такой короткой статье.

Диалог — один из самых трудных отделов прозы. Нужно знать диалог в жизни. Выдумать интересный диалог почти невозможно. У наших молодых писателей слабее всего выходит именно диалог.

Диалог должен быть очень динамичным, он должен показывать не только духовные движения, но и характер человека. Он никогда не должен обращаться в болтовню, в простое зубоскальство, и он никогда не должен заменять авторского текста. Многие у нас так и думают: то, что хочет сказать автор, пускай говорят герои, будет интересней. Это ошибка. То, что должен сказать автор, никому из героев поручать нельзя. В таком случае герои перестают жить и обращаются в авторский рупор. И наоборот, те слова, которые уместно произносить героям, автор не должен брать на себя и говорить от третьего лица.

Портрет я считаю самым трудным отделом прозы, так как этот отдел меньше всего разработан в русской литературе. В нашей литературе, безусловно, лучше всего разработан пейзаж. Движения же лица, глаз, рук, описание всех движений тела у нас еще не достигли настоящей культуры, и поэтому нам очень трудно хорошо описывать все это.

В области тона автор должен находиться в постоянном напряжении. Очень важно для определенной вещи найти соответствующий тон и держаться в этом тоне до конца произведения или по крайней мере до конца главы. Что такое тон? Это определенное количество таких явлений, как юмор, ирония, сарказм, торжественность, холодность, точность, грусть, печаль, радость, пессимизм, оптимизм. В пределах одной главы, а еще лучше целой вещи, нельзя произвольно менять соотношения этих элементов в языке. Если, например, в определенных печальных обстоятельствах, отраженных в стиле, происходит перелом, совершается радостное событие, лучше на нем и оборвать главу, чтобы следующую начать в другом тоне. Следить за тоном очень трудное дело, но без уменья руководить своим тоном не может быть хорошего прозаика.

Я коснулся нескольких отделов техники прозы, чтобы показать, что эта техника требует напряженной ра-

боты, требует раздумья, анализа. Все это очень важная работа, которую каждый должен проделать.

В заключение скажу следующее: решающим в писательской работе является все-таки не материал, не техника, а культура собственной личности писателя. Только повышение этой культуры может привести к повышению качества писательской продукции. Чтение книг, и не только художественных, учеба, знание,— знание по возможности разностороннее, чтение научных книг, развитие слуха, глаза, осязания, музыкальное развитие и развитие техническое — все это совершенно необходимо писателю. Не может быть хорошего прозаика, если человек не знает на память лучших наших поэтов, если он не слышит, как звучит слово, как чередуются в нем звуки.

Во всем этом лучшим образцом для нас всегда был и будет Максим Горький.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Товарищи, я вас должен предупредить, что в сегодняшнем моем сообщении не могу быть совершенно беспристрастным. Видите ли, тема нашей беседы «Художественная литература о воспитании беспризорных и безнадзорных» для меня очень близка, так как в разработке этой темы я сам участвовал не только литературно, но и педагогически, будучи рядовым работником жизненного фронта. В связи с этой работой у меня сложились определенные взгляды, если хотите, определенные доктрины по вопросу, как должно быть организовано коммунистическое воспитание.

В решении этой задачи комплекс моих мнений, опыта, педагогических убеждений сложился так крепко, что из-за какой бы то ни было деликатности или даже товарищеской уступчивости я не могу поступиться ни одной буквой. Поэтому я в таком для меня близком вопросе, в вопросе моей жизни, могу быть только сугубо пристрастным. За это я заранее прошу у вас прощения.

Литература о воспитании у нас в Союзе не так еще велика, художественная литература — в особенности, и, прежде всего, мы должны отметить в ней одно удивительное явление.

У нас написано несколько книг о воспитании трудных детей, воспитании правонарушителей. Вы знаете хорошо нашу литературу, вспомните более или менее замечательные явления в литературе о детях — это почти

исключительно книги о работе с правонарушителями. Художественных книг вообще о воспитании, даже о воспитании тех же беспризорных, но не правонарушителей, а так называемых нормальных детей, вы, пожалуй, вспомните очень мало.

Почему у нас такое исключительное внимание к так называемым правонарушителям? Можно было бы подумать, что общество и писатели особенно заинтересовались именно воспитанием правонарушителей. Однако этого на самом деле нет. Мы одинаково интересуемся и воспитанием правонарушителей и воспитанием нормального детства. Все эти вопросы для нас чрезвычайно важны, чрезвычайно сложны и даже дороги.

Почему же художественная литература особенно сконцентрирована только на теме о правонарушителях? Это произошло по причинам не педагогическим, не связанным с педагогической методикой. Это произошло потому, что как раз в этом пункте наиболее ярко сказалось основное отличие нашего общества от общества буржуазного, дореволюционного. Именно в отношении к несовершеннолетнему человеку, который может считаться врагом общества, в отношении к ребенку, который может стать бандитом, который нарушает право, совершает преступления, ворует, даже убивает,— в отношении к такому ребенку наше общество стоит на диаметрально противоположной позиции, чем общество буржуазное или наше дореволюционное. Здесь сказывается наша основная позиция по отношению вообще к человеку.

Мы знаем, какие основания имеются для преступности в буржуазном мире. Таких оснований у нас в Советском Союзе нет. Поэтому, если человек совершает преступление, то для нас совершенно ясно, что это зло можно вырвать, победить, ибо этого зла в самом обществе не может быть.

Отсюда и проистекает совершенно исключительное ярко выраженное наше отношение к правонарушителю только как к объекту воспитания, как к человеку, который должен быть переделан, а не как к преступнику, требующему изоляции.

Вот поэтому-то у нас и наблюдается в жизни очень много различных методов воспитания. Одним из таких

методов была литература, посвященная правонарушителям.

Но были попытки и не столь положительные. Человеческое отношение к преступнику, уважение личности человека даже в преступнике, уверенность, что из каждого человека можно выработать члена общества, иногда у некоторых людей приобретают характер любования преступником. Это в особенности заметно в так называемой халтурной литературе или халтурной кинематографии, или в театре, где иногда беспризорный или преступник перестает быть объектом культуры, а становится объектом любопытства и некоторого любования. Автор, призванный искать в беспризорном те черты, которые можно назвать человеческими, перестает их искать. Почему? Потому что он ищет либо отражения в этом романтичности вкуса, либо сентиментальности, отражающей его вкус, чего как раз в фигуре правонарушителя или беспризорника нет. В некоторых наших книгах автор интересуется не серьезным вопросом о характере человека, а только тем, насколько любопытна, насколько необычайна, остроумна эта маленькая фигура преступника.

Я посвятил работе с малолетними преступниками 17 лет и знаю, что это не только тяжелый труд, но и труд, который меньше всего может быть связан с удовлетворением каких-то моих вкусов к приключениям или к сентиментам или вкуса к романтизму. Но я так же, как и все другие работники в этой области, знаю, что ничего особенно эстетического, на чем можно было бы остановиться, у беспризорных и у преступников нет.

Каждый правонарушитель представляет собой явление отрицательное, со всеми деталями, присущими отрицательному явлению. И наблюдать беспризорного настоящему, живому человеку, культурному человеку никакого удовольствия доставить не может. Следовательно, с точки зрения эстетики фигура беспризорника должна быть решительно отброшена. Она может представлять интерес только с точки зрения педагогической: как из беспризорного, из нарушителя воспитать настоящего нового человека.

Прежде всего посмотрим, как этот вопрос разрешается в педагогике, иначе мы не сможем проверить нашу

художественную литературу; не будем здесь вдаваться в особенно большие глубины педагогики, скажем только несколько слов.

Волей нашей партии уничтожена педология. Педология представляла особое направление, так называемое «теоретическое», и педологическая мысль являлась враждебным направлением не только по отношению к нашим нуждам, но и к нашей чести, и к нашей преданной работе.

Что утверждала педология, и не только педология, а вообще педологическое направление? Педологическое направление было не только в самой педологии, оно затягивало очень много умов, которые воображали, что никакого отношения к педологии не имели. Педология затягивает даже сейчас много умов, когда формально педология не существует.

Основное, что характеризует педологию,— это определенная система логики. Система такая: надо изучать ребенка. Изучая его, мы что-то найдем, а из того, что мы найдем, сделаем выводы. Какие выводы? Выводы о том, что с этим ребенком нужно делать.

Вот основная логика педологического направления.

Здесь метод работы с ребенком, метод воспитания выводится из изучения ребенка, при этом не всего детства в целом, а каждого отдельного ребенка и отдельных типов детей. Таким образом сделан был вывод, что поскольку это изучение должно привести к разным картинам личности, то и метод воспитания должен быть разный. Один ребенок оказался одним, его нужно так воспитывать, изучили другого — он оказался другим, его нужно воспитывать иначе, третьего — тоже иначе, и так, сколько детей — столько методов.

Педологи нашли очень много групп детей и умственно отсталых, и социально запущенных, и трудных детей, и правонарушителей и т. д.

Отсюда очень недалеко до чисто фашистской теории, утверждающей, что между расами существуют умственные различия, что отдельным расам предопределены и отдельные судьбы. Естественно, что раз отдельные исторические судьбы, то и метод воспитания у немцев должен быть один, у славян — другой, у негров — третий.

Эта теория близка к теории Ломброзо, который утверждал, что люди рождаются с преступными наклонностями. Педология, в конце концов, только и могла прийти к такому заключению, что в самой человеческой натуре, в самом ребенке, в биологической картине его личности и характера заключаются такие различия, такие особенности, которые должны привести и к особым, отдельным методам для его воспитания.

Повторяю, педологическая логика затягивает не только тех людей, которые себя формально называли педологами, но и очень много людей, считающих совершенно честно, что они не педологи. Вывести педагогический метод из рефлексологии, из психологии, из экспериментальной психологии, вывести данный метод из обстоятельств данной личности это и есть педологическое направление.

Необходима другая логика, которая метод педагогики выводит из наших целей.

Мы знаем, каким должен быть наш гражданин, мы должны прекрасно знать, что такое новый человек, какими чертами этот человек должен отличаться, какой у него должен быть характер, система убеждений, образование, работоспособность, трудоспособность, мы должны знать все, чем должен отличаться, гордиться новый наш, социалистический, коммунистический человек.

Раз мы это знаем, раз мы честные педагоги, мы должны стремиться всех людей, всех детей воспитывать в наибольшем приближении к этому нашему коммунистическому идеалу.

Вот откуда должна исходить наша практическая педагогика. Она должна исходить из наших политических нужд и при этом диалектически. Она должна исходить из нужд не только настоящего, а из нужд нашего социалистического строительства, из нужд коммунистического общества.

Предположим, раньше говорили, что нужно воспитывать гармоническую личность. Это тоже была какая-то цель, но цель вне времени и пространства, цель вообще идеального человека, а мы должны воспитывать гражданина Советского Союза. В нашу великую сталинскую эпоху мы должны воспитывать наиболее полноценного гражданина, достойного этой эпохи.

Вот из этой нашей священнейшей цели, и наиболее простой и практической цели, мы должны выводить метод воспитания. А знание психологии, знание детской души, знание каждого отдельного человека только поможет нам приложить наш метод наиболее удобно в одном случае, несколько отлично — в другом.

Кто из вас читал «Педагогическую поэму», тот знает, что в 3-й части изображен мой последний бой с представителями педологической теории. Я в книге тогда не называл их педологами, но речь идет как раз о педологах. Они мне говорили в этом последнем сражении:

«Товарищ Макаренко хочет педагогический процесс построить на идее долга. Правда, он прибавляет слово «пролетарский», но это не может, товарищи, скрыть от нас истинную сущность идеи. Мы советуем товарищу Макаренко внимательно проследить исторический генезис идеи долга. Это идея буржуазных отношений, идея сугубо меркантильного порядка. Советская педагогика стремится воспитать в личности свободное проявление творческих сил и наклонностей, инициативу, но ни в коем случае не буржуазную категорию долга».

Что такое свобода проявления? Это и есть настоящая педология. Когда человека изучили, узнали и записали, что у него воля — А, эмоция — Б, инстинкт — В, то потом, что дальше делать с этими величинами, никто не знает. Потому что нет цели, и естественно нам умыть руки: ага, А, Б, В есть, пускай себя свободно проявляют, куда покатятся — там и будут (смех в зале).

Совершенно естественно, что педология была построена на воспитании при отсутствии политических целей. Но на деле это была враждебная нам политика. Педологи рассуждали о нас, советских воспитателях, так: вы теперь являетесь сторонниками пассивного наблюдения за ребенком и бездеятельного присутствия при его жизни и развитии, а ребенок пускай себе свободно развивает свои творческие силы.

Нет, мы не являемся сторонниками такого пассивного наблюдения. Мы — сторонники активной большевистской педагогики, педагогики, создающей личность, создающей тип нового человека.

Я уверен в совершенно беспредельном могуществе воспитательного воздействия. Я уверен, что если человек плохо воспитан, то в этом исключительно виноваты воспитатели. Если ребенок хорош, то этим он тоже обязан воспитанию, своему детству. Никаких компромиссов, никаких середин быть не может, и никакая педагогика не может быть столь мощной, как наша советская педагогика, потому что у нас нет никаких обстоятельств, препятствующих развитию человека.

Тем более возмутительно и печально, если люди, которым доверено было воспитание детей, не только не захотели воспользоваться этим великим могуществом нашей педагогики, но ограничились простым наблюдением, простым изучением ребенка, разделением всех детей на разряды, на отдельные биологические группы и т. д.

Но тогда спрашивается, откуда же взялись правонарушители? Мы говорим, что всех можно воспитать, что нужно исходить не из качеств данной личности, а только из целей нашей педагогики. А что же такое в таком случае правонарушитель, разве это не отдельная группа, не отдельный сорт людей?

Тут, товарищи, я говорю только от себя лично, только я отвечаю за свои слова — да, товарищи, не отдельный. Вот если бы мне сейчас поручили самых настоящих ангелов с крылышками, херувимов и серафимов, я бы и их воспитывал так же, а не иначе, потому что в этом заключается существо нашего социалистического отношения к человеку.

Человек плох только потому, что он находился в плохой социальной структуре, в плохих условиях. Я был свидетелем многочисленных случаев, когда тяжелейшие мальчики, которых выгоняли из всех школ, считали дезорганизаторами, поставленные в условия нормального педагогического общества, буквально на другой день становились хорошими, очень талантливыми, способными идти быстро вперед. Таких случаев масса.

То, что неправы педологи, настойчиво требовавшие особых методов, практически иллюстрирует лучше всего, к сожалению, малоизвестный еще и мало изучаемый нашими педагогами опыт колоний НКВД.

Я только что вернулся с Украины, где участвовал последние два года в организации новых трудовых коло-

ний. Нам присылали ребят, осужденных судом, но мы их воспитывали без карцеров, без стражи, без высоких заборов и пропускных будок у ворот...

И это также подтверждает основную нашу мысль, что воспитание правонарушителей не является по существу какой-то особой задачей, отличающейся от воспитания всех остальных ребят.

Где-то в моей книге сказано, что самые лучшие мальчики в условиях плохо организованного коллектива очень быстро становятся дикими зверушками. Это так и есть. Соберите самых лучших детей, поставьте около них плохих педагогов, и через месяц они разнесут и колонию, и детдом, и школу, и этих педагогов.

Таким образом, существует не проблема воспитания правонарушителей, а проблема воспитания вообще. В практике наших колоний очень много найдено таких методов, таких организационных принципов, таких даже художественных находок, которые применяются нашей общей педагогикой.

Я сделаю поправку: очень часто для воспитания правонарушителей люди мудрили, хитрили, придумывали разные фокусы. Почему? Только потому, что мало еще опыта, мало людей, знающих, как нужно вести себя с детьми, а не только с правонарушителями.

Вот общие положения, в свете которых мы должны рассмотреть нашу литературу о правонарушителях. Во-первых, посмотрим, как писатель расценивает самый материал, беспризорника или правонарушителя. Как он его себе представляет, что это за материал? Во-вторых, мы рассмотрим вопрос такой: что писатель думает относительно метода, как писатель изображает метод организации детства и творческое лицо педагога.

Наконец, третий вопрос — как автор мыслит, как рисует результаты воспитания, что получается или что должно получиться в результате воспитания нарушителя?

Начнем с классической книжки Сейфуллиной «Правонарушители». Это небольшой рассказ, тем не менее он сыграл очень важную роль, гораздо более важную, чем «Педагогическая поэма». Почему? Потому, что в этом рассказе впервые, и довольно неожиданно и смело, были высказаны истины о правонарушителях, составляющие аксиому.

Что это за истины? Читая этот рассказ, вы во всем тексте, от первой до последней строчки, чувствуете, как звучит глубокая искренняя вера в человека, вера в то, что не может быть прирожденной преступности, вера в лучшие человеческие качества,— уверенность, которая теперь уже для нас составляет несомненную истину.

Эта вера в человека блестяще звучит у Горького, это то, что можно назвать оптимистической перспективой в подходе к человеку. Вот эта вера звучит в произведении Сейфуллиной гораздо сильнее, несравненно сильнее, чем во всех остальных книгах, посвященных правонарушителям.

Основные фигуры в рассказе Сейфуллиной — мальчик, который совершил разные правонарушения, и вторая фигура — педагог.

Следовательно, отвечая на вопрос, как автор подходит к материалу, как он расценивает педагогическую среду, мы должны сказать, что Сейфуллина стоит на наших позициях, она стоит на позициях глубокой веры и надежды в человека, на позициях оптимистического воспитания, на позициях, противоположных педологии.

Как же Сейфуллина рисует метод? Вот здесь уже, не по своей, конечно, вине, Сейфуллина говорит слабо. Метод она видит в совершенно неуловимых влияниях природы и труда. В то время, когда писалась книга, это звучало достаточно убедительно. Для нас это никак не звучит, потому что труд «вообще» не является воспитательным средством. Воспитательным средством может быть такой труд, который организован определенным образом, с определенной целью, труд как часть всего воспитательного процесса.

Что же касается природы, то мы вообще можем сказать, что природа прекрасная вещь, что хорошая погода — лучше плохой, солнечный день — лучше дождливого, но что природа сама по себе есть какое-то особое мощное средство, которое облагораживает или отвлекает человека от преступности,— мы сказать не можем...

Вот этот пантеизм Сейфуллиной или Мартынова, конечно, не созвучен нашим советским педагогическим воззрениям.

Еще менее созвучна та картина личного творчества, которое приписывается Мартынову-педагогу. Между

тем, Сейфуллина хотела нарисовать фигуру педагога-мастера.

Что это за фигура? Первый раз Мартынов появляется на сцене, когда он приходит в отдел Наробраза. Гришка увидел его впервые.

«А в комнату бритый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. И башмаки, чисто лапы звериные, вытопталиcь. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавливался».

Вы видите чрезвычайно неуклюжего, несобранного и какого-то чудаковатого человека. Дальше это подтверждается:

«Глазки узкие щурил и тонкие губы кривил. Над всем смеялся. Как говорил, руки все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал. Весь трепыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил».

...Дальше вы увидите какого-то арлекина, на каждом шагу кривляющегося, который имел в своем распоряжении единственное средство — вот это желание заинтересовать, рассмешить, удивить, но удивить только кривляньем, только дерганьем, трепыханьем, словом, чем-то неестественным.

Ну что ж, может быть, в исключительных случаях такое педагогическое поведение и полезно. Очень редко можно рекомендовать педагогу и некоторые «фокусы». Например, в прошлом году мой воспитанник Калабалин, ныне начальник Винницкой трудовой колонии НКВД, проделал такой фокус.

Группа беспризорных, присланных к нему из Винницы, не захотела оставаться в колонии, потому что там старые дома, бараки и т. д. Калабалина в то время в колонии не было, и ребята, не долго думая, двинулись по шоссе к городу. Воспитатели растерялись, не знают, как их вернуть. Ездили за ними на машине, а они не хотят возвращаться, да и только. Тут как раз в колонию вернулся Калабалин. Он немедленно сел на коня и поскакал вдогонку. Поравнявшись с беспризорными, спрыгивая с коня, он поскользнулся, упал и разыграл такую сцену:

«Ой, я поломався, мабуть я не встану, несіть мені в колонію».

Беспризорные видят, большой человек в беспомощном состоянии. Ребята небольшие, взвалили его на плечи и несут в колонию, с километр. Понесут, понесут — поменяются, кто несет, кто коня ведет — всем нашлась работа. Из простого сочувствия принесли в колонию, а сами в таком восторге, что спасли человека. Опустили на землю, а он встал на ноги и говорит:

«Вот спасибо, хлопцы, не хотелось идти пешком далеко».

Этим «фокусом» он расположил всех к себе, они сразу в него влюбились.

Такие отдельные фокусы разыгрывать можно, мы их в редчайших случаях рекомендуем. Мне самому приходилось разыгрывать такие «фокусы»; но одно дело разыграть специально, и притом необходимо талантливо задумать и разыграть, а другое — постоянно кривляться. Такой кривляющийся педагог может занять ребят на час, на два, на день, а потом они не будут верить ему, перестанут любить его. Такому педагогу верить нельзя, а так как ни в чем другом творчество Мартынова не проявляется, а только в кривлянье, то, пожалуй, мы должны признать, что Сейфуллина изобразила это творчество неправильно, не так, как нам нужно. Во всяком случае, нашим педагогам рекомендовать такой способ поведения ни в коем случае нельзя.

Есть целая школа воспитанных мною педагогов, я им рекомендовал держать себя всегда с достоинством, искренне, весело, бодро, серьезно, но с большим торможением мускулов лица, с таким торможением, которое должно быть у каждого воспитателя.

Мы не можем обвинять Сейфуллину в том, что она исчерпала этим мастерство Мартынова, да, собственно говоря, в таком коротком рассказе она и не могла подать это творчество, как следует. Но она говорит, что Гришка полюбил Мартынова.

...Нечего и говорить — этот рассказ Сейфуллиной, при его весьма симпатичной установке, пахнет несколько педологическим анархизмом. Это особенно проявляется под конец, когда говорится о том, что родители не нужны, родители—это барахло, природа—мать и т. д.

Весь этот педологический анархизм просто вреден и никакого метода он не показывает; не показаны в рассказе и результаты воспитания... Остается невыясненным, чем кончилась вся затея Мартынова, известно только, что Гришка полюбил Мартынова и стал хорошим человеком.

Но, несмотря на то, что рассказ Сейфуллиной сейчас удовлетворить нас не может, в свое время он сыграл огромную роль, произвел огромное впечатление...

Надо прямо сказать, что почти во всех произведениях о беспризорных чрезвычайно безрадостно выглядят учреждения, в которых эти дети и подростки воспитывались. Организованное там воспитание находилось еще на очень низкой стадии развития, настолько низкой, что оно может явиться только отрицательным примером для наших педагогов и вредным толчком в поведении наших школьников.

И теперь только удивляешься, как это десять лет назад все это могло казаться педагогически интересным. Примитивные методы воспитания: закрытые двери, карцер, вся жизнь детей ограничена в лучшем случае плохой школьной работой, вот и все.

Мастерства у педагогов нет, это почти комические фигуры, не пользующиеся даже уважением. Такой педагогический процесс может привести к чему угодно.

Каковы же результаты воспитания? Характерны стадные картины: разобщенность, равнодушие друг к другу, к имуществу детского дома, к героическому поведению педагогов. Отсутствие организации. Паника, даже взрослых ребят, в моменты опасности, требующей напряжения, например, во время пожара. Все это говорит, что воспитание неудачно, что такое воспитание нам не нужно.

Не могу себе представить, чтобы в моем детском коллективе во время пожара я бросился кого-нибудь спасать. Я должен сидеть в центре и спокойно разговаривать по телефону. Все сделают ребята — и спасут, и потушат, и придут доложить, что все кончено. Иначе в советском детском коллективе быть не может.

А такая стадность ассоциируется у меня с чрезвычайно тяжелым случаем, бывшим в Калининской области

в селе Давыдово: ученик четырнадцати лет застрелил учительницу. Такие случаи личного болезненного припадка, случаи личного разложения под влиянием дурного окружения возможны. Это индивидуальный припадок, единичный случай, который меня не пугает. Но меня страшно поражает, я не могу понять, как это могло случиться, что двадцать четыре мальчика седьмого класса в панике убежали, увидев ружье в руках своего сверстника. Я не представляю себе таких мальчиков. Не могу понять, как их воспитывали и чего от них можно ожидать в дальнейшем?

Из своей практики и из практики многочисленных моих товарищей в разных колониях я прекрасно знаю, что при пожаре, при несчастном случае, угрожающем коллективу или отдельному члену коллектива, тем более учителю — руководителю коллектива — на помощь бросаются все ребята, весь коллектив, без размышления о том, что можно погибнуть, что будет неприятно. Только такой коллектив может быть назван настоящим нашим советским коллективом.

В описании беспризорных отсутствие педагогической эрудиции часто приводит к совершенно нездоровому стремлению «шикарно подавать сырье» — это не беспризорные, а архибандиты, те, кого беспризорные называют «бандюки». Это в превосходной степени бандиты, какие-то «Джеки-потрошители», а не просто беспризорные. И все, что написано о них, показывает главным образом, какие это квалифицированные бандиты, какие «замечательные» преступники, оригинальные характеры, а во второй части повествуется, каких героев из них сделают. Я имею наибольший стаж работы в Союзе с правонарушителями, через мои руки прошло несколько тысяч, ни одного убийцы я не видел. Может быть, и возможно случайное убийство в драке, в горячке, но в моей практике среди детей и таких убийц не было. Не было и венериков, а сколько было обывательских разговоров о том, что беспризорники — сифилитики. И такого идиотского блатного языка, каким беспризорные разговаривают в книгах, не встретишь на самом деле.

Вот это стремление нарисовать общество правонарушителей мрачными красками является самой отврати-

тельной и дешевой формой безответственной бульварщины, не имеющей под собой никакого основания.

На этом разрешите сделать перерыв с тем, чтобы потом остановиться на моей книге, которая, к сожалению, является самой большой из всех, какие написаны о беспризорных.

* *
*

Я вас, вероятно, утомил подачей сухого педагогического материала, но что поделаешь, я должен остановиться на своем произведении.

Не могу из ложной скромности кокетничать перед вами, я считаю, что в моей книге педагогическая проблема отражена наиболее полно. Это, конечно, понятно, потому что я сам работал в этой области, состарился на педагогическом поприще и, совершенно естественно, могу подойти к вопросу педагогически более тщательно, чем другие авторы. Но у них есть то преимущество, что они раньше писали, и в их книгах тема пролетарского гуманизма зазвучала раньше.

Книга Сейфуллиной на меня произвела в свое время большое впечатление и заставила остановиться на многих вопросах.

Что вам сказать о моей книге «Педагогическая поэма»? Если вы ее читали, то я мог бы ограничиться сказанным, считая, что я свое дело сделал, а вы, прочтя книгу, тоже сделали свое.

Главнейший недостаток — это мелькание лиц, некоторые начаты и не докончены, воспитательный персонал описан совсем слабо. Почему?

Я никогда не был удовлетворен работой штатных воспитателей. Когда книга писалась, я уже работал без таких воспитателей. Они постепенно растерялись, а последний персонал в коммуне имени Дзержинского я снял в один день. Этот момент был для меня наиболее трагическим, так как я боялся, что провалился в пропасть без поддержки взрослых людей. Но спасибо комсомольцам-дзержинцам, они в течение восьми лет не только не угробили дело, но подняли его на большую высоту. И даже когда в 1931 году коммуна за одну неделю увеличила свой состав с 150 до 350 человек, комсомольская орга-

низация и совет командиров настояли передо мной, чтобы и в этом тяжелом случае не было приглашено ни одного воспитателя.

Для меня эта тема чрезвычайно неприятна, потому что я не могу утверждать, что в детском учреждении не должно быть воспитателей. Я не могу стать на такую позицию, на которой стоят некоторые авторы и практические работники коммун и колоний, утверждающие, что ребята будут сами себя воспитывать, что воспитатели не нужны.

Это, конечно, неправильно. В детском коллективе должны быть авторитетные, культурные, работоспособные, хорошие взрослые люди, только тогда может повыситься культура детского коллектива. Откуда может привиться культура детскому обществу, если ей неоткуда взяться, если нет взрослого общества?

Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение передает свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему поколению. Именно в этом и заключается активная роль педагогов, представителем которых и являюсь я.

Но в коммуне имени Дзержинского было кем заменить штатных воспитателей. Там была школа 10-летка, квалифицированный педагогический коллектив, было много инженеров, сильная партийная организация на заводе, словом, общество взрослых достаточно сильное, чтобы оказать влияние на ребят.

Вот именно поэтому я в своей книге отвел такую маленькую роль воспитательскому персоналу.

Другой недостаток моей книги заключается в том, что пришлось говорить о постоянной грызне с Наркомпросом...

Критики уже отмечали эту сторону как несимпатичную. Но я должен сказать, что не мог обойтись без этого, потому что для меня — это была книга нашей борьбы, и когда я писал, я меньше всего ощущал себя писателем, я был все-таки педагогом.

Почему же книга вышла в виде поэмы? Только потому, что иначе я писать не умею, как умел — так и написал. Но и в художественной форме отказаться от борьбы, от высказывания своих принципов я не мог. Возможно, что широкого читателя отдельные рассужде-

ния о разных педагогических тонкостях могут утомлять, может быть, в художественном произведении этого не следовало делать...

Есть недостаток конструктивного характера. Многие меня обвиняли в том, что я не описал пребывание Горького в колонии. Я просто не решался своим маленьким талантом описывать такую фигуру, как Горький, не хватило у меня смелости.

Намеревался я в своей книге сказать много, но сказано, как будто, меньше, чем хотелось. Что же я хотел сказать?

Во-первых, что даже те люди, которые считаются «отбросами» в капиталистическом обществе, у нас, в Советском Союзе, складываются в великолепные коллективы. Эти коллективы должны поражать своей красотой, потому что это новые свободные трудовые человеческие коллективы. Это — первое.

Во-вторых, хотелось показать этого так называемого правонарушителя в том освещении, в каком я его сам видел, показать его как человека прежде всего, как хорошего человека, милого, простого. Я хотел вызвать симпатии к нему у общества, хотел, чтобы общество так же ему верило, как верил я.

Третье, чего я хотел добиться своей книгой. Я хотел поставить ребром вопрос о стиле, о тоне советского воспитания. Я хотел настаивать на правильности формулы, которая существует у коммунаров-дзержинцев. Они утверждают, что человека нужно не лепить, а ковать, ковать — это значит хорошенько разогреть, а потом бить молотом. Не в прямом смысле, а создать такую цепь упражнений, цепь трудностей, которые надо преодолевать и благодаря которым выходит хороший человек.

Я многого добился в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, главным образом, благодаря работе чекистов, которые находились рядом со мной, благодаря тому простору для педагогического творчества, который давали чекисты, а в колонии Горького — благодаря завоеванной мною самостоятельности.

Наробразовцы меня немного боялись — сумасшедший человек — он что угодно может придумать! Они боялись и не трогали. На такой свободе многое удавалось сде-

лать. Во всяком случае, когда у меня в коммуне случился пожар, то я не должен был вытаскивать кого-нибудь из огня. Однажды ночью в литейной, запертой на замок, вспыхнул пожар. Страсть коммунаров была так велика, что Алешу Землянского, по его настоянию, спустили на тросе в литейную через трубу, чтобы затушить этот пожар. Такое воспитание для меня в последние годы не составляло никакого труда, и не нужно было никаких особых изобретений.

Мальчишеский коллектив, поставленный в здоровые педагогические условия, может развиваться до совершенно непредвиденных высот. Это я говорю с полной ответственностью и легкостью, потому что в этом не моя заслуга, а заслуга Октябрьской революции.

Могущество воспитательного приема у нас, в Советском Союзе, неизмеримо, мы даже представить еще не можем, каким всесильным оно может быть, развиваясь дальше. Многие педагогические проблемы в моей практике разрешались даже для меня, человека, думающего в этой области, увлеченного этой работой, совершенно неожиданно.

Возьмите такой важный вопрос, как вопрос наказания, над которым теперь многие педагоги ломают головы, и не только педагоги, но и семьи.

У нас еще, вероятно, от Карамзина осталось русское интеллигентское прекраснодушие: как же так наказывать, ребенок — и вдруг наказывать! И у меня было такое отвращение к наказанию...

За 16 лет работы в детском коллективе я изменил свой взгляд на наказание. К концу пребывания моего в коммуне Дзержинского наказание приняло совершенно иные, новые формы. Вот здесь присутствуют дзержинцы, они чувствуют это на себе.

Воровство — то преступление, которое повергает в панику даже энергичного педагога. Что делать, когда новичок украл? Когда в коллективе дзержинцев такой мальчик украл в первый раз, его вызывают на середину комнаты, где проводится общее собрание, и говорят, что он последний человек, что его надо выгнать, что с ним нечего считаться, но фактически его никогда не наказывают. Его хотят «убить», «казнить», но все прекрасно понимают, что никаких результатов этим не добьются.

Наказание за воровство в детском возрасте не приносит никаких результатов.

Чем ограничивались? Ограничивались тем, что говорили: ты украл потому, что ты еще ничего не понимаешь. Ты еще украдешь, раза два украдешь, а потом не будешь... И действительно, у новичка складывалось глубочайшее убеждение, что он украсть больше не сможет. Такое отношение к правонарушению детей может быть только в советском обществе, в советском воспитательном коллективе, уверенном в своих силах и в силах каждого человека.

Но зато если коммунар, проживший в коммуне 3—4 года, командир, по сигналу на сбор командиров приходит с опозданием на две минуты,— то тут уже никто не будет думать — наказывать или нет, обязательно накажут. Опоздал на две минуты — это два наряда, это два часа работы — мыть уборную или еще что-нибудь другое. И тут никто не скажет, что вы делаете с мальчиком, пожалейте. Если бы наказали за воровство новенького, то обязательно ребята сказали бы: что вы делаете с мальчиком, он же ничего не понимает, он же еще «сырой»!

Вы понимаете, вопрос о наказании решается по-новому, потому что по-новому ставится вопрос об ответственности. Тут ты «сырой», у тебя нет социального опыта, нет человеческого опыта, поэтому ты за себя отвечаешь в очень небольшой дозе, а здесь ты коммунар, тебя 27 командиров ждали две минуты, ты сознательно нарушил интересы коллектива, которые коллектив поручил тебе охранять,— ты должен быть наказан.

В этом наказании есть новая логика, и в наказании у дзержинцев вдруг стало звучать следующее. Не имеет никакого значения, что именно, какая нагрузка дается в наказание, а имеет значение символ, что такой-то человек наказан, что он находится под арестом на 10 минут в кабинете заведующего.

А что это за арест? Приходит наказанный в мой кабинет, берет книгу, садится на мягкий диван и спрашивает: Антон Семенович, вы не знаете, завтра будет что-нибудь вечером в клубе или нет? — потом 10 мин. прошло, отбыл арест.

Какое это наказание? Однако попробуй наложить арест неправильно. Поднимутся протесты — не виноват.

Символ осуждения коллективом составляет очень существенный момент. В самом наказании можно найти элементы особой чести.

У дзержинцев это понятие о чести в лучшем его значении сделалось в последние годы важнейшим моментом воспитания.

Например, человек, проживший в коммуне больше четырех месяцев, завоевавший доверие коллектива, получает звание коммунара, а до этого он называется воспитанником. Среди его привилегий есть такая: ему обязаны верить на слово. Если коммунар сказал — я там был,— то никто не имеет права проверить, был он или не был. Эта привилегия может проистекать из убежденности в честности всего коллектива.

Если дежурный командир или просто дежурный мальчик, дежурный член санкома, а туда выбираются «чистюльки», и у санкома диктаторская власть, если кто-нибудь из них в частном разговоре сказал мне: вот, Антон Семенович, в такой-то спальне сегодня грязновато,— то можно возразить: нет, у нас чисто. Но если вечером в официальном рапорте дежурный поднимет руку и скажет, что в 15-й спальне грязно, то проверять нельзя, здесь уже он ошибиться не может.

Уверенность, что в известном положении человек не может сказать неправду, делает то, что никто неправды не говорит.

Это и есть советская педагогика, основанная, с одной стороны, на безграничном доверии к человеку, а с другой стороны, на бесконечном к нему требовании. Соединение огромного доверия с огромным требованием и есть стиль нашего воспитания. На этом построена вся общественная жизнь Советского Союза. Это дает колоссальные результаты.

В коммуне Дзержинского и в колонии Горького в последние годы этот стиль являлся характерной чертой. Он не был моим изобретением, это естественная находка коллектива, и только потому, что коллектив этот — не «коллектив» батраков, не «коллектив» заводов Форда, это советский коллектив, коллектив людей, живущих в свободном государстве, и только тут возможен такой стиль работы.

Этот стиль я и хотел как-нибудь передать в «Педагогической поэме», чтобы заразить им не только педагогов, но и молодежь и вообще читателей.

К сожалению, я не решался еще описать опыт коммуны имени Дзержинского, тоже 8-летний опыт, а нужно было бы. Почему? Потому что там уже можно формулировать и аксиомы и теоремы советского воспитания, формулировать точно и доказывать. Надеюсь, что со временем это удастся сделать, тем более теперь, потому что это не только моя работа, а работа многих людей...

Вот что я хотел сказать о своей книге, больше прибавить что-нибудь сейчас, пожалуй, не могу.

Но если вы не устали, товарищи, то я остановлюсь еще на одном общем вопросе. Я имею в виду вопрос, который я ставил в самом начале,— о том, что наша советская педагогика должна отправляться от политических целей, а в нашем представлении — это значит, от того, каким должен быть новый человек, человек коммунистического общества.

«Педагогическая поэма» открывается разговором с завгубнаробразом, где сразу ставится вопрос о новом человеке, о том, что все надо делать по-новому.

А что же такое новый человек? Мало сказать — новый, надо его знать в подробностях, и вот это в моей книге, вероятно, показано слабо. А между тем я прекрасно знаю, что надо делать, я это делаю на живых людях, я это вижу в моем представлении, а в книге показать не сумел. Это потому, что я увлекся главной целью — показать прекрасный коллектив. В будущей книге я должен показать образец воспитания, образец, к которому мы должны стремиться как к нашей педагогической политической цели.

Три дня назад я получил письмо от бывшего своего воспитанника, которое меня очень растрогало, несмотря на то, что я обычно растрагиваюсь с трудом. Он пишет, что за один свой подвиг, сущность которого он в письме рассказать не может, но который заключался в том, что он не дрогнул перед смертью, за этот подвиг он получил орден. Он мне об этом сообщает и благодарит. Говорит просто: «Спасибо вам за то, что научили нас не бояться смерти».

Тут для меня проглянуло лицо нового человека в простом выражении. Научить не бояться смерти — до такой проблемы не может подняться буржуазное общество. Там может быть случай, что человек не боится смерти, а когда человек благодарит за то, что его научили — это тема советская. При старом режиме такое качество рассматривалось как данное человеку от рождения. Вот я родился храбрым, это мне присуще. А этот юноша утверждает, что его этому научили.

Может быть, он от природы храбрый человек, но уверенность в том, что это достоинство, которому его научили, благодарность за это — все это качества нашего нового, социалистического общества. Когда он пишет: вы меня научили, то он не меня лично благодарит, а советскую власть, коллектив дзержинцев, которые ему это свойство дали.

Я убежден, что если в будущем кто-нибудь даст в литературе образ идеального человека, то и работа всех нас, педагогов, будет значительно облегчена...

Ответы на вопросы

Товарищей интересует судьба моих героев.

Я в книге об этом написал. Мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что героев очень много, сколько же времени я займу для того, чтобы их перечислить? О Карабанове я вам говорил, Ужикова я оставил в колонии им. Горького, и куда он девался, я сказать не могу. С Лаптем произошла печальная история, о ней я расскажу.

По-моему, и в книге видно, что это очень некрасивый человек. И вот он женился на писаной красавице, в чем и состояла причина его трагедии. Она ему изменила, а он, конечно, устроил из этого личную трагедию, бросил институт, не кончил высшего учебного заведения и пошел работать в какой-то жилкооп. Были постоянные драмы с женой. Мы узнали 2 года назад, что он пьет и страдает. У меня был устроен «консилиум»: приехал ко мне Карабанов, приехал Вершнев, и мы в общем заседании решали, что делать с Лаптем. Вершнев поехал к нему в Полтаву и сказал: «По распоряжению Антона Семеновича, отправляйся к Карабанову работать, он тебя возьмет». Тот подчинился, поехал к Карабанову и рабо-

тает завхозом. В прошлом году я был там и видел, что пить он перестал. Работает хорошо, но меня неприятно поразила в нем живая еще память об этой женщине. Я не мог себе представить, чтобы в одной женщине заключалось столько отравляющих веществ. А это была настоящая отрава на всю жизнь! Карабанов большой мастер на душевные всякие разговоры, но ничего не помогло. И, конечно, помочь тут уговорами нельзя. И я боюсь, что еще пройдет несколько лет, пока эта женщина из Лаптя выветрится. А жаль, потому что это был огневой талант, это был огневой юмор, человек необычайной коллективности. Очень жаль, что случайная встреча повлияла на него так. Но это произошло именно благодаря его страсти, искренности чувства, преданности какой-то безоглядной. Это его и скрутило.

Братченко работает ветеринарным врачом в кавалерийском полку в Новочеркасске. Он не изменяет лошадям.

В нескольких записках у меня спрашивают мнение о фильме «Путевка в жизнь».

В прошлом году моя книга была переведена на английский язык, издавало ее одно буржуазное издательство в Лондоне. Оно поставило условием, что издаст книгу только под названием «Путевка в жизнь». Они сказали: «Иначе мы не можем, потому что, если будет заглавие «Путевка в жизнь» — книгу раскупят, а если другое название, то — кто его знает». И как я ни вертелся, так ее и издали.

Я получил несколько отзывов английских газет, и все они почти написаны так: кто видел «Путевку в жизнь» и перечувствовал то глубокое переживание, которое она вызывает, тот должен прочесть «Педагогическую поэму»,— она дополняет «Путевку в жизнь».

Так избавиться от «Путевки в жизнь» я и не мог, а между тем, «Путевку в жизнь» и «Педагогическую поэму» объединяют советские принципы отношения к человеку, а методы воспитания в этих произведениях разные. Я не могу признать уместным разрешать такой важнейший вопрос, как вопрос воспитания, при помощи 2—3 фокусов с ложкой и т. п.

Но ведь это все-таки кинофильм, и в свое время он имел огромное значение. Да в кинофильме и нельзя бы-

ло показать педагогической проблемы, а тот же пролетарский гуманизм, та же вера в человека, та же страсть, какая есть у всех нас, там показаны.

Конечно, когда «Путевку в жизнь» смотрели коммунары-дзержинцы, они только улыбались, потому что приятно поют песенку беспризорные, приятно вспомнить, что и сами певали ее, но когда лучший герой вдруг становится кондуктором, то у коммунаров разочарование: стоило ли из-за этого картину пускать, вот если бы летчиком! И это верно!

В картине много и неудачного, и смерть Мустафы не нужна никому, ни в чем она не убеждает, и воровская «малина», и игрушечный поезд, все это окрашивает картину в искусственный цвет, но основной тон все-таки взят правильно.

Сейчас я пишу сценарий. Хочется взять для картины совсем новую тему. Я считаю, что довольно показывать героику пройденного уже нами в педагогике пути. Не мартыновых надо показывать,— романтизм борьбы человека с беспризорностью кончен. Есть уже прекрасные готовые коллективы, где по неделям не приходится делать ни одного замечания. Надо показывать готовый советский коллектив, где это «сырье» переваривается незаметно для глаза.

Я расскажу вам об одном из пополнений коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. Нам сказали: надо взять сегодня 30 человек с поездов. Раз надо — следовательно, выполняй.

На вокзал командируется пять человек: командир Алеша Землянский-Робеспьер, в коммуне его называли Робеспьером за то, что он за каждый проступок требовал выгнать из коммуны. Или выгнать, или никакого наказания. Едем: Робеспьер, я и еще 2—3 коммунара. На вокзале знакомимся с дежурным и говорим: «Дайте нам комнату, мы сегодня собираем пополнение в коммуну».

«Пожалуйста, вот вам комната».

Подходит один поезд, другой, третий, четвертый. Поездов много. Эта тройка заглядывает под вагоны, залезает на крыши и приглашает следовать за собой. Кого за ногу вытащили, кому просто сказали. Действуют по-товарищески, но без лишних нежностей. Вводят всех в ком-

нату. У дверей комнаты становится часовой. Собирается 30 человек. Страшно возмущены:

— Кто вы такие, какое ваше дело, что вам надо?

В комнате всего 3 человека против этих 30. Преимущество то, что трое организованы, а 30 — нет. После этого начинается митинг. Митинг самый простой:

— Товарищи, вы тут шатаетесь, по поездам ездите, а у нас рабочих рук не хватает. Куда это годится? Нам рабочие руки нужны. Будьте добры, помогите нам работать.

— А что там такое?

— Завод строим, не хватает рабочих рук.

— Посмотрим...

— Да чего смотреть, решайте сейчас, у нас оркестр, кино, спектакли.

Начинают интересоваться, тогда им говорят:

— Вот вам Алеша, он остается вашим командиром, вот деньги на ужин, без разрешения Алеши никуда не уходить, часового снимаем. Если командир разрешит выйти на 5 мин., выйдешь и через 5 мин. не вернешься, лучше совсем не приходи. А мы завтра придем за вами.

Завтра приезжает грузовик и привозит ботинки. Просто неприлично идти по улице без ботинок. Все остальное привезти нельзя, надо их обмыть, остричь и т. д. Они надевают ботинки. Одежда их обычно не застегнута, без пуговиц, кое-как держится на плечах. Тут Алеша строит их в комнате по шесть человек в ряд, пять рядов, командует — равняйся, держите интервал.

— В ногу умеете ходить?

— Пойдем.

Из комнаты Алеша их не пускает. Настроение ироническое: что такое, ботинки привезли, какие-то пять рядов по шести, какой-то командир!

А в этот момент к вокзалу подходит коммуна — 500 человек в парадных костюмах. Это значит — белый воротник, золотая тюбетейка, галифе, словом, полный парад. Строй у них очаровательный, свободный, физкультурный, повзводно, оркестр в шестьдесят человек, серебряные трубы и знамена.

Подошли, выстроились в одну линию, заняли всю вокзальную площадь, расчистили интервал для нового взвода.

— Алеша, выводи!

Вы представляете себе, вокзал, народу масса, никто не понимает, в чем дело, почему парад. А дзержинцы все сдержанны, серьезны, никто не улыбается.

Выходит Алеша со своим собственным взводом. Команда: «Смирно! Равнение налево!» Салют. Что такое? Коммунары салютуют своим новым членам.

Взвод проходит по всему фронту, все держат руку в салюте, поворачивают головы, оркестр гремит в честь нового пополнения.

У публики нервный шок, слезы, а для беспризорных — это все равно, что хорошая «педагогическая дубинка» по голове. Такая встреча! После этого справа по шесть марш, через весь город. Оркестр, знаменщики, особый взвод, все в белых воротниках, мальчики, потом девочки, а в середине — этот новый взвод. Идут серьезно, видят, что дело серьезное.

Без всяких преувеличений — на тротуарах рыдают женщины. Так и надо, нужно потрясение.

Приходят в коммуну, баня, парикмахер — на это час. Через час это общий взвод, они уже входят в общую семью. Попробуйте любого беспризорного остричь, помыть, одеть в парадную форму с вензелем, начищенные ботинки, галифе — и он войдет в общий строй.

И последний акт — это сжигание остатков прошлого. Одежду поливают керосином и поджигают. Приходит дворник, все это выметает, а я говорю: «Вот этот пепел,— это все, что осталось от вашей прежней жизни». Прекрасное зрелище, без всякой помпы, а уже с шутками, со смехом.

А вечером, посмотрите на них, какие они нежные, осторожные, вежливые, как боятся кого-нибудь зацепить, с каким они удивлением глазеют на всех коммунаров, и на меня, и на девочек, и на педагогов, словом, на все.

У этих 30 все будет в порядке. Один какой-нибудь выскочит, что-нибудь проявится, какая-нибудь привычка, его выведут на общее собрание, и обязательно Робеспьер скажет:

— Выгнать!

Он еще раз переболеет душой, и этим кончится. Что он может сделать?

Вы видите, как незаметно для глаза вся эта страшная трагедия разрешается почти без всякого усилия.

Тут спрашивают: *«Есть ли колония для детей безнадзорных, у некоторых есть родители, но они заняты работой»*.

Такие колонии разрешены уже постановлением ЦК партии от 1935 г., но я ни одной не знаю. Сам мечтаю, как о лучшем конце моей жизни, заведовать такой колонией.

Дело в том, что безнадзорные родительские дети гораздо труднее. Вот в последние месяцы мне поручили организовать новую колонию под Киевом и привезли ко мне исключительно таких семейных детей. Мое положение было очень тяжелым; когда ко мне привозили 15—20 человек беспризорных, было гораздо проще. А тут привозили из тюрьмы партиями 15 человек, конвой подавал истрепанную бумажку и говорил:

— Расписывайтесь.

Я расписывался и ужасался, потому что конвой снимал штыки с винтовок и уезжал, а эти 15 вновь прибывших пацанов и я оставались друг против друга. Беспризорные у меня в руках, им больше некуда ехать, а этот говорит:

— Я не хочу тут жить, тут плохо кормят, у папы лучше, у папы можно украсть 2 рубля на кино, а тут взять негде.

И, кроме того, они избалованы, это почти всегда единственные сыновья. Я надеюсь, что когда-нибудь будет издан такой декрет: у кого родился сын, а через три года не родился второй — штраф.

Мне задают такой вопрос: *«Сколько нужно, по-вашему, времени, чтобы раз и навсегда уже из беспризорного воспитать настоящего человека?»*

Тут решает начальная стадия. Если вы берете мальчика 8 лет, то нельзя быть уверенным, что он совсем воспитан, пока ему не будет 18 лет. Самый лучший мальчик, вытолкнутый в жизнь очень рано, может свихнуться. Для того, чтобы ответить, необходимо прежде всего знать лета, затем колоссальное значение имеет образование. Если бывший беспризорный окончил полную среднюю школу,— это хорошая гарантия от рецидивов. У малограмотных иногда рецидивы бывают.

Где я теперь работаю, и как реагировали на «Педагогическую поэму» мои воспитанники, увидя свои портреты?

Я болен, у меня переутомлены нервы, и мне врачи предложили годок не работать. Поэтому я сижу в Москве, ничего не делаю и пишу книгу.

Герои «Педагогической поэмы» никак не реагировали. У них такой критерий: если написана правда, значит хорошо. Так как написана правда, то они решили, что это хорошая книга — и все. Причем каждый из них, вероятно, убежден, что если бы он сел писать, то тоже написал бы книгу. Я думаю, что особого преклонения у них предо мной на этот счет не было. Это хорошо...

Тут написано: *«Дзержинцы считают, что летчики важнее кондукторов, верно ли это?»*

Во-первых, не только дзержинцы так думают, а во-вторых, не в важности дело. Дело в том, что у летчиков есть столько притягательных сторон, сколько у кондуктора никогда не будет. Во-первых, мотор, машина, бензин; во-вторых, высота, воздух; в-третьих, опасность; в-четвертых, красивая форма; в-пятых, общий букет советских летчиков — «сталинских соколов». Это и взрослого человека увлекает. Советский летчик, летчик Арктики, сколько славных имен, сколько героев-орденоносцев, что ж вы хотите, чтобы мальчика это не привлекало? Кондуктор может прекрасно работать, но все-таки очень хорошо, если мальчик помечтает в юности о том, что он станет летчиком, хотя, может быть, на самом деле он будет прекрасным кондуктором.

В чем заключалась борьба с детской беспризорностью в дореволюционное время?

До революции у безнадзорного была одна дорога — в «мальчики». Я вышел из той социальной среды, в которой большинство моих товарищей уходили в «мальчики» — кто к сапожнику-кустарю, кто к жестянику, маляру и т. п. Почему уходили они в «мальчики», а не на улицу? Потому что иная позиция была мальчика в то время и в семье и вне семьи. Теперь мальчик свободен, он чувствует себя гражданином, он доверяет всей нашей жизни. Он действительно нигде не пропадет.

Я очень хорошо знаю мальчиков, которые не уживаются в детских домах. Что они делают? Обычно пере-

двигаются: Одесса, Винница, Полтава, Киев, Харьков, опять Одесса и т. д. Они смотрят, где лучше. В этих поисках у них очень много возможностей.

До постановления партии о ликвидации беспризорности беспризорники плохо относились к милиционерам. За последние 2 года это отношение резко изменилось. Если мальчик удрал из детдома, он прямо заявляет милиционеру, что он ушел. Какой расчет? Может быть, в другом детдоме будет лучше. Не понравилось в Киеве, поехал в Харьков, может быть, там лучше? Эта типичная беспризорность, теперь ликвидированная, была страшна не столько числом, сколько движением. Один и тот же беспризорный очень быстро оборачивался по разным городам, а фактически это было немногочисленное войско.

Когда мы принялись за выполнение постановления партии о ликвидации беспризорности, мы боялись: сколько их, тысячи, десятки тысяч? А когда мы их взяли в руки, когда мы их пересчитали, переписали, карточки на каждого завели, то их оказалось не много: у нас в Киеве была картотека с портретами всего этого общества, и мы прекрасно их знаем. Скажем, Павел был сначала в Днепропетровске, потом в Одессе, потом в Харькове и т. д. Мы знаем каждого, кто проходит через наши руки, и делаем все возможное, чтобы он осел, нашел для себя место. Как только ему понравится — помещение ли, управляющий, товарищи, так он и осядет. Осядет такой Павел, живет-живет месяц, а ему и говорят: ты инструктора оскорбил, мы тебя в другую колонию переведем. И вот, если он упадет на колени и начнет кричать, что больше не будет, кончено: значит, наш.

До революции у таких мальчиков никаких перспектив не было, они работали с утра до вечера, бегали за водкой и знали, что податься им некуда. А теперешний беспризорник — куда хочешь: в инженеры — пожалуйста, в летчики — пожалуйста.

Вот и здесь сейчас сидит один бывший коммунар, он теперь будет летчиком. Когда он пришел в коммуну, я думал, что с таким характером, как у него, то ли выйдет, то ли нет. А теперь он поступает в летную школу. И это очень хорошо, что он туда идет, потому что он мастерски делает «мертвые петли» и в буквальном смыс-

ле и в переносном. В свое время он тоже долго искал по свету и, наконец, осел в коммуне.

Какую я получил награду за свою работу?

Во-первых, я получал жалованье, а во-вторых, золотые часы с надписью от Коллегии НКВД.

«Женаты ли вы?»

Вопрос такой, от которого краснеть не приходится. Представьте себе, в колонии Горького мне ребята жениться не позволяли. Как только увидят с какой-нибудь женщиной рядом, так и надулись: что ж вы, Антон Семенович, мы, конечно, для вас ничего. Поэтому до 40 лет мне было просто некогда жениться, а сейчас — женат, и гораздо более счастливо, чем Лапоть.

«Какие наказания я считаю возможным применять в массовой школе?»

Я не имею права отвечать на такой вопрос, потому что я скажу вам что-нибудь, а вы потом своему начальству бухнете, и меня обвинят, что я ратую за наказания.

Если бы школа была у меня в руках, то я бы никаких мер наказания не применял, кроме двух: выговор и увольнение из школы. Надо только сделать так, чтобы не директор увольнял, а коллектив, тогда другое дело.

Поэтому говорить о наказании я не могу, не говоря вообще о детском коллективе. Увольнять должен коллектив. А уж если провинившийся просит простить,— простите, больше не буду, то отмена решения исключить производит большое впечатление. Никаких других наказаний я себе представить в массовой школе не могу.

«Дает ли положительные результаты отправка беспризорных в колхозы?»

Дает, но если это сельские дети, а не городские, а во-вторых, если в колхозах им уделяют хотя бы маленькое внимание: дают хорошую квартиру, хорошую бригаду, купают своевременно, одевают и т. д. В таких случаях дает большие результаты. Если же в колхозы посылают городских детей, и тем более, там, где колхозники относятся к ним небрежно, никаких результатов нет.

«Не следует ли из хулиганов создавать отдельные группы и вести с ними работу?»

Я бы хулиганов не выделял, это очень опасная вещь. Если у вас есть очень сильный педагог, то он может за-

няться с этой группой, но самое лучшее воздействие — это воздействие коллектива.

Здесь спрашивают, какова судьба Веры и Наташи.

Вера вышла замуж, и в ее жизни произошла интересная история. В один прекрасный день она заявила совету командиров коммуны Дзержинского, что ее ударил муж. Совет командиров постановил развести. Решили: его выгнать с должности, которую он занимал тогда в коммуне, сына числить в коллективе, с уплатой ему из фонда совета командиров пенсии в размере 100 рублей в месяц до достижения 8 лет, а после 8 лет зачислить в коммуну.

Этот муж принужден был уйти, поехал он в Сочи, а в Сочи работали шоферами два бывших воспитанника колонии им. Горького. Они узнали эту историю и сказали ему:

— Ты из Сочи уезжай. Мы тебе здесь не позволим оставаться. Как ты мог ударить Веру и приехать сюда, какое нахальство!

Он ездил так, ездил, снова возвратился в коммуну, и к Вере, на коленях — прости.

Женщина добрая, а возможно тут и любовь, и сын, она в совет командиров.

— Я его прощаю.

— Что ты нам голову морочишь, он тебя ударил, ты пришла жаловаться, а теперь вздумала прощать? Пускай уезжает.

Он пришел сам в совет командиров, буквально земно поклонился и говорит:

— Никогда в жизни не трону.

Простили, восстановили на работе, стипендию ребенку отменили, семья сладилась. Пока живут благополучно и работают.

От Наташи вчера получил письмо, кончает Одесский медицинский институт и просит меня помочь ей. Пишет, что ей предстоит остаться в Одесской области, а она хочет на Дальний Восток, как бы это устроить. Я, может быть, ей помогу уехать в Уссурийский край, как она хочет.

Тут спрашивают насчет пионерорганизации.

В этом отношении у нас всегда было сложно. Ребята 12—13 лет, а интересы уже другие. В 13 лет он токарь.

4-го разряда, и, конечно, возражение, какой же я пионер, если я токарь 4-го разряда? А был такой малыш Лапотенко Гриша, он управлял группой фрезерных станков и всегда говорил: какой же я пионер, я хочу быть комсомольцем. Вот он и ждет своего времени. Из коммуны Дзержинского обязательно выходят комсомольцы. Но пионеры есть, и последнее время они наладили свою работу.

Спрашивают о Калине Ивановиче.

Представьте себе, мне сказали, что он умер. Я поверил, а в прошлом году получил вдруг от него письмо, где написано: «Я прочел твою книгу, и так как ты обо мне пишешь очень хорошо, то похлопочи, чтобы мне дали персональную пенсию». Я хлопотал, но эти хлопоты не увенчались успехом, хотя ему и прибавили 75 рублей.

СТИЛЬ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мы привыкли к мысли, что понятие художественной литературы есть нечто совершенно определенное. Во всяком случае, с представлением о художественной литературе у нас связывается мысль о настоящем, высоком искусстве.

Когда мы говорим о литературе для детей, мы одновременно чувствуем два определения: во-первых, мы утверждаем, что эта литература тоже должна быть художественной, во-вторых, мы утверждаем, что она обладает какими-то особенностями, которые делают ее именно литературой для детей.

Что это за особенности, которые заключаются в художественной литературе для детей, и не заключаются ли эти особенности в изменении самого понятия «художественный»?

Этот вопрос становится особенно острым, когда мы вспоминаем, что слова «детская литература» объединяют целый ряд возрастных критериев: одно дело литература для детей 8 лет, другое дело — для детей 16 лет.

С первого взгляда может показаться, что и возрастные разделы в самой детской литературе и отличие художественной детской литературы от литературы для взрослых заключаются главным образом в тематике, в номенклатуре идей, в содержании. Однако трудно представить себе такую тему, которая не могла бы быть

предложена детям. Даже любовь, обыкновенная половая любовь, не может быть исключена из сферы «детской» тематики, во всяком случае, можно представить себе книгу для детей, в которой будет написано: «Он женился на ней, и они любили друг друга».

Если бы кто-нибудь указал такую тему, которая возможна в литературе для взрослых и кажется противопоказанной в литературе для детей, то это значило бы только, что проблема такой детской тематики еще не разрешена и следует над этой проблемой потрудиться. В самом деле, возьмем наши сегодняшние темы, наиболее для нас важные и захватывающие: защита страны, подготовка кадров, патриотизм, социалистическое строительство, дружба народов, счастье трудящихся, бдительность и борьба с врагами, стахановское движение, советская демократия.

Все эти темы не только могут быть, но и должны быть предложены нашему молодому читателю. Сколько-нибудь серьезных и принципиальных ограничений «детской» тематики указать нельзя.

Интересно рассмотреть тематический вопрос с другой стороны: нет ли таких комплектов тем, которые уместны только в детской литературе и для взрослого читателя не годятся?

Если бы такие темы нашлись, они могли бы в известной мере характеризовать особенности детской литературы и ее отличия от литературы для взрослых. Однако при самых тщательных поисках ультрадетских тем нет никаких оснований утверждать, что такие темы могут быть найдены. Даже такие до конца беззубые новеллы, в которых рассказывается о том, как птичка прыгает на ветке, или изображается безмятежная вневременная и внепространственная идиллия:

А у нас над рекой
Тишина и покой,
И налима со дна
Я достану рукой.

(*«Дружные ребята» № 6*).

Даже такие «детские» идеи свободно могут быть предложены и взрослым, среди которых есть немало охотников достать налима рукой и вообще насладиться природой без каких бы то ни было дополнительных приспособлений или соображений. Может быть, трудно найти в литературе для взрослых целые книги, посвященные подобным наслаждениям, но отдельные страницы и вставки попадаются часто.

Особенности, которые отличают «детскую» литературу от «взрослой», заключаются не в том, о чем рассказывается, а в том, как рассказывается.

Писателям, работающим в большой литературе, мы предоставляем обычно полную свободу стиля. Больше того,—мы требуем, чтобы у каждого писателя был свой стиль, отличающий его от всех остальных писателей. Мы не требуем от писателя, чтобы у него обязательно был разработанный пейзаж, чтобы у него практиковались лирические отступления. Мы не обязываем его непременно показывать диалог, и можно назвать много авторов, у которых диалог почти отсутствует. Мы предоставляем писателю полную свободу в выборе метафор и не возражаем, если у него метафоры просто отсутствуют. Собственно говоря, очень трудно назвать или перечислить те стилевые каноны, которые считались бы общепринятыми и могли бы составить какой-нибудь свод художественных правил. Проза Пушкина и проза Л. Леонова стоят на разных концах стилевой линейки, оставаясь каждая в отдельности высокохудожественной прозой. То, что мы требуем от писателя в обязательном порядке, лежит за пределами стиля как такового: реалистическая наполненность темы, яркость и выразительность образов и характеров, эмоциональная взволнованность текста или подтекста — вот то, чего мы во всяком случае ожидаем от художественного произведения, предоставляя автору какими угодно средствами идти навстречу нашим ожиданиям.

И если писатель беден в самой своей реалистической правде, невыразителен и неразборчив в образах,

сер и скуп в своих явных или скрытых эмоциях, мы осудим его произведение, независимо от того, какие им употреблены художественные приемы и средства, лаконичен он или многословен, употребляет метафоры или избегает их, живописует природу или обходится без природы.

Художественный минимум, невыполнение которого выбрасывает произведение из художественной литературы, обязателен и для произведений, предназначенных для молодого читателя. И в этом случае мы должны требовать реалистической полнокровной правды, яркости, впечатляемости образа и эмоционального подъема. При наличии всех этих качеств мы признаем художественную ценность произведения достаточной. Но теперь мы уже не можем предоставить художнику такую же свободу в выборе изобразительных средств, иначе говоря, мы ограничиваем его в стилевом отношении. Если такое ограничение не выполняется, мы угрожаем автору... в лучшем случае мы угрожаем ему тем, что отнесем его произведение к разряду «взрослых». Фактически такая угроза никогда не существует, ибо обычно дело обстоит хуже: удовлетворяя нашим стилевым требованиям в одном приеме, автор не выполняет их в другом. Произведение останавливается где-то посредине, между детским и взрослым читателем.

По отношению к детской литературе можно, стало быть, говорить о некотором своде стилевых ограничений или правил.

В своей сущности они представляют педагогические акты, вполне естественные всегда, когда дело касается ребенка или подростка. Их происхождение заключается в самой природе ребенка, описывать которую в настоящей статье нет надобности отчасти потому, что она более или менее синтетически известна, отчасти потому, что эта природа отражается и в самых законах наших стилевых требований.

Размеры настоящей статьи не позволяют развернуть широкую логическую картину, не позволяют связать

стилевые особенности детской книги с тем или другим признаком детства. В большинстве случаев бывает полезно выводить эту связь не из педагогической логики, а из прямого опыта, достаточно у нас известного и широкого. Вообще в области детского чтения наиболее уместной остается индуктивная логика. В нашей советской действительности она должна направляться марксистским представлением о личности и коллективе, диалектическими законами развития. Именно поэтому мы прежде всего должны отказаться от какой бы то ни было идеи «остановившегося детства» (обычный порок педагогической дедукции). Ребенок растет с каждым своим днем. Книга, прочитанная им сегодня, и та же книга, прочитанная им через несколько дней, встречает, в сущности, разных читателей и разный читательский прием. Наша книга не должна поэтому строго следовать за возрастным комплексом психики, она должна быть всегда впереди этого комплекса, должна вести ребенка вперед, к тем пунктам, на которых он еще не был. Поэтому в нашей детской литературе важны не стилевые законы формы, а стилевые законы движения. Нужно говорить не о канонах стиля, а о тенденциях стиля, принимающих самые разнообразные выражения в зависимости от того, какой ребенок, с какой подготовкой, с какими устремлениями берет в руки нашу книгу. Наше детство настолько многообразно, что, в сущности, становятся совершенно условными наши возрастные представления. Одну и ту же книгу читают с одинаковым интересом и ребята 11 лет, и юноши 17 лет, и даже многие взрослые. Таких книг много, и это самые лучшие книги. Та книга, которая интересна только для определенного, точного возраста,— всегда слабая книга: в ней слишком ограничен комплекс идей и представлений.

Переходя непосредственно к описанию стилевых требований к детской литературе, мы должны еще раз об этом напомнить: речь идет не о правилах формы, а о тенденциях стиля.

Нам представляется удобным вести разговор о сти-

левых особенностях детской книги по определенным разделам.

Сюжет и фабула

Мы находим возможным по отношению к сюжету и фабуле предложить такую формулу: сюжет должен по возможности стремиться к простоте, фабула—к сложности. Сюжет — это схема развития идей и отношений. В детском возрасте опыт идейной жизни и опыт человеческих отношений еще весьма незначителен, почти не знает синтеза и обобщения, не знаком с исключениями и искривлениями. Сюжет «Преступления и наказания» или «Анны Карениной» — сюжеты слишком сложные для молодого опыта. Эти сюжеты предполагают большее знание у читателя в области духовной жизни. Для молодого читателя необходимы простые (более или менее простые), совершенно доступные пониманию и воображению схемы духовной борьбы. Какого бы то ни было «психологического» расцвечивания сюжета не должно быть в детской книге. Дети должны иметь перед собой совершенно ясные и совершенно здоровые картины отношений. Даже тематика внутренних конфликтов, колебаний, соблазнов, то, что в литературе для взрослых может послужить основанием для очень сложных драматических сюжетов, в детской книге должна выражаться в виде простых и коротких моментов. Тем более неуместны для молодого читателя сложные и изощренные сюжетные ходы по линиям духовного разложения, духовного страдания или наслаждения.

Фабула, то есть схема событий, внешних столкновений и борьбы, наоборот, может быть как угодно сложна и действенна. Ребенок любит движение, любит события, он горячими глазами ищет в жизни перемен и происшествий, его воля требует движения и перемены мест, и поэтому в детской книге не нужно бояться самой сложной фабулы, самой изощренной сетки событий. Если сюжет прост, книга не боится в таком случае

никаких фабульных ходов, никакой таинственности, прерванных движений, таинственных остановок. Нужно с сожалением констатировать, что в нашей (русской) литературе мало мастеров фабулы, и поэтому до сих пор остаются у нас на первом плане такие авторы, как Марк Твен, Жюль Верн, Вальтер Скотт, привлекающие читателей напряженным и многообразным действием.

Из этого требования к фабуле вытекает, между прочим, и еще одно требование, которое может показаться на первый взгляд даже странным. Дети не любят коротких книг. В небольшой книге трудно развернуться действию. Не успев начаться, действие в них заканчивается. Даже при самой драматической и сложной завязке действие это количественно незначительно, оно не может втянуть в себя достаточное количество лиц, оно все-таки не сложно, оно не способно впитать значительную территорию.

Детское требование к сложности фабулы очень настойчиво: это не только любовь к сильным движениям, это и любовь к многообразию лиц, мест, времен, обстановок, напряжений. Именно поэтому дети больше любят «Детей капитана Гранта», чем «Таинственный остров». Остающийся на одном месте Робинзон, несмотря на свою старую славу, на самом деле не пользуется особенной любовью ребят. Робинзон относится к тем книгам, относительно которых взрослые самостоятельно решили, что они обязательно должны нравиться детям.

Точно так же дети не особенно любят читать «Дон-Кихота», особенно в полном издании. Сюжет этой книги, та настоящая поэзия человеческого духа, которая так привлекает взрослых, детьми почти не воспринимается, фабула же этой книги при всей ее действенности очень однообразна.

Характер

Законы изображения характера в детской книге вытекают из соображений, высказанных выше. Про-

стой сюжет и сложная фабула возможны только при очень экономной подаче характера. Психологический анализ обязательно усложнит сюжет и остановит движение действия. Поэтому нужно требовать, чтобы в детской книге действовали ясные, определившиеся и прямые люди. Описывать какое-либо становление образа, его постепенное формирование довольно безнадежно в книге для детей. Айртон Жюль Верна проходит путь от пирата и разбойника до в общем хорошего человека в очень скрытых формах, дети готовы принять на веру, что в душе он что-то, может быть, и длительно переживал.

Такое расположение духовных сил человека имеет и свое педагогическое оправдание. Наши дети должны вырастать цельными личностями, не нужно очень рано знакомить их с неясностью и неопределенностью человеческого типа. Герои детской книги должны быть цельными людьми, и между ними должна идти такая же цельная и напряженная борьба. Симпатии читателя должны без всяких колебаний становиться на сторону положительного героя.

Все это вовсе не значит, что все люди в детской книге не должны иметь характерных особенностей или характерного языка. Читатель должен различать своих героев и узнавать их с первого взгляда. Эти герои должны вызывать положительное или отрицательное чувство, но обязательно с разными оттенками. Одни должны вызывать преклонение, другие уважение, третьи любование, четвертые радостную улыбку, пятые заботу и нежность и т. д. Но все эти характерные извилины чувства должны быть только типичными извилинами и никогда не индивидуалистическими. Только очень квалифицированный читатель способен наслаждаться редкими индивидуальными особенностями, усложняющими картину личности и делающими ее неповторимой. Дети еще не способны на такое эстетическое наслаждение. Личность героя для них важна не сама по себе, не в своей личной неповторимости, а исключительно как носитель дей-

ствия, как участник борьбы. Какой бы занятной ни представлялась та или другая фигура в книге, ребенок принимает ее только по измерителям действия. Все личные особенности для него пропадают и мешают чтению, если они статичны, если они не отражаются на действии. Молодой читатель с радостью принимает юмор, насмешку, иронию, сарказм, если все эти выражения относятся к действию, а не назначены только живописать красоту личности.

Для автора в этом вопросе очень много и трудного и интересного. Он должен организовать в книге большое сложное действие, для этого необходимо как можно больше действующих, активных лиц. Они должны резко отличаться друг от друга, их лица должны быть разнообразны. И в то же время эти отличия не должны закрывать действие, не должны существовать сами для себя, и поэтому они должны быть по возможности ясны и действенны.

Живопись

Пейзаж, портрет, натюрморт, многие другие отделы живописи в детской книге должны иметь свое место, но в особом выражении. Безнадежно было бы рекомендовать для детского чтения пейзаж Бунина или портреты Чехова. Изощренность письма всегда соответствует изощренности сюжета. Пейзаж всегда отражает простую или гурманскую подачу героя. В простом сюжете детской книги неуместны никакие нюансировки пейзажа и невозможен никакой, даже самый слабый импрессионизм. «Стеклышко разбитой бутылки» в детской книге не сделает лунной ночи. Должна быть названа луна, и должно быть сказано, что она освещает.

Это вовсе не значит, что в детской книге не должно быть описания красивого вида, но в таком случае кто-нибудь должен этим видом обязательно любоваться. В портрете необходимы только такие черты, которые позволяют представить себе внешность человека

и которые прямо вызывают к нему симпатию или антипатию.

Вот приблизительно все, что хотелось сказать о стиле детской книги. Было бы очень печально, если бы мои слова были приняты как призыв к опрощению. Выше я уже сказал, что детская книга способна выдержать любую тематику, и я поддерживаю эту мысль настойчиво. Понятие действия вовсе не ограничено темой приключения и войны, то есть прямых схваток на поле. Детский интерес очень многообразен. Даже научные открытия, самые сложные детали техники, самые глубокие проблемы морали могут быть предложены детскому вниманию. И это внимание всегда встретит писатель, если он расскажет обо всем этом в простом по сюжету и сложном по действию произведении, если у него будут действовать яркие и ясные герои, привлекающие любовь читателя и стремление следовать за собой.

А. М. ГОРЬКИЙ
и
А. С. МАКАРЕНКО

ПРЕДИСЛОВИЕ К АЛЬБОМУ «НАШИ ЖИЗНИ — ГОРЬКОМУ — ГОРЬКОВЦЫ»

На общем собрании колонистов-горьковцев я спросил:

— Что мы подарим Алексею Максимовичу?

Было высказано много предложений, но все сразу остановились на предложении колониста Петра Дроздюка:

— Напишем всю нашу жизнь и подарим Алексею Максимовичу альбом с нашими биографиями.

Я также поддержал эту мысль. В самом деле, великому Горькому, как писателю и человеку, может быть, всего приятнее будет иметь у себя небольшой человеческий документ — собрание биографий трехсот беспризорных. Мне казалось, что такой сборник будет иметь значение почти исключительно статистическое, поэтому, когда ребята стали подавать мне свои листики для печатания, я требовал от них большей обстоятельности в изложении фактов их жизни.

Но по мере того, как продолжалась моя работа по собиранию материалов, я начал понимать, что значение записок моих колонистов несколько иное. Часто как раз их непосредственность, забывчивость о разных фактах показались мне наиболее характерными. В немудрых строках я находил отражение их мироощущения, части целой философии, той философии, какая может и должна появиться в такой определенной группе, как беспризорные. И я ясно почувствовал, как между лохматыми, напряженно грамотными строчками пробивается на-

стоящий запах нашей эпохи, очень сложный запах, который и для великих талантов изображения не всегда будет под силу.

Когда я печатал сотую биографию, я понял, что я читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-нибудь читать. Это концентрированное детское горе, рассказанное такими простыми, такими безжалостными словами. В каждой строчке я чувствую, что эти рассказы не претендуют на то, чтобы вызвать у кого-нибудь жалость, не претендуют ни на какой эффект, это простой искренний рассказ маленького, брошенного в одиночестве человека, который уже привык не рассчитывать ни на какое сожаление, который привык только к враждебным стихиям и который привык не смущаться в этом положении. В этом, конечно, страшная трагедия нашего времени, но эта трагедия заметна только для нас, для беспризорных здесь нет трагедии — для них это привычное отношение между ними и миром.

Для меня в этой трагедии, пожалуй, больше содержания, чем для кого-либо другого. Я в течение восьми лет должен был видеть не только безобразное горе выброшенных в канаву детей, но и безобразные духовные изломы у этих детей. Ограничиться сочувствием и жалостью к ним я не имел права. Я понял давно, что для их спасения я обязан быть с ними непреклонно требовательным, суровым и твердым. Я должен быть по отношению к их горю таким же философом, как они сами по отношению к себе.

В этом моя трагедия, и я ее особенно почувствовал, читая эти записки. И это должно быть трагедией всех нас, от нее мы уклониться не имеем права. А те, что дают себе труд переживать только сладкую жалость и сахарное желание доставить этим детям приятное, те просто прикрывают свое ханжество этим обильным и поэтому дешевым для них детским горем.

Вот эту суровую тягостную мысль мне не стыдно сказать Вам, дорогой Алексей Максимович. Вы не из тех людей, которые в вату хотят спрятать человека, чтобы он не кричал.

А. Макаренко.

БЛИЗКИЙ, РОДНОЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ!

Максим Горький — это имя уже более четырех десятилетий назад стало для всего мира символом новой позиции человека на земле. Мы — те, кто вступили в трудовую жизнь в 1905 году, воспитывали нашу мысль и волю в учении марксизма, в борьбе Ленина и партии большевиков. Чувства наши, образы и картины внутренней сущности человека формировались благодаря творчеству Максима Горького.

Это имя знаменовало для нас и высокую убежденность в победе человека, и полнокровное человеческое достоинство, и полноценность человеческой культуры, которая освобождается от проклятия капиталистической «цивилизации».

И поэтому, когда Октябрьская революция внезапно открыла передо мной невиданные просторы для развития свободной человеческой личности, открыла богатейшие возможности в моей воспитательной работе, я принял за образец страсть и веру Максима Горького.

Его утверждение ценности Человека, его любовь и его ненависть, его постоянное движение вперед и борьба объединялись в человеческом оптимизме художника. Он умел видеть в каждом человеке,— несмотря на самые ужасные жизненные катастрофы, несмотря на грязь в задавленном капитализмом мире,— прекрасные черты Человека, духовные силы, заслуживающие лучшей участи, лучшего общественного строя.

В этом были для меня самые богатые педагогические позиции и, разумеется, такими они были не только для меня.

И потому, что на мою долю выпали дети, наиболее пострадавшие от «цивилизации», я мог предъявить им всю горьковскую программу человечности.

И в особенно прекрасном гармоническом сочетании с богатым светом горьковского творчества возник перед нами сам А. М. Горький, возникла его личность.

Своим примером он доказывал свою писательскую правду, он каждым своим личным движением подтверждал возможности и силы развития Человека.

Когда в 1928 году он приехал в колонию и просто, с шуткой вошел в ряды бывших беспризорных, заинтересовался их судьбой, их заботами, воспитанием, как свой брат, который вместе с ними несет на своих плечах высокое звание Человека,— я особенно глубоко мог проникнуть в тайны и секреты новой советской педагогики. Тогда я прекрасно понял, что эта педагогика вся находится в горьковском русле оптимистического реализма; он был потом назван правильнее и точнее социалистическим реализмом.

Но великий Горький не разрешил мне успокоиться на этом. Бесконечно мягко и бесконечно настойчиво он заставил меня взяться за перо и написать книгу, одну из тех книг, которые стали возможны только благодаря ему. Хороша она или плоха, но она говорит о наших днях, нашем опыте, наших ошибках. А. М. Горький так высоко ценил такой еще молодой опыт свободной рабочей страны, что всякое слово об этом опыте он считал нужным. Так в моей жизни, в моей работе прикоснулся ко мне гениальный пролетарский писатель Максим Горький, и благодаря этому моя жизнь стала более нужной, более полезной, более достойной.

Но разве он прикоснулся только к моей жизни? Сколько жизненных путей, путей борьбы и побед обозначил А. М. Горький?

Его смерть — скорбное начало для нашей подлинной благодарности, для грандиозной картины его исторического значения.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ

В удушливые годы перед японской войной в том захолустье, где прошла моя молодость, литературные явления замечались с большим опозданием. В городской библиотеке мы доставали истрепанных, без последних страниц Тургенева и Засодимского, а если и попадалось нам что-нибудь поновее, то это обязательно были или граф Салиас, или князь Волконский.

И тем ярче и ослепительнее прорезало нашу мглу непривычно простое и задорное имя: Максим Горький.

Мы с трудом добывали его книги. Горький приходил к нам только изредка и вдруг огненной стрелой резал наше серое небо, а после этого становилось еще темнее. Но нам уже было ясно, что Максим Горький не просто писатель, который написал рассказ для нашего развлечения, пусть и больше: для нашего развития, как тогда любили говорить. Горький вплотную подошел к нашему человеческому и гражданскому бытию. Особенно после 1905 года его деятельность, его книги и его удивительная жизнь сделались источником наших размышлений и работы над собой.

Ни с чем не сравнимым по своему значению стало «На дне». Я и теперь считаю это произведение величайшим из всего творческого богатства Горького, и меня не поколебали в этом убеждении известные недавние высказывания Алексея Максимовича о своей пьесе. То, что Лука врет и утешает, разумеется, не может служить образцом поведения для нашего времени, но ведь никто никогда Луку и не принимал как пример; сила этого

образа вовсе не в нравственной его величине. Едва ли было бы убедительней, если бы Лука излагал программу социал-демократов большевиков и призывал обитателей ночлежки... к чему, собственно говоря, можно было их призывать? Я продолжаю думать, что «На дне» — совершеннейшая пьеса нового времени во всей мировой литературе. Я воспринял ее как трагедию и до сих пор так ее ощущаю, хотя на сцене ее трагические моменты, вероятно, по недоразумению, затушеваны. Лукавый старец Лука с его водянистым бальзамом, именно потому, что он ласков и бессилен, страшным образом подчеркивает обреченность, безнадежность всего ночлежного мира и сознательно ощущает ужас этой безнадежности. Лука — образ высокого напряжения, выраженный в исключительной силе противоречия между его мудрым безжалостным знанием и его не менее мудрой жалостной ласковостью. Это противоречие трагическое и само по себе способно оправдать пьесу. Но в пьесе звучит и другая, более трагическая линия, линия разрыва между той же безжалостной обреченностью и душевной человеческой прелестью забытых «в обществе» людей. Великий талант Максима Горького сказался в этой пьесе в нескольких разрезах и везде одинаково великолепен. Он блещет буквально в каждом слове, каждое слово здесь — произведение большого искусства, каждое вызывает и мысль и эмоцию. Я вспоминаю руки Бубнова, руки, которые кажутся такими прекрасными в прошлом, когда они были грязными от работы, и такими жалкими теперь, когда они «просто грязные». Вспоминаю бессильный вопль Клеща: «Пристанища нету!» и всегда ощущаю этот вопль как мой собственный протест против безобразного, преступного «общества». И то, что Горький показал ночлежку в полном уединении от прочего мира, у меня лично всегда вызывало представление как раз об этом «мире». Я всегда чувствовал за стенами ночлежки этот самый, так называемый «мир», слышал шум торговли, видел разряженных бар, болтающих интеллигентов, видел их дворцы и «квартиры» и тем больше ненавидел все это, чем меньше об этом «мире» говорили жители ночлежки.

Мой товарищ Орлов, народный учитель, с которым я был на спектакле, выходя из театра, сказал мне:

— Надо этого старичка уложить в постель, напоить чаем, укрыть хорошенько, пускай отдыхает, а самому пойти громить всю эту... сволочь...

— Какую сволочь? — спросил я.

— Да вот всех, кто за это отвечает.

«На дне» прежде всего вызывает мысль об ответственности, иначе говоря, мысль о революции. «Сволочи» ощущаются в пьесе как живые образы. Вероятно, для меня это яснее, чем для многих людей, потому что вся моя последующая жизнь была посвящена тем людям, которые в старом мире обязательно кончали бы в ночлежке. А в новом мире... здесь невозможно никакое сравнение. В новом мире лучшие деятели страны, за которыми идут миллионы, приезжают в коммуну Дзержинского, бывшие кандидаты в ночлежку показывают им производственные дворцы, пронизанные солнцем и счастьем спальни, гектары цветников и оранжереи, плутовато-дружески щурят глаза в улыбке и говорят:

— А знаете что, Павел Петрович? Мы эту хризантему вам в машину поставим, честное слово, поставим. А только дома вы ее поливайте.

— Убирайтесь вы с вашей хризантемой, есть у меня время поливать...

— Э, нет,— возмущается уже несколько голосов,— раз вы к нам приехали, так слушайтесь. Понимаете, дисциплина...

Но так получается теперь, когда ответственность «общества» реализована в приговоре революции. А тогда получалось иначе. Предреволюционное мещанство хотело видеть в пьесе только босяков, бытовую картинку, транспарант для умиления и точку отправления для житейской мудрости и для молитвы: «Благодарю тебя, господи, что я не такой, как они». Самое слово «босяки» сделалось удобным щитом для закрывания глаз на истинную сущность горьковской трагедии, ибо в этом слове заключается некоторое целительное средство, в нем чувствуется осуждение и отграничение.

Максим Горький сделался для меня не только писателем, но и учителем жизни. А я был просто «народным учителем», и в моей работе нельзя было обойтись без Максима Горького. В железнодорожной школе, где я учительствовал, воздух был несравненно чище, чем в

других местах; рабочее, настоящее пролетарское общество крепко держало школу в своих руках, и «Союз русского народа» боялся к ней приближаться. Из этой школы вышло много большевиков.

И для меня и для моих учеников Максим Горький был организатором марксистского мироощущения. Если понимание истории приходило к нам по другим путям, по путям большевистской пропаганды и революционных событий, по путям нашего бытия в особенности, то Горький учил нас ощущать эту историю, заражал нас ненавистью и страстью и еще большим уверенным оптимизмом, большой радостью требования: «Пусть сильнее грянет буря».

Человеческий и писательский путь Горького был для нас еще и образцом поведения. В Горьком мы видели какие-то кусочки самих себя, может быть, даже бессознательно мы видели в нем прорыв нашего брата в недоступную для нас до сих пор большую культуру. За ним нужно было броситься всем, чтобы закрепить и расширить победу. И многие бросились и многие помогли Горькому.

Бросился, конечно, и я. Мне казалось некоторое время, что это можно сделать только в форме литературной работы. В 1914 году я написал рассказ под названием «Глупый день» и послал Горькому. В рассказе я изобразил действительное событие: поп ревнует жену к учителю, и жена и учитель боятся попа; но попа заставляют служить молебен по случаю открытия «Союза русского народа», и после этого поп чувствует, что он потерял власть над женой, потерял право на ревность, и молодая жена приобрела право относиться к нему с презрением. Горький прислал мне собственноручное письмо, которое я и теперь помню слово в слово:

«Рассказ интересен по теме, но написан слабо, драматизм переживаний попа неясен, не написан фон, а диалог неинтересен. Попробуйте написать что-нибудь другое.

М. Горький».

Меня мало утешило признание, что тема интересна. Я увидел, что и для писателя нужна большая техника,

нужно что-то знать о фоне, нужно предъявлять какие-то требования к диалогу. И нужен еще талант; очевидно, с талантом у меня слабовато. Но сам Горький научил меня человеческой гордости, и я эту гордость пустил немедленно в дело. Я подумал, что можно, разумеется, «написать что-нибудь другое», но совершенно уже доказано, что ничего путного в этом другом заключаться не будет. Я без особенного страдания отбросил писательские мечты, тем более, что и свою учительскую деятельность ставил очень высоко. Бороться в прорыве на культурном фронте можно было и в роли учителя. Горький даже порадовал меня своей товарищеской прямотой, которой тоже ведь надо было учиться.

Учительская моя деятельность была более или менее удачна, а после Октября передо мной открылись невиданные перспективы. Мы, педагоги, тогда так опьянели от этих перспектив, что уже и себя не помнили и, по правде сказать, много напутали в разных увлечениях. К счастью, в двадцатом году мне дали колонию для правонарушителей. Задача, стоявшая передо мной, была так трудна и так неотложна, что путать было некогда. Но и прямых нитей в моих руках не было. Старый опыт колоний малолетних преступников для меня не годился, нового опыта не было, книг тоже не было. Мое положение было очень тяжелым, почти безвыходным.

Я не мог найти никаких «научных» выходов. Я принужден был непосредственно обратиться к своим общим представлениям о человеке, а для меня это значило обратиться к Горькому. Мне, собственно говоря, не нужно было перечитывать его книг, я их хорошо знал, но я снова перечитал все от начала до конца. И сейчас советую начинающему воспитателю читать книги Горького. Конечно, они не подскажут метода, не разрешат отдельных «текущих» вопросов, но они дадут большое знание о человеке в огромном диапазоне возможностей и при этом дадут человека не натуралистического, не списанного с натуры, а дадут человека в великолепном обобщении и, что особенно важно, в обобщении марксистском.

Горьковский человек всегда в обществе, всегда видны его корни, он прежде всего социален, и, если он

страдает или несчастен, всегда можно сказать, кто в этом виноват. Но не эти страдания главное. Можно, пожалуй, утверждать, что горьковские герои неохотно страдают,— и для нас, педагогов, это чрезвычайно важно. Я затрудняюсь это объяснить подробно, для этого необходимо специальное исследование. В этом случае решающим является горьковский оптимизм. Ведь он оптимист не только в том смысле, что видит впереди счастливое человечество, не только потому, что в буре находит счастье, но еще и потому, что каждый человек у него хорош. Хорош не в моральном и не в социальном смысле, а в смысле красоты и силы. Даже герои враждебного лагеря, даже самые настоящие «враги» Горьким так показаны, что ясно видны их человеческие силы и лучшие человеческие потенциалы. Горький прекрасно доказал, что капиталистическое общество губительно не только для пролетариев, но и для людей других классов, оно губительно для всех, для всего человечества. В Артамоновых, в Вассе Железновой, в Фоме Гордееве, в Егоре Булычове ясно видны все проклятья капитализма и прекрасные человеческие характеры, развращенные и исковерканные в наживе, в несправедливом властвовании, в неоправданной социальной силе, в нетрудовом опыте.

Видеть хорошее в человеке всегда трудно. В живых будничных движениях людей, тем более в коллективе сколько-нибудь нездоровом, это хорошее видеть почти невозможно, оно слишком прикрыто мелкой повседневной борьбой, оно теряется в текущих конфликтах. Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском ошибиться. И вот этому умению проектировать в человеке лучшее, более сильное, более интересное нужно учиться у Горького. Особенно важно, что у Горького это умение далеко не так просто реализуется. Горький умеет видеть в человеке положительные силы, но он никогда не умиляется перед ними, никогда не понижает своего требования к человеку и никогда не остановится перед самым суровым осуждением.

Такое отношение к человеку есть отношение марксистское. Наш социализм, такой еще молодой, лучше всего доказывает это. Уже не подлежит сомнению, что сред-

ний моральный и политический уровень гражданина Советского Союза несравненно выше уровня подданного царской России и выше уровня среднего западноевропейского человека. Не подлежит сомнению, что причины этих изменений лежат в самой структуре общества и его деятельности, тем более, что какой-нибудь специальной педагогической техники, специальных приемов у нас не выработалось. Переход к советскому строю сопровождался категорическим перенесением внимания личности на вопросы широкого государственного значения. Примеров искать не нужно, достаточно вспомнить японскую агрессию или стахановское движение. Личность в Советском Союзе не растрачивает свои силы в будничных текущих столкновениях, и поэтому виднее ее лучшие человеческие черты. Суть в том, что легче и свободнее реализуются положительные человеческие потенциалы, которые раньше не реализовались. В этом величайшее значение нашей революции и величайшая заслуга Коммунистической партии.

Но сейчас все это понятно и очевидно, а тогда, в 1920 году, это знание у меня только начинало складываться, и так как элементы социалистической педагогики еще не видны были в жизни, я находил их в мудрости и проникновенности Горького.

Я очень много передумал тогда над Горьким. Это раздумье только в редких случаях приводило меня к формулировкам, я ничего не записывал и ничего не определял. Я просто смотрел и видел.

Я видел, что в сочетании горьковского оптимизма и требовательности есть «мудрость жизни», я чувствовал, с какой страстью Горький находит в человеке героическое и как он любуется скромностью человеческого героизма и как вырастает по-новому героическое в человечестве («Мать»). Я видел, как не трудно человеку помочь, если подходить к нему без позы и «вплотную», и сколько трагедий рождается в жизни только потому, что «нет человека».

Я обратился к своим первым воспитанникам и постарался посмотреть на них глазами Горького. Признаюсь откровенно, это мне не сразу удалось; я еще не умел обобщать живые движения, я еще не научился видеть в человеческом поведении основные оси и пружины.

В своих поступках и действиях я еще не был «горьковцем», я был им только в своих стремлениях.

Но я уже добивался, чтобы моей колонии дали имя Горького, и добился этого. В этом моменте меня увлекала не только методика горьковского отношения к человеку, меня захватывала больше историческая параллель: революция поручила мне работу «на дне», и, естественно, вспоминалось «дно» Горького. Параллель эта, впрочем, ощущалась недолго. «Дно» принципиально было невозможно в Советской стране, и мои «горьковцы» очень скоро возымели настойчивое намерение не ограничиться простым всплыванием наверх, их соблазняли вершины гор, из горьковских героев больше других импонировал им Сокол. Дна, конечно, не было, но остался личный пример Горького, осталось его «Детство», осталась глубокая пролетарская родственность великого писателя и бывших правонарушителей.

В 1925 году мы написали первое письмо в Сорренто, написали с очень малой надеждой на ответ,— мало ли Горькому пишут. Но Горький ответил немедленно, предложил свою помощь, просил передать ребятам:

«Скажите, что они живут во дни великого исторического значения».

Началась регулярная наша переписка. Она продолжалась непрерывно до июля 1928 года, когда Горький приехал в Союз и немедленно посетил колонию.

За эти три года колония выросла в крепкий боевой коллектив, сильно повысилась и его культура и его общественное значение. Успехи колонии живо радовали Алексея Максимовича. Письма колонистов регулярно отправлялись в Италию в огромных конвертах, потому что Горькому каждый отряд писал отдельно, у каждого отряда были особенные дела, а отрядов было до тридцати. В своих ответах Алексей Максимович касался многих деталей отрядных писем и писал мне:

«Очень волнуют меня милые письма колонистов...»

В это время колония добивалась перевода на новое место. Алексей Максимович горячо отзывался на наши планы и всегда предлагал свою помощь. Мы от этой помощи отказывались, так как по-горьковски не хотели обращать Максима Горького в ходатая по нашим маленьким делам, да и колонистам необходимо бы-

ло надеяться на силы своего коллектива. Наш переезд в Куряж был делом очень трудным и опасным, и Алексей Максимович вместе с нами радовался его благополучному завершению. Я привожу полностью его письмо, написанное через 20 дней после «завоевания Куряжа».

«Сердечно поздравляю Вас и прошу поздравить колонию с переездом на новое место.

Новых сил, душевной бодрости, веры в свое дело желаю всем вам!

Прекрасное дело делаете Вы, превосходные плоды должно дать оно.

Земля эта — поистине наша земля. Это мы сделали ее плодородной, мы украсили ее городами, избороздили дорогами, создали на ней всевозможные чудеса, мы, люди, в прошлом — ничтожные кусочки бесформенной и немой материи, затем — полузвери, а ныне — смелые зачинатели новой жизни.

Будьте здоровы и уважайте друг друга, не забывая, что в каждом человеке скрыта мудрая сила строителя и что нужно ей дать волю развиться и расцвести, чтобы она обогатила землю еще большими чудесами.

Привет.

М. Горький».

Сорренто, 3.VI—26.

Это письмо, как и многие другие письма этого периода, имело для меня как педагога совершенно особое значение. Оно поддерживало меня в неравной борьбе, которая к этому времени разгорелась по поводу метода колонии имени Горького. Эта борьба происходила не только в моей колонии, но здесь она была острее благодаря тому, что в моей работе наиболее ярко звучали противоречия между социально-педагогической и педологической точками зрения. Последняя выступала от имени марксизма, и нужно было много мужества, чтобы этому не верить, чтобы большому авторитету «признанной» науки противопоставить свой сравнительно узкий опыт. А так как опыт протекал в обстановке повседневной «каторги», то не легко было проверить собственные синтезы. С присущей ему щедростью Горький подсказывал мне широкие социалистические обобщения. После его писем у меня удесятерялись и энергия и вера. Я уже

не говорю о том, что письма эти, прочитанные колонистам, делали буквально чудеса, ведь не так просто человеку увидеть в себе самом «мудрые силы строителя».

Великий писатель Максим Горький становился в нашей колонии активным участником нашей борьбы, становился живым человеком в наши ряды. Только в это время я многое до конца понял и до конца сформулировал в своем педагогическом кредо. Но мое глубочайшее уважение и любовь к Горькому, моя тревога о его здоровье не позволяли мне решительно втянуть Алексея Максимовича в мою педагогическую возню с врагами. Я все больше и больше старался, чтобы эта возня, по возможности, проходила мимо его нервов. Алексей Максимович каким-то чудом заметил линию моего поведения по отношению к нему. В письме от 17 марта 1927 года он писал:

«Это напрасно! Знали бы Вы, как мало считаются с этим многие мои корреспонденты и с какими просьбами обращаются ко мне! Один просил выслать ему в Харбин — в Маньчжурию — пианино, другой спрашивает, какая фабрика в Италии вырабатывает лучшие краски, спрашивают, водится ли в Тирренском море белуга, в какой срок вызревают апельсины и т. д. и т. д.».

И в письме от 9 мая 1928 года:

«Позвольте дружески упрекнуть Вас: напрасно Вы не хотите научить меня, как и чем мог бы я Вам и колонии помочь? Вашу гордость борца за свое дело я также понимаю, очень понимаю! Но ведь дело это как-то связано со мною, и стыдно, неловко мне оставаться пассивным в те дни, когда оно требует помощи».

Когда Алексей Максимович приехал в июле 1928 года в колонию и прожил в ней три дня, когда уже был решен вопрос о моем уходе и, следовательно, и вопрос о «педологических» реформах в колонии, я не сказал об этом моему гостю. При нем приехал в колонию один из видных деятелей Наркомпроса и предложил мне сделать «минимальные» уступки в моей системе. Я познакомил его с Алексеем Максимовичем. Они мирно поговорили о ребятах, посидели за стаканом чаю, и посетитель уехал. Провожая его, я просил принять уверения, что никаких, даже минимальных уступок быть не может.

Эти дни были самыми счастливыми днями и в моей жизни и в жизни ребят. Я, между прочим, считал, что Алексей Максимович — гость колонистов, а не мой, поэтому постарался, чтобы его общение с колонистами было наиболее тесным и радужным. Но по вечерам, когда ребята отправлялись на покой, мне удавалось побывать с Алексеем Максимовичем в близкой беседе. Беседа касалась, разумеется, тем педагогических. Я был страшно рад, что все коллективные наши находки встретили полное одобрение Алексея Максимовича, в том числе и пресловутая «военизация», за которую еще и сейчас покусывают меня некоторые критики и в которой Алексей Максимович в два дня сумел разглядеть то, что в ней было: небольшую игру, эстетическое прибавление к трудовой жизни, жизни все-таки трудной и довольно бедной. Он понял, что это прибавление украшает жизнь колонистов, и не пожалел об этом.

Горький уехал, а на другой день я оставил колонию. Эта катастрофа для меня не была абсолютной. Я ушел, ощущая в своей душе теплоту моральной поддержки Алексея Максимовича, проверив до конца все свои установки, получив во всем его полное одобрение. Это одобрение было выражено не только в словах, но и в том душевном волнении, с которым Алексей Максимович наблюдал живую жизнь колонии, в том человеческом празднике, который я не мог ощущать иначе, как праздник нового, социалистического общества. И ведь Горький был не один. Мою беспризорную педагогику немедленно «подобрали» смелые и педологически неуязвимые чекисты и не только не дали ей погибнуть, но дали высказаться до конца, предоставив ей участие в блестящей организации коммуны имени Дзержинского.

В эти дни я начал свою «Педагогическую поэму». Я несмело сказал о своей литературной затее Алексею Максимовичу. Он деликатно одобрил мое начинание. Поэма была написана в 1928 году и... пять лет пролежала в ящике стола, так я боялся представить ее на суд Максима Горького. Во-первых, я помнил свой «Глупый день» и «не написан фон», во-вторых, я не хотел превращаться в глазах Алексея Максимовича из порядочного педагога в неудачного писателя. За эти пять лет я написал небольшую книжонку о коммуне Дзержинского и...

тоже побоялся послать ее своему великому другу, а послал в ГИХЛ. Она два с лишним года пролежала в редакции, и вдруг, даже неожиданно для меня, ее напечатали. Я не встретил ее ни в одном магазине, я не прочитал о ней ни одной строчки в журналах или газетах, я не видел ее в руках читателя, вообще эта книжонка как-то незаметно провалилась в небытие. Поэтому я был несказанно удивлен и обрадован, когда в декабре 1932 года получил из Сорренто письмо, начинающееся так:

«Вчера прочитал Вашу книжку «Марш тридцатого года». Читал с волнением и радостью...»

После этого Алексей Максимович уже не отпустил меня. Еще около года я сопротивлялся и все боялся представить ему «Педагогическую поэму» — книгу о моей жизни, о моих ошибках и о моей маленькой борьбе. Но он настойчиво требовал:

«Поезжайте куда-нибудь в теплые места и пишите книгу...»

В теплые места я не поехал,— некогда было, но поддержка и настойчивость Алексея Максимовича преодолели мою трусость: осенью 1933 года я привез ему свою книгу — первую часть. Через день я получил полное одобрение, и книга была сдана в очередной номер альманаха «Год XVII». Все остальные части тоже прошли через руки Алексея Максимовича. Второй частью он остался менее доволен, ругал меня за некоторые места и настойчиво требовал, чтобы все линии моих педагогических споров были выяснены до конца, а я все еще продолжал побаиваться педологов, даже это слово старался не употреблять в книге. Отправляя к нему в Крым третью часть, я даже просил его выбросить главу «У подошвы Олимпа», но он ответил коротко по этому вопросу:

«У подошвы Олимпа» нельзя исключить...»

Это уже было написано осенью 1935 года.

Так до самых последних дней Максим Горький оставался моим учителем; и как ни долго я учился у него,— до последних дней у него было чему учиться. Его культурная и человеческая высота, его непримиримость в борьбе, его гениальное чутье ко всякой фальши, ко всему дешевому, мелкому, чуждому, карикатурному, его ненависть к старому миру, его любовь к человеку — «муд-

рому строителю жизни» — для многих миллионов живущих и будущих людей должны всегда быть неисчерпаемым образцом.

К сожалению, у нас еще нет настоящего анализа всего творческого богатства Максима Горького. Когда этот анализ будет произведен, человечество поразится глубиной и захватом горьковского исследования о человеке. Его имя будет поставлено в самом первом ряду великих писателей мира, тем более в первом, что он единственный, взявший тему человека в момент его освобождения, в момент становления его человеком социалистическим.

Мы должны быть глубоко благодарны нашей эпохе, нашей революции и нашей Коммунистической партии, создавшим Максима Горького, вынесшим его на ту высоту, без которой его голос не мог быть услышанным в мире трудящихся и в мире врагов.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Воспоминания

В шести километрах от Харькова был когда-то Куряжский монастырь. В 1920 году монахи разбрелись кто куда, и в помещении монастыря была открыта колония для беспризорных ребят. О том, как жили и работали ребята в колонии имени Горького, я подробно написал в своей книге «Педагогическая поэма». В 1928 году у нас в колонии была уже своя школа-семилетка, и в ней училось триста мальчиков и сто девочек.

За восемь лет дружной совместной работы горьковцы выработали много интересных способов коллективного самоуправления. Руководили всем коллективом выросшие вместе с колонией комсомольцы. Все горьковцы разделялись на отряды по десять—пятнадцать человек. Отряды выбирали своим командиром самого лучшего, дельного парня или девушку. Распоряжение своего отрядного командира ребята выполняли по-военному, беспрекословно. Все командиры собирались на совет командиров, и совет, вместе со старшими, решал все главные жизненные вопросы.

Бывшие беспризорники с увлечением обрабатывали сто гектаров монастырской земли, прекрасно вели сельское хозяйство, разводили свиней, коров и лошадей.

Для тех, кто имел охоту заняться ремеслом, налажены были разные мастерские: столярная, сапожная, швейная.

Став настоящими советскими ребятами, горьковцы высоко держали честь своей коммуны. Они гордились ею

и любили ее так же крепко, как своего шефа — Алексея Максимовича Горького. Алексей Максимович жил в Италии, когда мы написали ему первое письмо, и так как адреса мы хорошо не знали, на конверте написали коротко:

«Италия. Максиму Горькому».

Ответ получили через месяц, и после этого мы написали уже письмо настоящее. В колонии было 28 отрядов, у каждого отряда были свои дела и особенности, каждый отряд захотел написать отдельно. И до самого приезда Алексея Максимовича в Союз, в 1928 году, колонисты придерживались такого способа переписки. Всегда получался очень большой пакет. Я не протестовал против такого обилия, хотя и думал, что Алексею Максимовичу некогда будет читать все отрядные письма. Алексей Максимович обыкновенно присылал также не одно письмо в конверте, а два: одно для меня, другое для ребят, но в этих письмах отвечал так подробно, что и в самом деле выходило: все отрядные дела ему известны.

Наша дружба с великим писателем крепла с каждым месяцем, и когда в начале 1928 года стало известно, что Алексей Максимович едет в СССР, никто в колонии не сомневался, что он обязательно побывает и у нас.

Не сомневался в этом и Алексей Максимович. Он писал нам, что в Союз он прибудет в июне, а к нам приедет в июле. Так и вышло.

В начале июля, в самый разгар жатвы, почетный караул горьковцев с оркестром и знаменем выстроился на перроне харьковского вокзала. Алексея Максимовича встречали тысячи людей. Выглянув из окна вагона, он сразу узнал нас и приветливо протянул к нам руки.

На другой день он приехал в колонию. Ребята встретились с ним как родственники, с глубочайшей теплотой дружбы, и как читатели, и как граждане Советской страны. Алексей Максимович прожил у нас три дня. В здании школы ребята приготовили для него большую комнату, любовно украсив ее зеленью и цветами.

Алексей Максимович вставал вместе с нами — в шесть часов утра. Ему не пришлось тратить время на ознакомление с нашими делами: все было ему известно;

многочисленные письма наших двадцати восьми отрядов, все до одного, были им прочитаны, и он ничего не забыл из того, что было там написано.

Он знал не только фамилии, но имена всех командиров, а также и других ребят, о которых ему писали.

Он знал, как ведется наше хозяйство.

Ему хорошо были известны дела свинарни — главного нашего богатства. В колонии была замечательная свинарня, устроенная по последнему слову техники. В ней воспитывалось триста чистокровных английских свиней.

Даже расположение наших построек было ему знакомо. В первое же утро, зайдя в его комнату, я уже не застал в ней нашего дорогого гостя. Я увидел его только за завтраком в общей столовой. Он сидел, тесно окруженный ребятами одиннадцатого отряда, и деревянной ложкой ел гречневую кашу. За его спиной стояла в белоснежном халате «дежурная хозяйка» — одна из девушек-воспитанниц — и чуть не плакала:

— Алексей Максимович, как же это так: для вас завтрак готовили, а вы взяли и пришли сюда, в отряд. А мы там хороший завтрак...

Он лукаво поглядывал на ребят, пригласивших его завтракать, и оправдывался:

— Послушай... чего ты пристала? Это же каша... такая замечательная...

Ребята были в большом затруднении: с одной стороны, им хотелось, чтобы Алексей Максимович завтракал за их столом, с другой стороны, выходило как-то неловко — они лишили Алексея Максимовича какого-то лучшего завтрака, приготовленного для него дежурной хозяйкой. Петька Романченко нашел выход из положения:

— Алексей Максимович сначала у нас позавтракает, а потом съест твой завтрак, Варя, хорошо?

Горькому этот выход очень понравился. Он оглянулся на хозяйку и добродушно развел руками:

— Ну, вот, видишь. Чего же ты волнуешься? А твоего завтрака на нас хватит?

— На кого — на вас?

— На меня и на них... вот... на одиннадцатый отряд.

— Так они... Вот еще новости! Их же пятнадцать человек!

— Не хватит, значит?

Дежурная хозяйка в панике бросилась на кухню. По дороге налетела на меня и с возмущением забормотала:

— Эти... одиннадцатый... все напутали... все испортили.

Я ей посоветовал подать «горьковский» завтрак на стол одиннадцатого отряда. Там началось пиршество, и Горький смеялся больше всех, глядя на кусок зажаренной свинины, одиноко лежавший на тарелке. Одиннадцатый отряд, конечно, краснел и отказывался от встречного угощения. Так ничего и не вышло из отдельной кухни, организованной для гостя заботами наших юных хозяек.

После завтрака Алексей Максимович ходил между командирами и договаривался, куда ему отправляться на работу. На самых далеких полях убиралось яровое, но туда нужно было ехать, а Горький ни за что не хотел ехать на линейке, так как откуда-то узнал, что для этого нужно снять с работы лошадь. Но и в этом случае выход был найден. Алексея Максимовича усадили на жатвенную машину. Держаться на железном сиденье жатки было довольно трудно, но жатку окружил целый отряд, и упасть Алексею Максимовичу было некуда.

Он шутил: — На чем только я не ездил, а на таком экипаже еще ни разу не доводилось.

В поле он отказался от косы:

— Какой я косарь? Ну вас, смеяться будете!

— Нет, не будем смеяться, Алексей Максимович! Вот острая коса, это для вас приготовили.

— Я лучше вот эту штуку возьму.

Он взял вилы и помогал ребятам подгребать колосья. Ребята окружили его и, рассуждая о разных хитростях работы вилами, успевали подбирать за него все колосья. Алексей Максимович обиделся:

— Что же ты... Слушай, оставь же и мне что-нибудь...

Прибежал дежурный командир:

— Это для чего Алексею Максимовичу вилы дали? Он гость, а вы его... работать! Алексей Максимович, там вас столяры ожидают. У них сейчас сдача ульев.

Алексей Максимович понимал, что нельзя никого обижать. Поэтому в течение рабочего дня он успевал побывать на всех работах.

В бывшей зимней церкви он рассказал колонистам, как много лет тому назад он пришел в этот самый монастырь, чтобы поспорить со знаменитым святошей.

В свинарне он обеспокоенными глазами наблюдал, как поросится «Венера», и принял на свои руки первого великолепного английского поросенка.

После работы и ужина все колонисты собирались вокруг Горького. Один вечер был посвящен постановке «На дне» силами ребят. Горького посадили посредине зала и во время действия на сцене рассказывали ему разные подробности об актерах. Больше всего понравилась Алексею Максимовичу игра колониста Шершнева, изображавшего Сатина. На другой вечер был концерт.

А потом пришел третий день, и Алексей Максимович должен был уезжать. Глаза колонистов с утра сделались удивленными: как это так — уезжает Горький!

Казалось, что он не три дня был среди нас, а с самого основания колонии жил с нами. И это было вполне естественно: колония имени Горького не только носила это имя,— горьковцы любили и чтили Алексея Максимовича, как отца.

Ребята выстроились на дворе. Развернули знамя, подали команду. Но не было уже в этом строю никакой торжественности, было только одно стремление: как-нибудь удержать прощальные слезы. Алексей Максимович проходил по рядам, пожимал всем ребятам руки и ласково-грустно улыбался.

Большой, нарядный автомобиль был прислан за ним из Харькова, и шофер заботливо распахнул блестевшую лаком дверцу.

ПЕРЕПИСКА А. С. МАКАРЕНКО с А. М. ГОРЬКИМ

Полтава,
Колония им. М. Горького.
8 июля 1925 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Трудно поверить, но я второй год не могу получить Ваш точный адрес. Писал в редакции всех журналов, в которых Вы участвуете, но ответа не получал. Наши воспитатели писали кое-кому из людей, побывавших у Вас в гостях, но тоже ответом нас никто не порадовал. В общем мы знали, что Вы в Сорренто, но ведь нужно знать и что-то большее. Наконец в «Огоньке» мы нашли статью о Вас и в ней Вашу литературную фамилию, написанную по-итальянски. Так и посылаем. В статье «Огонька» написано, что в Сорренто все знают Ваш адрес.

Кто мы такие? В Полтаве 25 августа 1920 года была открыта колония для несовершеннолетних правонарушителей. Я состою заведующим этой колонией с самого ее основания, мне тогда же удалось собрать крепкий коллектив воспитателей, который работает в колонии вот уже 5 лет, почти без изменений в составе. Благодаря этому и некоторым другим обстоятельствам наша колония все время жила здоровой жизнью и, по отзывам в педагогической литературе, считается лучшей в России. Это позволяет нам со спокойной совестью носить Ваше имя. Мы просили о присвоении колонии Вашего имени в 1921 году, и теперь гордимся, что носим его с честью. Выбирая Вас своим шефом, мы руководствовались не простым желанием носить имя известного всему миру ли-

ца, а какой-то глубокой родственностью между Вами и нами. Эту родственность мы видим и чувствуем не только в том, что и Ваше детство подобно детству наших ребят, и не только в том, что многие типы в Ваших произведениях — это наши типы, но больше всего в том, что Ваша исключительная вера в человека, нечто единственное во всей всемирной литературе, помогает и нам верить в него. Без такой веры мы не могли бы 5 лет работать без отдыха в колонии. Теперь эта вера стала и верой наших хлопцев, она создает в нашей колонии здоровый, веселый и дружный тон, которому удивляются все, кто у нас бывает. Когда меня спрашивают, какое главное доказательство успешности нашей работы, я указываю: наши мальчики, присланные к нам принудительно, по постановлению судебных органов, носящие позорное клеймо правонарушителя, через несколько месяцев уже гордятся тем, что они колонисты, да еще горьковцы. Я бы сказал — пожалуй, чересчур гордятся, задирают носы, важничают и на всех остальных людей смотрят несколько свысока. Всякий воспитанник, пробывший в колонии 1 год, также и каждый служащий получают от Педагогического Совета почетное звание колониста.

Разрешите более подробно описать нашу колонию. Сейчас мы помещаемся в 10 верстах от Полтавы в имении б. помещиков Трепке. Получили мы это имение еще в 1920 году в совершенно разрушенном виде и до ноября 1924 года ремонтировали его, а сами ютились в старой колонии малолетних преступников, верстах в трех. Истратили мы на ремонт 14 000 рублей и около 20 000 детских рабочих часов.

Колония стоит на реке Коломаке. При ней 40 десятин пахотной земли, 3 десятины луга, парк и сад.

В настоящее время в колонии живет 130 хлопцев и 10 девочек (возраст от 14 до 18 лет). Воспитателей 8.

К нашему счастью, нас никто никогда не баловал особенным вниманием. Поэтому мы пережили много тяжелых дней. Две зимы хлопцы не имели теплой одежды и обуви, но работы не прекращали. Только с 1923 года, когда мы стали опытно-показательной колонией Наркомпроса УССР, нам стало легче, и мы даже начали обрастать всяким добром. Сейчас мы уже арендуем паровую мельницу, имеем 7 лошадей, 4 коровы, 7 штук молод-

няка, 30 овец и 80 свиней английской породы. Имеем свой театр, в котором еженедельно ставим пьесы для селян — бесплатно. Театр собирает до 500 человек зрителей.

Живем мы в общем хорошо. Правда, у нас всегда бывает до 30% новеньких, еще не привыкших к дисциплине и труду, которые всегда приносят в нашу общину беспорядочный дух городской улицы, рынка, вокзалов и притонов. Под влиянием дружной семьи более старых колонистов этот дух очень быстро исчезает и только в редких случаях нам приходится приходить в отчаяние.

Колония организована, как открытое учреждение. Кому в ней не нравится, может свободно уходить. В то же время мы завоевали право общим собранием принимать в колонию тех детей, кто к нам непосредственно обращается с улицы.

Все хозяйство колонии находится в руках колонистов. Они владеют всеми кладовыми, амбарами, вообще всеми ключами. Разделены колонисты на 16 отрядов, во главе каждого отряда командир. Совет командиров — высший хозяйственный орган колонии.

Нам удалось добиться крепкой дисциплины, не связанной с гнетом. Вообще мы думаем, что нашли совершенно новые формы трудовой организации, могущие понадобиться и взрослым.

В течение года мы выпускаем в жизнь до 40 юношей. Часть из них идет на производство, часть в армию, наиболее способные в рабфаки. Рабфаковцы — это наша гордость. По ним равняются, за ними тянутся все живые силы.

К сожалению, в колонии много детей умственно малосильных.

Наш день — это строгий до минуты трудовой комплекс. Но почему-то он у нас всегда проходит со смехом и шутками. Особенно оживляемся мы в дни великих праздников. Между ними мы имеем наши собственные праздники. «День первого снопа», когда мы первый раз выезжаем в поле с жнейками, и день «Первого хлеба», когда выпекается первый хлеб из собственного зерна. На эти праздники к нам приезжает много гостей из села, Полтавы и Харькова. Зато 26 марта, в день Вашего рождения, мы не приглашаем никого. Нам всем это

страшно нравится. Колония вся украшается флагами и зеленью (сосны у нас свои). В столовой белоснежные скатерти, все в праздничных костюмах, но ни одного чужого человека. Ровно в 12 часов к Вашему портрету торжественно выносится знамя и вся колония до единого человека усаживается за столы. Всегда в этот день у нас печется именинный пирог. Произносятся короткие, но горячие и душевные речи. В этот день мы ежегодно повторяем:

— Пусть каждый колонист докажет, что он достоин носить имя Горького.

Обед заканчивается множеством сладостей — это единственный день, когда мы позволяем себе некоторую роскошь.

Знамя у Вашего портрета стоит до вечера, и возле него меняется почетный караул из воспитанников и воспитателей. На меня, как заведующего, возложена особая честь нести караул последнему.

Вот и все. Но как раз простота и немногословие делают этот праздник особенно прекрасным. Наши хлопцы, если припоминают что-нибудь, то обыкновенно говорят: «Это было до именин» или «после именин».

Вечером в театре мы все эти 4 года ставим «На дне». Говорят, что хорошо выходит. Пьесу мы знаем почти на память.

И наконец в этот день мы с особенной страстью мечтаем, что Вы к нам когда-нибудь приедете. Часто газеты нас обманывают — пишут, что Вы скоро приедете в Москву. Мы иногда вслух рисуем себе картину: что было бы, если бы Вы приехали к нам на целый месяц.

Мы надеемся, что Вы откликнетесь на это письмо. Если мы от Вас получим ответ и более точный адрес, мы пришлем Вам снимки фотографические из жизни нашей колонии и будем присылать Вам время от времени отчеты о нашей работе. Надежду видеть Вас мы не решаемся претворить в просьбу приехать, так как знаем, что Вам не позволяет приехать здоровье.

А. Макаренко.

Полтава,
Колония им. М. Горького,
ящ. № 43.
А. С. Макаренко.

Гр. А. С. Макаренко

Примите сердечную мою благодарность за Ваше письмо, очень обрадовавшее меня, а также и за обещание прислать снимки с колонии и колонистов. Может быть, пришлете и отчет о работе, если отчет имеется?

Мой адрес:

Italia. Sorrento. M. Gorki.

Италия. Сорренто. М. Горькому.

Есть ли в колонии библиотека? Если есть — не могу ли я пополнить ее? Буде Вы нуждаетесь в этом — пошлите список необходимых Вам книг в Москву, Кузнецкий мост, 12.

«Международная книга»,

Ивану Павловичу Ладыжникову.

Мне очень хотелось бы быть полезным колонии. Передайте мой сердечный привет всем колонистам. Скажите им, что они живут во дни великого исторического значения, когда особенно требуется от человека любовь к труду, необходимому для того, чтоб построить на земле новую, свободную, счастливую жизнь.

Привет работникам, это всегда — самые великие герои в истории человечества, в деле, цель которого — свобода и счастье!

19.VII.25. *М. Горький.*

Дорогой Алексей Максимович!

Вчера мы получили Ваше письмо. Я не хочу даже искать слов, чтобы изобразить нашу радость и нашу гордость,— все равно ни одного слова не найду, и ничего не выйдет. Сегодня с утра задождило — бросили молотьбу и все пишут Вам письма. Кому-то вчера на собрании после чтения Вашего письма пришла в голову мысль: общее письмо никуда не годится, пускай каждый напишет Вам записку. Насилу убедил хлопцев, что Вам будет очень трудно читать столько писем. Тогда решили писать по отрядам — сейчас вся колония представляет нечто вроде «Запорожцев» Репина, умноженных на 15 — число наших отрядов: такие же голые загоревшие спины и такие же оживленные лица, нет только запорожского

смеха. Писать письмо Максиму Горькому не такая легкая штука, особенно, если писаря не очень грамотные. Дождь перестал, и наш агроном, у которого тоже усы еще не успели вырасти, волнуется молча: все же ему стыдно признаться, что молотьба выше всех писем.

Все же я серьезно боюсь, что и письма хлопцев и мое собственное составят для Вас слишком тяжелое бремя, а ничего не поделаешь,— слишком большой зуд рассказать Вам все и как-нибудь описать Ваше великое для нас значение. Вы вот написали: «Мне очень хотелось бы быть полезным колонии». А мне эту строку Вашу даже неудобно читать как-то. Если Вы станете для нас полезным в каком-либо материальном отношении, то это будет профанацией всего нашего чувства к Вам. Я очень хорошо знаю, что это общее наше настроение. Разрешите мне несколько подробнее на этом остановиться.

Наш педагогический коллектив до сих пор одинок в вопросе о значении деликатности по отношению к нашим воспитанникам. С самого начала мы поставили себе твердым правилом не интересоваться прошлым наших ребят. С точки зрения так называемой педагогики это абсурд: нужно якобы обязательно разобрать по косточкам все похождения мальчика, выудить и назвать все его «преступные» наклонности, добраться до отца с матерью, короче говоря, вывернуть наизнанку всю ту яму, в которой копошился и погибал ребенок. А собравши все эти замечательные сведения, по всем правилам науки строить нового человека.

Все это ведь глупости: никаких правил науки просто нет, а длительная вивисекция над живым человеком обратит его в безобразный труп. Мы стали на иную точку зрения. Сперва нам нужно было употреблять некоторые усилия, чтобы игнорировать преступления юноши, но потом мы так к этому привыкли, что в настоящее время самым искренним образом не интересуемся прошлым. Мне удалось добиться того, что нам даже дел и характеристик не присылают: прислали к нам хлопца, а что он там натворил, украл или ограбил, просто никому неинтересно. Это привело к поразительному эффекту. Давно уже у нас вывелись разговоры между хлопцами об их уголовных подвигах, всякий новый колонист со стороны всех встречает только один интерес: какой ты товарищ,

хозяин, работник? Пафос устремления к будущему совершенно покрыл все отражения ушедших бед.

Но вне колонии мы не в состоянии бороться со всеобщей бестактностью. Представьте себе: у нас праздник, мы встречаем гостей, мы радостны, оживленны, мы украшаем гостей колосьями и цветами, показываем свою работу, хозяйство, демонстрируем свое улыбающееся здоровье и гордо задираем носы, когда выносят наше «наркомпросовское» знамя. Гости приветствуют нас речами. Такими:

«Вот видите. Вы совершали преступления и не знали труда. А теперь вы исправляетесь и обещаете...»

А был и такой случай:

— Бандиты на вас не нападают?

— Нет, не нападают.

— Хе-хе! Бандиты своих не трогают?

Я не умею описать ту трагическую картину, которая после таких речей и разговоров наступает. Видим ее только мы, воспитатели. Суровая сдержанность, крепкое задумчивое молчание надолго. Никто из колонистов не будет делиться с другим своим оскорблением, но до вечера Вы не услышите смеха, а обычно у нас половина слов произносится с улыбкой.

Мы с большим трудом сбросили с себя официальное название «Колония для несовершеннолетних правонарушителей». Но сбросили для себя только. Иногда хорошие люди пишут о нас статьи в газетах и журналах, статьи хвалебные, но их приходится прятать от хлопцев, потому что начинаются они так (по-украински): «Вчора в колонії малолітніх злочинців...»

Даже не правонарушителей, а «злочинців». Убийц и мошенников, когда они сидят в тюрьме, называют «заключенными», т. е. определяют их внешнее положение, а детей почему-то «правонарушителями», т. е. пытаются определить их сущность.

Мы поэтому особенно крепко привязываемся к тем людям, которые к нам относятся, как к обыкновенным людям, которые просто разговаривают с нами, не опасаясь за свой карман. И с особенной злостью мы находим утерянные кошельки и забытые портфели и галантно вручаем владельцам. Мы не преступники, идиот ты несчастный, а колония Максима Горького.

Я сам не понимаю хорошо, почему в представлении наших хлопцев наше шефское имя является самым убедительным и неотразимым аргументом против смешивания нас с «преступниками», но это так. Отрывок из недавней речи:

— ...вы ничего не понимаете, товарищ. Если вы ехали в колонию малолетних преступников, то значит не туда попали. Здесь колония Максима Горького.

Ваше имя и Ваша личность для нас для всех лучшее доказательство, что мы тоже люди. В день Вашего рождения у нас серьезно ставится девиз: «Каждый колонист должен доказать, что он достоин носить имя Горького». А теперь, когда мы почувствовали Вас не только как символ, а как живую личность, когда мы все держали в руках лист, который держали и Вы, и когда мы услышали Ваши слова, обращенные к нам, о свободной и счастливой жизни, нам сам черт не брат. Ваше шефство для нас большое счастье и много, очень много сделано нашими воспитателями только благодаря Вам. Сейчас у нас серьезно ставится вопрос о переводе колонии в новое имение с 1000 десятин и об увеличении ее населения до 1000 детей. Мы ставим единственное условие, чтобы колония осталась горьковской.

Простите, что так много написал.

Отчета печатного у нас нет. Вместо него посылаю Вам книжку Маро. В ней на стр. 61—77 описание колонии, правда, немного устаревшее. В конце августа празднуем 5-летний юбилей и готовим юбилейный сборник. Тогда Вам пришлем. На днях вышлю Вам большие снимки, а пока посылаю несколько последних любительских.

Теперь мы будем писать Вам часто. За подарок (книги) благодарим Вас крепко, но Вам не нужно думать ни о какой материальной помощи. Вы для нас дороги и страшно «полезны» только тем, что живете на свете. Хлопцы просили у Вас портрет. У нас действительно нет хорошего портрета и достать негде — есть только маленькие. Большой я сам нарисовал углем по репинскому портрету. Сейчас снимаем копию с портрета в «Огоньке». Но у Вас ведь тоже большого портрета нет.

Если Вы будете в России, Вы когда-нибудь подарите нам знамя. Может быть, Вы не согласитесь со мной,

что это будет страшно хорошо. И «полезно». Простите за шутку.

Хлопцы заваливают мой стол своими письмами. И спрашивают: «А это ничего, что мы так написали?» После этого можно еще пять лет поработать в колонии.

А. Макаренко.

1925 г., август.

Дорогой А. С.,

я очень тронут письмами колонистов и, вот, отвечаю им, как умею. В самом деле, жалко будет, если эти парни, выйдя за пределы колонии, одиноко разбредутся кто куда и каждый снова начнет бороться за жизнь один на один с нею.

Ваше письмо привело меня в восхищение и тоном его и содержанием. То, что Вы сказали о «деликатности» в отношении к колонистам, и безусловно правильно и превосходно. Это — действительно система перевоспитания и лишь такой она может и должна быть всегда, а в наши дни — особенно. Прочь вчерашний день с его грязью и духовной нищетой. Пусть его помнят историки но он не нужен детям, им он вреден.

Сейчас я не могу писать больше, у меня сидит куча иностранцев, неловко заставлять их ждать. А Вам хочется ответить хоть и немного, но сейчас же, чтоб выразить Вам искреннейшее мое уважение за Ваш умный, прекрасный труд.

Крепко жму руку.

17.VIII. 25.
Sorrento.

М. Горький.

Полтава,
Колония им. М. Горького.
8 сентября 1925 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Я опять пересылаю целую кучу писем. Они во всех отношениях неудачны, наши хлопцы не умеют в письме выразить то, что они чувствуют, да это ведь часто и

наши взрослые не умеют. К тому же вся наша верхушка в числе 19 человек уехала на рабфаки.

А чувствуем мы много. Ваши письма делают у нас чудеса, во всяком случае делают работу нескольких воспитателей. Простите за такой «рабочий» взгляд на Вас, но ведь Вы сами этого хотели. Нужно быть художником, чтобы изобразить наши настроения после Ваших писем. С внешней стороны как будто нечего протоколировать. Сидит за столом председатель и возглашает: «Слушается предложение Максима Горького!» А в это время зал никак не может настроиться на деловой лад. Глаза у всех прыгают, чувства тоже прыгают, и все это хочет допрыгнуть до Вашего портрета и что-нибудь сделать такое... Ночью в куренях мечтают о том, как будут Вас встречать, когда Вы приедете, какую Вам дадут комнату, чем будут кормить. Наши хлопцы ведь всегда были одиноки: отцы, матери, дедушки, бабушки — все это растеряно давно, мало кто помнит о них. А любовь у них требует выхода и вот теперь такое неожиданное и великое счастье — можно любить Вас. Раньше у нас был шеф великий писатель Максим Горький, ведь из хлопцев больше половины не могли Вас ощущать, как писателя. А теперь у них шеф живой человек, великий тоже, но не писатель, а человек, большой и расточительно ласковый по отношению к нам, назло всем милиционерам, которые нас «тыряли» по участкам и угрозыскам.

«Общество взаимопомощи колонистов-горьковцев» обещает сделаться чем-то в высшей степени интересным. Специальная комиссия заканчивает устав, который после принятия его общим собранием будет Вам прислан на утверждение. Вы подняли вопрос самый важный в нашем быту. Неверное будущее, полное неизвестности и новых страданий, основательно портит наши теперешние дни. Патронирование выпущенников налаживается с трудом, в особенности в таком захолустье, как Полтава.

Хлопцы писали Вам под впечатлением юбилейного праздника, но едва ли из их писем Вы этот праздник представите себе. Нас чествовали, как следует. Были гости из Харькова. 8 сотрудников, работающих в колонии с самого начала, Полтавский окрисполком наделил подарками. Наркомпрос мне дал звание «красного героя труда», а Полтава командирует меня в «научную» ко-

мандировку в Москву и Ленинград на два месяца, на какое дело ассигновали 200 рублей. К сожалению, едва ли я этой командировкой воспользуюсь: не умею осторожно тратить деньги, а поэтому мне не хватит, самое же главное, не сумею на такое долгое время бросить колонию — за пять лет я не оставлял ее больше, как на 2—3 дня. Сейчас же у нас обычный осенний кризис. Старики-колонисты ушли учиться, а на их место присылают новых. Переварить два десятка совершенно разболтавшихся, разленившихся, диких хлопцев трудно. По опыту я знаю, что нужно не меньше 4-х месяцев, чтобы увидеть на их мордах первую открытую человеческую улыбку доверия и симпатии. В особенности трудно с новыми девочками. Пережившие всякие ужасы, вступившие на путь проституции, озлобленные, вульгарные, они очень нескоро начинают нас радовать. С ними не с чего начать, у них нет совсем уважения к себе и нет никаких надежд.

По закону в колониях, подобных нашей, запрещено совместное воспитание. Я добился давно присылки девочек в качестве опыта, и теперь именно совместное воспитание много мне помогает. В настоящее время я вожусь с 17-летней девочкой Крахмаловой. На ее глазах, когда ей было 11 лет, ее мать убили, облили керосином и сожгли. Крахмалова после того перебывала во многих притонах, тюрьмах и колониях, отовсюду бежала, везде обкрадывала. У этой девочки прелестное лицо, невинное и серьезное, но взгляд жесткий и какой-то остановившийся. Она у нас живет с месяц, послушна и вежлива; но я не знаю, с какой стороны к ней подойти. На авось, просто по чутью, я просил воспитателей не обращать на нее никакого внимания, держать строго деловой и вежливый тон, чуждый лишних слов и сентиментов. Только к концу месяца я наконец поймал первый ее внимательный взгляд, в котором жажда тепла смешана с гордой осторожностью. В этот именно момент я дал ей ключ от своей комнаты и поручил принести портфель, но... она отказалась от ключа и убежала, а теперь смотрит еще более внимательно, но страшно угрюмо и дико... Жду чего угодно.

Простите, что я разболтался. Вы теперь страшно заняты, мы это знаем по Вашему письму акад. Ольденбур-

гу, а мы надоедаем Вам своими письмами и своими буднями. Все мы очень хорошо знаем, что поступаем эгоистично, но ничего с собой поделать не можем. Мы эгоистичны, как дети, а Вы такой родной и наш «собственный». Один из наших пацанов так и говорит:

— Когда Горький приедет, так он уже у нас будет жить?

А другой отвечает:

— Вот, если он приедет, так такое будет! Он никуда и не захочет ехать. Он тогда уже будет совсем нашим.

Посылаю Вам снимки нашего юбилея. Получили ли Вы посылку с снимками и книжкой?

Не чересчур ли мы надоедаем Вам? Если будете нам писать, то одну-две строчки, не обращайте внимания на наши аппетиты.

Будьте здоровы и радостны.

Полтава
почт. ящ. № 43

А. Макаренко.

А. Макаренко.

Получил письма колонистов и Ваше, очень радуюсь тому, что отношения между мною и колонией принимают правильный характер. Я прошу и Вас, и колонистов писать мне всякий раз, когда это окажется желаемым,— а тем более,— нужным.

Я послал колонии снимки Неаполя и Сорренто, получили Вы их? И написал в Москву, чтоб колонии выслали все мои книги.

Мне хотелось бы, чтоб осенними вечерами колонисты прочитали мое «Детство», из него они увидят, что я совсем такой же человечек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моем желании учиться и не боялся никакого труда. Веровал, что действительно: «учение и труд все перетрут».

Очень обрадован тем, что мой совет устроить общество взаимопомощи понравился Вам и колонистам. Надо бы обратить особенное внимание на помощь тем из них, которые пошли в рабфаки,— рабфаковцам живется особенно трудно, не так ли?

Скажите колонистам, приславшим мне письма, что я сердечно благодарю их, но ответить им сейчас же не имею возможности, очень занят. Желаю им всего доброго и бодрости духа. Вам — тоже.

Будьте здоровы.

19. IX. 25. *М. Горький.*

Полтава, Колония им. М. Горького.
24 ноября 1925 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Я надеюсь, что Вы не будете на меня сердиться за то, что я на время прекратил поток наших писем к Вам. Мы чересчур злоупотребляли Вашим расположением к нам и, вне всякого сомнения, много отнимали у Вас дорогого времени. Хлопцы немного дулись на меня за то, что я решительно запротестовал против целых ворохов бумаги, которые они опять наладили в Сорренто. Я считаю, что только изредка мы имеем право беспокоить Вас и то должны чувствовать угрызения совести.

В колонии сейчас хорошо. Наша злоба дня — переезд в Запорожье. Уже давно мы хлопотали о переводе нашей колонии на какой-нибудь простор. В этом вопросе не только хозяйственное устремление. По моему мнению, наше советское воспитание так, как оно определяется в нашей литературе, и в особенности, как оно сформировалось на практике, не представляет ничего ни революционного, ни советского, ни просто даже разумного. Мы оказались без определенной системы, без строгой линии, а самое главное, без какого бы то ни было воспитания. Наши педагоги просто не знают, что они должны делать, как держать себя, а наши воспитанники просто живут в наших детских домах, т. е. едят, спят, кое-как убирают после себя. Картина очень печальная. В Управлениях люди зарылись в чисто материальные планы, в статистику и отчеты, а на фронте кое-как волынят, чтобы благополучно провести день до вечера без скандалов. Нельзя никого винить в этом. Мы перекроили нашу жизнь по новым выкройкам, которые давно были заготовлены, а о

воспитании и о его планах никто у нас серьезно не беспокоился.

Сейчас у нас вместо воспитательной системы только и есть, что несколько лозунгов, безобразно брошенных к ногам революции. К этим лозунгам давно уже пристроились несколько десятков бесталанных людей, а то и просто спекулянтов, которые вот уже несколько лет размазывают словесную кашу в книжках, речах и брошюрах и непосвященному смертному представляются учеными. На деле из этой словесной каши нельзя воспользоваться ни одной строчкой (буквально, без преувеличения ни одной). Гастев (из Института Труда в Москве) называет всю педагогику «собранием предрассудков». Он, вероятно, даже не подозревает, насколько он прав.

Наш коллектив, разумеется, не скоро мог решиться заговорить о ревизии нашего соцвоса, но на деле уже с 20-го года мы конструировали свою линию, конструировали исключительно в опытном плане без предварительно принятых догматов. Результаты оказались более удовлетворительными, чем мы ожидали, и в то же время совершенно неожиданными. В Харьковском институте народного образования, где наш опыт особенно пристально рассматривался, есть группа наших противников, которая меня иначе не называет, как «атаманом шайки».

Тем не менее я решился настаивать на правильности нашего пути и представил в Наркомпрос проект. Главною его мыслью является утверждение, что воспитание должно быть организовано как массовое производство, в огромных коллективах, хозяйственно ответственных и самостоятельных, в то же время конструированных без всякой романтики и предвзятых догматов, а прежде всего по теории здравого смысла. Мой проект был поддержан фактическим успехом нашей колонии и бросающейся в глаза спаянностью всей нашей общины. Так или иначе, а к настоящему дню мы уже имеем постановление о преобразовании нашей колонии в Центральную для Украины. Предлагают нам имение Попова в 30 верстах от Александровска. В имении 1 200 десятин пахотной, какой-то прекрасный дом — замок. Имение сейчас занято коммуной «Незаможник», но коммуна страш-

но задолжалась, дом развален, в итоге мы принимаем наследство чаеторговца. В субботу выезжает наша комиссия для осмотра имения. Вы не сможете себе представить, какой у нас подъем. Хлопцы на собраниях встречают меня аплодисментами. Интересно: нам было предоставлено на выбор: либо имение Попова, либо князя Голицына под Харьковом (500 десят.). Голицынское вполне исправно. Голосование общего собрания дало за Запорожье 111 голосов, за Голицына 27. Мотивы такие: дальше от центра, больше земли, близко Днепр.

Дело поднимаем трудное. Я не сентиментальный человек, но меня до слез трогает моя шайка. Казалось, чего бы нужно. Четыре года мы восстанавливали руины здесь. Наполовину зимою ходили босые и раздетые. Теперь у нас все в порядке, чистота и уют, свое электричество и даже прибыль — 120 английских свиней и прочее. А вот-вот все же бросают это и едут на новые места в разваленный дворец, в опустошенную степь.

Но зато 1 200 десятин. Какой там размах будет, дорогой Алексей Максимович! Хлопцы знают, что будет трудно. Для того, чтобы обработать 1 200 десятин с нашими 120 хлопцами, нужны тракторы, сноповязалки, паровые гарнитуры, много всего прочего. Дворец стоит без окон и дверей (незаможники жили в конюшне). Один посев будет стоить больше 10 000 рублей. Наркомпрос, конечно, нам денег не даст, какой ему смысл давать, да и нет их у него в таком количестве. Единственный выход — кредитная операция и труд. Значит, нам в первые годы предстоят солидные лишения, и хлопцы об этом хорошо знают. И все же они все как будто начинены ракетами и выстрелами, и нас, «педагогов», увлекают за собой.

Простите, что пишу о таких вещах, которые, может быть, только для нас интересны, но так хочется, чтобы и Вы представили наши радости и поняли нас. Ведь для нас так важно, страшно важно, что на месте вольницы запорожской мы поставим флаг с Вашим именем. У нас уже и сейчас решено, что мы будем хлопотать о переименовании ст. Попово в станцию «Колония им. М. Горького».

Занимаемся усиленно и довольно интересно. Рабфаковцы все идут хорошо. Спасибо, что Вы беспокоитесь

о них. Мы им помогаем деньгами и вещами. Живут они хорошо. Писали нам о том, что писали Вам.

Желаю Вам здоровья и хорошего настроения.

А. Макаренко.

Колония им. М. Горького.
10 февраля 1926 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Вы меня так расхвалили в Вашем письме от 13 декабря, что я постеснялся даже показать письмо Ваше хлопцам, сказал им только, что Вы переехали в Неаполь, что Вы нездоровы и что Вы передаете им привет. От частых и обильных писем я продолжаю хлопцев удерживать. Сейчас у нас такой порядок, что письма Вам будут посылаться только по постановлению Совета Командиров. Иногда мне кажется, что когда Вы получаете наши листы, то должны хвататься за голову, а потом принимать валерьянку. У Вас такая большая напряженная работа, Вам так мешают всякие посетители, а тут вдруг почтальон приносит письмо Ваших провинциальных родственников. Мы искренно сочувствуем Вам, дорогой Алексей Максимович, и удивляемся, что Вы так терпеливо и так ласково нам отвечаете, но в то же время мы ничего не можем сделать с собой, от природы, как и всякие провинциалы, мы эгоисты и должны писать Вам о поросятах и о бешеных собаках. Мы прекрасно знаем, насколько мы большие эгоисты, ибо мы сознательно пользуемся своим исключительным правом любить Вас. Вы нам раз навсегда простите нашу надоедливость и считайте в числе крестов, выпавших на Вашу долю, Полтавскую колонию. Вы же знаете, что мы уверены, что Вы когда-нибудь к нам приедете. Как видите, мы и до этого доходим.

Живем мы «средне». С Запорожьем заминка, кажется, просто волокита. Коммуна незаможников, сидящая в имении Попова, просто не спешит ликвидироваться. До тепла досидит, а с теплом поцарапает буккерами десятин сорок. Ее не может особенно беспокоить, что сотни деся-

тин останутся не возделанными. Мы не имеем никаких рук и связей и можем давить только нашим делом... Если нынешняя волокита окончится ничем, нам остается только два пути: или обратиться к Петровскому с деловой истерикой или занять Запорожье явочным порядком. Последний план вовсе не шутка и, представьте, он вероятно принесет и наибольшую пользу. Просто достанем где-нибудь две тысячи, погрузимся в вагоны и выгрузимся в Запорожье. Замок Попова стоит пустой, значит поселиться будет где, а за лето что-нибудь сделаем. Обращение к Петровскому может помочь только в том случае, если мы сумеем уверить его, что наш план достоин внимания. А у нас план огромный и с первого взгляда может показаться химерой...

Нужно создавать новую педагогику, совсем новую. Наш коллектив чувствует себя в силах принять участие в этом создании, и мы уже много сделали за $5^1/_2$ лет. Но первое, что нам нужно, это свобода от делопроизводителей, свобода от всякого хлама, которым мы завалены, а потом уже мы легко избавимся и от педагогических предрассудков. Вот почему мы и стремимся в Запорожье. Там экономическая мощь и общий размах помогут нам посадить бухгалтеров на их место.

То обстоятельство, что вместе с нами стремятся и все хлопцы, страшно нас поддерживает и внушает веру в успех.

Сейчас мы живем в большом нервном напряжении и тревоге. Каждое письмо, каждая телеграмма из Харькова возбуждают надежды и разочарование. Большая радость жить в таком движении.

Альбомы Сорренто и Неаполя мы получили. Вы нас балуете своим вниманием. В одном только хлопцы разочарованы — видно только крышу Вашего дома, а у нас огромный интерес к Вашей частной жизни, виноваты, каемся.

«Общество взаимопомощи колонистов-горьковцев» еще не имеет устава. Не хочется его делать здесь. Все кажется, что Запорожье нам откроет невиданные просторы в этом деле. Фактически несколько пунктов проводятся в жизнь. Мы уже разыскали около четверти бывших воспитанников, некоторым оказывают помощь. Рабфаковцы все поддерживаются.

Простите большое письмо. Чисто провинциальная манера, ничего с собой поделать не можем.

Желаем Вам полного выздоровления и всякой радости.

А. Макаренко.

Ваша похвала мне может меня заставить действительно взять Запорожье штурмом. Никогда в жизни мне никто таких слов не говорил. А все-таки хвалить человека особенно крепко не стоит. Он от этого начинает «воображать».

24.II.26.

А. Макаренко.

Не смогу ли я быть полезен Вам и колонии в деле «завоевания» ею Запорожского имения?

Я мог бы написать о Вашем деле... на кого Вы укажете.

Очень занят, пишу наскоро. Отвечайте. Если хотите — телеграммой одно слово: «пишите».

Адрес новый

Неаполь. Posilippo
Villa Galotti
Вилла Галотти.
Napoli Posilippo

Извините, напутал.

Привет колонистам.

А. Пешков.

Будет лучше, если Вы сами изложите Ваше дело в письме и пришлете его мне, а я, приписав к нему, что следует, пошлю отсюда с дипкурьером.

А. П.

Полтава, Колония им. М. Горького.
25 марта 1926 года.

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо Вам большое за заботу о нас. Возможно, что объективно мы не заслужили такого внимания. Ваше предложение вызвало у нас целую дискуссию, которая

заняла целую неделю. На первом общем собрании голоса поделились. 69 высказалось за то, что мы имеем право воспользоваться Вашей помощью, 66 за то, что так поступить мы не должны. Я отказался руководиться мнением такого незначительного большинства и предложил хорошенько продумать вопрос прежде, чем голосовать. После этого в течение 4-х дней мы вели горячие споры. Представители большинства доказывали, что наше стремление в Запорожье есть здоровое стремление, которое пойдет на пользу всего государства, а поэтому мы должны воспользоваться помощью Вашей. Представители противоположной точки зрения, по моему мнению, были все-таки правы. Они говорили:

— Хотите иметь помощь, так выбирайте шефом Госбанк или Совнархоз, а если вы имеете шефом Горького, то не воображайте, что вы можете надоедать ему своими делишками. Не хитрая штука, что Горький напишет письмо и вам поднесут Запорожье. Зачем нам тогда работать, было б с самого начала обратиться к Горькому и нам бы все дали. Мы добиваемся Запорожья потому, что мы его заслужили.

— В какое положение вы ставите Горького? Почему он будет просить за нас? Потому что мы носим его имя? А если мы оскандалимся с Запорожьем?.. А откуда Горький знает, какие мы? Из наших писем? Какое мы имеем право ставить Горького в такое положение.

Я любовался своими хлопцами...

В колонии мне всегда приходилось доказывать, что мы не можем профанировать Ваше имя в нашем собственном представлении принятием от Вас материальной помощи. Это означало бы, что мы чересчур носимся с собой, это значит, что мы себя недостаточно уважаем.

В данном споре я и воспитатели держались совершенно таинственно, хотя мою точку зрения многие чувствовали. На втором собрании картина получилась иная. За Вашу помощь 27 против 101.

Двадцать семь пробовали продолжить войну.

— Ну, как теперь написать Горькому. Он нам предлагает помощь, а мы важничаем!

Вы нас должны понять, Алексей Максимович. Как раз Вы, один во всей мировой литературе, сумели сказать, что человек — это прекрасно. И другие пробовали

говорить это, но у них человек получался или вроде петуха, или вроде сумасшедшего, только у Вас человек сумел свою гордость совместить с любовью к людям и с трепетным уважением к чему-то высшему. Может быть, в моих словах эта экскурсия в литературу звучит дико, но ведь Вы меня между строк поймете.

А для нас так хорошо ощущать Вашу близость к нам во всей ее чистоте. Ну в самом деле, разве можно Вам кого-то просить о каком-то Запорожье. Для таких дел есть другие люди. Вы нам могли оказать эту помощь потому, что Вы многим помогаете, мы это хорошо знаем, но нам, имеющим честь носить Ваше имя и честь быть с Вами в общении, нужно избавить Вас от всякой заботы.

Может быть, и впереди нам придется описывать Вам свои нужды, это так естественно, но никогда Вы не читайте в наших письмах необходимости нам помогать. С нашей стороны было бы просто гадко смотреть на Вас, как на человека, который может нам принести пользу.

От Запорожья мы отказались (даже телеграфно). Запорожский Окрисполком не желает нас пускать на свою территорию, боится, что колонисты «терроризируют население». Поэтому он значительные куски уже роздал кое-кому. У нас была еще возможность надеяться — мы передали дело в Совнарком Украины, но и Совнарком отказал нам — слишком дорогой ремонт требуется. Совнарком (какая-то комиссия Совнаркома) уверен, что мы с ремонтом не справимся. Дальше идти уже некуда. Теперь мы требуем себе место под Харьковом. Нам предлагают имение б. Куряжского монастыря в 7 верстах от Харькова. В имении этом сейчас детская колония, в педагогическом отношении яма, ужаснее которой я не видел в жизни. Мы соглашаемся переехать туда со всем имуществом с условием, чтобы нам оставили из тамошних колонистов не более 200 и убрали куда-нибудь весь персонал. Наш Наркомпрос приходит в ужас — боится, что мы не только ничего не сделаем с этими двумястами, но и сами потеряем свою стройность и дисциплину. Посмотрим. Дело, кажется, выгорит. Задача страшно трудная, но у нас есть еще пафос.

Сегодня мы чистимся, моемся, штукатурим, красим. Сейчас 10 часов вечера, а все в колонии работает и поет. Зарезали целое стадо гусей. К сожалению, не мо-

жем поставить пьесу, так как окружены на своей горе со всех сторон водой. Страшно досадно. У нас уже приготовлены «Враги». Завтра в 2 часа «обед со знаменем», речи, декламации, а вечером моя лекция о детских типах в Ваших произведениях. К сожалению, некогда написать даже хороший конспект, а подумать пришлось много. У меня есть способность разбираться в художественных данных, но в условиях моей жизни разобраться в целом море Ваших детских лиц страшно трудно. Поэтому я, вероятно, буду нести ересь. Но ведь меня будут слушать только наши хлопцы и воспитатели.

Простите за такое длинное письмо.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

Мы получили прекрасные альбомы из Москвы от Е. П. Пешковой. Как Вас благодарить за ласку. В марте в нашей школе были разработаны комплексы для младших: «Где живет Горький» для старших: «Италия». Альбомы эти мы изучили вдоль и поперек. Но... только крыша Вашего дома в Сорренто говорит прямо о Вас.

В колонии все умирают: кто такая Е. П. Пешкова? Написали письмо, в котором требовали откровенного признания.

А. М.

Полтава, ящик 43.
Колония им. М. Горького.

Полтава, 8 мая 1926 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Только вчера окончилась страстная борьба за Куряж. Я уже Вам писал, что, потерпев поражение в войне за Запорожье, мы поставили вопрос о передаче нам имения б. Куряжского монастыря в 7 верстах от Харькова. В первые же дни вопрос как будто был решен окончательно, но потом нашлись другие претенденты и заварилась целая каша, потому что «Засватана дівка всім гарна». Харьковская Комиссия Помощи детям, которой

принадлежит нынешняя весьма неудачная колония в Куряже, не хотела передавать колонию нам главным образом потому, что не хотела признать своей неудачи и надеялась в будущем поправить дело. Мы требовали от комиссии 20 000 рублей на ремонт домов, приведенных в негодность. Комиссия соглашалась дать нам 50 000, но с тем условием, чтобы колония по-прежнему называлась «Куряжской колонией им. 7 ноября» и была ответственна перед Помдетом. На общем нашем собрании единогласно было заявлено категорическое требование, чтобы колония называлась «Харьковской колонией им. М. Горького» и подчинялась Наркомпросу. Помдет на это не согласился, и пользуясь тем, что ставки жалованья Наркомпроса очень малы (воспитатель у нас получает 48 рублей), гораздо ниже ставок Помдета, предложил перейти в Куряж нашему персоналу. Когда наши хлопцы узнали об этом, возмущению не было границ. Воспитателей стали подозревать в желании «продать Горького». Нужно сказать, что эти подозрения были неосновательны. Разумеется, каждому лучше жить под Харьковом и получать 90 рублей, но без меня и без наших хлопцев ехать в Куряж на растерзание 200 малыми хулиганами никто бы не решился. Независимо от этого каждому воспитателю имя Ваше дорого, как наше знамя.

В последнем счете мы одержали победу. Договор подписан. Копию Вам посылаю. У нас страшный подъем.

В то же время мы переживаем очень большое напряжение. В Куряже все работники снимаются. 200 детей, какие там имеются, представляют из себя огромный клубок копошащихся в грязи распущенных подростков, привыкших к пьянству и матерной ругани. Перебросить в Куряж наших 130 хлопцев немедленно, значит создать там сразу два враждебных лагеря. Наши будут задирать носы и задаваться, куряжане от стыда и старого озлобления будут смотреть на нас, как на завоевателей. Поэтому я решил ехать один. Надеюсь, что мне удастся заразить куряжан хоть небольшим пафосом, увлечь моей верой в их человеческую ценность (Вашей верой). Тогда они смогут встретить наших хлопцев с некоторым достоинством, тем более, что я постараюсь их организовать и поставить на работу.

Не скрою, я немного побаиваюсь. Мне еще не приходилось сразу нагружать свою волю и нервы такой массой человеческого несчастья, принявшего уже формы застаревших язв.

Завтра я с двумя воспитанниками выезжаю в Куряж принимать колонию. Вам будем сообщать о нашей работе.

Разрешите в этот критический и, может быть, самый интересный момент в жизни нашей колонии приветствовать Вас от имени всей колонии и благодарить за ту энергию и бодрость, которую сообщает нам одно Ваше имя, не говоря уже о живом общении с Вами.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

Дорогой Алексей Максимович!

Пишем из Куряжа. Сюда собрался первый наш эшелон — 4 воспитателя, 11 воспитанников и старший инструктор. Вот уже две недели спим на столах и коекак организуем новую жизнь. Трудно представить себе большую степень запустения, хозяйственного, педагогического, просто человеческого. 200 детей живут не умываясь, не зная, что такое мыло и полотенце, загаживают все вокруг себя, потому что нет уборных, отвыкли от всякого подобия работы и дисциплины. Но дети в общем хорошие, мы надеемся, что за лето их удастся привести в некоторый порядок. Очень надеемся на организующее влияние горьковцев. Послезавтра они уже грузятся в вагоны и числа 27-го, вероятно, будут здесь. Как нашим хлопцам, так и работникам придется, вероятно, еще долго жить во временной обстановке, т. к. здания все крайне запущены, требуют большого ремонта.

Жизнь начинается интересная и страшно напряженная. Самая главная задача — изжить потребительскую философию наших новых питомцев. Ко всему они подходят с единственным вопросом: нельзя ли потребить? Очень любят лечиться: приблизительно 30% больных всякими болезнями. Мы надеемся, что огромная работа по ремонту и развитию хозяйства поможет нам перевести эту философию на рабочие рельсы.

Положение наше затрудняется тем, что борьба за Куряж еще и не окончена. Наши враги пустили в дело последнее средство — пытались опорочить Полтавскую колонию и добились даже посылки в Полтаву представителя РКИ для обследования. Это очень понизило было наше настроение — просто стало обидно. Разве можно обследовать колонию, которая вся запакована в ящики, откуда уже уехал заведующий и большая половина персонала?

Теперь к этой обиде привыкли. Как-то хочется смотреть больше вперед.

Мешают очень церкви, колокольни бывшего монастыря в самом центре нашей усадьбы. В главном храме совершаются служения, и мы представляем соединение двух стихий несоединяемых. Нужно много положить энергии, чтобы добиться сноса церкви.

К нам вчера вечером приехали гости. Софья Владимировна Короленко и заведывающий Полтавской колонией им. Короленко Ф. Д. Иванов. Они являются нашими наследниками — занимают нашу полтавскую усадьбу. Вчера они меня «накрыли». В Полтаве мы сторговались, что посевы мы уступаем им за 1600 рублей, а в Харькове они завлекли меня в кабинет к важному лицу, и я, по своей провинциальной скромности, принужден был уступить посевы за 1200 рублей. За это я их тут же в кабинете выругал «интеллигентами».

Но люди они страшно хорошие и так приятно, что они навестили нас в нашей яме.

Дорогой Алексей Максимович, к Вам большая просьба: если Вам не трудно и если Вы находите удобным, напишите несколько слов благодарности президиуму Харьковского Окрисполкома. Они оказали нам огромное доверие, защищая нашу колонию и выдержав большую борьбу из-за нашего перевода. Это обстоятельство в особенности понуждает нас все сделать, чтобы колония Вашего имени и под Харьковом справилась с задачей.

Будьте здоровы. Приветствуем Вас в самый критический момент нашей работы.

Преданные Вам горьковцы.

А. Макаренко *.

---

* Далее следуют подписи педагогов и воспитанников. (*Ред.*)

Наш новый адрес: Харьков, Песочин. Почтов. Отделение. Колония им. М. Горького.

[23 мая 1926 г.]

А. Макаренко.

Сердечно поздравляю Вас и прошу поздравить колонию с переездом на новое место.

Новых сил, душевной бодрости, веры в свое дело желаю всем вам!

Прекрасное дело делаете Вы, превосходные плоды должно дать оно.

Земля эта — поистине наша земля. Это мы сделали ее плодородной, мы украсили ее городами, избороздили дорогами, создали на ней всевозможные чудеса, мы, люди, в прошлом — ничтожные кусочки бесформенной и немой материи, затем — полузвери, а ныне — смелые зачинатели новой жизни.

Будьте здоровы и уважайте друг друга, не забывая, что в каждом человеке скрыта мудрая сила строителя и что нужно ей дать волю развиться и расцвести, чтоб она обогатила землю еще бо́льшими чудесами.

Привет.

М. Горький.

Sorrento
3.VI.26

Харьков, 16 июня 1926 г.

Думали ли Вы, дорогой Алексей Максимович, что Ваше письмо будет поворотным пунктом в истории нашей борьбы с Куряжской разрухой. С воскресенья 13 июня у нас совершенно новое настроение и новая работа. Ваше письмо получено в субботу. Как раз на воскресенье был назначен мой доклад о Вас. Мне посчастливилось быть в ударе. Ребята в течение $2^1/_2$ часов были захвачены рассказом о Вашей жизни. Очень помогли выдержки из «Детства» и «В людях», которые были мною прочитаны. Страшно Вы понравились куряжанам. Много задавали вопросов, и каждый захотел подержать в

собственных руках Ваше письмо. Потом целый день толпились возле Вашего портрета, который мы выставили только утром.

После доклада я прочитал Ваше письмо. Когда я читал его при получении, мне казалось, что запущенные, одичавшие ребята не поймут великой любви Вашей к Человеку и Вашей веры в человеческую культуру, и я думал, что мне придется много им объяснять, но когда я прочитал письмо на общем собрании и увидел, как блестели глаза набежавшей слезой, я понял, что эти оборванные худые дети тоже имеют отношение к человеческим идеалам и что это Вы силою своего слова заставили их это почувствовать.

Вечером все писали Вам письма. Интересны письма куряжских отрядов, если у Вас найдется время, может быть, Вы их прочитаете. (Это отряды 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22). Многие хотели писать отдельно от отряда, но им не позволили. Только письмо Котова я посылаю, ибо он ни за что не хотел помириться с запрещением и представил мне письмо в запечатанном конверте, спросил, сколько нужно марок, и ходил целый вечер по колонии, упрашивал всех воспитателей позаимствовать ему 28 копеек на марки.

В понедельник все мы поражались величиною радости и энергии, с которой ребята работали и жили. Впервые здесь мы вздохнули с облегчением. Нужно при этом отметить, что куряжане взялись за работу даже охотнее полтавцев, хотя, конечно, далеко уступают им по выдержке и уменью работать. Благодаря «горьковскому» дню, как наши воспитатели назвали воскресенье, первый, самый тяжелый период овладения Куряжем окончился вдруг в один день нашей блестящей победой. Сейчас мы живем уже хорошо. Начали бороться с грязью, красим, штукатурим, моем. К сожалению, куряжское голое состояние совершенно растворило наши запасы одежды, и вид мы имеем кромешный. Очень много страдаем от паразитов. Окончательно очиститься успеем, вероятно, только осенью, т. к. сейчас каждую лишнюю копейку ухлопываем на ремонт. Хочется кое-что сделать и в организации мастерских, а в особенности свинарни, молочной фермы и оранжереи. Зато цветники мы уже разбили везде, где успели убрать сор. Монастырские

стены, которым 212 лет, развалили. От этого стало больше света и воздуха, расширился двор, открылись прекрасные виды на всю долину. По секрету Вам, как родному, признаемся, что думаем блеснуть на празднике Первого Снопа и после этого выцыганить что-нибудь.

Настроение у всех прекрасное, жизнерадостное — хорошо стро́ить — Вы ударили нас по самому человеческому месту.

По Вас прямо скучают. Как будто раньше видели Вас и давно уже пора повидаться. На Вашем портрете разглядывают морщинки и спрашивают, какого Вы роста и какой у Вас голос. Я говорю, что Вы высокий, худой, говорите басом, очень сердитый и страшно добрый. А какого цвета Ваши усы, затруднился определить. Мечтают все о Вашем приезде. В тех шершавых письмах, которые хлопцы Вам шлют (плоды обучения на «родном» языке), они пишут правду. 15-й отряд (они гордятся тем, что ближе всего к Вам — работают в пекарне) прекрасно, хоть и глупо, выражает общие чувства: «В эту минуту готовы обнять Вас в своих молодых, но крепких объятиях и крепко расцеловать». Если Вы к нам приедете, то Вам придется плохо, потому что некоторые обладатели молодых, но крепких объятий производят очень внушительное впечатление. Но что же делать, дорогой Алексей Максимович? Я сам, кажется, забыл свою давнюю любовь к Вам, как к писателю, а люблю сейчас Вас, как мальчишка.

Мы все очень тронуты Вашим письмом к Г., у нас у всех тепло на душе, как будто нашли крепкую любящую руку отца, которая нам поможет, и защитит, и приласкает. Только Вы напрасно, дорогой Алексей Максимович, хвалите меня (письмо напечатано в газетах). Я боюсь личной известности, страшно боюсь и, кроме того, совершенно не заслуживаю особенного внимания Вашего. Я потому и отдался колонии, что захотелось потонуть в здоровом человеческом коллективе, дисциплинированном, культурном и идущем вперед, а в то же время и русском, с размахом и страстью. Задача как раз по моим силам. Я теперь убедился, что такой коллектив в России создать можно, во всяком случае, из детей. Раствориться в нем, погибнуть лично — лучший способ рассчитаться с собой. Мне удалось посвятить этот кол-

лектив Вам — вот тот великий максимум, о котором я только мечтал. А я не педагог и терпеть не могу педагогов.

Простите, что я о себе. Мое желание, чтобы Вы меня поняли, конечно же, никуда не годится — мы не имеем права затруднять Вас такими пустяками. То, что наша жизнь так крепко связана с Вашим именем — мы переживаем, как совершенно незаслуженную милость к нам кого-то — судьбы? Но мы Вас крепко любим, так крепко, что стесняемся Вам об этом говорить, а вдруг Вы этих сентиментов не любите.

Простите, что так много мы все написали. Спасибо Вам, что живет Ваша душа у нас, живая, родная, мы так ее прекрасно чувствуем.

Преданный Вам *А. Макаренко*
Антон Семенович.

Балуете Вы меня, Антон Семенович, похвалами Вашими. Ведь я знаю, что для колонии я не делаю ничего, что, хоть немного, облегчило бы жизнь и работу колонистов. Не делаю, да и не могу ничего делать. Вот разве посылать Вам для библиотеки колонии книги, переводы с иностранных языков, прочитанные мною? Книг таких набралось бы не мало. Хотите? Буду посылать.

Очень волнуют меня милые письма колонистов, с такой радостью читаю я эти каракули, написанные трудовыми руками. Пожалуйста — прочитайте им мой ответ.

Вас я крепко обнимаю, удивительный Вы человечище и как раз из таких, в каких Русь нуждается. Хоть Вы похвал и не любите, но — это от всей души и — между нами.

Будьте здоровы, дорогой дружище.

А. Пешков.

12.VII.26.
Sorrento

P. S. А что, как живет та диконькая девица, о которой Вы мне писали? Помните — недоверчивая, все молчала? Напишите о ней.

А. П.

Колония им. Горького.
Харьков. Песочин.
24 ноября 1926 года.

Дорогой Алексей Максимович!

Три месяца мы не затрудняли Вас своими письмами. В августе хлопцы написали целую кучу отрядных писем, но я рассердился на них, ругал, ругал,— пишут одно и то же, не умеют писать писем, прямо убивают меня. Они согласились со мной, были очень убиты, но решили написать, когда подучатся. Сегодня они спрашивали меня: когда? Сказал им, что после триместровых зачетов. Если Вы меня осудите за это, так тому и быть, но не могу я переносить ни безобразных почерков, ни *трафаретного... письма, бессодержательного и всегда глупого...* Хлопцы на меня дулись, но не осудили.

У нас множество всяких событий, как я Вам о них напишу? Ремонт закончили, но все же ОкрПомдет надул нас на $7^1/_2$ тысяч. В один прекрасный день вдруг он заявил нам, что все 20 000 на ремонт выданы. Как выданы? А еще $7^1/_2$ тысяч! Четыре тысячи стащили с нас за медь, которая в количестве 150 пудов для чего-то была в Куряже, которую мы получили по всем правилам и которую, конечно, продали. А 3 500 еще красивее. В июле приехал в колонию президиум ОкрПомдета в полном составе и подарил нам 300 одеял. Подарил в торжественной обстановке, при знамени, с речами, барабанным боем. Хлопцы играли туш, подбрасывали президиум в воздух и кричали ура! А в сентябре за эти самые одеяла удержали $3^1/_2$ тысячи. Теперь приходится судиться с Помдетом.

Мы почти уверены, что высудим деньги, но пока сидим в долгах, а самое главное, не закончили постройку свинарни, и наш завод гибнет. Приходится очень много работать хлопцам и в очень тяжелых условиях.

Тем не менее, настроение у всех прекрасное. Нас обуревает множество всяких планов и проектов. В начале октября в Одессе был съезд всех детских городков и колоний. На нем выяснилось довольно бедственное состояние нашего соцвоса: нет людей, нет четкой работы, прекрасные принципы наши остаются нереализованными. Зато наша колония стоит крепко и весело. На съезде нам много аплодировали и вообще качали, но практи-

ческие предложения наши вызвали у всех страх: мы оказались слишком решительными. Я предлагал организацию всеукраинской детской трудовой армии, с широким активным самоуправлением, но с горячей дисциплиной. Разумеется, из этого ничего не вышло. Грустно, дорогой Алексей Максимович. У нас были широкие полеты, когда мы разрушали, а вот когда приходится строить, мы боимся стронуться с места.

В Харькове к нашим проектам относятся почти сочувственно, здесь разговор идет об объединении всех детских учреждений Харьковского округа — их около 30 с 10 000 детей. Сочувствие, впрочем, помогает мало. Нужно разбить много мелких сопротивлений, страшную толщу формализма, нужно преодолеть апатию, вялость, а самое трудное, ...веру в пустые словечки, ...сектантскую глупость.

Поэтому надежд у нас больших нет.

Я боюсь, что еще через год нам придется тоже положить оружие. Несмотря на то, что все признают большие достоинства нашей работы, даже исключительные достоинства, все же наша колония пока только черновой набросок. Закончить нашу систему нам не позволяет отсутствие совершенно необходимых условий. Например, система финансирования, какая сейчас практикуется, в совершенстве обусловливает воспитание жадного потребителя, но ни в каком случае не коммунара. Деньги выдаются полумесячными долями да еще с разделением на полтора десятка всяких параграфов. Что можно с такими деньгами сделать? Только проесть. Хлопцы не имеют даже права распорядиться ими. Если нам дали на питание 1 000 рублей, а мы истратили 900, то 100 рублей мы уже не можем истратить на одежду или на оборудование мастерской или на покупку сырья. Говорить о том, что у нас при таких условиях возможно какое-то новое воспитание, конечно, нельзя. Вообще, у нас очень мало нового, а если оно и зарождается, то исключительно благодаря отчаянным усилиям отдельных лиц, которым приходится при этом лезть не на один рожон.

У нас тут в колонии поэтому странное двойное настроение: с одной стороны, у всех огромное желание работать и большие запасы энергии, с другой — страшная усталость от вечного тыканья в каменные стены. И вы-

хода как будто нет. Бросить колонию мы уже не в состоянии: за шесть с лишним лет в нее чересчур много положено и чересчур много сделано, наконец, образовались слишком крепкие живые связи, которые без боли не разорвешь. А продолжать работать — значит убивать силы и время. Неинтересно топтаться на месте.

Вы простите меня, что я затрудняю Вас нашими бедами. У нас есть и кое-что радужное. Давно уже работает школа, работает весело и с большим напряжением. Я никогда не видал еще такой охоты учиться. Много очень значит, что у нас под боком рабфаковцы (некоторые уже студенты). Сейчас в Харькове отряд в 20 человек, из них одна девушка. Правда, в этом году у них тоже настроение почему-то пониженное, но это замечаю только я, среди же хлопцев царит воодушевленное отношение к рабфаковцам.

Несмотря на тяжелое положение, в которое нас поставил Помдет своей помощью, мы стараемся развиваться.

Сейчас мы заняты устройством производственной столярной мастерской. Денег у нас правда нет, но мы взяли заказ на 10 000 ульев и в счет платы получили оборудование мастерской. Заказ мы обязаны выполнить в 6 месяцев. Дело очень интересное. Уже установили строгальный станок, всякие пилы, сушилки. Харьковские табачники подарили нам трактор, который и будет двигать нашу мастерскую. С организацией труда произошел казус. Для того чтобы поднять производительность труда в столярной мастерской, я предложил отряду (их 60 человек) установить премию за хорошую выработку с тем, чтобы эта премия не выдавалась на руки, а сберегалась до выхода воспитанника из колонии. К моему удивлению, хлопцы заявили, что они будут и так хорошо работать, и никакой премии не нужно. Получается совершенно идеально, но непрактично — мы тоже не можем найти середину между идеалом и жизнью.

У нас много новых людей, и воспитателей, и хлопцев. Последних за лето мы приняли около сотни — много очень запущенных, присланных к нам после трех-четырехмесячного тюремного сиденья. Мы их получаем почти всегда в совершенно развалившемся платье, завшивевшими и не мытыми давно. Колонисты отчаянно сопротив-

ляются внедрению этих новичков, конечно, по соображениям гигиены.

И все же до сих пор я не имею возможности всех новичков одеть как следует.

Еще раз простите, что затрудняю Вас нашими мелочами.

Ваше предложение взять у Вас книги нельзя, дорогой Алексей Максимович, приводить в исполнение. Вероятно, с книгами этими у Вас связано много и с нашей стороны будет нехорошо, если мы лишим Вас библиотеки.

Желаем Вам здоровья

А. Макаренко.

Колония М. Горького.
Харьков 14 марта 1927 года.

Дорогой Алексей Максимович!

Опять посылаю Вам кучу наших безграмотных писаний. Стыдно мне, как учителю, за эту безграмотность, ведь с некоторыми я бьюсь не первый год, но трудно переучивать наших запущенных ребят, а кроме того, режет нас украинизация: хлопцы городские, по-украински никогда не говорили, сейчас вокруг них, даже в селе, все говорят по-русски, читают книги исключительно русские, а учатся исключительно «на родном языке». Я удивляюсь, откуда еще у них берется охота учиться. И смотрите, письма к Вам написаны почти все по-русски. Все это наводит на чрезвычайно печальные размышления, не столько об украинском языке, сколько о нашем... формализме, догматизме, головотяпстве.

В той мере, в какой нам не мешают жить, живем сносно...

Сейчас в колонии довольно бедно. То обстоятельство, что осенью нам не додали 11 000 рублей, здорово нас подкосило, никак не можем оправиться. Сейчас судимся, как будто успешно, но времени потеряно много и у нас погибли свинарня и коробник. В то же время хочется не только жить, но и работать — без капитала это, собственно говоря, невозможно. Сейчас мучительно зарабатываем столярную мастерскую (с машинами), начинаем организовывать производство английских кроватей,

все это чрезвычайно тяжело, с протестованными векселями, с угрозами: «Попробуйте описать!», с бегством от телефонной трубки, с большими заминками в одежде и пище.

Ничего. Уверен, что выберемся к зиме из всех затруднений и в том числе из самого большого — из обилия закончивших воспитание ребят, которых давно пора выпустить и... почти невозможно. Невероятно трудно разбить толщу общего безразличия, волокиты и нечестной работы, защищенную ворохами бумажных правил и переписки. Кажется, у нас командует жизнью бывший коллежский регистратор, где-то тайно организованный, везде имеющий своих незаметных агентов и везде убивающий всякое здоровое движение.

Настроение всех наших 350 ребят не только превосходное, а удивляющее даже меня, который видит их вот скоро 7 лет. Страшно любопытно видеть, как они обрабатывают каждого новенького. К нам теперь стараются присылать исключительно тяжелых, в конец расхулиганившихся подростков, вшивых матерщинников, лодырей, убежденных противников всякого авторитета и дисциплины. Но в течение двух дней их сопротивление коллективу рушится бессильно. На каждом шагу они натыкаются на острый, меткий, веселый взгляд, короткое энергичное слово, а в крайнем случае и на ряд кулаков, готовых разбить нос при первом антиобщественном движении. За это меня регулярно едят наши педагогические мудрецы. Я грешен, люблю мальчишеские драки, разбитые носы двух дуэлянтов меня просто радуют, в особенности потому, что владельцы их всегда с большой готовностью благородно подают друг другу руки, но все же и для меня сейчас вопрос о дисциплине скорее выражается в форме торможения. Мы выделили новеньких в особый отряд (22), две недели они не работают, мы ввели предварительное изучение конституции колонии. Через месяц, смотришь, сам новенький представляется мне дежурством, как слишком энергичный защитник интересов и тона колонии.

Все мечтают о Вашем приезде. В печати очень часто врут, что Ваш приезд ожидается в Москву, я не вижу необходимости разуверять их в этом, а они глубоко убеждены, что если Вы приедете в Москву, то приедете и к нам. Весь вопрос в том, сумеем ли мы Вас встретить?

Сейчас у нас хорошо пахнет весной, уже сделаны парники, возимся со всяким приплодом, летом нас ожидает до 40 десятин огорода, но общее настроение такое, чтобы ехать куда-нибудь на новое место. По-прежнему мечтают об острове, о море, о колонии в несколько тысяч человек, о «Первом детском корпусе имени Горького». Пусть мечтают. Если хлопцы не мечтают, то они ничего не стоят.

Теперь самое главное. Мы готовим сборник «Колония имени М. Горького». В рукописи он почти готов, издателей, жаждущих его издать, несколько. Мы придали ему боевой характер борьбы с педагогическими предрассудками, борьбы за живую личность.

Участвуют в нем воспитатели и хлопцы.

Разрешите, дорогой Алексей Максимович, открыть его несколькими Вашими письмами — они будут, как декларация основного нашего принципа: «Нет ничего выше человека». Кроме того, нам нужен Ваш последний портрет. Если Вам не трудно, пришлите нам последний снимок, у Вас, наверное, есть свободный.

Простите за эти просьбы и за беспокойство, которое мы Вам причиняем.

Сборник обещает быть интересным — мы не посрамим Вашего имени.

Письмо это Вы, вероятно, получите к 26 марта. От лица всей колонии приношу Вам поздравление с праздником. Вспомните в этот день, что в старом монастыре 400 людей в этот день будут любовно думать только о Вас и мечтать о том, что они Вас когда-нибудь увидят.

Мы желаем Вам надолго-надолго сохранить здоровье и силы.

Преданный Вам

А. Макаренко

Харьков, Песочин.
Колония им. М. Горького.
А. С. Макаренко

Прилагаю письма всех отрядов. №№ 9, 14, 18, 21, 24, у нас совсем нет, были ликвидированы в последней реорганизации

Дорогой т. Макаренко,—

обладая способностью «воображать», я, разумеется, представлял себе, как должно быть трудно Вам командовать тремя сотнями юношей, не очень склонных к дисциплине и организованному труду. Но — представляя это,— я, конечно, не могу *почувствовать* всю сложность Вашего положения.

А, вот, теперь я это чувствую и — понимаю. Научили меня почувствовать и понять, что такое Вы и как дьявольски трудна Ваша работа,— два бывших воришки, Пантелеев и Белых, авторы интереснейшей книги «Республика Шкид». «Шкид» — сокращенное название «Школы имени Достоевского для трудно воспитуемых». Пантелеев и Белых — воспитанники этой школы, они описали ее быт, свое в ней положение и они изобразили совершенно монументальную фигуру заведующего школой, великомученика и подлинного героя Виктора Николаевича Сорина. Чтоб понять то, что мне от души хочется сказать Вам,— Вам следует самому читать эту удивительную книгу.

Я же хочу сказать Вам вот что: мне кажется, что Вы именно такой же большой человек, как Викниксор, если не больше его, именно такой же страстотерпец и подлинный друг детей,— примите мой почтительный поклон и мое удивление пред Вашей силой воли. Есть что-то особенно значительное в том, что почувствовать Вас, понять Вашу работу помогли мне такие же парни, как Ваши «воспитуемые», Ваши колонисты. Есть — не правда ли?

Ну, вот и все, что мне хотелось сказать Вам.

Прочтете «Республику Шкид»,— издано Госиздатом,— напишите мне Ваши мысли об этой книге и о главном ее герое Викниксоре.

Крепко жму руку. *М. Горький.*

P. S. Само собою разумеется, что Вы можете пользоваться для сборника моими письмами. Портрет будет выслан Вам из Москвы.

Колонистам — пишу, прилагаю письмо для них.

И еще раз — крепко жму Вашу руку.

А. П.

28.III.27.
Sorrento

Харьков, 25 февраля 1928.

Дорогой Алексей Максимович!

Мы страшно много пережили за последние полгода, много работы и много борьбы и чуть-чуть не погибли. Еще и сейчас наше положение опасно. Хуже всего то, что я начинаю чувствовать усталость.

Разрешите рассказать Вам все по порядку.

В июле и в августе развал в детских колониях и городках достиг высшей точки. Почти не было колонии, которая не была бы отягчена актом прокуратуры или Р. К. И.

В это время мне предложили объединить работу всех 18 колоний Харьковского округа. Я не мог принять это предложение без определенных условий. Семь лет работы в горьковской колонии сделали-таки из меня специалиста по беспризорным и правонарушителям. Я поэтому мог представить органический план широкой реформы организации этих ребят с таким расчетом, чтобы они составили единое для округа общество, объединенное не только общим управлением, но и общим планом работы, общими внешними формами быта, общим хозяйствованием, взаимной помощью и прочее.

Случилось то, чего я даже не мог предполагать раньше: со мной как будто не спорили, но даже ни разу и не выслушали, по частям растащили весь мой план, отказали по мелочам на самых формальнейших основаниях в очень важных организационных деталях, а, кроме того, в самом подборе персонала прямо задавили самыми дикими кандидатами.

Во всей этой борьбе я нажил кучи врагов, и началась самая обыкновенная история: обрушились на колонию им. М. Горького. Осенью мы выпустили на производство до 70 ребят, разослали по другим колониям десятка два. В ноябре ГПУ открыло в новом специально отстроенном доме-дворце детскую коммуну имени Дзержинского. Организацию детского коллектива здесь поручили нашей колонии. Мы выделили в коммуну Дзержинского 62 воспитанника, разумеется, лучших, откомандировали туда же пятерых воспитателей. Еще раньше по другим колониям были назначены 6 воспитателей. Таким обра-

зом, к декабрю горьковская колония так щедро раздала свои силы, что сама оказалась в очень тяжелом положении. Кроме того, наш штат увеличили на 50 мальчиков (довели до 400), и мы буквально завалены новенькими. Они принесли к нам чесотку, вшей, разгильдяйство и особенную потребительскую философию детских домов.

Горьковцы, рассыпавшись по округу, разнесли вокруг «горьковскую» систему. Это и послужило причиной всяких нападок. Ведь у нас обычно так: в десятках и сотнях случаев дело просто гниет и гибнет, растут самые дикие, деморализованные и слабенькие людишки. Все смотрят на это безобразие, опустивши руки. Но стоит образоваться одному серьезному дельному пункту, как все на него набрасываются: прежде всего требуют идеологии, да еще какой-то такой, о которой вообще никто толком ничего не знает. Во всяком случае, простая идеология работы и культуры объявляется каким-то страшным грехом. Во-вторых, стоит случиться одному случайному промаху, как немедленно подымается такой вой и такая истерика, что требуются чрезвычайно крепкие нервы, чтобы все это выдержать.

А как можно говорить об отдельных наших промахах? Законом у нас запрещено учреждать колонии для правонарушителей свыше 60 мальчиков (обязательно без совместного воспитания). Но вот мне все же дали 400. Ко мне их сплошь и рядом привозят в черной карете и сдают из-под револьвера. У меня нет карцера, и я ни одного за 8 лет не возвратил в тюрьму. Почему можно думать, что подросток только потому, что попал в колонию, сразу сделается паинькой?

У нас, правда, нашлись и друзья, но я, в сущности, не имел ни одной свободной минутки для борьбы. Я поэтому ушел из Управления колониями и теперь кое-как отбиваюсь от всяких кирпичей вдогонку. Горьковской колонии я не бросал, но на прямой работе в колонии работали мои помощники. Их переменилось четверо, и все они не выдержали больше месяца. В довершение всего наши сметы страшно порезали в этом году.

В результате мне приходится с горьковцами начинать чуть ли не новую жизнь. Правда, в колонии осталось ядро стариков около 100 человек и кадр воспитателей. Но отсутствие средств, ветхость монастырских построек,

их неприспособленность, наконец, страшно суровая зима, все это страшно усложнило ребячью жизнь, сделало ее настоящим подвигом. Все это далеко выходит за пределы какой угодно педагогики, эти 400 жизней «второстепенной необходимости», как выражается в письме к Вам 26-ой отряд.

Рядом с горьковской колонией — коммуна Дзержинского. Дворец, паркет, дубовая мебель, 19 электромоторов, мастерские по последней технике, души, ванны, прекрасное платье, богатые спальни, обильная пища. И там тоже почти все горьковцы, воспитанные, выдержанные, бодрые, чистые. И воспитатели горьковцы и, наконец, я — заведующий. 3 дня в неделю я провожу там, три дня у себя. Бросить дзержинцев не могу, не на кого. Боюсь, что уйду, а мой преемник наделает глупостей и опять будут есть живьем горьковскую колонию и горьковскую систему.

Сейчас вокруг коммуны Дзержинского завязался интересный узел. ГПУ, учреждение замечательной четкости, представило мой воспитательный план на утверждение Наркомпроса (УССР) и потребовало ответа: «Так или не так?»

Одобрить мою «еретическую» укладку Наркомпросу страшно, это значит рекомендовать ее всем; не одобрить — значит нужно предложить иную, а это значит принять на себя ответственность прежде всего за целость дворца, душей, ванн и пр.

Сижу и жду. В коммуне благодушная педагогика, уют, тепло, нега, хорошее настроение и маленькая расслабленность. У горьковцев в спальнях обувь примерзает к полу, валится везде штукатурка, в каторгу обратилась топка печей «Горячим» сводным отрядом, сотни новеньких, не могущих пройти по лестнице, чтобы не плюнуть, срывается «мат», светят иногда голые колени — отчаянная борьба за жизнь, за каждую латку, за огрызки ботинок, но зато веселый дружный тон, дисциплина, смех, гремит оркестр — играет «Веселого горьковца», сыпятся язвительные словечки по адресу дзержинцев, ждут весны и с весной того, чего ждут семь лет, с чем уже ушли многие из колонии,— ждут Вашего приезда. Сомнений в том, что Вы к нам заедете, нет ни у одного, вопросы и проблемы только в одном: как Вас принять, как встре-

тить, как пищать от восторга и радости, когда Вы приедете.

Я лучше их знаю, как Вы будете нужны в каждом уголке России, и я не уверен даже, имеем ли мы право просить Вас заехать к нам, но несколько строк в 18-м томе о нашей колонии все-таки дают и мне некоторую надежду. Мы все сделаем, чтобы к Вашему приезду победить нашу бедность, чтобы не оскорбить Вас никаким неприятным впечатлением. Да нам и весна поможет. Дзержинцы также убеждены, что Вы навестите их.

Простите, что затруднили Вас нашими письмами.

Все наши педагоги и служащие просили меня передать Вам их любовный привет и гордость, что они горьковцы.

Навсегда преданный Вам

А. Макаренко.

Уважаемый т. Макаренко —

очень взволнован и огорчен Вашим последним письмом! Сожалею, что вы не сообщили о неприятностях, Вами переживаемых, в самом начале их; объясняю это Вашей удивительной деликатностью в отношении ко мне, Вашим нежеланием «беспокоить» меня. Это — напрасно! Знали бы Вы, как мало считаются с этим другие мои корреспонденты и с какими просьбами обращаются ко мне! Один просил выслать ему в Харбин — в Маньчжурию! — пианино, другой спрашивает, какая фабрика красок в Италии вырабатывает лучшие краски, спрашивают, водится ли в Тирренском море белуга, в какой срок вызревают апельсины и т. д. и т. д.

А Вы, человек, делающий серьезнейшее дело, церемонитесь. Напрасно.

Чем я могу помочь Вам и колонии? Очень прошу Вас — напишите мне об этом. Я уже написал в «Известия», чтоб к Вам послали хорошего корреспондента, который толково осветил бы жизнь и работу колонии, но это, разумеется, не важно, а вот, чем бы я мог быть практически полезен Вам?

Прошу Вас передать ребятам мой сердечный привет и пожелания им всего доброго.

Могу прислать много книг различного содержания, но ненужных мне. Присылать?

На первый раз посылаю небольшой пакет.

Крепко жму Вашу руку. Ребятам скоро напишу длинное письмо, напишу и Вам, а сейчас прошу меня простить,— приехали иностранцы и я должен принимать их. Утомительное занятие!

А. Пешков.

17.III.28.
Sorrento

Колония им. М. Горького.
18 апреля 1928 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Ваше письмо и карточки, и подарок принесли нам оправдание и поддержку в самый трудный момент нашей жизни. Я не могу найти слова, чтобы выразить Вам то чувство благодарности и благоговения, которое я сейчас испытываю. Но все же я перестал бы уважать себя, если бы позволил себе хотя бы стороной причинить Вам заботы по поводу наших неприятностей. Не нужно Вам ничем помогать нам, ибо это значит, что Вы войдете в целую систему очень несимпатичных и непривлекательных историй. Наконец, Ваша помощь — явление совершенно исключительное и поэтому нельзя на ней строить нашу работу: если судьбы здоровой детской колонии зависят от вмешательства Максима Горького, то нужно бросить все наше дело и бежать куда глаза глядят. Вы, дорогой Алексей Максимович, должны понять мое положение. Я веду колонию 8 лет. Я уже выпустил несколько сот рабочих и студентов. Посреди общего моря расхлябанности и дармоедства одна наша колония стоит, как крепость. В колонии сейчас очень благополучный ребячий коллектив, несмотря на то, что в нем 75% новых. И все же меня сейчас едят. Едят только потому, что я решительно отказываюсь подчиниться тем дурацким укладкам, той куче предрассудков, которые почему-то слывут у нас под видом педагогики. А разве трудно меня есть? Когда организуется жизнь 400 ребят, да еще правонарушителей, да еще в условиях нищеты, так трудно

быть просто должностным лицом, в таком случае необходимо стать живым человеком, следовательно, нужно и рисковать и ошибаться. Где в работе есть увлечение и пафос, там всегда возможны отклонения от идеально мыслимых движений.

А меня едят даже не за ошибки, а за самое дорогое, что у меня есть — за мою систему. Ее вина только в том, что она моя, что она не составлена из шаблонов. К этому должно было прийти. В то время, как в разных книжонках рекомендуется определенная система педагогических средств, давно уже провалившихся на практике, наша колония живет, а с осени на нашу систему (наша основная формула: «Как можно больше требований к воспитаннику и как можно больше уважения к нему») стихийно стали переходить многие детские учреждения.

Вот тут-то и поднялась тревога. Нашу колонию стали «глубоко» обследовать чуть ли не ежемесячно. Я не хочу говорить, какие глупости писались после каждого обследования. Но в последнем счете договорились до того, что нашу систему запретили по всему округу, а мне предложили перейти на «исполкомскую». В то же время никто не решается утверждать, что в колонии Горького дело поставлено плохо. Вообще никакой логики во всем этом нет. В декабре мне прибавили коммуну им. Дзержинского и сразу же подняли крик — «Почему и там горьковская система!» На днях вдруг мне прислали приказ о прибавлении к нам еще одной колонии — им. Петровского с явным расчетом, что я туда переброшу два-три отряда горьковцев и полной уверенности, что они там наведут порядок, но и там будут кричать, что я еретик!

Иногда мне хочется смеяться, глядя на все это ребячество, а чаще все-таки приходится прямо впадать в тоску. У нас так легко могут сломать и растоптать большое нужное дело, и никто за это не отвечает. И вот теперь для того, чтобы отстоять колонию после 8 лет работы, успешность которой никто не отрицает, мне приходится говорить о таких совершенно сверхъестественных мерах, как Ваша помощь.

После этого стоит ли что-нибудь делать. Ведь в таком случае гораздо спокойнее просто служить и честно получать жалованье.

А то что же это:

— В колонии Горького хорошо?

— Хорошо, только идеология не выдержана.

— Как не выдержана? Ведь там 35% комсомольцев!

— Это ничего не значит, но там нет классовой установки.

— Позвольте, как нет классовой установки. Ведь все до одного работают и гордятся своей работой.

— Это ничего не значит. Работают потому, что там строгая дисциплина, а вот не будь этой дисциплины, то и не работали б.

— Так ведь дисциплина это хорошо!

— Хорошо, если она основана на классовом самосознании, а у Макаренко вместо этого «долг», «честь», «горьковец», гордость какая-то.

И т. д.

Как тут можно спорить. К вам приводят запущенного парня, который уже и ходить разучился, нужно сделать из него Человека. Я поднимаю в нем веру в себя, воспитываю у него чувство долга перед самим собой, перед рабочим классом, перед человечеством, я говорю ему о его человеческой и рабочей чести. Оказывается, это все ересь. Нужно воспитать классовое самосознание (между нами говоря, научить трепать языком по тексту учебника политграмоты).

Дело окончится тем, что мы разбежимся. Но это в будущем. Сейчас мы боремся и уступать не думаем. Если меня бьют педагогическими догматами, то я бью живым коллективом 400 горьковцев, бодрых, веселых, энергичных, знающих себе цену и с прекрасной рабочей «установкой». Если этот мой аргумент не действителен, то значит и бороться не за что.

Дорогой Алексей Максимович, очень прошу Вас не беспокойтесь и не огорчайтесь нашей борьбой. Вам нельзя нам помогать — наша борьба слишком мелка для того, чтобы втягивать в нее Ваше имя.

Остроменцкая написала в «Народном учителе» статью о нашей колонии «Навстречу жизни». Она писала мне, что послала книгу Вам. В статье в общем хорошо нарисован общий тон нашей колонии, но есть отдельные ошибки. Я не Кузьма Прутков и не Хулио Хуренито и решительно отказываюсь от тех афоризмов, которые мне

там приписываются. Возможно, что я просто дразнил при помощи двух-трех парадоксов какого-нибудь туриста. Точно так же история с палками и дубинами — явный гротеск. Наши ребята любят сочинять обо мне легенды.

Простите, что длинное письмо.

Ребята благодарят Вас за книжки и карточку и все толкуют об одном: «а когда же он приедет». Мы Вас ждем и готовимся: белим, красим, шьем.

За библиотечку большое спасибо. Если у Вас есть книги, которые Вам не нужны, конечно, пришлите их нам. Это для нас не только вещи, но и реликвия.

Преданный Вам

А. Макаренко.

Дорогой т. Макаренко,—

горестное письмо Ваше получил вместе со статьей Остроменецкой; читая статью, едва не разревелся от волнения, от радости. Какой Вы чудеснейший человек, какая хорошая, человечья сила. Настроение Ваше, тревогу Вашу — я понимаю, это мне знакомо, ведь и у меня растаптывали кое-какие начинания, дорогие душе моей, напр.— «Всемирную литературу». Но — не верю я, что Ваше прекрасное дело может погибнуть, не верю! И — позвольте дружески упрекнуть Вас: напрасно Вы не хотите научить меня, как и чем мог бы я Вам и колонии помочь? Вашу гордость борца за свое дело я также понимаю, очень понимаю! Но, ведь, дело это как-то связано со мною и стыдно, неловко мне оставаться пассивным в те дни, когда оно требует помощи.

Мне известно стало, что Вами заявлено требование субсидии в 20 т. Я осведомлен, что деньги эти Вы получите. Книги Вам буду посылать, семь пакетов посылаю вместе с этим письмом, из Москвы вышлю все свои книжки. Было бы хорошо, если б Вы составили список нужных Вам и послали его в Москву, Чистые Пруды, Машков переул. 1, кв. 16.

Затем: мне очень хочется подарить ребятам инструменты для духового оркестра и для оркестра балалаечников. Разрешите? Может быть, среди ребят окажутся

талантливые музыканты. А я имею возможность приобрести все это очень дешево.

В Россию еду около 25-го мая, у Вас буду во второй половине июня.

Передайте мой сердечный привет ребятам и научите меня сделать что-нибудь приятное для них. Дорогой друг,— я очень хорошо знаю великое значение маленьких радостей, испытанных в детстве.

Крепко жму Вашу талантливую руку, будьте здоровы!

А. Пешков.

9.V.28.
Sorrento

Харьков, 8 июня 1928.

Дорогой Алексей Максимович!

Мы живем сейчас исключительно под знаком Вашего приезда, думаем только о Вас, говорим только о Вас; работаем только для того, чтобы увидели Вы нашу работу. И я вместе с ребятами могу сейчас думать, говорить и писать только о Вашем приезде. Ваше последнее письмо для меня какое-то неожиданное, незаслуженное высшее достижение моей жизни, и я не пытаюсь даже искать слова, чтобы выразить Вам чувства благодарности и благоговения. Если Вы еще приедете к нам, мне уже ничего не останется хотеть.

Мы все крепко уверены, что Вы у нас будете во второй половине июня. Но так как в этой половине 15 дней, то мы и не можем считать дни до Вашего приезда, а нам это страшно нужно.

Чтобы реальнее для нас сделался Ваш приезд, посылаю к Вам двух ребят. Один из них Шершнев — наш бывший воспитанник, теперь студент Харьковского Медицинского Института, очень славный душевный человек, умеющий искать правду жизни без лишних криков и истерик. Это одно из моих «достижений», которое далось мне довольно трудно. Другой, Митька Чевелий — один из самых первых горьковцев, мой друг, теперь дзержинец, человек, не обладающий большими способ-

ностями, но сумевший из чисто воровской «психологии» сделать искреннюю, горячую и благородную натуру.

Они оба Вам не надоедят, так как оба по-горьковски лаконичны, сделают дело и уедут. В области выражения чувств они также умеют быть сдержанными.

Дорогой Алексей Максимович, не откажите им сказать, когда Вы приедете, сколько времени думаете у нас пробыть, кто еще приедет с Вами? Наши желания по всем этим вопросам мы даже не смеем высказывать, но, конечно, они у нас максимальны.

Я в страшном затруднении: Вы хотите подарить нам два оркестра и еще что-то для всех колонистов. Конечно, Ваша воля, дорогой Алексей Максимович, но, поверьте, нам страшно будет неловко вводить в такие расходы, ведь духовой оркестр стоит несколько тысяч. Может быть, совершенно невозможно, чтобы благодаря нашему существованию, Вы переживали материальную заботу, а для нас так трудно связать Ваше имя с материальной ценностью. С другой стороны, всякая вещь, связанная с Вашим именем, дорога для нас, независимо от того, сколько она стоит. И если Вы хотите доставить ребятам радость сверх той радости, какая заключается в Вашем приезде, то подарите им какую-нибудь небольшую вещь вроде ножика, чтобы она всегда могла остаться на память о Вашем приезде.

У Вас так много забот сейчас и Вы так заняты в Москве, что я позволяю себе не послушаться Вас и не посылаю списка книг.

В Москве так много Вам приходится видеть людей и говорить с ними, что мне страшно совестно затруднять Вас еще нашей депутацией. Вы простите.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

9.VI.28.

Сейчас получили перевод 20 000 рублей по Вашему приказу. Я даже не способен понять, что случилось. И я не способен ничего сказать, кроме слов удивления и преклонения перед Вашей живой личностью. Но здесь есть недоразумение. Я просил у разных учреждений 20 000. Наконец, я получил 16 000 рублей в Харькове на ремонт. Вы, конечно, об этом не знали. Я очень виноват перед

Вами, что не сообщил Вам об этом, и у Вас осталось преувеличенное знание о нашей нужде. Я очень боюсь, что сейчас дело непоправимо, но я буду ждать встречи с Вами, чтобы просить у Вас прощения и совета, как поступить.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

Харьков,
27 июня 1928 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Наши хлопцы, бывшие у Вас, рассказывали, сколько Вы писем получаете, и теперь прямо стыдно писать Вам длинное письмо.

Но и коротко нам так легко рассказать о себе. Мы ждем Вас, в этих словах вся наша жизнь. Ждем между пятым и десятым. Если Вы приедете в Харьков, мы на вокзале Вас потихоньку встретим так, что никто не будет знать. Вы обещали нам написать о дне и часе Вашего прибытия. Я этот день и час скрою даже от колонистов, чтобы действительно Вас никто не беспокоил. У нас в колонии мы также не будем Вас затруднять никакими речами. Вы у нас даже сможете отдохнуть.

Никаких подарков не нужно больше, дорогой Алексей Максимович, и так мы Вам уже чересчур дорого стоим.

Ждем.

Искренно преданный Вам

А. Макаренко.

Харьков,
Коммуна им. Дзержинского.
22 ноября 1928 года.

Дорогой, родной Алексей Максимович!

Спасибо, что вспомнили обо мне в Вашем письме к горьковцам. Я давно должен был написать Вам и должен был объяснить Вам причины моего ухода из колонии, но мне все казалось, что моя переписка с Вами внесет новую тревогу и новую нервность в жизнь горьковской

колонии. Насколько я дорожил ее покоем и правильным развитием, Вы можете судить по тому, что я уехал из колонии, даже не простившись с ребятами и товарищами, уехал ранним утром, как будто в отпуск, и больше в колонии не был. Я тем более должен был так поступить, что в колонии тогда оставались на работе все мои друзья, с которыми я вел колонию 8 лет. Волновать ребят и проливать слезы мне представлялось вредным для самого дела. По этим же причинам я решил не писать Вам, решил, так сказать, исчезнуть с колонийских горизонтов.

Вся эта моя дипломатия оказалась напрасной: кроме меня нашлось много охотников приложить руки к колонии. Прежде всего стравили персонал — большинство старых работников не могло выдержать постоянных обвинений в «макаренковщине» и ушло, кто куда мог. На место завкола долго искали педагога, не нашли и назначили неграмотного столяра, человека хорошего, но, разумеется, неспособного справиться с 400 характерами наших горьковцев. Он скоро сделался предметом насмешек со стороны ребят и, вероятно, должен будет скоро уйти. Колония пока что держится благодаря нечеловеческим усилиям Весича, м. б. помните, человека с рано поседевшей головой. Он был при мне заместителем заведующего и остался им и теперь. Много зла приносит в колонии Гойдарь, бывший заведующий одной из колоний в Полтаве, уволенный за побои и теперь старающийся восстановить свое реноме в должности заведующего педагогической частью колонии им. Горького. Колония благодаря его деятельности принимает постепенно обычный вид наших детских домов: ленивый шкурнический персонал, кое-как отбывающий свои часы, склочный и вздорный, готовый из-за каждого пустяка утопить товарища, подсидеть, донести. Ленивый, скрытый, сонный ребячий состав, смотрящий на колонию, как на временное пристанище, как на «казенный» котел, в котором можно пожить до того счастливого времени, когда можно будет устроиться на какой-нибудь работе, пить водку и носить клеш. Поэтому отношение к колонии у ребят сугубо утилитарное — уже сейчас дошло дело до кражи пассов в столярной мастерской и на электростанции.

Для того, чтобы подкупить ребят, откровенно брошен лозунг: «Вас эксплуатировали, теперь вас будут учить». Но учить некому, да и какая учеба без рабочего настроения, без рабочего пафоса, без рабочих традиций. Разрушение этих традиций главное зло. Их нельзя сделать в неделю при помощи безответственной болтовни, они создаются годами, в колонии Горького они складывались в течение восьми лет.

Для чего нужно было губить нашу колонию, трудно сказать. В самый день Вашего пребывания в колонии туда приехал предглавсоцвоса Арнаутов и поставил мне ультиматум: или перейти на обычную соцвосовскую систему или уйти. На другой день после Вашего отъезда я сдал колонию, не мог же я серьезно поставить крест и над своей восьмилетней работой, и над самой колонией.

Но интереснее всего то, что вот уже четыре месяца, как я ушел из колонии, а система все-таки держится. Именно то, против чего особенно возражали — отряды и командиры, салюты и рапорта, осталось неприкосновенным. Для гибели колонии никаких серьезных причин вообще не было. Было обычное коллективное головотяпство, в котором и виновных не сыщешь. Отдельные лица, особенно старавшиеся в травле колонии, уже успели бросить свою полезную педагогическую деятельность и даже уехали из Харькова, остальные продолжают жевать свою жвачку за письменными столами и сонно посматривать на гибель колонии — что им такое колония Горького, одной колонией меньше, одной больше.

Моя личная трагедия, конечно, меньше всего может занимать даже меня самого,— мало ли у кого глупые руки отнимали дело целой жизни. Жаль колонии.

Сейчас я занят книгой, которую почти закончил. В ней я описываю историю работы и гибели колонии и стараюсь изложить свою воспитательную систему. Книга получается большая и кажется интересною, но я боюсь, что ее предварительно отправят на заключение Наркомпроса и там съедят. Называю я ее «Педагогическая поэма».

Я очень надеюсь, что Вы разрешите посвятить ее Вам. Это дело не только моего преклонения перед Вами, как перед великим художником, но и дань чисто деловой благодарности,— в Ваших книгах я нашел для себя пе-

дагогические откровения. Не может быть воспитания, если не сделана центральная установка о ценности человека.

Я буду Вам без конца признателен, если пришлете две-три строчки. Для меня они принесут запасы сил надолго.

Работаю я сейчас в коммуне Дзержинского. Здесь 80% горьковцев и горьковская педагогика. Мы все-таки не умерли.

Мне хочется надеяться, что наша правда восторжествует и мне удастся где-нибудь возродить колонию Вашего имени.

Будьте здоровы, дорогой Алексей Максимович.

Спасибо Вам за любовь и внимание к нашей колонии и за те начала силы, которые мы в своей работе находили благодаря Вам.

Искренно преданный Вам

А. Макаренко.

Харьков.

Дорогой Антон Семенович —

Ваш уход из колонии поразил и глубоко огорчил меня. Если б я знал об ультиматуме Арнаутова, я, конечно, действовал бы более энергично. Но у меня было обещание т. Б. в Харькове «не мешать» Вам в работе Вашей. В Москве я тоже говорил о том, чтоб Вас не трогали, и тоже был успокоен обещанием не делать этого. И — все-таки! Очень боюсь, что в это дело замешаны тенденции «националистического» характера.

Пишу в Москву, настаивая на необходимости Вашего возвращения в Куряж. В январе будет напечатана моя статья о «беспризорных» и колонии, созданной Вашей энергией. Разрушать такие дела — преступление против Государства, вот как я смотрю на эту историю.

Антон Семенович — Вы энергичный, умный человек. Я знаю, как должно быть больно Вам, но — не падайте духом! Все наладится.

За предложение посвятить мне Вашу «Педагогическую поэму» сердечно благодарю. Где Вы думаете издать ее? Советую — в Москве. Пошлите рукопись

П. П. Крючкову, по адресу: Москва, Госиздат. Он Вам устроит печатание быстро и хорошо. Думаете ли Вы иллюстрировать ее снимками? Это надо бы сделать. Не опасайтесь, что этим книга станет дороже.

Крепко обнимаю Вас, дорогой друг, будьте здоровы!

А. Пешков.

6.XII.28.

Передайте привет мой колонистам Дзержинского. А своих видите? Они, ведь, наверное, знают, где Вы?

А. П.

Дорогой Алексей Максимович!

Простите, что я Вас беспокою. Когда я у Вас был, Вы мне рекомендовали издавать мою книгу не у «Народного Учителя», а в Госиздате.

В моей книге выходит к последнему времени, когда я прибавил несколько совершенно необходимых теоретических глав, до 20 листов. Такую солидную книгу мне самому не хочется издавать в «Народном Учителе».

Наконец мне просто хочется поступить так, как Вы советуете. Вы, вероятно, имеете для этого основания.

В связи со всем этим у меня к Вам большая просьба. Не откажите дать для моей книги небольшую рекомендательную записку. Пока что мне нужно только одно: чтобы ее не заложили куда-нибудь далеко и хотя бы прочитали, чтобы судить, годится она или не годится.

Потом, если она будет признана достойной издания, я буду просить Вас просмотреть ее.

Если Вы такую записку пошлете в ГИЗ, попросите Петра Петровича мне об этом сообщить.

В моей книге 3 части. Первую я отправлю в ГИЗ немедленно после того, как получу письмо от Петра Петровича.

Преданный Вам и любящий Вас

А. Макаренко.

Харьков,
почтовый ящик № 309,
А. С. Макаренко
[1929 г. сентябрь, октябрь]

Дорогой Макаренко,—

в виду того, что Халатов уехал в Сибирь и пробудет там не менее месяца, я рекомендую Вам передать рукопись в изд-во «Земля и фабрика» Илье Ионовичу Ионову. Письмо к нему прилагаю.

Жму руку, всего доброго.

10.X.29.

А. Пешков.

Харьков, 5 октября 1932 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Вместе с коммунарами-дзержинцами я приветствовал сорокалетие Вашей работы, и наше приветствие было напечатано в «Правде» в номере, посвященном Вам. Заметили ли Вы его?

А сейчас у меня появилась надежда, что Ваш юбилей поможет возродиться идее горьковской колонии, правда, уже в другом месте. Третьего дня в московских газетах было напечатано, что МОНО решил открыть образцовую коммуну для беспризорных Вашего имени. Мне показалось, что я имею преимущественное право просить поручить эту коммуну мне. Кого просить? Может быть, в Москве меня мало знают. Я решился затруднить Вас напоминанием о себе.

Это письмо, вероятно, выйдет длинным, простите за это, но, мне думается, Вы не будете сердиться за мой рассказ, если вспомните, что мы с Вами долго переписывались.

После Вашего посещения колонии им. Горького, если Вы помните, я из колонии должен был уйти, так как не хотел поступиться ни одним словом из своих педагогических верований. Вы тогда выступили на мою защиту, но даже Ваше слово не пробило толщу наробразовских предрассудков и завирательной болтовни. Я спас остатки своего дела в коммуне им. Дзержинского, куда вместе со мной перекочевала сотня горьковцев и часть персонала. Они и до сих пор еще называют себя «старыми горьковцами».

Мне кажется, что Вам коммуна им. Дзержинского не совсем понравилась. Вас, вероятно, смутило кажущееся внешнее богатство. Но за этим богатством скрывался хороший рабочий ребячий коллектив, воспитанный в горьковской колонии. За прошедшие с тех пор четыре года дзержинцы многого достигли: давно уже перешли на полную самоокупаемость, открыли у себя рабфак, построили новый во всех отношениях замечательный завод, приняли много новых беспризорных. Сейчас это во всех отношениях интересное учреждение, красивое и культурное, делающее большую и нужную работу. В этом году мы выпустили в вузы двадцать четыре человека.

Я не спускал глаз с горьковской колонии, она пережила много тяжелых дней. В ней несколько раз менялись заведующие, это было плохо. Еще хуже было то, что Наробраз провел настоящую победоносную войну против всех остатков «макареновщины», разогнал всех моих помощников, а многие ребята и сами ушли. В результате всех этих мероприятий к весне этого года колония страшно обеднела и упала во всех отношениях: побеги, воровство, пьянство, об этом писались целые страницы в харьковских газетах.

В марте «старые горьковцы» и живущие в коммуне и давно вышедшие в самостоятельную жизнь, врачи, агрономы, педагоги, поставили вопрос о возрождении колонии. Горьковские ребята, а они все знают о старом блеске колонии, встретили эту мысль с настоящим энтузиазмом. Было несколько встреч и общих собраний дзержинцев и горьковцев, побывал и я в колонии. Намечалось объединение двух колоний на началах федерации под моим общим руководством. В Наробразе давно исчезли старые противники моей системы, давно уже признаны достижения коммуны Дзержинского, возражений с этой стороны не было. Но не захотели такого объединения мои теперешние шефы. Мне пришлось отказаться от продолжения горьковской истории.

Сообщение в московских газетах об открытии новой коммуны Вашего имени меня снова взволновало. Я предъявляю мое право на работу в колонии Вашего имени и считаю, что это право никто оспаривать не может: с двадцатого года я, кажется, один во всем Союзе стоял во главе коллектива горьковцев. Ведь нас объеди-

няло не только официальное Ваше шефское имя, но и реальное объединение наше вокруг Вашей личности, жизни и Вашей мысли. Много моих воспитанников сейчас работают в Союзе, и они до сих пор с гордостью называют себя горьковцами и не теряют связи ни со мной, ни друг с другом. И вот мы, горьковцы, считаем, что организация новой коммуны горьковцев должна быть нашим делом. Нас интересует в данном случае не только желание снова работать в горьковской колонии, но и чисто деловые соображения: ни для кого не секрет, что детские дома и колонии у нас плохо живут, и работать в них до сих пор не умеют. А колония Вашего имени должна быть во всех отношениях образцовой. Мы чувствуем за собой и силу и опыт такую колонию создать. И есть какая-то красота в том, что новую Вашу колонию создадут не бюрократические деятели, а Ваши старые друзья — горьковцы.

Важно еще одно обстоятельство: в той же телеграмме из Москвы сказано, что создается и техникум им. М. Горького для подготовки работников внешкольного типа — педагогов. Прямо не пойму, почему именно внешкольного, когда у нас совершенно нет работников для детских домов, а готовить их наши педвузы не умеют. Я считаю, что при коммуне имени Горького надо иметь техникум для подготовки работников таких коммун. Я не хвастун, но ручаюсь, что такой техникум могу создать только я, и, может быть, еще три-четыре человека в Союзе, ведь для этого нужно иметь огромный опыт работы с беспризорными, а у нас этого опыта редко кто выдерживал больше двух-трех лет. Для подготовки таких работников нужна совершенно особая программа. В глубине души я думаю, что эта программа пригодится вообще для создания советской школы воспитания, но это пусть так и будет в глубине.

Я Вас прошу: помогите сделать это большое и нужное дело, помогите это дело сделать нам, горьковцам. Сколько их я смогу насобирать, я еще хорошо не знаю, но за успех я ручаюсь.

Никаких своекорыстных мотивов у меня, конечно, нет. В коммуне им. Дзержинского меня ценят и любят, хорошо платят, и дело способно удовлетворить работника, но здесь уже все сделано, осталось наводить по-

следний лоск. Правда, и здесь не дают мне полной свободы творчества, и здесь находятся охотники потребить то, что добыто огромным моим напряжением, но ведь от этого нигде не избавишься. И еще одно — мне надоела Украина, ибо я всегда был просто русским человеком. А Москву люблю. Но это все соображения второстепенные.

Я знаю, что первые годы в новой коммуне для беспризорных всегда каторга, но к этому влечет по привычке, а ведь в Москве пахнет горьковской колонией — вот, даже странно как-то представить, что колония им. Горького и вдруг без меня.

Я наверное слишком многословен, а Вы и так уже увидели и почувствовали мою правду.

Я не знаю, как это сделать, мне кажется, что Вы имеете право выбирать заведующего Вашей коммуной. Мне бы хотелось участвовать в самом проектировании колонии, потому что тогда легче всего наделать всяких глупостей.

В МОНО меня когда-то знали, о коммуне им. Дзержинского знают наверняка. На днях выйдет в ГИХЛ'е моя книга «*Марш тридцатого года*», которая о коммуне много расскажет интересного. Может быть, и это поможет.

Кстати, о моей литературной деятельности: в ГИХЛ'е принята и вторая рукопись «ФД-1», большой очерк листов на двенадцать, а самая дорогая для меня работа, «Педагогическая поэма», изображающая не сладкие достижения, а тяжелейшую борьбу в горьковской колонии, полную не только пафоса, но и преступлений, между прочим моих собственных, книга, посвященная Вам, лежит у меня дома: как-то страшно выворачивать свою душу перед публикой с такой щедрой искренностью.

Все-таки простите за такое длинное письмо. Но если Вы его прочитали, я почему-то уверен, что колония им. Горького будет в моих руках, серьезно, иначе быть не может, это было бы просто недопустимо.

Преданный Вам

А. Макаренко.

Харьков, 54.
Коммуна им. Дзержинского,
А. С. Макаренко

Дорогой Антон Семенович —

вчера прочитал Вашу книжку «Марш 30-го года». Читал — с волнением и радостью, Вы очень хорошо изобразили коммуну и коммунаров. На каждой странице чувствуешь Вашу любовь к ребятам, непрерывную Вашу заботу о них и такое тонкое понимание детской души. Я Вас искренно поздравляю с этой книгой. Вероятно, немножко напишу о ней. Колонисты Куряжа не пишут мне. Не знаю о них ничего. Прискорбно, какие хорошие ребята были там.

Крепко жму Вашу руку.

Передайте ребятам привет мой, скажите, что я страшно рад был прочитать, как они живут, как хорошо работают и хорошо, дружески — по-настоящему — относятся друг к другу.

М. Горький.

17.XII.32.
Sorrento

Дорогой и глубокоуважаемый
Алексей Максимович!

Ваше письмо о моей книге — самое важное событие в моей жизни, к этим словам я ничего уже не могу прибавить, разве только то, что я просто не понимаю, как это можно иметь такую большую душу, как у Вас.

А я о своем писании был очень плохого мнения. Писательский зуд просто оказался сильнее моей воли, а по доброй воле я не писал бы. Ваш отзыв перепутал все мои представления о собственных силах, теперь уже не знаю, что будет дальше. Впрочем, к писательской работе меня привлекает одно — мне кажется, что в нашей литературе (новой) о молодежи не пишут правдиво, а я очень хорошо знаю, какая это прелесть — молодежь, нужно об этой прелести рассказывать. Но это очень трудно, для этого нужен талант и еще... время. У меня как будто не было ни того, ни другого. Пишу сразу в чистовку, получается неряшливо, а через каждые две строчки меня «пацаны» отрывают, писать приходится все в том же «кабинете».

Поэтому все, что я написал, меня смущало. Сейчас в ГИХЛ'е лежит моя рукопись «ФД-1» из истории последних лет коммуны Дзержинского. В редакции относятся к ней очень сдержанно, наверное, она будет издаваться тоже два года, как и «М. 30 г.». А самая дорогая для меня книга, давно законченная, «Горьковцы», листов на 20, лежит у меня в столе, там слишком много правды рассказано, и я боюсь.

Есть еще у меня и пьеса. Даже стыдно писать Вам о таком обилии.

Недавно я писал Вам в Москву, наверное, Вы не получили моего письма. В нем я писал и о колонии в Куряже. В московских газетах было сообщение об открытии «образцовой колонии» им. М. Горького. Я просил Вас поручить эту колонию нам, «горьковцам». На это дело пошли бы лучшие ребята, выпущенные из колонии в Куряже, теперь педагоги, инженеры, врачи.

Куряжскую колонию возродить уже нельзя. В прошлом году дзержинцы поставили вопрос об объединении с Куряжем в «дивизию», но начальство не согласилось. Колония живет плохо, после меня переменилось уже четыре заведующих, глупости там наделаны непоправимые, коллектива нет, проходной двор. Монастырское старье давно нужно было развалить, нужно было строить, богатеть, а там до сих пор штукатурка 1928 года. Нехорошо. Коммуна Дзержинского на днях праздновала свое пятилетие. Ребята постановили передать Куряжу помощь 10 000 рублей, но это чепуха. Там деньги не помогут. Там нужна большая работа, все нужно сначала. А если сначала, так лучше уже на новом месте. Ваше имя в Куряже нужно снять.

Простите за длинное письмо. Ваши слова ребятам я передал на общем собрании. Они горды и сейчас Вам пишут.

Посылаю Вам наш юбилейный сборник.

Спасибо за Ваше внимание и поддержку, если можно за это благодарить.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

Харьков, 54.
Коммуна Дзержинского
1.I.1933 г.

Дорогой Антон Семенович —

я, стороною, узнал, что Вы начинаете уставать и что Вам необходим отдых. Собственно говоря — мне самому пора бы догадаться о необходимости для Вас отдыха, ибо я, в некотором роде, шеф Ваш, кое-какие простые вещи должен сам понимать. 12 лет трудились Вы и результатам трудов нет цены. Да никто и не знает о них, и никто не будет знать, если Вы сами не расскажете. Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический эксперимент Ваш имеет мировое значение, на мой взгляд.

Поезжайте куда-нибудь в теплые места и пишите книгу, дорогой друг мой. Я просил, чтоб из Москвы Вам выслали денег.

Будьте здоровы, крепко жму руку. Всего доброго!

А. Пешков.

30.I.33.

Дорогой Антон Семенович —

не отвечал Вам, ожидая, когда получу возможность ответить конкретным предложением.

Но покамест еще не вижу этой возможности и пишу только для того, чтоб Вы знали: письмо Ваше получено мною и о Вашем переводе в Москву я — забочусь.

Будьте здоровы!

А. Пешков.

10.VIII.33.

Макаренко.
Харьков. 25 авг. 1933.

Дорогой Алексей Максимович!

Получил Ваше письмо. Поверьте, нет в моем запасе таких выразительных слов, при помощи которых я смог бы благодарить Вас. Если я вырвусь из моей каторги, я всю свою оставшуюся жизнь отдам для того, чтобы другим людям можно было вести воспитательную работу не в порядке каторги. Это очень печально: для того, чтобы воспитать человека, нужно забыть, что ты тоже человек и имеешь право на совершенствование и себя и своей работы.

Отсюда вырваться без Вашей помощи мне не удалось бы никогда.

Сейчас я выпустил 45 человек в Вузы и для моей совести сейчас легче расстаться с коллективом. Вырваться от начальства гораздо труднее, оно очень привыкло к безграничной щедрости, с которой здесь я растрачивал свои силы, растрачивал при этом не столько на дело, сколько на преодоление самых разнообразных предрассудков.

Простите, дорогой Алексей Максимович, что я занимаю Вас своей персоной. В Вашей работе наверное много более ценных объектов, но что же делать, если мне выпало такое счастье — заслужить Ваше внимание.

В начале сентября я буду в Москве, и, надеюсь, Вы разрешите Вас посещать.

Преданный Вам

А. Макаренко.

Дорогой Антон Семенович —

на мой взгляд «Поэма» очень удалась Вам. Не говоря о значении ее «сюжета», об интереснейшем материале, Вы сумели весьма удачно разработать этот материал и нашли верный, живой искренний тон рассказа, в котором юмор Ваш — уместен, как нельзя более. Мне кажется, что рукопись не требует серьезной правки, только нужно указать постепенность количественного роста колонистов, а то о «командирах» говорится много, но армии — не видно.

Рукопись нужно издавать. Много ли еще написано у Вас? Нельзя ли первую часть закончить решением переезда в Куряж?

М. Горький.

[25 сентября 1933]

---

7 марта 1934 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо Вам. Благодаря Вашему вниманию, поддержке, а может быть и защите, моя «Педагогическая поэма» увидела свет, да еще в таком совершенно уже незаслуженном соседстве с Вашей пьесой.

Для меня выход «Поэмы» — важнейшее событие в жизни. Я не способен судить, насколько это важно или нужно для людей. Здесь, в своей харьковской каторге, я вообще слишком мало ощущаю из широкой литературной жизни и не могу даже следить за критическими статьями, не знаю даже, есть они или нет.

И меня очень затрудняет вопрос о том, что дальше делать с поэмой? Следует ли добиваться отдельного издания первой части, или она не стоит того, чтобы ее отдельно издавать? Отдельное издание меня интересует больше всего потому, что можно будет восстановить несколько глав и отдельных мест (всего около 4-х печатных листов), не напечатанных в альманахе за недостатком места; мне, как, вероятно, и каждому автору, кажется, что места эти очень хороши и очень нужны, что без них «Поэма» много в своей цельности теряет.

Писать ли вторую часть или не стоит? Тов. Авербах говорил мне: «Обязательно пишите», а я все думаю, ибо нет у меня никакой писательской уверенности.

Материал для второй части у меня как будто богатый. Это лучшее время горьковской колонии. В первой части я пытался изобразить, как складывается коллектив, во второй части хочу описать сильное движение развернутого коллектива, завоевание Куряжа и харьковскую борьбу — до самого Вашего приезда. Закончить хочу Вашим приездом в Куряж.

Вторая часть для меня труднее, чем первая. Я не представляю себе, как я справлюсь с такой трудной задачей: описывать целый коллектив и в то же время не растерять отдельных людей, не притушить их яркости. Одним словом, боюсь.

Не знаю также, уместно ли разбавлять повествование теоретическими отступлениями по вопросам воспитания, у меня есть такой зуд — хорошо ли это?

И еще одно затруднение. Ваш приезд — это кульминационный пункт развития коллектива горьковцев, но это и его конец. До Вашего еще приезда мне удалось спасти 60 человек в коммуне Дзержинского. Эти 60 человек и продолжают традиции горьковцев уже на новом месте. Я всегда думал, что история дзержинцев составит тему третьей части «Педагогической поэмы». На деле, однако, мне не удалось сохранить цельность развития

коллектива. Здесь набежало много людей, они дружно растащили коллектив в разные стороны, и в настоящее время, вместо одного цельного явления, я стою перед целой кучей проблем, получившихся исключительно благодаря неумению многих людей.

Для окончания «Поэмы» здесь нет хорошей правды, врать не хочу, окончить же 28-м годом тоже как будто неудобно. Простите, дорогой Алексей Максимович, что затрудняю Вас своими делами. Просто хочу поделиться с Вами. Если Вы только одним словом отзоветесь — стоит ли писать продолжение? — мне больше ничего и не нужно. А что выйдет, я все равно Вам покажу, тогда будет видно.

Страшное спасибо Вам за Ваше письмо Серафимовичу. Оно многим людям показывает дорогу.

Желаю Вам здоровья и радости.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

Харьков, 54.
Коммуна им. Дзержинского

Дорогой Антон Семенович!

рукопись Ваша сокращена по недоразумению, сократить нужно было не ее. Но я живу за городом и — «не досмотрел». А на других положиться — нельзя, как Вы знаете.

Очень огорчен тем, что Вы еще не принимались работать над второй частью и очень Вас прошу: начинайте!

Первая часть хорошо удалась Вам, все, кто читал ее — читали с наслаждением и все говорят: нет конца!

Первую часть нужно издать, включив, конечно, выпавшие четыре листа. П. П. Крючков возьмет на себя хлопоты по изданию. Особенно резко полемизировать по поводу Вашего метода воспитания Вам не стоит, метод этот оправдан на Б-Б. водном пути по Печоре — книга «Большой шанс» Канторовича и другие. Замалчивать правду, разумеется, не рекомендую.

Крепко жму руку, рукописей жду.

Ваш *А. Пешков.*

14.III.34.

Харьков, 54.
Коммуна им. Дзержинского
14 июня 1934 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Давно должен был написать Вам, но не хотел тревожить Вас моими делами во время таких горестных для Вас событий, которые и мы здесь встретили с глубокой и искренней печалью. Непереносимо тягостно было представить себе Ваше страдание, так это все не вяжется с Вашей личностью и с любовью к Вам. Нет ничего отвратительнее для меня знать, что и по отношению к Вам возможны подобные издевательства этих дурацких мировых неустройств. Так это возмутительно, и так себя неуютно чувствуешь в мире: ведь по справедливости и по здравому смыслу умирать должны только те люди, которые уже не нужны для жизни.

Я пишу вторую часть «Педагогической поэмы». Подвигается она чрезвычайно медленно, мешают коммунарские дела, напряженные, как всегда. К коммунарским делам прибавилось еще одно, увлекательное до высшей степени. Здесь в Харькове организован Комитет для открытия новых детских трудовых коммун на 12 000 человек. И меня ввели в состав комитета. Я настойчиво предлагаю всем открыть одну коммуну на 12 000 детей на берегу Днепра недалеко от Черкасс или при впадении Сейма в Десну. Я представил подробный план, составленный целой группой людей, понимающих в этом деле, и настоящих энтузиастов. План деловой и точный. Я прошу 33 миллиона выдать в течение 3-х лет. Обязуюсь потом возвратить эти деньги в течение десяти лет, а сверх того, ежегодно увеличивать коммуну на 2 000 человек. Вообще, начиная с четвертого года, коммуна должна быть на хозрасчете.

О деньгах никто не спорит. На борьбу с беспризорностью ежегодно расходуются гораздо большие деньги и без всяких материальных и педагогических последствий. И если открыть не одну, а двенадцать коммун на 12 000 человек, то это будет стоить не 33 миллиона, а больше ста.

Не денег жалеют, а просто боятся поднять серьезное большое дело, боятся тронуться с насиженного, хотя

и дрянного места, на котором давно стоит беспризорный вопрос. Я уже многих убедил, но многие еще сомневаются и чего-то боятся.

Если бы дали в руки такое дело, да еще если бы назвали новую коммуну Вашим именем, я уже не мог бы ручаться за скорое окончание «Педагогической поэмы». Это, конечно, очень грустно, но отказаться от такой коммуны я все равно не в силах.

Первая часть «Педагогической поэмы» давно сдана в «Советскую литературу», но с изданием там не спешат, говорят, что до августа она в производство не пойдет. Почему так долго, не знаю, может быть, так и нужно. Вероятно, украинский перевод выйдет раньше, так как «Радянська література» спешит обогнать Москву, справедливо рассчитывая, что читатель будет читать по-украински только в том случае, если рядом нет лучшего.

Сдал я и «Мажор» в МХАТ товарищу В. Около месяца поработал над пьесой, считаю, что она теперь лучше, чем была раньше, но бабы прибавить не сумел — я еще очень слабый техник. В. сказал, что с Вами будут советоваться. Здесь в Харькове есть симпатичный и культурный театр русской драмы. Коллектив этого театра очень воодушевленно и красиво шефствует над коммуной им. Дзержинского. Просили дать им «Мажор» к постановке, но я не хочу ставить пьесу в том городе, где так хорошо знают коммуну,— будут копировать, а это совсем не то: в «Мажоре» есть много от мечты о ближайших будущих днях.

В конце июля коммунары уезжают в отпуск. Становимся лагерем в Сосновом лесу на берегу Днепра. Как и в прошлом году, ребята воображают, что это замечательная вещь — лагерь на Днепре, и собираются приглашать Вас. Главное, чем они собираются Вас завлечь, это маленький пароходик в распоряжении лагеря. Ездить на пароходике по Днепру и снимать берега собственной «Лейкой» — конечно, высшее блаженство.

Между прочим, «Лейки» (по-нашему — «ФЭД» — «Федьки».) нашего нового завода выходят не плохие. Остался еще недоступным секрет одного лака. Когда этот секрет будет осилен и «ФЭД» примет настоящий наряд-

ный вид — коммунары мечтают, что Вы примете от них образец — ведь это тоже «Наши достижения».

Простите за длинное письмо.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

В «Литературной газете» было напечатано, что в Союз писателей принят Макаренко. По некоторым данным это я. Но я так не верю в это счастье, что боюсь страшно разочарования. Недавно жена была в Москве, но я ей прямо запретил заходить в ССП, а вдруг скажут:

— Н-нет... это другой товарищ.

Дорогой мой друг Антон Семенович —

спасибо за письмо!

Очень обрадован намерением правительства широко организовать детские трудкоммуны, очень ясно сознаю необходимость Вашего участия в этом прекрасном деле, но — огорчен тем, что вторая часть «Педагогической поэмы» Вашей «подвигается медленно».

Мне кажется, что Вы недостаточно правильно оцениваете значение этого труда, который должен оправдать и укрепить Ваш метод воспитания детей. Вы должны сделать что-то, чтоб «Поэма» была кончена Вами и прочитана в момент организации новых коммун. Этим актом Вы поможете поставить дело правильно, как оно было поставлено в Куряже и в коммуне Дзержинского. Убедительно прошу Вас — напрягитесь и кончайте вторую часть «Поэмы». Настаиваю на этом не только как литератор, а — по мотиву, изложенному выше.

Крепко жму руку, будьте здоровы и — за работу!

М. Горький.

[Июнь, после 16, 1934]

Дорогой Антон Семенович —

вторая часть «Поэмы» значительно менее «актуальна», чем первая; над работой с людями и землей преобладают «разговоры». В них много юмора, они придают «Поэме» веселый тон, — это, конечно, еще не порок,

если не снижает серьезнейшее тематическое, а также историческое значение социального опыта, проделанного колонией.

Мне кажется, что эта часть поэмы весьма выиграет, если Вы сократите ее. Сокращать надо незначительное, чтоб ярче оттенить значительнейшее. Длинновата сцена покупки лошади. Очень хороша свадьба. Недостаточно ясна Ваша полемика с НКПр. о методах воспитания. Не звучит ли некое «Скрипниковское» в указаниях НКП на применяемую Вами «военизацию»? Думается, что Вы недостаточно подчеркнули воспитательное значение этой игры, а она ведь настраивала ребят серьезно.

Я «придираюсь», потому что глубоко убежден в серьезнейшем значении «Поэмы», в правде метода, в поучительности опыта. Но чтоб опыт был ясен читателю,— даже тогда, когда он — профессионал-педагог,— Вам необходимо более четко изображать постепенность перерождения ребят. В этой части личная Ваша фигура и работа оставляет ребят несколько в тени. И это — потому что работу Вы освещаете словами, тогда как освещение ее требует фактов. Незаметно, как ребята пришли к необходимости учиться в рабфаках, решение это является неожиданным.

Вообще очень прошу Вас внимательно прочитать и — местами сократить, а кое-где дополнить рукопись. Крайне важно дать эту Вашу работу в форме — по возможности — совершенной.

Крепко жму руку.

М. Горький.

10.IX.34.

Дорогой, родной Алексей Максимович!

Не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою благодарность и любовь. Одно знаю хорошо, что ни я, ни моя поэма не стоят того исключительного внимания, которое Вы оказываете нам, и не стоят огромного труда, который Вы нам дарите.

О второй части у меня нет ясного представления: то она кажется мне очень хорошей, гораздо лучше первой, то чрезвычайно слабой, ничего не стоящей. Писал я ее в ужасных условиях, во время большой напряженной

работы в коммуне, в летнем походе коммунаров: в вагоне, на улицах городов, в передышках между торжественными маршами.

И поэтому и по моей неопытности и слабости в ней, конечно, много недостатков, которые я в особенности ясно увидел после Вашего отзыва: много «разговоров», выпирает моя фигура, есть лишнее зубоскальство.

Я постарался вычеркнуть все то, что бросается в глаза, всего вычеркнул больше двух печатных листов, но как-нибудь основательно переделать всю часть я уже потому не могу, что вся она построена по особому принципу, который я считаю правильным, но который, вероятно, плохо отобразил в своей работе над книгой.

Я очень прошу Вашего внимания к следующему:

Моя педагогическая вера: педагогика — вещь прежде всего диалектическая — не может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических мер или систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоятельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным.

Единственно, что я хочу утверждать: в коммунистическом воспитании единственным и главным инструментом воспитания является живой трудовой коллектив. Поэтому главное усилие организатора должно быть направлено к тому, чтобы создать и сберечь такой коллектив, устроить его, связать, создать тон и традиции, направить...

В первой части «ПП» я хотел показать, как я, неопытный и даже ошибающийся, создавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Это мне удалось благодаря основной установке: коллектив должен быть живой и создавать его могут настоящие живые люди, которые в своем напряжении и сами переделываются.

Во второй части я сознательно не ставил перед собою темы переделки человека. Переделка одного, отдельного человека, обособленного индивида, мне представляется темой второстепенной, так как нам нужно массовое новое воспитание. Во второй части я задался целью изобразить главный инструмент воспитания, коллектив, и показать диалектичность его развития.

Инструментовку коллектива я хотел изобразить в следующих главных чертах:

1. Пролетарская классовая направленность — отрицание индивидуального крестьянского хозяйства.

2. Превалирование интересов коллектива над интересами личности.

3. Дисциплина.

4. Бодрость.

5. Коллективный труд и хозяйство.

6. Образовательный и культурный процесс.

7. Настоящие живые люди (Калина, Силантий, Мария Кондратьевна).

8. Стремление вперед, обязательное развитие.

9. Традиции, в том числе и внешние.

10. Эстетическое оформление жизни.

Может быть, это все мне плохо удалось, это другое дело.

В третьей части я этот коллектив хочу показать в действии: в массовой переделке уже не отдельных личностей, а в массе — триста куряжан. В третьей части у меня богатый материал для изображения такой переделки и доказательства того, что силами коллектива эта переделка легче и быстрее.

В третьей же части я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц в НКП. Во второй я хотел показать только первые предчувствия, первые дыхания борьбы. Нападение НКП на мою работу было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности коллектива горьковцев в Куряже.

В третьей же части я хочу показать, как здоровый коллектив легко размножается «почкованием» (дзержинцы).

Это моя схема. Очень возможно, что я не умел и не умею рассказать все так, чтобы и читателю было ясно. Страшно хорошо, что это обнаруживается сейчас: в третьей части я теперь постараюсь все прояснить, если хватит у меня способности.

Еще раз спасибо Вам, дорогой Алексей Максимович. Ужасно тяжело, что я не увидел Вас, и еще тяжелей, что Вы хвораете.

Желаю Вам здоровья и бодрости.

Преданный Вам

А. Макаренко.

Москва. 18.IX.34.

Дорогой Алексей Максимович!

Если Вы помните, весной прошлого года я был принят Вами и представил Вам свою пьесу «Мажор», которая перед тем побывала на конкурсе Совнаркома и удостоилась даже рекомендации.

В общем Вы пьесу мою одобрили, предложили кое-что исправить. Я драматург молодой, и мне легче написать новую пьесу, чем исправить старую. Я все-таки еще поработал над «Мажором» и передал ее для печати в Гос. изд. «Художественная литература». Оттуда я получил очень хороший отзыв, скоро она должна выйти в свет. Ваше положительное отношение к моему драматургическому дебюту и потом успех пьесы в «Художественной литературе» меня настолько окрылили, что я даже пренебрег полной неудачей моих попыток пристроить ее в театре (МХАТ отозвался отрицательно, все другие даже не ответили), тем более, что эти попытки не отличались особенной энергией.

Короче говоря, я написал еще одну пьесу «Ньютоновы кольца» (почему-то скрываюсь под фамилией Гальченко). Меня увлекла тема изобразить игру мельчайших бликов, зайчиков на очень ограниченном участке нашей борьбы, мне хотелось этой радужной игрой подчеркнуть величие и уверенность нашего движения. Сегодня я прочитал Вашу статью «Литературные забавы», и теперь я понимаю, что меня в моей пьесе интересовала «химия» явлений среди наших людей. Очень возможно, что такой химии у меня не получилось, я не имею никакого понятия о качестве «Ньютоновых колец». Но так как в эту работу я вложил кое-что и так как в ней есть рисунки настоящих живых людей и живых конфликтов, которые я наблюдал вокруг себя, то я осмеливаюсь просить Вас, если позволяет Ваше здоровье и если у Вас найдется время, прочитайте «Ньютоновы кольца», которые я Вам одновременно посылаю. Внимание и забота, которые Вы мне всегда оказывали, позволяют и теперь обратиться к Вам с этой просьбой.

Начал третью часть «Педагогической поэмы», которую надеюсь представить к альманаху седьмому. Очень хочу, чтобы третья часть вышла самой лучшей, поэтому постараюсь ее закончить раньше, чтобы успеть сделать

исправления, а может быть, даже написать наново, если потребуется.

Простите, что письмо на машинке — уже две недели, как лежу в постели, немножко надорвался — нервы.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

Харьков,
Коммуна Дзержинского.
26 января 1935.

[8 февраля 1935]

Дорогой Антон Семенович —

на мой взгляд «Ньютоновы кольца» пьеса веселая, и — если хотите — я могу передать ее в театр Корша или же Вахтангова.

Но — мне хочется ругать Вас. Напрасно Вы прервали работу над «Педагогической поэмой», значение которой гораздо солиднее пьес. Вот уже первые части «Поэмы» вышли, а — где третья? Очень прошу Вас: продолжайте эту работу! Я думаю, что 3-ю часть нужно довести до момента Вашего ухода и на нем — кончить.

Копию Вашего письма П. П. о Куряже я сообщил Павлу Петровичу Постышеву, вероятно, он Вас вызовет «для разговора».

Будьте здоровы! Работайте.

А. Пешков.

[1935 г. февраль]

Дорогой Алексей Максимович!

Ругаете Вы меня или помогаете, а я все равно не умею так написать Вам, чтобы хотя бы на минутку Вы почувствовали всю глубину и теплоту моей благодарности и любви к Вам. И я страшно злюсь на себя и на наш век за то, что теперь люди такие деловые и суровые, что они умеют только возиться с материей, что явления в собственных душах такие для них стали непосильные.

Спасибо, что обругали. Это у Вас так сильно и ласково выходит, что мне может позавидовать любой мой воспитанник. Секрет педагогического воздействия таким

образом еще и до сих пор для меня проблема. Во всяком случае после Вашей проборки мне хочется написать не третью часть «Педагогической поэмы», а третью часть чего-то страшно грандиозного.

Это, однако, не мешает «жалкому лепету оправданий». «Педагогическая поэма» — это поэма всей моей жизни, которая хоть и слабо отражается в моем рассказе, тем не менее представляется мне чем-то «священным». Я не могу писать поэму в сутолоке моей работы в коммуне. Для поэмы мне нужен свободный вечер или какое-нибудь уединение. А пьесы я набрасываю в коммунарском кабинете в трехминутных перерывах между деловыми разговорами, выговорами, заседаниями, удовлетворяя писательский зуд, который так поздно у меня разгорелся в значительной мере благодаря Вашему ко мне вниманию. Теперь я уже не в состоянии пройти безучастно мимо интересных людей и коллизий. А так как мне записывать некогда, то хочется написать скорей, пока не забыл ничего.

Оправдался? Кажется, нет. Поэтому даю Вам слово не писать ничего, пока не окончу «Педагогическую поэму», кстати, конец уже недалеко.

А после «Педагогической поэмы» я мечтаю не о пьесах, а о таком большом деле... Я хочу написать большую, очень большую работу, серьезную книгу о советском воспитании. Если у меня хватит здоровья, я уверен — это будет очень важный и капитальный труд. Я однажды приступил к нему, но увидел, что такую книгу нужно писать в полном отрешении от текущей работы и обязательно «с книгами в руках», просмотрев все высказывания старого опыта, истории, художественной литературы. Вы даже представить себе не можете, Алексей Максимович, сколько у меня скопилось за 30 лет работы мыслей, наблюдений, предчувствий, анализов, синтезов. Жалко будет, если все это исчезнет вместе со мной. Я потом и буду просить... чтобы мне дали возможность жить в Москве, поближе к книгам и к центрам мысли, и работать. Мне понадобится два года.

Видите, я не очень отравлен драматургией и помню Ваше указание — писать о педагогическом деле. Но сейчас мои мозги очень скомканы коммуной: ведь у нас 520 ребят, а я уже достаточно заморился.

Не знаю, как сказать, как благодарить Вас за то, что прочитали «Ньютоновы кольца». Совесть мучит меня, что я затруднил Вас этой работой, но утешаюсь тем, что в «Ньютоновых кольцах» тема тоже педагогическая. Ведь теперь перевоспитываются не только дети. В пьесе я и хотел захватить кусочек великого процесса перевоспитания, только выражая его не в «небывалых чудесах», а в простой «химии». Перевоспитывается не только Хромов, а и Рязанова, и Луговой, и Ходиков, и Елочка. И не потому перевоспитывается, что стоит над душой гениальный педагог, а потому, что вся атмосфера, весь тон жизни и отношений новые. Конечно, все это тонкие штуки, и поэтому сократить, дописать, доработать пьесу наедине с самим собой я не сумею. Если пьеса того заслуживает, если она станет объектом работы режиссера или театрального коллектива, я с большим успехом смогу ее улучшить. И Вы так пишете. Поэтому, если Вам придется говорить о моей пьесе с режиссером, Вы считайте, что за моими исправлениями остановки не будет.

Спасибо еще раз за Ваше великое человеческое внимание ко мне и за ласку.

Преданный Вам *А. Макаренко.*

Харьков, 54.
Коммуна им. Дзержинского.
А. С. Макаренко.

Киев, 28 сентября 1935 г.
Ул. Леонтовича, 6, кв. 21.

Дорогой Алексей Максимович!

Сегодня авиапочтой выслал Вам третью часть «Педагогической поэмы». Не знаю, конечно, какой она получилась, но писал ее с большим волнением.

Как Вы пожелали в Вашем письме по поводу второй части, я усилил все темы педагогического расхождения с Наркомпросом, это прибавило к основной теме много перцу, но главный оптимистический тон я сохранил.

Описать Ваше пребывание в Куряже я не решился, это значило бы описывать Вас, для этого у меня не хватило совершенно необходимого для этого дела профессионального нахальства. Как и мои колонисты, я люблю Вас слишком застенчиво.

Третью часть пришлось писать в тяжелых условиях, меня перевели в Киев помощником начальника Отдела трудовых колоний НКВД, обстоятельства переезда и новой работы — очень плохие условия для писания, в сутки оставалось не больше трех свободных часов, а свободной души ничего не оставалось.

Работа у меня сейчас бюрократическая, для меня непривычная и неприятная, по хлопцам скучаю страшно. Меня вырвали из коммуны в июне, даже не попрощался с ребятами.

Дорогой Алексей Максимович! Большая и непривычная для меня работа «Педагогическая поэма» окончена. Не нахожу слов и не соберу чувств, чтобы благодарить Вас, потому что вся эта книга исключительно дело Вашего внимания и любви к людям. Без Вашего нажима и прямо невиданной энергии помощи, я никогда этой книжки не написал бы.

У меня сейчас странное ощущение. Работа окончена но остались уже кое-какие навыки письма, кое-какая техника, привычка к этой совершенно особенной, волнующей работе.

А в то же время я вдруг опустошился, как будто всю свою жизнь до конца выложил, нечего больше сказать.

Я очень хочу надеяться, что Вы не бросите меня в этой неожиданной пустоте.

Посоветуйте, как сначала наладить мое писательское самочувствие, куда броситься, как сохранить те элементы стиля, которые, вероятно, все-таки есть в моей работе?

Искренно преданный Вам *А. Макаренко.*

P. S. Второй экземпляр выслал в редакцию альманаха «Год XVIII».

В Москве буду числа 6-го — 12-го. Если нужно, вызовите меня телеграммой, а то так не пускают.

В случае надобности, я думаю, можно выбросить главы «У подошвы Олимпа» и «Помогите мальчику».

А. М.

Дорогой Антон Семенович —

третья часть «Поэмы» кажется мне еще более ценной, чем первые две.

С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжцами, да и вообще очень многое дьявольски волновало. «Соцвосовцев» Вы изобразили так, как и следует, главы: «У подошвы Олимпа» и «Помогите мальчику» — нельзя исключать.

Хорошую Вы себе «душу» нажили, отлично, умело она любит и ненавидит. Я сделал в рукописи кое-какие мелкие поправки и отправил ее в Москву.

Вы спрашиваете, «как сохранить элементы стиля» и т. д. Очень просто: ведите аккуратно ежедневную запись наиболее ясных мыслей, характерных фактов, словесной игры: удачных фраз, афоризмов, «словечек». Пишите ежедневно хоть десяток строк, но так экономно и туго, что[бы] впоследствии их можно было развернуть на две, три страницы. Дайте свободу Вашему юмору. Делая все это, Вы не только сохраните приобретенное работой над «Поэмой», но расширите его.

Напоминаю Вам сказанное в «Поэме» о «чекистах». Так же, как Вы, я высоко ценю и уважаю товарищей этого ряда. У нас писали о них мало и плохо и писали не от удивления пред героями, а, кажется, «страха ради иудейска». Сами они, к сожалению, скромны и говорят о себе молча. Было бы очень хорошо, если б, присмотревшись к наркомвнудельцам, Вы написали очерк или рассказ «Чекист». Попробуйте. Героическое Вы любите и умеете изобразить.

Если Вас тяготит «бюрократическая» работа и Вы хотели бы освободиться от нее — давайте хлопотать. Я могу... просить... чтоб Вас возвратили к ребятам.

Ну — что же? Поздравляю Вас с хорошей книгой, горячо поздравляю.

М. Горький.

P. S. Вы, конечно, использовали не весь материал — дайте десяток портретов беспризорников. Говорят, что теперь они — грамотнее, легче идут на работу, быстрей дисциплинируются. И, будто бы, причиной ухода из семьи на улицу служат: мачехи, вотчимы и «скука жизни» в семье. Отцам-матерям некогда заниматься детьми, детям — не о чем говорить с родителями.

М. Г.

8 октября 1935 г.

А. С. МАКАРЕНКО

...Героизм не на час,
а на всю жизнь.
М. Горький.

Есть люди счастливой судьбы. Счастливой не в том смысле, что жизнь щедро рассыпала перед ними свои дары — бери и пользуйся. Напротив. Путь этих людей кремнист и труден. Все новые и новые преграды возникают впереди. Но идут вперед эти люди. Идут потому, что не могут не идти. Это их путь. Единственный. Другого для них нет. Преодолевая одни препятствия, они обретают силы для борьбы со следующими ради конечной высокой цели, которая владеет всеми их помыслами. В этом их счастье. Счастье трудного пути. Счастье творческого дерзания. Самое высокое на земле счастье — жить с людьми и для людей.

Таким был и Антон Семенович Макаренко — человек непоколебимой убежденности и широкой души, блестящий педагог-практик и теоретик, поднявший науку о воспитании на новую ступень, наконец, талантливый писатель. «Главный секрет его успехов,— по словам В. Н. Терского, хорошо знавшего Макаренко,— умение жить и работать для других, для народа...» [1].

Макаренко принадлежал к числу тех «истинно народных учителей», о которых с таким уважением говорил в своей речи на Первом Всероссийском съезде по просвещению В. И. Ленин: «Все, что сочувствует народу не на словах, а на деле, лучшая часть учительства, придет на помощь,— и в этом для нас верный залог того, что дело социализма победит» [2].

---

[1] В. Н. Терский в кн. А. С. Макаренко. Марш 30 года. «Просвещение». М., 1967, стр. 197.

[2] В. И. Ленин. Полное собр. соч., изд. V, т. 37, стр. 78.

Увлеченность Макаренко проблемами воспитания была следствием его активного отношения к жизни, его влюбленности в жизнь. «Я живу потому, что люблю жить,— делился он сокровенными чувствами с бывшим своим воспитанником,— люблю дни и ночи, люблю борьбу и люблю смотреть, как растет человек, как он борется с природой, в том числе и со своей собственной природой».

Подходя к человеку неизменно с «оптимистической гипотезой», Макаренко считал, что «хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать». К этому следует добавить, что процесс воспитания никогда не сводился для Макаренко к формированию в человеке неких хороших качеств вообще. Ясно представляя перспективу развития нашего общества, он с самого начала ставил перед педагогикой проблему коммунистического воспитания.

Умению проектировать «хорошее в человеке» педагог Макаренко учился, по его словам, у писателя Горького.

Уроки Горького имели неоценимое значение и для Макаренко-писателя.

Как и его учитель, Макаренко убежденно стоял на позициях социалистического реализма. «Я отвечаю за то...— писал он,— чтобы в моем художественном слове не было искажения перспектив и обмана. Там, где я вижу победу, я должен первым поднять знамя торжества, чтобы обрадовать бойцов и успокоить малодушных и отставших. Там, где я вижу прорыв, я должен первым ударить тревогу, чтобы мужество моего народа успело как можно раньше прорыв ликвидировать».

Литература, по его мысли, «должна быть литературой конфликта и его разрешения», она призвана бороться за совершенствование человека, за улучшение его жизни.

И еще одна важная ее черта: «Советская литература должна не только отражать то, что происходит. В каждом ее слове должна заключаться проекция завтрашнего дня, призыв к нему, доказательство его рождения... она — разведчик будущего».

Таким же разведчиком будущего был и сам Макаренко, человек, избравший себе единственную специальность — быть настоящим человеком.

Антон Семенович Макаренко родился 1 (13) марта 1888 года в небольшом городке Белополье, Сумского уезда, Харьковской губернии, в потомственной рабочей семье. И влияние семьи было первым существенным фактором, развившим наиболее яркие черты личности будущего педагога и писателя.

Его отец Семен Григорьевич, сначала старший маляр Белопольского железнодорожного депо, а затем мастер малярного цеха в Крюковских железнодорожных мастерских, был для сына олицетворением высоких традиций рабочего человека. Честный и добросовестный работник, требовательный к себе и своим домашним, прямой и независимый по отношению к начальству и в то же время готовый поддержать в нужный момент своего брата-рабочего, Семен Григорьевич сумел воспитать эти ценные качества и в своем сыне.

Мать писателя Татьяна Михайловна удачно дополняла своего сдержанного и внешне сурового мужа. Будучи натурой живой и одаренной, заботливая хозяйка, талантливая рассказчица, обладавшая к тому же прекрасным даром — чувством юмора, она как бы представляла в семье творческое начало.

Родителям Макаренко не пришлось учиться в школе. Тем сильнее стремились они дать образование сыну. Окончив двухклассное начальное училище первым учеником, Антон поступает в Кременчугское четырехклассное городское училище.

Поражает широта интересов мальчика. Обладая хорошим слухом, он учится играть на скрипке и поет в школьном хоре. Изучает изобразительное искусство и сам неплохо рисует. Он регулярно посещает театр и участвует в импровизированных школьных спектаклях. Наконец, серьезно занимается гимнастикой, иной раз даже заменяя на уроке учителя.

Нужно ли говорить, какое место среди увлечений юного Макаренко занимали книги? Это были не только любезные сердцу каждого подростка книги о путешествиях и приключениях. Мальчик с упоением читает русскую классику, особенно Гоголя и Чехова, помнит наизусть множество стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других поэтов.

Говоря о литературных пристрастиях молодого Макаренко, следует отметить ту исключительную роль, какую сыграло в его жизни знакомство с творчеством Максима Горького. Максим Горький стал для него не только первым писателем, но и учителем жизни.

«Горький вплотную подошел к нашему человеческому и гражданскому бытию,— признавался впоследствии Макаренко.— Особенно после 1905 года его деятельность, его книги и его удивительная жизнь сделались источником наших размышлений и работы над собой». «Если понимание истории приходило к нам по другим путям, по путям большевистской пропаганды и революционных событий, по путям нашего бытия в особенности, то Горький учил нас ощущать

эту историю, заражал нас ненавистью и страстью и еще большим уверенным оптимизмом, большой радостью требования: «Пусть сильнее грянет буря!»

Человеческий и писательский путь Горького стал для молодого Макаренко образцом поведения: «В Горьком мы видели какие-то кусочки самих себя, может быть, даже бессознательно мы видели в нем прорыв нашего брата в недоступную для нас до сих пор большую культуру. За ним нужно было броситься всем, чтобы закрепить и расширить победу».

Пример Горького вдохновляет молодого Макаренко. Он с отличием оканчивает Кременчугское городское училище, а затем одногодичные педагогические курсы. Это дало ему право преподавания в начальной школе.

В дни первой русской революции начал семнадцатилетний учитель свой педагогический путь с Крюковского железнодорожного начального училища. И хотя непосредственного участия в революционных событиях Макаренко не принимал, атмосфера революционной бури способствовала быстрейшему формированию гражданских позиций интеллигента из народа.

Годы работы в школе — годы дальнейшего роста. Каждую свободную минуту молодой преподаватель использует для расширения своего кругозора, усиленно занимаясь самообразованием. Отдаваясь со всем пылом молодости преподавательской деятельности, Макаренко покоряет всех своими незаурядными познаниями, а главное, неиссякаемой энергией, творческим подходом к делу и любовью к детям, с которыми он не уставал возиться буквально с утра до вечера.

И все же, несмотря на бесспорный педагогический успех, Макаренко чувствует настоятельную потребность продолжить свое образование. Узнав, что в Полтаве открывается учительский институт, он сдает конкурсные экзамены и становится его студентом.

Полтавский институт дал Макаренко очень много. Здесь он пополнил и систематизировал свои знания из области педагогики, используя и собственный почти десятилетний учительский опыт. Результатом обобщения теоретико-педагогической позиции Макаренко была большая работа «Кризис современной педагогики», к сожалению, не дошедшая до нас.

С особым увлечением занимался студент Макаренко историей и литературой. По воспоминаниям директора института А. К. Волнина, он «совершенно свободно владел устным словом и, что особенно поражало в украинце, искусно

владел в нем гибкой и стройной фразой на чисто русском литературном языке...»[1].

Ко времени пребывания в Полтавском институте относится и одно немаловажное для Макаренко событие. Он написал рассказ и отважился послать его самому Горькому.

Впрочем, как указывает исследователь жизни и творчества А. С. Макаренко Е. Балабанович, известны более ранние литературные опыты будущего писателя[2]. Еще будучи учеником Кременчугского училища, он веселил товарищей своими сатирическими стихами на темы школьной жизни. В течение ряда лет он с присущей ему пунктуальностью вел дневник, который также в какой-то мере способствовал выработке литературных навыков. Уже учительствуя в Крюкове, Макаренко пишет рассказ, героем которого был молодой человек, переживающий тяжелую душевную драму. В Полтавском институте он редактирует рукописный сатирический журнал «Институтская щель» и сотрудничает в нем. К этому же времени относятся и два дошедших до нас стихотворения, написанных Макаренко в альбом одной из его знакомых.

Таким образом, рассказ «Глупый день», посланный Горькому, являлся в какой-то мере итогом первоначальных творческих попыток молодого Макаренко. «В рассказе я изобразил действительное событие,— вспоминал впоследствии автор.— Поп ревнует жену к учителю, и жена и учитель боятся попа; но попа заставляют служить молебен по случаю открытия «Союза русского народа», и после этого поп чувствует, что он потерял власть над женой... и молодая жена приобрела право относиться к нему с презрением».

Однако сложная психологическая коллизия оказалась не по плечу неопытному писателю. Горьковскую отрицательную оценку своего неудачного опуса Макаренко запомнил на всю жизнь: «Рассказ интересен по теме, но написан слабо, драматизм переживаний попа неясен, не написан фон, а диалог неинтересен. Попробуйте написать что-нибудь другое».

Нелицеприятный, по-товарищески прямой отзыв Горького привел к тому, что Макаренко, по его собственным словам, «без особого страдания отбросил писательские мечты, тем более что и свою учительскую деятельность ставил очень высоко».

---

[1] А. К. Волнин. А. С. Макаренко в Учительском институте. «Учебно-воспитательная работа в детских домах», бюл. 2—3, 1941, стр. 123.

[2] Е. Балабанович. Макаренко человек и писатель. «Московский рабочий», 1963.

И все-таки, хотя в течение ряда лет после этой неудачи Макаренко и не предпринимал новых попыток на писательском поприще, мечта о художественном творчестве оказалась неистребимой. Исподволь, но систематически, упорно он продолжает готовить себя к литературной деятельности: вносит в свою записную книжку «детали жизни, пейзажи, сравнения, диалоги, портреты, темы, словечки». Только через тринадцать лет Макаренко снова повторил свою попытку, на этот раз увенчавшуюся полным успехом.

Летом 1917 года Макаренко окончил Полтавский институт с золотой медалью. В характеристике, выданной педагогическим советом, он назван «выдающимся воспитанником по своим способностям, знаниям, развитию и трудолюбию». Там же подчеркивался «особый интерес», который он «проявил к педагогике и гуманитарным наукам».

«Великая Октябрьская революция — это небывалые в истории сдвиги в жизни отдельных людей, в жизни нашей страны, в жизни всего мира»,— писал А. С. Макаренко в статье, посвященной 20-летию Октября. Великий Октябрь действительно стал для Макаренко рубежом, определившим решающий перелом в его жизни, педагогических и литературных исканиях.

Вернувшись из Полтавы в Крюков, Макаренко в 1918—1919 годах возглавляет коллектив Высшего начального (бывшего железнодорожного) училища. В трудных условиях гражданской войны, разрухи, постоянной смены властей Макаренко экспериментирует, нащупывая методы нового, советского воспитания, которые вскоре так блестяще разовьет и использует в своей работе с беспризорными детьми.

Уже здесь, в Крюкове, выступая против многочисленных сторонников так называемого «свободного воспитания», Макаренко приходит к мысли об исключительной роли детского коллектива и сознательной трудовой деятельности для формирования мировоззрения молодых граждан первого в мире социалистического государства. Он использует дисциплинирующую ребят символику и элементы «военизации», обращается к разнообразным приемам эстетического воспитания.

Приехав осенью 1919 года в Полтаву, Макаренко и здесь с присущей ему энергией продолжает свою педагогическую и общественную деятельность, участвуя в строительстве советской трудовой школы. Через год, в сентябре 1920 года, он принимает предложение Полтавского губнаробраза организовать и возглавить колонию для несовершеннолетних правонарушителей. Начинается новый этап педагогических исканий Макаренко. Позади 15 лет, отданных обычной, «нормальной» школе, период осмысления общих принципов

воспитания. Впереди 16 лет работы с «трудными» детьми сначала в колонии имени Горького, затем в коммуне имени Дзержинского — время окончательного оформления педагогической системы А. С. Макаренко.

Нет нужды излагать детали жизни колонии имени Горького и коммуны имени Дзержинского. Это превосходно сделал сам писатель в «Педагогической поэме» и в книгах «Марш тридцатого года», «ФД-1», «Флаги на башнях». Достаточно внимательный читатель найдет там богатейший материал для размышлений. Однако на определенных проблемах, имеющих принципиальное значение для характеристики сущности педагогических исканий, педагогического новаторства А. С. Макаренко, остановиться необходимо.

Читатели помнят начальные страницы «Педагогической поэмы»: описание жизни колонии на заре ее существования. Несколько полуразрушенных зданий, тридцать кроватей-дачек и три стола в единственной пригодной для жилья спальне, полуистлевшая верхняя одежда, вши и обмороженные ноги (большинство колонистов за неимением обуви обертывало ноги портянками и завязывало веревками), полуголодный паек, материализованный в ежедневной похлебке с неблагозвучным названием «кондер»,— словом складывались условия, дававшие «простор для всякого своеволия, для проявления одичавшей в своем одиночестве личности».

Макаренко посмотрел на создавшуюся ситуацию глазами Горького и понял, что только сочетание горьковского оптимизма и требовательности может спасти положение. Горький помог Макаренко увидеть и пробудить к жизни лучшее в человеке. Не случайно в 1921 году колонии присваивается имя Горького, а с 1925 года завязывается оживленная переписка руководителя колонии и колонистов с их шефом.

Основой основ педагогической теории и практики А. С. Макаренко было воспитание детей в труде и в коллективе.

Руководствуясь в воспитательной работе с детьми своим основным и широко известным ныне принципом: «как можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к нему»,— Макаренко начал формировать коллектив с создания актива. Шаг за шагом, ставя перед колонистами новые и новые задачи и добиваясь их непременного решения, Макаренко постепенно вовлекает в дела колонии всех ее обитателей.

Успешной организации труда колонистов как нельзя лучше способствовала тщательно продуманная структура ее коллектива. Весь состав колонии делился на 28 постоянных

отрядов, по 7—15 человек в каждом. Во главе каждого отряда стоял командир, вначале назначавшийся из состава данного отряда заведующим колонией, а позже — советом командиров. Помимо постоянных отрядов, в колонии широко практиковалось создание сводных отрядов. Сводные отряды были временными. Они существовали ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы выполнить то или иное срочное задание: выполоть картофель или обеспечить реквизит для очередного спектакля. Сводные отряды имели огромное воспитательное значение. Их командирами становились обычно рядовые члены постоянных отрядов. Следовательно, почти каждый колонист мог выступать не только в роли добросовестного исполнителя, но и развить в себе организаторские качества.

Ядром колонии, ее активом, состоящим из лучших колонистов — командиров постоянных отрядов, был совет командиров. Здесь очень оперативно (регламент выступлений — одна-две минуты) решались многочисленные вопросы хозяйственной, бытовой, культурной жизни колонии. Совет командиров был тем самым приводным ремнем, который позволял Макаренко систематически воздействовать на все стороны жизни своих воспитанников.

И, наконец, общее собрание колонистов, которое представляло коллектив в целом. По мысли Макаренко, общее собрание было ценно в первую очередь тем, что оно прекрасно воспитывало чувство ответственности за принятое на нем решение, вырабатывая вместе с тем общественное мнение большого коллектива колонистов.

Таким образом, новаторство педагогической теории и практики Макаренко в первую очередь сводилось к тому, что колонист не был простым потребителем материальных благ, заботливо предоставляемых ему государством, не был неподвижным объектом воспитания. Он был активным членом коллектива, растущего вместе с ним, хозяином, заинтересованным в успехе общего дела. Процесс воспитательного воздействия со стороны педагогического персонала колонии естественно и неразрывно сочетался с процессом коллективного самовоспитания.

Поэтому и дисциплина, крепнувшая в колонии год от года, не была дисциплиной, основанной на бездумном подчинении и тем более — насилии. «Наша дисциплина,— писал Макаренко,— это соединение полной сознательности, ясности, полного понимания, общего для всех понимания — как надо поступать, с ясной, совершенно точной внешней формой, которая не допускает споров, разногласий, возражений, проволочек, болтовни».

Выработке внешней формы дисциплины во многом спо-

собствовала так называемая «военизация». Говоря о «военизации», Макаренко не случайно заключал это слово в кавычки. Военная атрибутика: приказы, рапорты, бодрый отклик: «Есть!», трубач, играющий сбор, часовой у входа, знамена, оркестр, безукоризненный строй колонистов — все это, как указывал Макаренко, представляло собой «небольшую игру, эстетическое прибавление к трудовой жизни, жизни все-таки трудной и довольно бедной». Правила этой игры соблюдали все — от заведующего до последнего «пацана». Смысл и цели ее были значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Игра эта делала ребячью жизнь интереснее, красивее и незаметно для ее участников вырабатывала в них не только такие «внешние» стороны поведения, как точность и аккуратность, вежливость и подтянутость, но и качества, составляющие внутреннюю сущность каждого сознательного члена коллектива: организованность, дисциплинированность, чувство ответственности.

Что касается эстетической функции «военизации», то последняя была лишь одним из многих каналов эстетического воздействия на воспитанников. Отводя чрезвычайно важное место эстетическому воспитанию и понимая его весьма широко, Макаренко включал в него не только такие бесспорные средства эстетического воздействия, как хорошая книга, посещение театра и кино, живопись, музыка (духовой оркестр коммуны имени Дзержинского исполнял сложные классические произведения и считался одним из лучших на Украине), но и менее очевидные. Обилие цветов на территории и в помещениях, натертые до блеска полы, белоснежные скатерти на столах, аккуратная одежда и прическа — все это были те самые «принципиальные мелочи», которые входили в общую глубоко продуманную систему эстетического и вместе с тем нравственного воспитания.

Систему эстетического и нравственного воспитания дополняла физическая подготовка. Спортивные игры и гимнастика, прогулки и большие туристические походы давали отличную разрядку после напряженной работы и учебных занятий, способствовали физической закалке ребят.

К середине 20-х годов перед коллективом колонии и ее руководителем встала новая сложная проблема, решение которой было связано для Макаренко с реализацией открытых им законов и приемов воспитания коллектива.

К этому времени материальное положение колонии, ее быт стали устойчиво благополучными. Это благополучие скрывало в себе реальную опасность остановки в развитии, а вслед за этим и саморазрушения коллектива. Положения не спасло бы строительство очередного здания или увеличение поголовья скота и размеров посевной площади. «Да, мы

почти два года стоим на месте,— размышляет А. С. Макаренко — герой «Педагогической поэмы»,— те же поля, те же цветники, та же столярная и тот же ежегодный круг». Он приходит к важному выводу: «Не может быть допущена остановка в жизни коллектива... Формы бытия свободного человеческого коллектива — движение вперед, форма смерти — остановка». Так рождается одна из плодотворнейших идей макаренковской педагогики — учение о «завтрашней радости», о близких и далеких перспективах как о необходимых стимулах движения, совершенствования коллектива и отдельных личностей, из которых он состоит.

Вот почему, когда горьковцы получили неожиданное предложение переселиться на территорию бывшего Куряжского монастыря вблизи Харькова, где в то время размещалась крайне запущенная и в хозяйственном и в педагогическом отношении колония из двух с лишним сотен правонарушителей, Макаренко после недолгих колебаний дает свое согласие. Возможность борьбы за переделку Куряжа и его обитателей и стала той необходимой перспективой, достижение которой требовало преодоления целого ряда серьезных трудностей. Все 120 колонистов с энтузиазмом поддержали своего руководителя.

План «завоевания Куряжа» был продуман в деталях. Макаренко наотрез отказался от способа проведения этой операции, предложенного работниками Наркомпроса Украины. Они настаивали на постепенном воздействии «благовоспитанных» горьковцев на распущенных куряжан, забывая о том, что возможно и обратное влияние.

Веря в преобразующую силу коллектива горьковцев и особенно его комсомольского ядра, Макаренко решает прибегнуть к открытому им «методу удивления» или «методу взрыва». «Метод взрыва» — «мгновенное воздействие, переворачивающее все желания человека, все его стремления» — успешно использовался в колонии имени Горького. Однако в подобных масштабах предстояло применить его впервые.

Огромный действенный эффект «молниеносного удара» 15 мая 1926 года сразу же определил крутой перелом в психологии большинства куряжан. В довольно короткий срок, опираясь на сравнительно немногочисленный, но сплоченный коллектив горьковцев, Макаренко наводит порядок в куряжской «помойной яме». «Завоевание Куряжа» не только приобщило к жизни почти триста его обитателей, оно подняло коллектив горьковцев на новую ступень, открыв перед ними трудную и увлекательную перспективу помощи товарищам.

1928 год стал для Макаренко годом больших радостей и больших печалей.

В этом году произошло долгожданное событие: в начале июля в гости к колонистам приехал их почетный и дорогой шеф Алексей Максимович Горький. Три дня, проведенные Горьким в Куряже, стали большим праздником и для ребят и для Макаренко. По его словам, это были «самые счастливые дни» в его жизни. В свою очередь, великий писатель с огромным удовлетворением наблюдал черты нового, социалистического сознания, возникшие и прочно утвердившиеся в коллективе колонии. Свои впечатления о Макаренко и его воспитанниках писатель включил в один из очерков цикла «По Союзу Советов».

И в этом же году Макаренко навсегда покидает колонию.

Этот шаг, вынужденный для Макаренко, был следствием его долголетней борьбы за утверждение правоты его педагогических идей. В Наркомпросе Украины, а также в педагогических учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях в те годы нашло приют немало далеких от жизни «теоретиков», которые претендовали на первые роли в педагогике. Тут были защитники теории «свободного воспитания», считавшие, что ребенок — «создание совершенное» и поэтому меры воздействия на него со стороны взрослых должны сводиться к минимуму. Тут были и многочисленные сторонники весьма авторитетной в те годы педологии, с ее принципом роковой обусловленности судьбы ребенка биологическими и социальными факторами. Были и представители других разновидностей «умозрительной» и «эмпирической» педагогики.

Весь этот, как называет его Макаренко, «педагогический Олимп» был с самого начала враждебно настроен к творческим поискам талантливого педагога. Многое в работе Макаренко раздражало «олимпийцев». Еще в 1925 году они нападали на него за организацию соревнования между отрядами во время осенних полевых работ, утверждая, что соревнование — капиталистический принцип. Выступали они и против стремления воспитать в детях чувство долга и чести, называя их «буржуазными категориями». Стремление Макаренко укрепить авторитет педагогов-воспитателей казалось им насилием над свободой детей. С другой стороны, многих из них ужасали те большие права, которые имел в колонии совет командиров. Но едва ли не главным жупелом для противников педагогической системы Макаренко была «военизация», дававшая им повод обвинить руководителя колонии в «аракчеевщине», «командирской педагогике» и прочих смертных грехах.

Бесконечные комиссии и инспектора, наезжавшие в колонию, открытые нападки и тайные козни создавали вокруг Макаренко обстановку «невыносимого организационного оди-

ночества». Приходилось тратить силы и нервы на никому не нужную, бесплодную возню. Обстановка накалялась. Весной 1928 года Макаренко выступил с большим отчетом о своей педагогической системе и о результатах работы в колонии имени Горького. Присутствовавшие на заседании представители Наркомпроса Украины и научно-исследовательского института педагогики вынесли совершенно поразительную резолюцию: «Предложенная система воспитательного процесса есть система не советская». Сторонники Макаренко в органах народного образования советовали ему, чтобы не дразнить гусей, пойти хотя бы на мелкие уступки. Но до конца убежденный в справедливости своей педагогической веры, человек высокой принципиальности и честности, Макаренко отказался от любых компромиссов. Он подал заявление об уходе.

И все же замечательный педагогический эксперимент не был прерван. Еще в октябре 1927 года Макаренко принимает предложение украинских чекистов возглавить трудовую коммуну имени Дзержинского. Первое время он совмещает работу в коммуне с работой в колонии, а с ранней осени 1928 года полностью переходит в коммуну. Здесь Макаренко проработал почти 8 лет, до июля 1935 года.

Принципы воспитательной работы и в коммуне остаются прежними. К началу основания коммуны туда было переведено 60 горьковцев. Они и составили надежное ядро нового, большого растущего коллектива. «...Фактически коммуна имени Дзержинского,— подчеркивает Макаренко,— продолжала не только опыт колонии имени Горького, но и продолжала историю одного человеческого коллектива. Это имеет очень большое значение для меня и для дела, потому что продолжались и накапливались традиции, созданные в колонии им. Горького».

Но нельзя не заметить и существенной разницы между этими двумя воспитательными учреждениями. Коммуна, с самого начала разместившаяся в прекрасном здании, выстроенном на средства чекистов, была материально обеспечена более солидно.

Если трудовой базой колонии было сельское хозяйство, то коммуна стала настоящим индустриальным предприятием. Начав со скромных мастерских, переоборудованных затем в производственные цехи, коммуна к 1930 году перешла на полную самоокупаемость. А в 1932 году на ее территории были воздвигнуты большие корпуса заводов электроинструмента и фотоаппаратов марки «ФЭД», на которых работало до 600 коммунаров.

Невозможно переоценить роль крупного производства в воспитании сознательных членов социалистического об-

щества. «...Только в производственном процессе,— справедливо утверждал Макаренко,— вырастает настоящий характер человека, члена производственного коллектива...»

Важным фактором воспитания стала в коммуне даже система заработной платы. Заводы приносили большую ежегодную прибыль. Естественно, что основная часть причитающихся коммуне денег шла на совершенствование производственного процесса и на нужды коллектива в целом. Десять процентов поступало в фонд совета командиров, и тот распределял их в зависимости от потребностей: на культурную работу, на стипендии студентам — бывшим коммунарам и пр. Определенная сумма переводилась на личные сберкнижки, которые коммунары, уходя из коммуны, получали на руки. И наконец, определенная часть общего заработка вручалась коммунару. Каждый воспитанник, будучи лично заинтересован в производительном труде, одновременно ощущал себя не только членом трудового коллектива коммуны, но и участником борьбы всего народа за социализм. Достаточно сказать, что в 1934 году прибыль от заводов коммуны составила 3,5 миллиона рублей, а в 1935-м — 5 миллионов!

Не следует, однако, думать, что производство заполняло всю жизнь коммунаров. Каждый из них отдавал работе не более 4 часов, а около 5 часов отводилось на учебные занятия. Если в колонии школа с обязательным обучением имела лишь шесть классов, то в коммуне был открыт сначала рабфак, а затем и школа-десятилетка. Таким образом, любой из коммунаров при достаточном желании и настойчивости мог поступить и в вуз.

Увлекательные экскурсии всего коллектива коммуны во время летних каникул в Москву, в Крым, на Кавказ, поездка на пароходе от Горького до Астрахани и т. д. были для дзержинцев не только отдыхом и физической закалкой — они неизмеримо расширяли кругозор коммунаров, воспитывали чувство патриотизма. Регулярное посещение харьковских театральных премьер, свой собственный театр, в котором ставились серьезные, «полноценные» пьесы, технические и художественные кружки довершали «нравственную и интеллектуальную шлифовку» дзержинцев.

То, что многим, посетившим коммуну имени Дзержинского, казалось сказкой, чудом, было на самом деле результатом каждодневной напряженной, самоотверженной работы энтузиастов-педагогов во главе с А. С. Макаренко, было в конечном счете одним из разительных примеров стремительного марша всей нашей страны на пути к социализму.

«Горьковский» и «Дзержинский» периоды были еще примечательны и тем, что в это время Макаренко снова воз-

вращается, и теперь уже серьезно и бесповоротно, к литературной деятельности.

В 1925 году он начал писать книгу, которой суждено было стать его «главной книгой» — «Педагогическую поэму». «Поэма» была первоначально задумана как развернутый педагогический трактат, где излагались бы теоретические принципы воспитания нового человека и практическая методика этого воспитания. Очень скоро, однако, Макаренко понял, что подобный труд прочтут лишь немногие специалисты. С широким читателем, которого он искал, нужно было говорить другим языком. Именно поэтому Макаренко отказывается и от мемуарной формы, а избирает форму беллетристическую.

Основные главы первой части «Поэмы» были написаны к 1928 году, сразу же после встречи с Горьким и перехода Макаренко в коммуну имени Дзержинского и... пять лет пролежали под спудом, так как писатель, памятуя свою неудачу с первым рассказом, не решался представить их на суд А. М. Горького. «...Я не хотел,— вспоминал позже Макаренко,— превращаться в глазах Алексея Максимовича из порядочного педагога в неудачного писателя».

Однако пока «вылеживалась» «Поэма», Макаренко продолжал литературную работу. В соавторстве с бывшим агрономом горьковской колонии Н. Э. Фере он пишет небольшую очерковую книжку о крупных механизированных совхозах Северного Кавказа «На гигантском фронте». Книжка эта была напечатана в 1930 году на украинском языке. Фамилии ее авторов были скромно обозначены инициалами — Н. Ф. и А. М.

В конце 1930 года Макаренко заканчивает книгу, которая стала его настоящим литературным дебютом. Это цикл очерков о коммуне имени Дзержинского — «Марш тридцатого года».

В трех первых главах книги дана краткая история коммуны. В последующих двадцати пяти, каждая из которых является относительно самостоятельной и завершенной, автор знакомит читателя с той или иной стороной жизни коммуны. Распорядок дня дзержинцев, их работа, учебные занятия, структура самоуправления коммуны, проведение досуга, взаимоотношения между мальчиками и девочками, московский и крымский походы — обо всем этом и многом другом лаконично, но заинтересованно и живо рассказывает автор. Очерковый стиль «Марша» уступает в образности и в художественной яркости стилю «Педагогической поэмы», но вместе с тем нетрудно заметить, что книга написана все же после того, как были созданы главы первой части «Поэмы». Мака-

ренко уже свободно пользуется разнообразными интонациями повествования, умеет несколькими точными штрихами набросать портрет, владеет искусством диалога. Юмор и ирония, характерные для его таланта, органически соединены с высоким поэтическим пафосом. И хотя в его книге нет планомерно развивающегося сюжета, нет точно обозначенной системы персонажей с переплетающимися линиями их судеб, писателю удалось главное: дать всестороннее и достаточно полное представление о коммуне как о передовом отряде, совершающем стремительный марш в прекрасное будущее.

Книга Макаренко вышла в Государственном издательстве художественной литературы только через два года. К огорчению Макаренко, откликов читателей и критики на его книгу не последовало. Какова же была его радость, когда в декабре 1932 года, получив очередное письмо из Сорренто от Горького, он прочел в нем одобрительный отзыв о своей книге. «...Вчера прочитал Вашу книжку «Марш 30-го года»,— писал Горький.— Читал — с волнением и радостью, Вы очень хорошо изобразили коммуну и коммунаров. На каждой странице чувствуешь Вашу любовь к ребятам, непрерывную Вашу заботу о них и такое тонкое понимание детской души. Я Вас искренно поздравляю с этой книгой» (17. 12. 1932 г.).

В том же 1932 году во время отпуска Макаренко пишет вторую книгу -- «ФД-1». Верный очерковому жанру, он продолжил здесь рассказ о коммуне и ее делах. «Марш тридцатого года» заканчивался возвращением коммунаров из крымского похода. «ФД-1» с этого эпизода начинается. «Прекрасный марш тридцатого года,— пишет Макаренко в первой главе новой книги,— это вовсе не был потрясающий, звенящий марш победителей, нет, это мы только учились ходить. Так это было скромно в сравнении с тем, что выпало на долю нашего коллектива в славном боевом тридцать первом году».

Но эта книга Макаренко при его жизни не была издана. Пролежав в Издательстве художественной литературы, рукопись книги вернулась к автору. Позже, когда Макаренко работал над повестью «Флаги на башнях», он воспользовался некоторыми главами «ФД-1», включив их в свою новую повесть. Поэтому «ФД-1» публикуется в посмертных изданиях сочинений Макаренко с существенными пропусками.

Тема и отдельные сюжетные линии «ФД-1» были использованы Макаренко и в четырехактной пьесе «Мажор» (1933) — его первом и во многом несовершенном драматургическом опыте. Музыкальный термин «мажор» выражал для писателя-педагога «главную черту стиля детского коллектива». Позже в своих специальных теоретических рабо-

тах он писал: «Во-первых, мажор. Я ставлю во главу угла это качество. Постоянная бодрость, никаких сумрачных лиц, никаких кислых выражений, постоянная готовность к действию, радужное настроение, именно мажорное, веселое, бодрое настроение...» И еще: «Мажор в коллективе должен иметь очень спокойный и крепкий вид. Это прежде всего проявление внутреннего, уверенного спокойствия в своих силах, в силах своего коллектива и в своем будущем».

В 1935 году пьеса «Мажор» была издана ГИХЛом под псевдонимом Андрей Гальченко.

В 1935 году Макаренко написал вторую свою пьесу, «Ньютоновы кольца» — о росте и воспитании человека в процессе коллективного труда на большом заводе фотоаппаратов.

Писательская работа по-настоящему захватила Макаренко, а между тем начальные главы его первой и самой замечательной книги продолжали лежать без движения и даже не в ящике письменного стола, а в чемодане на чердаке.

И снова — Горький. В своем письме (январь 1933 года) он настойчиво напоминает Макаренко о не выполненном им долге: «12 лет трудились Вы, и результатам трудов нет цены. Да никто и не знает о них, и никто не будет знать, если Вы сами не расскажете... Поезжайте куда-нибудь в теплые места и пишите книгу, дорогой друг мой». Эти сердечные, полные дружеской заботы слова человека, чей авторитет для Макаренко был непререкаемым, и явились тем необходимым психологическим толчком, который сдвинул дело с мертвой точки.

Макаренко не смог поехать в теплые места, хотя и о деньгах для этой цели позаботился Горький, но он с энтузиазмом возвращается к работе над завершением первой части «Поэмы». Писать приходилось урывками, нередко оставляя для сна не более четырех часов. Однако дело подвигалось быстро, и Макаренко испытывал большое удовлетворение. «Сейчас работаю сильно над Горьковской [1],— делится он с женой,— либо в самом деле хорошо получится, либо я не способен понимать, что хорошо и что плохо» [2] (16.9.1933).

Получилось действительно хорошо. В конце сентября 1933 года Макаренко привез первую часть «Поэмы» Горькому и через день получил от него полное одобрение: «...По-

[1] Вначале Макаренко предполагал назвать книгу «Горьковцы» или «Горьковская колония».

[2] Е. Балабанович. Макаренко человек и писатель. «Московский рабочий». 1963, стр. 200—201.

эма» очень удалась Вам... Мне кажется, что рукопись не требует серьезной правки... Рукопись нужно издавать» (25.9.1933).

Вскоре первая часть «Педагогической поэмы» была опубликована в альманахе «Год XVII», выходившем под редакцией Горького.

Так же, при живейшем участии и под дружеским «нажимом» Горького, были написаны вторая (1934) и третья (1935) части «Педагогической поэмы». Летом 1934 года Макаренко становится членом Союза советских писателей. Посылая своему шефу рукопись последней части «Поэмы», Макаренко обращается к Горькому со словами, идущими из глубины сердца: «Дорогой Алексей Максимович! Большая и непривычная для меня работа «Педагогическая поэма» окончена. Не нахожу слов и не соберу чувств, чтобы благодарить Вас, потому что вся эта книга исключительно дело Вашего внимания и любви к людям. Без Вашего нажима и прямо невиданной энергии помощи я никогда этой книжки не написал бы» (28.9. 1935).

«Поздравляю Вас с хорошей книгой, горячо поздравляю»,— пишет Горький Макаренко, прочитав заключительные главы «Поэмы» (8.10.1935).

В 1935 году вторая и третья части книги были напечатаны в альманахе «Год XVIII».

Многочисленные письма читателей, читательские конференции с участием автора, одобрительные отзывы критики — все это показатель большого интереса к новой книге Макаренко.

Книга Макаренко прошла самую беспристрастную, самую объективную проверку — проверку временем. И дело, конечно, не в «экзотике» ее материала и даже не только в блестящей наблюдательности автора и живости его письма. Чисто литературные достоинства «Педагогической поэмы» органически связаны с глубиной и богатством ее идейного содержания.

«Педагогическая поэма» — произведение весьма характерное для советской литературы 30-х годов.

Если в 20-е годы основное внимание наших писателей привлекали люди, делавшие революцию и закалявшиеся в битвах за нее в огне гражданской войны («Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева, «Любовь Яровая» К. Тренева и др.), то в 30-е годы центр тяжести переносится на героев иного плана.

Годы первых пятилеток, годы строительства крупнейших промышленных гигантов, годы массовой коллективизации заложили прочный фундамент социализма в нашей стране. Они во многом определили и существенные сдвиги

в психологии строителей новой жизни. Созидательный труд на благо всего народа, труд коллективный и осмысленный стал лучшим воспитателем человека. «Люди делали блюминг — блюминг делал людей»,— читаем мы в одной из газетных заметок тех лет. Скупое, но точное выражение сущности происходящего.

Большинство значительных произведений литературы 30-х годов и посвящено изображению этого чрезвычайно знаменательного процесса, тесно связанного с настоящим и вместе с тем определяющего перспективы нашего движения в будущее. Среди них «Соть» Л. Леонова, «Время, вперед!» В. Катаева, романы о социалистическом преобразовании деревни М. Шолохова и Ф. Панферова... К ним примыкает и «Как закалялась сталь» Н. Островского, где особое место занимают эпизоды борьбы на трудовом фронте.

Во всех этих и других не названных здесь книгах, изображая красноречивые сами по себе факты социалистического строительства, писатели в первую очередь стремились проникнуть во внутренний мир своих современников, отразить решающие изменения, происходящие в их сознании, дать художественное исследование процессов формирования характера человека социалистической эпохи.

«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко заняла особое место в ряду этих произведений. Особое потому, что проблема воспитания, проблема роста нового человека раскрывается здесь не просто талантливым писателем, но и замечательным педагогом-новатором. Читатель знает: в книге Макаренко речь идет о событиях, имеющих в основе реальные, жизненные факты, о героях, что называется, списанных с натуры. Это подчеркивал и сам Макаренко. Выступая перед харьковскими читателями, он говорил, что в «Педагогической поэме» «нет выдумки, за исключением отдельных фамилий и отдельных ситуаций».

Действительно, большинство героев книги имеют прототипов. Некоторым из них автор оставил даже подлинные имена (Антон Семенович Макаренко, Калина Иванович Сердюк, Коваль). Иным — изменил, но очень незначительно, совершенно прозрачно намекая на реальный прообраз (Калабалин — Карабанов, Супрун — Бурун, Колос — Голос, Браткевич — Братченко, Шершнев — Вершнев, Фере — Шере, Е. Ф. Григорович — Екатерина Григорьевна и т. д.).

То же самое можно сказать и о фабуле «Поэмы». События, составляющие ее основу, точно воспроизводят этапы роста колонии имени Горького.

Однако было бы ошибкой на этом основании отнести «Педагогическую поэму» к документальному жанру. Нам известны и другие произведения, основанные на подлинных

фактах, но не являющиеся документальными по своей жанровой природе. Достаточно вспомнить «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Молодую гвардию» А. Фадеева. К подобной категории книг относится и «Педагогическая поэма». Типизируя героев и обстоятельства, писатель опирается на документально-фактическую основу, но при этом строго соблюдает принцип художественной целесообразности, щедро пользуясь правом писателя на вымысел. Он отсекает «лишние» факты, допускает хронологические смещения, заостряет отдельные сюжетные ситуации, а иной раз и видоизменяет их, додумывает необходимые детали и т. п. Известно, например, что «подлинный» Калина Иванович Сердюк работал в колонии имени Горького до 1 мая 1922 года. А Калина Иванович в «Поэме» со свойственной ему горячностью напутствует колонистов перед штурмом Куряжа, который состоялся в 1926 году. Очевидно, автору было необходимо «задержать» в колонии своего колоритного завхоза с тем, чтобы шире развернуть тему «воспитания юмором» и обозначить его уходом начало нового этапа в жизни колонии. Показательный пример деформации фактического материала в книге Макаренко приводит Е. Балабанович: колонист, ставший прототипом Ужикова, украл деньги не у рабфаковцев, а у самого Макаренко. Исследователь справедливо объясняет суть замены сюжетной ситуации: украсть у товарищей с точки зрения колонистской этики — самое тягчайшее преступление. Писатель тем самым подчеркивает предел нравственного падения Ужикова.

Глубоко продумана и прочувствована писателем композиция книги, ее главная сюжетная линия. Три части «Педагогической поэмы» — три последовательных этапа становления и развития коллектива колонии имени Горького. Впрочем, сюжетно-композиционную структуру книги предельно четко охарактеризовал сам Макаренко.

«В первой части «ПП»,— читаем мы в одном из его писем к Горькому,— я хотел показать, как я, неопытный и даже ошибающийся, создавал коллектив из людей заблудших и отсталых» (18.9.1934). То, что выражено здесь всего лишь в одной фразе, развернуто в тексте «Поэмы» в двадцати восьми насыщенных острыми конфликтами драматически напряженных главах.

Первая из них выполняет роль пролога. Получая задание организовать колонию для малолетних правонарушителей, Макаренко твердо убежден только в одном: «Нужно нового человека по-новому делать». Но как? Это неизвестно ни завгубнаробразом, ни самому Макаренко.

Воспитать новых людей из вчерашних преступников, беспризорных, хлебнувших анархической уличной свобо-

ды, оказывается делом неимоверно сложным. Трудность усугубляется обстановкой разрухи: полуголодным пайком, большими материальными нехватками. И едва ли не самое главное — отсутствие разработанной методики воспитания: двигаться приходилось ощупью, наобум.

«...Дела своего мы, собственно говоря, не знали,— признается Макаренко, имея в виду не только себя, но весь маленький коллектив воспитателей,— наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путаной мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы различали обрывки контуров будущей педагогической жизни». Но было у этих «подвижников соцвоса» самое главное: любовь к детям, желание помочь им.

Начиная с завязки — прибытия в колонию первых шести воспитанников — и далее действие развивается таким образом, что эпизоды, рисующие маленькие завоевания педагогического коллектива, сменяются ситуациями, которые, казалось бы, снова и снова отбрасывают колонию на исходные рубежи. Это и воровство в самой колонии, и набеги на сельские погреба, драки, нередко переходящие в поножовщину, и картежная зараза, это дикая вспышка антисемитизма и мертвый ребенок, обнаруженный в спальне девочек, это и настоящие грабежи на большой дороге. В особо тяжелых случаях заведующему колонией приходится прибегать к «ампутации»: изгоняется из колонии неисправимый вор Митягин. Иной раз ненависть бессилия толкает Макаренко на поступки, категорически запрещенные в педагогике. Но диалектика этих срывов такова, что они вместе с тем открывают колонистам в пунктуальном и требовательном воспитателе живого, заинтересованного в их судьбе человека.

«Картина, в общем, была тягостная,— пишет Макаренко в одной из начальных глав,— но все же зачатки коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, потихоньку зеленели в нашем обществе... Защита этих первых ростков потом оказалась таким невероятно трудным, таким бесконечно длинным и тягостным процессом, что, если бы я знал это заранее, я, наверное, испугался бы и отказался от борьбы. Хорошо было то, что я всегда ощущал себя накануне победы, для этого нужно было быть неисправимым оптимистом».

Исподволь, постепенно приобщает Макаренко своих воспитанников к общественно-трудовой деятельности. Первый эпизод в этом ряду — заготовка дров в лесу после известного инцидента с Задоровым. Затем колонисты включаются в «дела государственного значения»: охраняют леса от незаконной порубки, борются с самогонщиками. С появлением в колонии «настоящей лошади» начинаются сельскохозяйст-

венные работы, дымит собственая кузница. Восстановление и освоение имения Трепке становится реальной целью крепнущего коллектива. Возникают первые сводные отряды, создана комсомольская организация. Так, шаг за шагом коллектив горьковцев набирает силу для решения новых задач, для «фанфарного марша», которым и завершается первая часть «Педагогической поэмы».

«Во второй части,— пишет Макаренко в письме к Горькому от 18.9.1934 года,— я сознательно не ставил перед собою темы переделки человека... Во второй части я задался целью изобразить главный инструмент воспитания, коллектив, и показать диалектичность его развития». Поэтому в соответствии с авторским замыслом здесь почти нет эпизодов напряженно драматического звучания, каких было немало в первой части. Зато большинство глав раскрывает самые различные аспекты жизни и деятельности уже сформировавшегося коллектива. Примечательны, например, главы восьмая и девятая, где показан по-настоящему тяжелый, но в то же время самоотверженный и радостный труд колонистов. Много живых комических деталей содержит рассказ о театральных увлечениях горьковцев. В главе «Свадьба» мы любуемся не столько красивой и разумно распланированной территорией новой колонии, сколько жизнедеятельным и слаженным коллективом ее хозяев. «Они стройны и собранны, у них хорошие, подвижные талии, мускулистые и здоровые, не знающие, что такое медицина, тела и свежие красногубые лица. Лица эти делаются в колонии,— с улицы приходят в колонию совсем не такие лица.

У каждого из них есть свой путь и есть путь у колонии имени Горького».

У каждого из них свой путь... И вот уже колонисты провожают своих лучших товарищей на рабфак. Для горьковцев это момент чрезвычайно значительный, торжественный и тревожный одновременно.

«...Как мы теперь будем без ядра?» — озабоченно спрашивает заведующего колонией воспитательница Екатерина Григорьевна. «Если есть коллектив, то будет и ядро»,— успокаивает ее Макаренко, и его прогноз, основанный на диалектическом понимании жизни коллектива, полностью оправдывается. Общие заботы, общие усилия очень быстро позволяют восполнить, казалось бы, невосполнимую потерю.

Однако в бодрую, мажорную мелодию второй части сначала незаметно, а затем все явственнее включаются тревожные нотки. Первая из них — уход из колонии Ветковского. «Здесь стало неинтересно»,— заявляет он заведующему колонией, но его словам Макаренко до поры до времени не

придает серьезного значения. Ту же мысль высказывает и приехавший на каникулы рабфаковец Бурун: «...В колонии делать нечего... И поту много выходит, и толку не видно. Это хозяйство маленькое. Еще год прожить, хлопцам скучно станет, захочется лучшей доли...» И, наконец, после самоубийства Чобота ее подхватывает экспансивный Карабанов: «Надо думать про завтрашний день. А я вам скажу: тикайте отсюда с колонией, а то у вас все перевешаются». То, о чем говорят лучшие колонисты, понимает и заведующий колонией. Все дело в остановке. Остановка — гибель для коллектива. Необходимо немедленно наметить новые большие цели, для достижения которых коллектив горьковцев должен будет мобилизовать всю свою энергию.

К концу второй части напряженность в развитии действия начинает нарастать. Вершинным ее моментом является сцена общего собрания колонистов, на котором решается вопрос о целесообразности переезда в Куряж. «Благоразумная» тирада воспитателя Осипова («Зачем губить колонию Горького? Вы на погибель идете, Антон Семенович!»), встреченная колонистами достаточно серьезно и заставившая их призадуматься, начисто разбивается горячим монологом Калины Ивановича: «А чего ж тут думать? Ты ж человек передовой, смотри ж ты, триста ж твоих братив пропадаеть, таких же Максимов Горьких, как и ты».

Колония голосует «за». Перспектива предстоящей борьбы вливает в коллектив горьковцев новые силы.

«Строй горьковцев и толпа куряжан стояли друг против друга на расстоянии семи-восьми метров». В спокойном повествовании, которым начинается восьмая глава третьей части «Поэмы», на первый взгляд нет ничего особенно примечательного. Но в контексте третьей части, в контексте всего произведения это событие имеет особый смысл. В нем показано решающее столкновение нового со старым, в нем начало кульминации.

Ответственность, напряженность, опасность этого момента вместе с Макаренко и его колонистами живо ощущаем и мы, читатели. В предшествующих главах автор провел нас по «загаженной почве Куряжа», где стойко гнездятся «нищета, вонь, вши», обнажил «кровоточащую грязь беспризорщины». «Три сотни совершенно отупевших, развращенных, обозленных» ребят, обитающих в Куряже, представляют реальную угрозу для сравнительно малочисленного коллектива горьковцев, состоящего всего из ста двадцати человек. Сейчас должен решиться вопрос: кто кого? Победят ли прекрасные традиции организованного, но сравнительно малочисленного коллектива, или он бесследно растворится в этом обширном болоте своеволия и анархии?

Итак, толпа куряжан молча, «в порядке некоторого обалдения» смотрит на знамя, барабанщиков, трубача, на «строгие шеренги внимательных, спокойных лиц, блестящих поясных пряжек и ловких коротких трусиков над линией загоревших ног». Это первый удар. За ним безотлагательно следует второй. Это Декларация комсомольской ячейки горьковцев, которую оглашают на общем собрании. Она ошеломляет куряжан своей «жестокой определенностью и требовательностью действия». За нее голосуют все, даже самые отпетые «глоты». И, наконец, блестящее завершение кульминационного фейерверка — гопак под гармошку. Это окончательно покоряет старожилов Куряжа: «А здорово танцуют, сволочи!..»

Остается развить первоначальный успех. Сознание куряжан завоевано, но этого мало. Нужно создать стиль коллектива, и здесь не обойдешься без кропотливой повседневной работы, широкого использования педагогической техники. Эпизоды с прогульщиком Криворучко (в столовой) и с лодырем Ховрахом (в поле) превосходно демонстрируют эту технику в действии.

«В третьей части,— писал Макаренко Горькому,— у меня богатый материал для изображения такой (массовой.— *А. Т.*) переделки и доказательства того, что силами коллектива эта переделка легче и быстрее» (18.9.1934). И действительно, результат ее не замедлил сказаться. Не прошло и двух месяцев, как Куряж и его обитатели совершенно преобразились. Традиционный праздник Первого снопа стал для колонии своеобразным отчетом после военной операции. Поражает не только полная радостного увлечения «мистерия труда», в которой участвует основная масса колонистов,— восхищает похорошевшая колония, а главное — сами ребята, которые составляют теперь единый, дружный, боевой коллектив горьковцев.

Описание праздника Первого снопа — последний штрих, завершающий куряжскую эпопею. А затем следует и развязка основной сюжетной линии: истории колонии имени Горького с момента ее основания. Это два решающих события в жизни колонии. Одно из них — приезд Горького к своим подшефным — самый большой праздник за все время существования колонии, признание полной победы замечательного коллектива и его руководителя. Другое — увольнение Макаренко с поста заведующего колонией имени Горького как педагога, предложившего «не советскую» систему воспитания.

Это кажется невероятным, нелепым, однако подобный исход можно было предвидеть. В первой главе «Поэмы», в известном диалоге с завгубнаробразом, Макаренко говорил,

что нового человека нужно делать по-новому, но как его делать — никто не знает, на что следовал ответ: «А вот у меня это самое... есть такие в губнаробразе, которые знают...

— А за дело браться не хотят.

— Не хотят, сволочи, это ты верно.

— А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.

— Скажут, стервы, это ты верно».

Так что это увольнение не было для Макаренко неожиданным. Догматики от педагогики соединенными усилиями одержали победу над самостоятельно, творчески мыслящей личностью. Их наступление развертывалось постепенно, становясь тем активнее, чем больших успехов добивался противник.

«В третьей же части,— пишет Макаренко Горькому в письме от 18.9.1934 г.,— я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц в НКП. Во второй я хотел показать только первые предчувствия, первые дыхания борьбы. Нападение НКП на мою работу было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности коллектива горьковцев в Куряже».

И все же победа «олимпийцев» над Макаренко только кажущаяся. Заведующий снят с поста, но коллектив, им созданный, продолжает жить и развиваться. Чекисты оказались дальновиднее иных ученых мужей и без колебаний доверили Макаренко руководство коммуной имени Дзержинского. И первыми коммунарами становятся горьковцы.

Таким образом, коллектив является главным героем книги Макаренко. Пути его создания, развития, наконец, активного действия и составляют основу содержания «Педагогической поэмы». Но ведь коллектив не есть нечто безликое. Настоящий коллектив состоит из разнообразных неповторимых индивидуальностей. Это диалектическое единство личности и коллектива Макаренко учитывал постоянно. «Воспитывая отдельную личность,— пишет он в статье «Цель воспитания»,— мы должны думать о воспитании всего коллектива... И наоборот, каждое наше прикосновение к коллективу обязательно будет и воспитанием каждой личности, входящей в коллектив».

Поэтому-то в «Педагогической поэме» вместе с изображением роста коллектива перед нами развертываются судьбы отдельных наиболее примечательных его членов. Среди них — зачинатели колонии: Задоров, Бурун, Таранец; колонисты первых наборов: Карабанов, Братченко, Георгиевский, Ветковский, а затем Лапоть, братья Волковы, Олег Огнев и многие другие.

Даже в тех случаях, когда писатель показывает своих

героев в сравнительно большом количестве эпизодов, как, например, Задорова и Карабанова, он не прочерчивает сплошной линии их роста. Его интересуют или поворотные моменты в формировании человека, или такие ситуации, где он с очевидностью выявляет те или иные уже определившиеся качества своей натуры. Характерным примером этого может служить известный эпизод, в котором Карабанов, вновь вернувшийся в колонию, получает задание привезти из города большую сумму денег. В этом и в других подобных ему остроконфликтных эпизодах Макаренко демонстрирует становление нового в характере своих героев. Дальнейшие сцены утверждают лейтмотив образа, подкрепляют и развивают это новое, главное. В Александре Задорове постоянно подчеркивается спокойная, доброжелательная уверенность, незаурядный интеллект, «прекрасная» «открытая улыбка». Семен Карабанов — воплощение кипучего темперамента, который не только поминутно прорывается в его манере поведения, но и увлекает окружающих. «Карабанов во время работы умел размахнуться широко и со страстью, умел в работе находить радость и других заражать ею. У него из-под рук буквально рассыпались искры энергии и вдохновения. На ленивых и вялых он только изредка рычал, и этого было достаточно, чтобы устыдить самого отъявленного лодыря». Наиболее примечательной деталью внешнего облика Семена являются большие черные глаза, его взгляд, как будто излучающий избыток жизненной силы, которой переполнен Карабанов. «Пристальный горячий взгляд», «полыхающие глаза» — это внешняя деталь, которая, однако, помогает представить самую сердцевину его пылкой натуры. Таким он остался и будучи рабфаковцем.

Большинство колонистов раскрыты писателем более скупо, чем, скажем, Задоров, Карабанов, Бурун и Братченко. Но и в этом случае он умеет двумя-тремя штрихами набросать запоминающийся портрет и точно определить основные черты характера героя. Таков, например, исполненный откровенного лиризма образ крестьянской девушки Наташи Петренко, которая станет одной из лучших колонисток. «В рыжем ореоле изодранного, испачканного бабьего платка на вас смотрит даже не лицо, а какое-то высшее выражение нетронутости, чистоты, детски улыбающейся доверчивости. Наташа никогда не гримасничала, никогда не выражала злобы, негодования, подозрения, страдания. Она умела только или серьезно слушать, и в это время у нее чуть-чуть подрагивали густые черные ресницы, или открыто, внимательно улыбаться, показывая милые маленькие зубки, из которых один передний был поставлен немного вкось». Кстати,

этот «косой зубик в зарумянившейся ее улыбке» снова сверкнет в кульминационной сцене завоевания Куряжа, когда Наташа и Семен Карабанов своим гопаком растопят последний лед недоверия со стороны куряжан.

Лирическая окраска свойственна и многим другим местам «Педагогической поэмы». Лирика, нередко сочетающаяся с высоким пафосом, естественна для тех эпизодов, где раскрываются светлые, радостные стороны жизни колонии имени Горького: например, в сцене молотьбы из второй части «Поэмы» (глава «Четвертый сводный») или в описании праздника Первого снопа.

Лирика и юмор — ведущие стилевые тенденции глубоко человечной книги Макаренко. Юмор, которым писатель пользуется широко и свободно, оттеняет лирическое начало и вносит в «Поэму» «земные» и вместе с тем мажорные тона. Собственно, юмор и лиризм пропитывают книгу от начала до конца и живут в ней в нерасторжимом единстве. Попытайтесь их разъединить хотя бы вот в этой маленькой зарисовке: «Зореню лет тринадцать, руки у него всегда за спиной, он всегда молчит и улыбается. Этот мальчишка красив, у него изогнутые темные ресницы. Он медленно открывает их, включает какой-то далекий свет в черных глазах, не спеша задирает носик, молчит и улыбается. Я спрашиваю:

— Зорень, скажи мне хоть словечко,— какой у тебя голос, страшно интересно!

Он краснеет и. обиженно отворачивается, протягивая хриплым шепотом:

— Та-а...»

В иных случаях легкая ирония Макаренко сменяется сарказмом, его смех становится беспощадным. Именно так изображены по недоразумению попавшие в воспитатели Дерюченко и Родимчик. Первый из них, по словам Макаренко, «ясен, как телеграфный столб: это был петлюровец». Портрет второго носит явно гротескный характер. «У него странное лицо, очень напоминающее старый, изношенный, слежавшийся кошелек. Все на этом лице измято и покрыто красным налетом: нос немного приплюснут и свернут в сторону, уши придавлены к черепу и липнут к нему вялыми, мертвыми складками, рот в случайном кособочии давно изношен, истрепан и даже изорван кое-где от долгого и неаккуратного обращения».

Но особенно непримиримо, особенно ядовито высмеивает Макаренко своих извечных противников — далеких от жизни педагогов-схоластов, занимающих командные посты на педагогическом Олимпе. Это инспектор Шарин, бойко оперирующий набором расхожих научных терминов, но не имеющий представления о самом обычном барометре. Это гранд-

дама Варвара Брегель, которая на правах «высшего начальства» не упускает случая прочесть очередную нотацию заведующему колонией. Это ее достойная помощница «товарищ Зоя» — «женщина, судя по костюму, но, вероятно, существо бесполое по существу: низкорослая с лошадиным лицом...» Это, наконец, ученый муж из «олимпийцев», профессор педагогики Чайкин — «невзрачный человек, полурыжий, полурусый, не то с бородкой, не то без бородки». Говорит он «со всякими галантными ужимочками и с псевдопочтительной мимикой». Всех этих руководящих и научных деятелей объединяет одно: рабская приверженность ко всякого рода педагогическим догмам, нежелание учиться у жизни, боязнь нового, инстинктивная ненависть к нему.

«Педагогическая поэма» по праву заняла видное место среди лучших произведений литературы социалистического реализма. Документ и художественный вымысел, эпос и научная публицистика, бытовая достоверность и романтическая приподнятость, лирика и широкий диапазон комического сливаются в ней воедино и определяют ее неповторимое своеобразие. Книга Макаренко по-настоящему партийна: в ней убедительно раскрываются идеи социалистического гуманизма, огромные возможности коммунистического воспитания человеческой личности в обществе, свободном от эксплуатации человека человеком.

Работа над завершением «Педагогической поэмы» совпала для Макаренко с переходом на новую должность. Летом 1935 года его назначают помощником начальника Отдела трудовых колоний, а затем трудовых коммун НКВД УССР. Макаренко переезжает в Киев. Но все чаще и чаще мечтает он о Москве, где можно было бы по-настоящему, без помех заняться научной и писательской деятельностью. «Вы даже представить себе не можете, Алексей Максимович,— пишет он Горькому в феврале 1935 года,— сколько у меня скопилось за 30 лет работы мыслей, наблюдений, предчувствий, анализов, синтезов. Жалко будет, если все это исчезнет вместе со мной. Я потом и буду просить... чтобы мне дали возможность жить в Москве, поближе к книгам и к центрам мысли, и работать».

Макаренко переехал в Москву уже после смерти своего наставника и друга, в феврале 1937 года. Поражает, как много успел он сделать за последние два года жизни. В это время им были написаны три крупные вещи: «Книга для родителей», «Честь» и «Флаги на башнях». На страницах центральных газет и журналов печатаются его многочисленные рассказы, очерки, публицистические статьи. Он успешно выступает в роли литературного критика, особо

останавливаясь на вопросах развития литературы для детей и юношества. Наконец, большое внимание уделяет Макаренко обобщению и пропаганде своих педагогических идей. Он пишет для радио цикл лекций о воспитании детей, публикует целый ряд статей по вопросам коммунистического воспитания, участвует в учительских конференциях, выступает перед массовой аудиторией.

Особое место в теоретико-педагогических трудах Макаренко второй половины 30-х годов заняла проблема семьи и школы. Вопросам семейного воспитания он посвятил «Книгу для родителей».

Над «Книгой для родителей» Макаренко начал работать еще в Киеве летом 1936 года. Живейшее участие в подготовке материалов для книги принимала его жена Галина Стахиевна. Но, только переехав в Москву, писатель летом и ранней осенью 1937 года смог успешно завершить работу над первым томом. В этом же году книга была опубликована в журнале «Красная новь», а затем вышла отдельным изданием. Появление нового произведения известного педагога и писателя вызвало широкий читательский отклик

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле,— напоминает Макаренко в первой главе «Книги для родителей».— Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги». «Дети — «цветы жизни»,— против этой известной метафоры Макаренко не возражает. Но он предостерегает от уподобления «цветов жизни» роскошному декоративному букету, которым любуются, испуская сентиментальные ахи и охи. «Нет, наши дети вовсе не такие цветы...— убежденно восклицает Макаренко,— это не букет, это прекрасный яблоневый сад... Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но еще труднее не работать в таком саду». И поэтому, заканчивает свою мысль Макаренко, «давайте будем садовниками».

«Книга для родителей» — произведение своеобразного, необычного жанра. Это одновременно и педагогический трактат и художественное повествование. Публицистические и научно-теоретические разделы сменяются развернутыми рассказами или небольшими зарисовками, выполняющими роль художественных иллюстраций к тем или иным педагогическим проблемам.

Но было бы неверно рассматривать «Книгу для родителей» как некий свод педагогических правил, как учебник, предлагающий исчерпывающие ответы на все сложные вопросы семейного воспитания. «...Трудно надеяться,— гово-

рил Макаренко на одной из встреч со своими читателями,— что по книге можно научиться воспитывать, но научиться мыслить, войти в сферу мыслей о воспитании, мне кажется, можно. Я только на то и рассчитывал, что эта книга поможет читателям самим, на примерах, задуматься над вопросами воспитания и прийти к тем или другим решениям».

И, действительно, книга Макаренко дает богатейший материал для раздумий. Вот, например, две семьи. В семье кузнеца Степана Денисовича Веткина тринадцать детей. Ютятся все в одной комнате. С разносолами не густо. А в семье видного работника Наркомзема Петра Александровича Кетова всего один сын. Да и бытовые условия иные, чем у Веткиных: квартира, материальный достаток.

Казалось бы, все преимущества на стороне второй семьи. Ведь одного ребенка воспитать намного легче, чем ораву в 13 человек. Но Макаренко убедительно демонстрирует преимущество воспитания в многодетной семье при том условии, что семья эта представляет дружный коллектив. А система единственного ребенка приводит даже таких внимательных родителей, как Кетовы, к почти неизбежному педагогическому краху. Их «единственный сын-царевич» вырастает черствым, бездушным эгоистом. Причина этого, делает вывод Макаренко, «сводится к потере семьей качеств коллектива... в семье просто недостаточно физических элементов коллектива, отец, мать и сын и количественно и по разнообразию типа способны составить настолько легкую постройку, что она разрушается при первом явлении диспропорции, и такой диспропорцией всегда становится центральное положение ребенка».

Другим примером нарушения пропорций в семейном коллективе, продолжительного его разложения, которое Макаренко называет «химическим» и считает весьма опасным для семьи, может служить история Евгении Алексеевны Жуковой и ее детей — Игоря и Оли. Отец ушел к другой и бросил семью. Деньги, которые он выплачивает семье, мелкие подачки сыну, а главное, неуравновешенный, истеричный тон самой Евгении Алексеевны, не скрывающей от детей своего уязвленного самолюбия,— все это приводит к тому, что подросток-сын начинает дерзить матери и противопоставлять ее отцу. Только полный разрыв с Жуковым, отказ от всякой его помощи, другими словами, обретение подлинной независимости и самостоятельности или, как пишет Макаренко, обращение «химической» фигуры бывшего мужа в «механический» и простой нуль» восстанавливает равновесие в семье Евгении Алексеевны.

В девяти главах «Книги для родителей» рассмотрены и многие другие важные проблемы, непосредственно касаю-

щиеся жизни семейного коллектива. Сопоставляя быт семей электромонтера Назарова, начальника планового отдела Куриловского, мастера Кандыбина и учителя Головина, Макаренко обосновывает истоки авторитета, дисциплины и свободы в семейном коллективе. Битье, панибратство с детьми, система запретов ни в коей мере не способствуют ни укреплению дисциплины, ни росту авторитета родителей. И только разумная требовательность и дружеское доверие формируют в ребенке уважение к старшим и вырабатывают навыки сознательной дисциплины.

Останавливается Макаренко и на таких специфических проблемах, как воспитательная роль денег в семье, значение полового воспитания, сущность материнской любви.

Все разнообразные вопросы, которые ставит Макаренко в «Книге для родителей», можно было бы сгруппировать вокруг единого центра: причина появления эгоизма. Формы проявления эгоизма бесчисленны, но начинается он обычно с мелочей. Вот почему большое значение приобретает совсем незначительный на первый взгляд эпизод:

«Жора смотрит с презрением на чашку молока. Жора сыт. Но мать говорит Жоре:

— Кошка хочет съесть молоко. Кошка смотрит на молоко. Нет! Кошке не дадим! Жора скушает молоко! Пошла вон, кошка!

Слова матери похожи на правду. Кошка действительно смотрит, кошка на самом деле не прочь позавтракать. Жора смотрит на кошку подозрительно. И природа-мать торжествует: Жора не может допустить, чтобы молоко ела кошка.

С таких пустяков начинается эгоист».

«Книга для родителей» была задумана Макаренко как фундаментальное произведение в 4-х томах, своего рода энциклопедия семейного воспитания. В первом, написанном томе рассмотрен вопрос о структуре семьи-коллектива. «Я хотел... показать,— говорил писатель,— что для успешного воспитания ребенка семья должна быть прежде всего советским коллективом». Содержанием второго тома должны были стать проблемы политического и морального воспитания. В третьем томе предполагалось рассмотреть вопросы трудового воспитания и выбора профессии. И, наконец, четвертый, заключительный, посвящался «важнейшему вопросу, к сожалению, до сих пор не поднятому в педагогике, вопросу о том, как воспитать человека, чтобы он был не только прекрасным работником, не только хорошим гражданином, но чтобы он был еще счастливым человеком».

Можно лишь пожалеть, что замысел этот остался незавершенным.

Вскоре после выхода в свет «Книги для родителей», в том же 1937 году, журнал «Октябрь» начинает публиковать новую повесть Макаренко — «Честь». Эта вещь стоит особняком среди других произведений писателя. Здесь нет той четко выраженной документально-прототипной основы, какую мы ощущаем в «Педагогической поэме». Да и тематически «Честь» резко отличается от остальных книг писателя. Основу ее сюжета составляют события эпохи первой мировой войны и Октябрьской революции.

Но было бы ошибкой считать «Честь» случайным эпизодом в творчестве Макаренко. Писатель и на этом необычном для него материале касается все тех же проблем воспитания человека. Только процесс воспитания показан здесь не в сравнительно узких рамках колонии или семьи, а в сложных жизненных условиях под влиянием острых перипетий классовой борьбы.

Центральный герой повести Алеша Теплов вырос в семье рабочего-токаря. Поселок Кострома, предместье небольшого провинциального города, заставляет вспомнить Крюков, где прошли годы молодости писателя, а родители Алеши — Семен Михайлович и Василиса Пантелеевна — имеют немало общих черт с родителями самого Макаренко. Можно усмотреть автобиографические черты и в том, как способный, серьезный юноша «на медные деньги» заканчивает с отличием реальное училище, а затем поступает в институт. На этом, пожалуй, автобиографические параллели и кончаются.

Вопрос о чести как нравственной категории давно уже привлекал внимание Макаренко. В сцене заседания педагогического «синедриона» («Педагогическая поэма»), небезызвестный профессор Чайкин обрушивается на Макаренко, в частности, за его призыв к воспитанию чувства чести. «Мы не можем не заявить протест против этого призыва,— разглагольствует «апостол» догматической педагогики.— Советская общественность также присоединяет свой голос к науке, она также не примиряется с возвращением этого понятия, которое так ярко напоминает нам офицерские привилегии, мундиры, погоны».

Было бы наивным полагать, что Макаренко игнорировал классовый характер понятия чести. В своей повести он как раз и делает на это упор. Алексей Теплов, волею обстоятельств закончив военное училище, становится офицером царской армии. И принадлежность к офицерской касте на какое-то время накладывает отпечаток на его представление о чести и патриотическом долге. Но под воздействием бурно развивающихся событий истории, захвативших и Кострому, где тяжело контуженный Алексей находится на излечении, под влиянием отца, хранителя традиций «рабо-

чей чести», и друзей-большевиков, наконец, в практике революционной борьбы он приходит к пониманию чести в новом ее значении. Захваченный в плен белогвардейцами, Алексей дает отповедь председателю военно-полевого суда, который пытается, апеллируя к присяге, России, народу, пробудить в нем безвозвратно ушедшее чувство офицерской чести: «А о чести, поверьте, я больше вашего знаю... Честь — это как здоровье, ее нельзя придумать и притянуть к себе на канате, как это вы делаете. Кто с народом, кто любит людей, кто борется за народное счастье, у того всегда будет и честь».

Повесть «Честь» по своим художественным качествам уступает лучшим произведениям Макаренко. Она страдает композиционной рыхлостью, не все сюжетные линии прочерчены с достаточной четкостью, отдельным образам присущ схематизм. Но то лучшее, что есть в повести, делает ее нужной читателю. В первую очередь это патриотическое чувство и утверждение того, что такие высокие понятия, как долг и честь, наполняются в наше время новым содержанием и составляют сильную сторону нравственного облика истинно свободного человека.

После «Чести» Макаренко возвращается к своим любимым героям. Его последняя крупная вещь, «Флаги на башнях», была написана в первой половине 1938 года и в том же году напечатана в журнале «Красная новь», а затем принята ГИХЛом для отдельного издания. Вышла в свет она уже после смерти писателя.

Новая книга Макаренко по своему содержанию органически связана с «Педагогической поэмой», с «Маршем тридцатого года» и «ФД-1».

В эпилоге «Поэмы» мы находим то «зерно», из которого проросла последняя повесть Макаренко. Речь идет о важном этапе в жизни коммуны имени Дзержинского. «Давно, давно забыты, разломаны, сожжены в кочегарке фанерные цехи Соломона Борисовича... Еще в тридцать первом году построили коммунары свой первый завод — завод электроинструмента».

То, что в эпилоге «Поэмы» изложено всего в двух фразах, было важным этапом в истории коммуны имени Дзержинского. Это был год напряженной борьбы и больших свершений. Строительство завода изменило жизнь коммуны, создало новые возможности для роста ее воспитанников.

Первоначально события эти легли в основу «ФД-1». Но затем, когда у Макаренко возник замысел книги «Флаги на башнях»—большой повести о коллективе коммунаров, он, как уже говорилось, воспользовался многими страницами отвергнутой издательством рукописи «ФД-1».

Несмотря на тесную связь последней повести Макаренко с предшествующими произведениями, она все же во многом и отличается от них. Опираясь на опыт «Чести», писатель избирает здесь путь «объективированного» повествования, отказываясь от своего обычного приема — вести рассказ от имени заведующего колонией Макаренко. «Флаги на башнях» в большей степени «беллетризованное» произведение, чем «Педагогическая поэма», не говоря уже о документально-очерковом «Марше тридцатого года». Эта «беллетризация» проявилась, в частности, в сюжетно-композиционных особенностях повести. В «Флагах на башнях» композиция более рационалистична, чем в «Педагогической поэме». Главы повести, небольшие по размеру и динамичные, включают в себя обычно по одному эпизоду, как правило, «работающему» на сюжет. К этому можно добавить, что в повести почти нет теоретико-педагогических отступлений, к которым так часто обращался Макаренко в «Педагогической поэме».

Повесть «Флаги на башнях» была по-разному встречена критикой. Очень резко выступил против книги Ф. Левин. Он предъявил автору повести серьезные претензии: приукрашивание действительности (повесть «сентиментальна и паточна», это «сказка, рассказанная добрым дядей Макаренко») и отсутствие значительных конфликтов (не показана перековка детей, «изуродованных и искалеченных беспризорностью»).

То, о чем рассказал в повести Макаренко, действительно похоже на сказку, на чудо, но чудо это — одно из тех чудес, которые на каждом шагу рождаются в нашей жизни. Ведь последняя повесть Макаренко так же, как и три другие его книги о колонистах и коммунарах,— произведение, основанное на фактах. Об этом неоднократно заявлял сам писатель: «Флаги на башнях» — это не сказка и не мечта, это — наша действительность... В повести нет ни одной выдуманной ситуации, очень мало сведенных образов, нет ни одного пятна искусственно созданного колорита». Это подтвердили и бывшие коммунары в письме редактору «Литературной газеты»: «Мы во всеуслышание заявляем, что жизнь, описанная в книге А. С. Макаренко «Флаги на башнях», существовала, что действительно была в Харькове коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, названная в романе «Колонией Первого мая», и что мы ее воспитанники».

Настолько же несостоятельно и обвинение повести в бесконфликтности. Если в «Педагогической поэме» тема «перековки» занимала одно из главных мест, то здесь тема иная. Ее точно определил сам писатель: «...Счастливый детский коллектив, свободный от антагонизмов и настоль-

ко могучий, что любой ребенок, в том числе и правонарушитель, легко и быстро занимает правильную позицию в коллективе». Однако мощная воспитательная сила коллектива не исключает, конечно, и возможности возникновения весьма напряженных ситуаций, особенно в тех случаях, когда в коллектив приходят люди с улицы. Именно на этом и строится сюжет повести.

Четырех таких «детей улицы» однажды свел вместе случай на небольшой железнодорожной станции. Через некоторое время неожиданно друг для друга, но, впрочем, вполне закономерно, они снова встречаются уже в колонии имени Первого мая. Это двенадцатилетний сирота Ваня Гальченко и ребята лет по шестнадцати — Гришка Рыжиков, Ванда Стадницкая и Игорь Чернявин.

По-разному сложилась их судьба в колонии. Быстрее всех пришелся ко двору Ваня Гальченко. «Вольная» жизнь не успела наложить на него свой отпечаток, и он очень быстро и естественно включается в стремительный и радостный ритм жизни первомайцев. Намного сложнее обстояло дело с остальными: Рыжиков, например, настолько уже сформировался как профессиональный вор, что коллектив вынужден был отвергнуть его: перевоспитание здесь невозможно. Много товарищеской заботы и теплоты нужно было отдать Ванде Стадницкой, чтобы оттаяло ее сердце, чтобы поверила она в людей и стала чувствовать себя полноценным человеком.

Наиболее детально прослеживает Макаренко «вживание» в коллектив Игоря Чернявина.

Еще в «Педагогической поэме» писатель создал образ, очень близкий по характеру и даже внешним признакам Игорю Чернявину. Имя этого персонажа «Поэмы» Олег Огнев. «Олег Огнев — авантюрист, путешественник и нахал, по всей вероятности, потомок древних норманнов, такой же, как они, высокий, долговязый, белобрысый. Может быть, между ним и его варяжскими предками стояло несколько поколений хороших российских интеллигентов, потому что у Олега высокий чистый лоб и от уха до уха растянувшийся умный рот, живущий в крепком согласии с ловкими, бодрыми серыми глазами. Олег попался на какой-то афере с почтовыми переводами...» Игорь тоже «худой и длинный. У него насмешливо-ехидный большой рот и веселые глаза». Он сбежал от отца-профессора. И в колонии очутился, попавшись на подлоге с почтовым переводом. То, что в Олеге Огневе было только намечено, Макаренко развернул и углубил в Игоре Чернявине.

Психологически точно, щедро используя разнообразные оттенки юмора, рисует Макаренко этапы роста своего героя.

Уже с самого начала Игорь заинтересовался колонией и колонистами. Однако, склонный к позерству, Чернявин обескуражен тем, что первомайцы не обращают никакого внимания на его «оригинальное» поведение и манеру держаться. Желая во что бы то ни стало привлечь к себе внимание, он после подъема остается в постели, отказываясь идти на неинтересную для него работу. Но ожидаемого им эффекта не произошло. Вызванный для объяснения на совет бригадиров, он тщетно пытается отстоять свою «независимость»: колонисты настроены против такого «самоутверждения». Более того, некоторые из них даже предлагают крайнюю меру: выгнать его из колонии как неисправимого лодыря.

Перелом наступает неожиданно. На совет приводят Ваню Гальченко, который просит, чтобы его приняли в колонию. Но для этого нет формальных оснований, и Игорь в бескорыстном товарищеском порыве просит за Ваню: «Товарищи! Все, что хотите! Проножки? Хорошо! Алексей Степанович! Делайте, что хотите! Только примите этого пацана».

Постепенно, шаг за шагом Игорь незаметно для себя начинает находить глубокое удовлетворение и в работе и в школьных занятиях, от которых поначалу он тоже высокомерно отмахивался.

В конце повести Игорь становится бригадиром, а затем избирается и секретарем совета бригадиров. Это результат полного признания его коллективом.

Показательно, что, став полноправным и достойным членом большой и дружной семьи первомайцев, Игорь не утратил самобытных качеств своего характера. Но его самобытность — это не прежнее «оригинальничание»: она помогает ему полнее проявить себя в коллективе.

Запоминаются и многие герои второго плана. Среди них кристально честный бригадир Воленко, непримиримый к недостаткам Алеша Зырянский — Робеспьер, озорной пацан Филька, рассудительный и справедливый секретарь совета бригадиров Виктор Торский, доброжелательная, полная девичьего обаяния Оксана Литовченко и другие. Удались Макаренко и образы представителей старшего поколения. Внешне суровый, сдержанный инженер Воргунов, вначале скептически относившийся к тому, что «мальчишки» смогут работать на заводе, который будет выпускать электросверлилки, познакомившись с первомайцами ближе, теплеет, и его недоверие рассеивается без следа. Совсем иным человеком предстает перед нами энтузиаст колонии Соломон Давидович Блюм, написанный автором в тонах мягкого юмора и с большой любовью. Прекрасный хозяйственник,

он, что называется, горит на работе, и его кипучая деятельность приносит колонии реальные результаты в виде солидных финансовых накоплений. Но практическая хватка уживается в нем с наивностью, с узостью кругозора. Колония стремительно движется вперед, и Соломону Давидовичу за ней не угнаться. Он уже не может оставаться на посту руководителя производства и вынужден выполнять роль снабженца.

Особое место в повести занимает фигура начальника колонии Алексея Степановича Захарова. В образе Захарова нетрудно узнать самого Макаренко. Достаточно вспомнить описание его внешности. «В этом человеке не было ничего особенного: подстриженные усы, стеклышки пенсне, под машинку стриженная голова». Это сходство подтверждается и фактами воспитательской деятельности Захарова и его педагогическим кредо, изложенным в главе с полемическим названием «Не может быть!».

И все же образ Захарова в значительной степени уступает образу Макаренко из «Педагогической поэмы». Сосредоточив главное внимание на коллективе, постоянно подчеркивая его самостоятельность и творческую силу, писатель невольно отодвигает своего героя на задний план. Захаров часто лишь сторонний наблюдатель. Он слишком мало показан в действии, его внутренний мир по-настоящему не раскрыт. Поэтому фигура начальника колонии выглядит статичной.

Повесть «Флаги на башнях» достойно завершает так рано оборвавшийся путь Макаренко в литературе. Красные флаги, развевающиеся на башнях колонии,— это символ победы высокоорганизованного трудового социалистического коллектива, это символ всепобеждающей юности, символ большого человеческого счастья.

Свое пятидесятилетие А. С. Макаренко встретил в полном расцвете творческих сил. В январе 1939 года в числе ведущих советских писателей он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. «В этом акте партии и правительства, следовательно в этом выражении народного одобрения, я хочу видеть не только награду...— писал Макаренко после награждения.— Орден, полученный мною, прежде всего подчеркивает идею моей ответственности... Я отвечаю за то, что в своей работе я буду честен и правдив...»

Идея ответственности составляла суть жизненной позиции Макаренко.

В феврале 1939 года он подает заявление о приеме его в Коммунистическую партию. В это время писатель работает с особым подъемом и напряженно, как никогда. У него

большие планы, интересные замыслы. Ждет своего завершения «Книга для родителей». Он обдумывает комедию о внимании к человеку. Влюбленный с юных лет в историю, он мечтает написать роман о временах Владимира Мономаха. А на письменном столе лежат главы начатого им романа о современниках — «Пути поколения».

Но этим и другим замыслам писателя не суждено было осуществиться.

Первого апреля 1939 года Макаренко возвращался в Москву из дачного поселка Голицыно. Он вез на киностудию свой новый сценарий. Здесь, в вагоне, он скоропостижно скончался. Сказались дни и ночи напряженного труда на протяжении долгих лет. Умевший четко организовать режим для своих воспитанников, Макаренко, однако, был безжалостен к себе. Он работал почти без отдыха, на износ.

Большой писатель, талантливый педагог, Макаренко был н а с т о я щ и м человеком. Он не ушел от нас бесследно. Остались славные его воспитанники, сохранившие в себе часть щедрой его души. Осталась его педагогическая система. Пусть не все ее стороны разработаны Макаренко с одинаковой полнотой и отдельные ее положения вызывают возражения у специалистов. Но то, что им сделано, достойно называться «педагогикой завтрашнего дня», педагогикой, воплощающей основные принципы коммунистического воспитания.

Замечательные книги Макаренко еще долгие годы будут нашими помощниками и друзьями, нашими мудрыми советчиками. Они несут в себе заряд великолепного макаренковского мажора. Они учат нас самому главному — человечности.

А. Терновский

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕСТЬ

«Честь» — одно из последних крупных произведений А. С. Макаренко. Повесть имеет автобиографическую основу и воспроизводит предреволюционную атмосферу провинциальных городов Кременчуга и Крюкова, в которых прошли юные годы писателя, рисует черты быта его семьи, облик отца и матери (семья Тепловых).

Повесть «Честь» писалась в 1937—1938 годах и тогда же была опубликована в журнале «Октябрь»: первая часть — в №№ 11 и 12 за 1937 год и вторая часть — в №№ 1, 5 и 6 за 1938 год.

Отдельной книгой повесть не вышла, хотя и была подготовлена к изданию в ГИХЛе. Можно с полным основанием считать верстку этого издания, подписанную к печати автором, последним авторским вариантом текста. Об этом свидетельствует дневниковая запись А. С. Макаренко: «Честь» окончательно отредактировали с Лукиным. В общем она выходит в отдельном издании» (9 июля 1938 года).

Стр. 6. *«Южный голос»*.— По всей вероятности, имеется в виду газета, издававшаяся в 1911 году в Харькове.

Стр. 17. *Макс Линдер*.— Сценическое имя Габриэля Левеля (1883—1925). Французский комический актер, много снимался в кино.

Стр. 25. *Франц-Фердинанд* — эрцгерцог (1863—1914), с 1896 года — наследник престола Австро-Венгерской монархии. Убийство его в г. Сараево 28/VI 1914 года послужило непосредственным поводом к началу первой мировой войны.

Стр. 28. *Куропаткин* А. Н. (1848—1925) — генерал царской армии, в 1898—1904 годы — военный министр. Во время русско-японской войны неудачно командовал армией. *Стессель* А. М. (1848—1915) — генерал царской армии. Во время русско-японской войны сдал крепость Порт-Артур, не исчерпав средств обороны. В 1908 году был приговорен к расстрелу, замененному 10-летним заключением. В 1909 году освобожден по распоряжению Николая II. *Рождественский* — Рожественский З. П. (1848—1909), адмирал царского флота. Его бездарное руководство явилось одной из причин гибели русской эскадры в бою с японским флотом у Цусимы. Рожественский сдался в плен японцам со своим штабом.

Стр. 33. *Малахов курган* — возвышенность в окрестностях Севастополя, сильнейший опорный пункт при обороне Севастополя в Крымскую войну 1853 — 1856 годов. Русские солдаты и матросы 11 месяцев героически обороняли его от англо-французских войск. *Шипка* — перевал через Балканы в Болгарии. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов русские войска вместе с болгарскими ополченцами захватили и в течение нескольких месяцев удерживали перевал, а затем перешли в наступление и изгнали турецкие войска из Болгарии.

Стр. 45. *Перемышль* — крепость в Восточной Галиции, которая в годы первой мировой войны входила в состав Австро-Венгрии и с марта по июнь 1915 года была в руках русских... *Гибель армии Самсонова...* — В начале первой мировой войны 2-я армия под командованием генерала Самсонова была брошена в бой, невзирая на то, что она не успела сосредоточиться и не была снабжена необходимой техникой. Несмотря на перевес в численности, армия Самсонова была окружена и разбита немцами в болотистом и лесистом районе Восточной Пруссии 26—30/VIII 1914 года.

Стр. 65. *Родзянко* М. В. (1859—1924) — один из лидеров октябристов, политической партии крупных помещиков и буржуазии в России, оформившейся после царского манифеста 17 октября 1905 года и во всем поддерживавшей самодержавие. *Львов* Г. Е. (1861—1925) — представитель конституционно-демократической (кадеты) партии — главной партии империалистической буржуазии в России, оформившейся в 1905 году. В 1917 году — министр-председатель и министр внутренних дел буржуазного Временного правительства двух составов. Участвовал в организации контрреволюционных сил во время гражданской войны.

Стр. 107. *«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».*— Цитата из библии.

Стр. 174. *Каляев* И. П. (1877—1905) — известный революционер, член партии эсеров. 4 февраля 1905 года убил московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича (дядю Николая II). Казнен в Шлиссельбурге. *Сазонов* Е. С. (1879—1910) — эсер. За участие в покушении на министра внутренних дел Плеве приговорен к бессрочной каторге. Покончил с собой в знак протеста против применения телесных наказаний к политическим заключенным. *Азеф* Е. Ф. (1869—1918) — провокатор. Был одним из руководителей партии эсеров и ее террористической «боевой организации». В 1908 году разоблачен как тайный агент полиции, приговорен ЦК партии эсеров к смерти, но успел скрыться. *Вильгельм II* (1859—1941) — германский император и прусский король. Крайне реакционный представитель германского милитаризма, один из виновников первой мировой войны.

Стр. 184. *«Нива»* — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870—1918 годах и пользовавшийся большой популярностью.

Стр. 193. *Петр III* — русский царь (1728—1762). Убит с ведома жены, Екатерины II, которая после его смерти и заняла престол. Под именем Петра III возглавил крестьянскую войну Е. И. Пугачев. *Тушинский вор* — прозвище Лжедимитрия II, авантюриста и самозванца, ставленника польских панов и Ватикана, претендовавшего на русский престол. Стоял лагерем в селе Тушино под Москвой.

СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Беседа с начинающими писателями.— Впервые в журнале «Литературная учеба», 1938 г., № 10. Представляет собой обработанную автором стенограмму выступления, состоявшегося 11 июня 1938 года.

Стр. 317. *«Летопись».*— Ежемесячный литературный, научный и политический журнал, основанный М. Горьким и издававшийся в Петербурге в 1915—1917 годах.

Стр. 319. *Педология.*— Одно из направлений буржуазной педагогики, имевшее определенное влияние у нас в стране в 20-е годы и осужденное в 1936 году специальным постановлением ЦК.

Стр. 320. *ФЭД.*— Марка фотоаппаратов, выпускавшихся за-

водом коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, которой с 1927 по 1935 год заведовал А. С. Макаренко.

Художественная литература о воспитании детей.— Впервые в сборнике А. С. Макаренко, «Педагогические сочинения», изд. АПН РСФСР, 1948 год. Представляет собою лекцию, прочитанную А. С. Макаренко 21 апреля 1937 года по поручению Лекционного бюро Московского областного совета профессиональных союзов. В настоящем издании публикуется по тексту: Сочинения А. С. Макаренко, АПН РСФСР, 1958, т. 5.

Стр. 332. *Ломброзо*, Чезаре (1835—1909) — известный итальянский психиатр и криминалист, выдвинувший антинаучную теорию о существовании особого типа «преступного человека», от рождения предрасположенного к преступлению.

Стр. 333. *...мой последний бой с представителями педологической теории.*— Имеется в виду выступление А. С. Макаренко с докладом «Основные положения организации воспитательного процесса в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского» на заседании секции социального воспитания Научно-исследовательского института педагогики Наркомпроса УССР 14 марта 1928 года.

Стр. 335. *Сейфуллина* Л. Н. (1889—1954) — советская писательница. Повесть «Правонарушители» (о перевоспитании беспризорных детей) написана в 1922 году.

Стр. 336. *Пантеизм.*— Религиозно-философское воззрение, рассматривающее природу как воплощение божества.

Стр. 357. *Вера и Наташа.*— Вера Березовская и Наташа Петренко, о судьбе которых рассказывается в «Педагогической поэме».

Стиль детской литературы.— Впервые в журнале «Детская литература» № 17, 1938 год.

Стр. 367. *«Стеклышко разбитой бутылки».*— Известные слова А. П. Чехова из его письма от 10 мая 1886 года к брату Александру: «...у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки, и покатилась шаром черная тень собаки или волка и т. д...» Эту же мысль позже А. П. Чехов вложил в уста писателя Тригорина (действующее лицо пьесы «Чайка»).

А. М. ГОРЬКИЙ И А. С. МАКАРЕНКО

Предисловие к альбому «Наши жизни — Горькому — горьковцы».— Впервые в VII томе Сочинений

А. С. Макаренко, АПН РСФСР, 1952 год. «Предисловие» предваряет 264 автобиографии воспитанников А. С. Макаренко, перепечатанные им на машинке и иллюстрированные 32 фотографиями. На переплете надпись: «Наши жизни — Горькому — горьковцы». Альбом был подарен колонистами А. М. Горькому во время его пребывания в колонии имени Горького (июль 1928 года).

Близкий, родной, незабываемый! — Впервые в газете «Літературна газета», 30 июня 1936 года, на украинском языке. В настоящем издании публикуется по тексту: Сочинения А. С. Макаренко, АПН РСФСР, 1958, т. VII, где статья впервые опубликована на русском языке.

Максим Горький в моей жизни. — Впервые в альманахе «Год XIX», кн. 10, 1936 год.

Стр. 375. *Засодимский* П. В. (1843—1912) — русский писатель-народник. *Граф Салиас* — Салиас-де-Турнемир Е. А. (1840—1908) — автор малохудожественных повестей на историческую тему. *Князь Волконский* М. Н. (1860—1917) — автор по преимуществу исторических романов, не имевших художественной ценности.

Стр. 378. *«Союз русского народа»* — черносотенная организация в России в 1905—1917 годах, фактически объединявшая все монархические организации и созданная царским правительством для борьбы с революцией. Черносотенцы совершали погромы, убийства, избиения революционных рабочих, студентов.

Незабываемая встреча. *Воспоминания.* — Впервые в журнале «Дружные ребята» № 6, 1938 год.

ПЕРЕПИСКА А. С. МАКАРЕНКО С А. М. ГОРЬКИМ

Переписка А. С. Макаренко с А. М. Горьким продолжалась в течение десяти лет (1925—1935). Она позволяет читателю глубже понять смысл многогранной и плодотворной деятельности А. С. Макаренко, увидеть «горьковскую» основу его педагогического и литературного новаторства.

В настоящем издании переписка А. С. Макаренко с А. М. Горьким представлена более полно, чем в VII томе Сочинений А. С. Макаренко, АПН РСФСР, 1958 год.

Стр. 393. *...в «Огоньке» мы нашли статью о Вас.* — Имеется в виду статья, опубликованная в журнале «Огонек» № 26 за 1925 год.

Стр. 395. *...26 марта, в день Вашего рождения...*— В действительности А. М. Горький родился 28 марта 1868 года.

Стр. 397. *Ладыжников* И. П. (1874—1945) — издательский работник, близкий друг и помощник Горького. В 1921—1930 годах — руководитель акционерных обществ «Книга» и «Международная книга».

Стр. 400. *...книжку Маро.*— Речь идет о книге Маро (М. И. Левитиной) «Работа с беспризорными», изд. «Труд», Харьков, 1924 г.

Стр. 403. *Ольденбург* С. Ф. (1863—1934) — русский ученый-востоковед.

Стр. 406. *Гастев* А. К. (1882—1941) — революционер, пролетарский поэт, видный деятель в области рационализации труда, с 1920 по 1938 год руководил Центральным институтом труда. *Соцвос* — социальное воспитание, которому в 20—30-е годы органы просвещения придавали особое значение. Критические замечания Макаренко относительно соцвоса вызваны теми ошибками, которые допускались отдельными работниками на местах, и теми извращениями в педагогике, которые искажали идею соцвоса.

Стр. 409. *Петровский* Г. И. (1878—1958) — крупный советский, партийный и государственный деятель. В 1919—1939 гг.— председатель Всеукраинского ЦИК.

Стр. 413. *«Враги».*— Драма А. М. Горького (1906). *Пешкова*, Екатерина Павловна (1876—1965) — жена А. М. Горького.

Стр. 414. *Помдет* — комиссия, ведавшая охраной жизни и здоровья детей, организованная в 20-е годы при Всероссийском центральном исполнительном комитете и на Украине.

Стр. 416. *Софья Владимировна Короленко* — дочь русского писателя В. Г. Короленко (1853—1921).

Стр. 419. *Только Вы напрасно, дорогой Алексей Максимович, хвалите меня...*— Речь идет о письме А. М. Горького председателю Харьковского окрисполкома Гаврилину, которое было опубликовано в «Известиях» 16 июня 1926 года.

Стр. 427. *Сорик* — Сорокин Виктор Николаевич, герой повести «Республика Шкид». В письме А. М. Горького описка.

Стр. 431. *...несколько строк в 18-м томе о нашей колонии...*— Макаренко имеет в виду статью А. М. Горького «Заметки чита-

теля», вошедшую в 20-й том Сочинений А. М. Горького (Огиз, 1928 г.), в которой он писал о Куряжской колонии.

Стр. 434. *Кузьма Прутков* (Козьма Прутков) — литературный псевдоним, под которым в 60-е годы XIX века в журналах «Современник», «Искра» и др. выступала группа поэтов: А. К. Толстой и братья Жемчужниковы. В созданных ими юмористических стихах, пародиях и афоризмах высмеивались пошлость, обывательская и чиновничья тупость, бюрократизм и т. д. *Хулио Хуренито* — герой сатирического романа советского писателя И. Г. Эренбурга (1891—1967) «Необычайные похождения Хулио Хуренито...».

Стр. 435. *«Всемирная литература»* — издательство, организованное при Наркомпросе по инициативе А. М. Горького в 1918 году в Петрограде. Составленный под руководством Горького план издательства включал издания выдающихся произведений мировой художественной литературы, но был осуществлен лишь частично. Издательство закрылось в 1924 году.

Стр. 441. *Ваш уход из колонии...*—Макаренко был уволен с должности заведующего колонией имени А. М. Горького в июле 1928 года.

Стр. 442. *Крючков* П. П. (1889—1938) — секретарь А. М. Горького.

Стр. 443. *Халатов* А. Б. (1896—1938) — видный советский и партийный деятель, председатель Комиссии по улучшению быта ученых, с середины 1927 по 1932 год — председатель правления Госиздата. *«Земля и фабрика»* («ЗИФ») — советское государственное акционерное издательское общество (1922—1930), выпускавшее главным образом оригинальную и переводную беллетристику и литературно-критические издания, а также ряд журналов. *Ионов* (1887—1942) (настоящая фамилия Бернштейн И. И.) — поэт, издательский работник, в 1928—1930 годах заведовал издательством «ЗИФ». *Вместе с коммунарами-дзержинцами я приветствовал сорокалетие Вашей работы...*— Приветствие было напечатано в «Правде» 25 сентября 1932 года.

Стр. 448. *«Горьковцы»*.— Одно из первоначальных названий «Педагогической поэмы». *Есть еще у меня и пьеса...*— пьеса «Мажор», которую Макаренко написал в сентябре — октябре 1933 года. *Посылаю Вам наш юбилейный сборник.*— Речь идет о сборнике «Второе рождение», подготовленном бригадой «Комсомольской

правды» к пятилетию коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, отмечавшемуся 29 декабря 1932 года. Сборник вышел в Харькове в 1932 году как ведомственное издание небольшим тиражом и в продажу не поступил.

Стр. 450. *...в ...соседстве с Вашей пьесой.*— Первая часть «Педагогической поэмы» была напечатана в альманахе «Год XVII», кн. 3, 1933 год. Здесь же помещена и пьеса А. М. Горького «Достигаев и другие».

Стр. 451. *Авербах* Л. Л. (1903—1939) — критик, один из руководителей РАПП и ВАПП.

Стр. 452. *...письмо Серафимовичу* — в «Открытом письме А. С. Серафимовичу» («Литературная газета», 14 февраля 1934 г.) А. М. Горький подверг резкой критике произведения отдельных советских писателей и призвал к «беспощадной борьбе за очищение литературы от словесного хлама». *Б.-Б.*— Беломорско-Балтийский канал. *Канторович* В. Я. (род. в 1901 г.) — советский писатель-очеркист, автор книги о строителях Беломорско-Балтийского канала.

Стр. 453. *...горестных для Вас событий...*— В мае 1934 года скончался сын А. М. Горького — Максим Алексеевич Пешков.

Стр. 459. *«Ньютоновы кольца»* — неопубликованное произведение Макаренко. *«Литературные забавы»* — статья А. М. Горького, напечатана в «Правде» 24 января 1935 года.

Стр. 460. *Постышев* П. П. (1888—1940) — советский партийный и государственный деятель. С 1924 года — секретарь Киевского губкома партии.

Стр. 461. *«жалкому лепету оправданий»* — «...жалкий лепет оправданья...» — слова из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕСТЬ

Повесть

Антон Семенович МАКАРЕНКО

Собрание сочинений
в пяти томах.

Том V.

Редактор тома
В. Ю. Троицкий.

Иллюстрации художника
И. Л. Ушакова.

Оформление художника
Ю. И. Батова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 25/II—19/IX 1970 г.
Подписано к печати 17/XII 1970 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108$^{1}/_{32}$.
Объем 27,30 усл. печ. л. 28,13 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 (1—200 000) экз. Изд. № 1353.
Зак. № 613. Цена 90 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ № 237

Индекс 70682



«ЧЕСТЬ»



«ЧЕСТЬ»



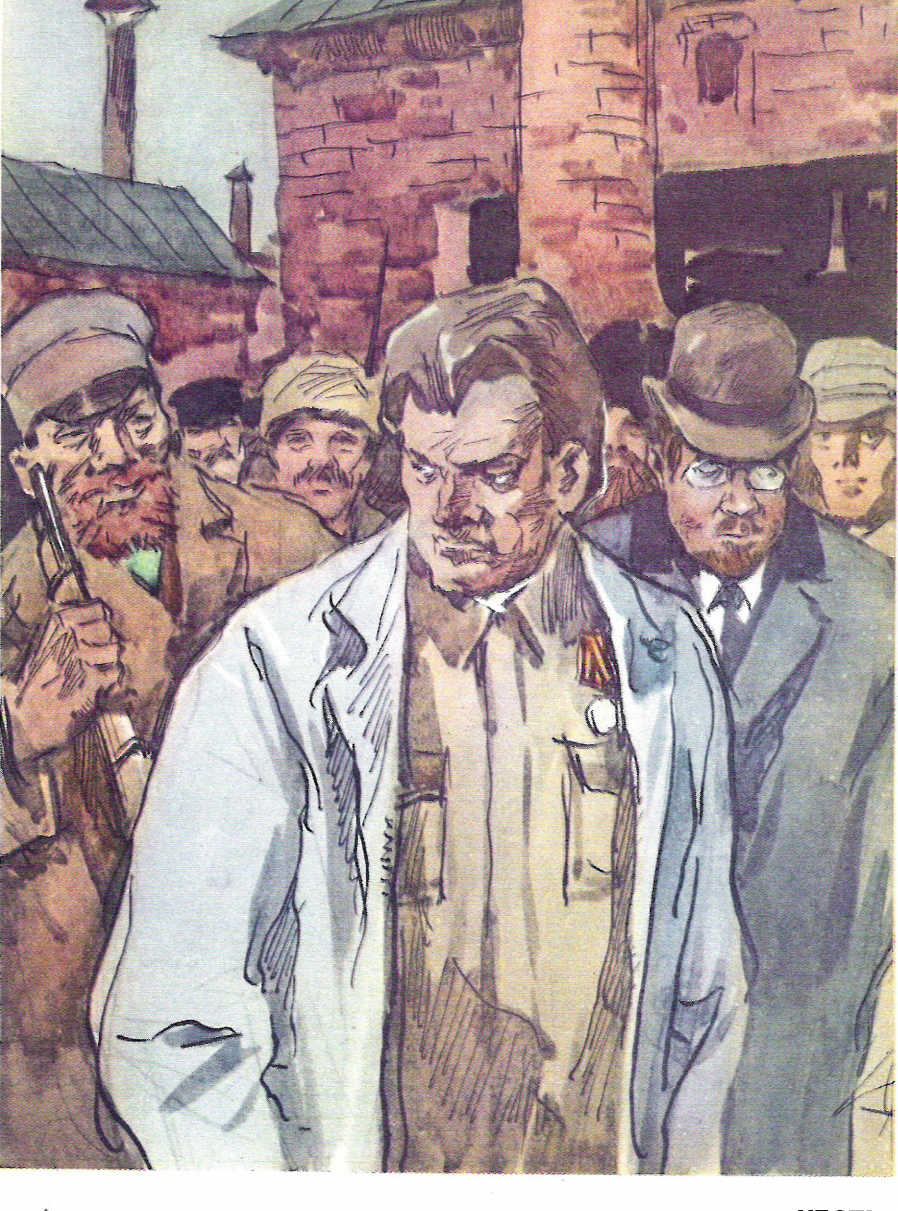
«ЧЕСТЬ»



«ЧЕСТЬ»



«ЧЕСТЬ»



«ЧЕСТЬ»



«ЧЕСТЬ»



«ЧЕСТЬ»